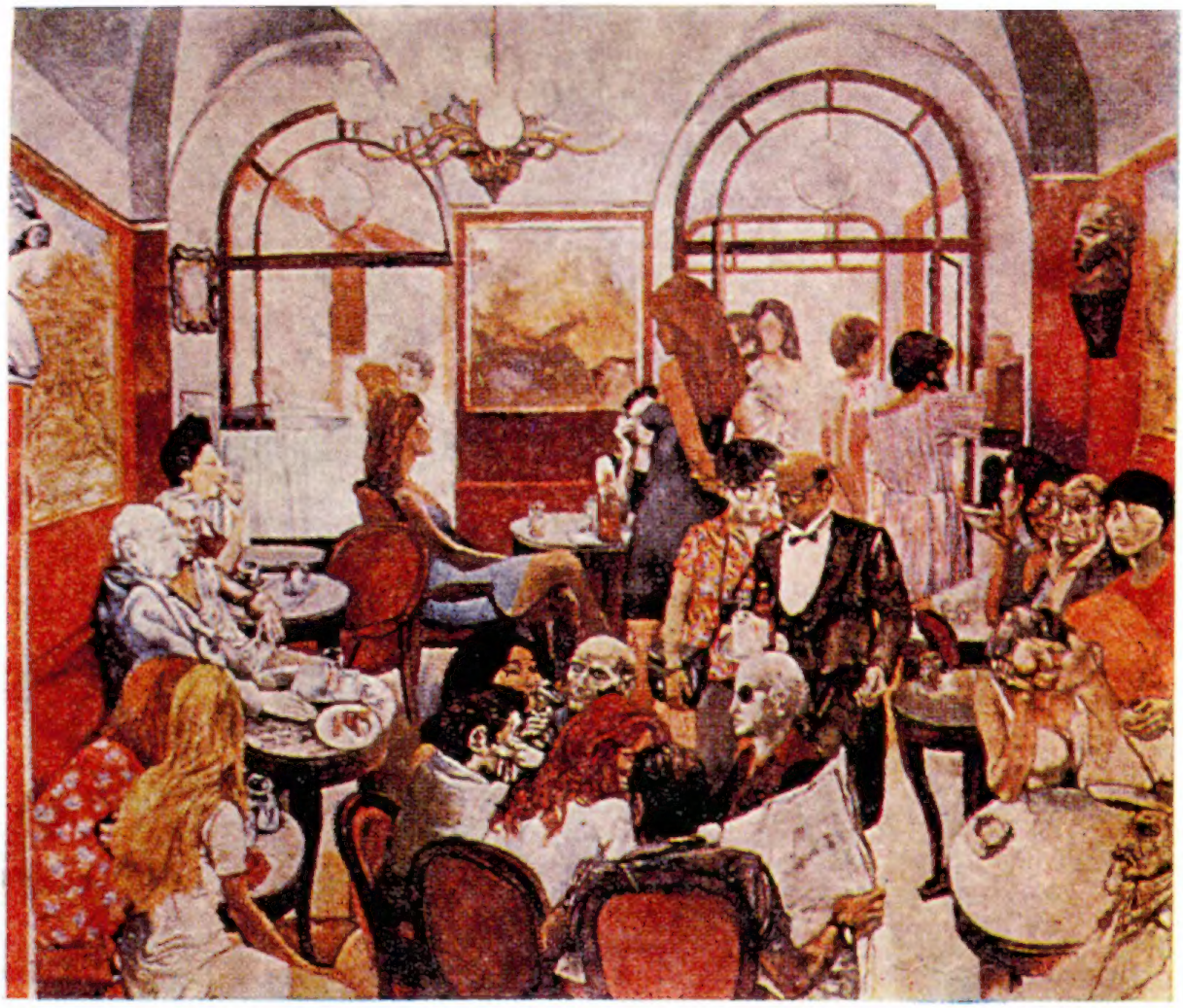
ISSN 0130–6545

7. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Кафе Греко.

Цветные иллюстрации номера
работы итальянского художника Ренато Гуттузо

30 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

	Стр.
От редакции	3
ШУ ФАНЬ — Колокол *(Стихи)*	5
АННА ЗЕГЕРС — Человек и его имя *(Повесть)*	6
ИОЗЕФ КАЙНАР — Чешская мечта *(Стихи)*	60
РОЖЕ ВАЙЯН — Пьеретта Анабль *(Роман)*	66
БРАНКО ЧОПИЧ — Хоровод козарский *(Стихи)*	97
ПРЕМ ЧАНД — Избавление *(Рассказ)*	99
АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ — Черные дни *(Стихи)*	106
ЖАН ПОЛЬ САРТР — Лиззи *(Пьеса)*	107
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	
РОМЕН РОЛЛАН — Из дневников и писем	127
УОЛТ УИТМЕН *(Стихотворения и публицистика)*	160
КРИТИКА	
КОНСТ. ФЕДИН — Томас Манн	165
Н. ФЕДОРЕНКО — Творчество Лу Синя	170
А. АНИКСТ — В поисках пути	177
ЕЛ. РОМАНОВА — О некоторых явлениях в послевоенной литературе США	191
ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА	
БОГДАН ЧЕШКО — Наши литературные дискуссии	198
РЕЦЕНЗИИ	
ЛЕВ НИКУЛИН — Эпопея чешского народа	204
Ю. ГАЗИЕВ — Народный поэт Алжира	206
Е. ГАЛЬПЕРИНА — Страдания и надежды Алжира	209
З. ХОЛОНИНА — Новый роман о польской деревне	212

1

1955

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 июль 1985

Содержание

ИОРДАН РАДИЧКОВ — Рассказы *(Перевод с болгарского Н. Глен)* 4

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК — Стихи *(Перевод с польского Давида Симойлова, В. Британишского, Натальи Астафьевой, Асара Эппеля. Вступление В. Британишского)* 47

МАЙК ХЭНСОН — Найди свое! *(Повесть. Перевод с английского Оксаны Кириченко. Послесловие Джона Крофорда)* 54

Р. К. НАРАЙАН — Бог и уличный сапожник *(Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн)* 112

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ — Тот кегельбан над Тибром *(Фрагменты книги. Перевод с итальянского Ф. М. Двин. Вступление Георгия Товстоногова)* 118

Из классики XX века

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА — Сонеты темной любви *(Вступление и перевод с испанского А. Гелескула)* Четыре интервью *(Перевод с испанского Н. Малиновской, с итальянского Е. Костюкович)* 144

Литературное наследие

СТЕФАН ЦВЕЙГ — Кристина Хофленер *(Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина. Вступление Н. Л.)* 157

Заметки писателя

САВВА ДАНГУЛОВ — В доме на Пятницкой 194

Публицистика

НОРМАН КАЗИНС — Врачующее сердце *(Отрывки из книги. Предисловие Бернарда Лауна. Перевод с английского М. Салганик)* 216

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Норман Казинс: силой личного опыта 242

Антирубрика

ШАРА КАРИГ — Тибор Каян — карикатурист-философ 247

Из месяца в месяц

251

На 1-й и 4-й страницах обложки—работы итальянского художника РЕНАТО ГУТТУЗО «Рабочий, читающий газету» и «Красные стулья».

© «Иностранная литература», 1985

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Рассказы

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Автострада

Появлялись они еще до сумерек и где ползком, где прыжками двигались к автостраде. Вся трава вокруг была выщипана и вытоптана скотиной, это облегчало их передвижение. Первые выстраивались вдоль обочины и замирали; они казались мне похожими на прыщавые бугорки с глазами, торчавшими наподобие спичечных головок. Автострада враждебно рычала, но это, видимо, их не пугало, более того — не обращая на ее враждебность никакого внимания, они продолжали неуклонно скапливаться на обочинах, словно равнина выталкивала их из себя. Они не спешили, но и не медлили, карабкались по насыпи и смешивались с пришедшими ранее, толкаясь у кромки обочины. Автострада встречала их пылью и выхлопами, обдавала воздушными вихрями, пыталась оглушить грохотом, со смертоносным шипеньем катила у них перед носом тысячи автомобильных шин, но маленькие прыщавые бугорки, не дрогнув, все прибывали и прибывали, сбивались все плотнее и, умостившись на обочине, тут же застывали, лицом к потоку автомашин, положив голову на нежные лапки.

Под вечер равнина, посередине разрезанная автострадой, казалась пустынной. На ней торчал один лишь старый дуб, опаленный молниями, с наполовину обугленной сердцевиной; он не раз вступал в поединок с господом, небесные раны глубоко прорезали его тело, но богу надоело метать в него молнии, и он зарекся вступать с ним в единоборство. Дерево уныло высилось среди обобранных скотиной лугов и служило кровом для полуденного отдыха отары ягнят. Вот ведь судьба у столетнего великана — после битв с небесами и с богом служить всего лишь укрытием для отары ягнят, которых пастух на-

© Йордан Радичков, 1983. JUSAUTOR, Sofia

ЙОРДАН РАДИЧКОВ (род. в 1929 г.)

Болгарский прозаик, драматург, лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многих сборников рассказов, среди них «Сердце бьется для людей» («Сърцето бие за хората», 1959), «Козья борода» («Козята брада», 1967), «Пороховой букварь» («Барутен буквар», 1969), «Воспоминания о лошадях» («Спомени за коне», 1975), романов «Все и никто» («Всички и никой», 1975), «Праща» («Прашка», 1977), пьес, очерков.

В русском переводе изданы книги «Опрокинутое небо», «Ветер спокойствия», «Избранное» (в серии «Мастера современной прозы»), «Избранное» (серия «Библиотека болгарской литературы»), пьеса «Попытка полета» поставлена на сцене Московского Художественного театра.

В предлагаемую подборку вошли рассказы из сборника «Нежная спираль», отмеченного премией Союза болгарских писателей («Нежната спирала». София, Български писател, 1983).

зывал вошками и то и дело, заворачивая отбившихся ягнят к отаре, швырял в них палку. От этой палки ягнята хромали кто на левую, кто на правую, кто на заднюю, кто на переднюю ногу, то есть почти все они были изувечены своим пастырем. Ягнят он обзывал не только вошками, но еще и пуздрями (на местном диалекте), потому что рост у них шел в основном за счет пуза. Понятие «пуздря» применяется только к человеку и к домашним животным, к птицам же — никогда. Если бы слово не было так неблагозвучно и если б ему чуть повезло, оно могло бы войти и в литературный язык; по мнению автора, в нем заключен немалый полемический заряд и при правильном употреблении оно способно было бы погубить не одну репутацию.

Автострада с ревом и грохотом вырывалась со скоростью сто километров в час из теснины между холмами на западе, явившись туда черт-те откуда, рассекала на две равные части живописную равнину и со свирепым рычаньем штурмовала вставшие на ее пути возвышения на востоке. Это гигантское пресмыкающееся не спало ни днем ни ночью, люди боялись его и потому огородили с двух сторон проволочными сетками, чтоб оно не могло покинуть проволочный коридор. С другой стороны, эти проволочные заграждения оберегали людей, скотину, диких зверей и прочее. Все, что пыталось перейти пресмыкающемуся дорогу, погибало под его тысячелапым туловищем. Иногда оно останавливалось само, в болезненных конвульсиях, словно в горле у него застревала рыбья кость. Тогда было слышно, как разбиваются друг о друга летящие автомашины, трещала покореженная жесть, разбитые стекла звенели и рассыпались морской солью, слышались стоны и восклицания: «Мамочка!», «Боже!» «Ой-ой-ой!» «О-о-о!» или женские вопли. Раздавался вой сирен, сопровождаемый тревожным миганием красных и синих ламп, пастух выходил из-под тени дуба и прикладывал руку ко лбу, пытаясь рассмотреть, какой рыбьей костью подавилось пресмыкающееся. Иногда он шел к автостраде, повторяя про себя: «А ну, вошки, а ну!» — но приходил всегда слишком поздно. Пресмыкающееся угрожающе шипело и рычало; на том месте, где еще недавно трещал и корежился металл, пастух видел лишь кровавые пятна, алевшие на черной блестящей коже автострады; кровь свертывалась, посыпанная толченым стеклом.

Иной раз опрокидывались огромные автопоезда, особенно когда пресмыкающееся окутывал низкий туман, от этого тумана на коже его выступал едва видимый пот и оно делалось скользким и коварным. Из автопоездов вываливалась обезумевшая скотина, ломались крепкие кости, в воздухе стояло мычание, как на бойне. Обезумевшая раненая скотина тыкалась в проволочную ограду, отовсюду на нее обрушивался рев клаксонов, пронзительно визжали тормоза, свистели шины и оставляли после себя угольные следы. Случалось, что отрывался прицеп и несся неуправляемый, как детская игрушка, среди потока машин; другой раз едет себе машина дисциплинированно и спокойно и вдруг ее резко заносит, она выбивается из потока, делает в воздухе сальто-моргале, врезается в проволочную ограду и падает вверх колесами, изуродованная до неузнаваемости. Или вдруг машина поворачивает и мчится навстречу другим, или начинает вертеться волчком, словно овца, на которую напала вертячка... Это все чешуйки, которые стряхивает с себя пресмыкающееся, скользящее со скоростью сто километров в час. Ночью оно сверкает своими желтыми глазами, продолжая ронять металлические чешуйки, и тогда особенно напоминает гигантский автозавр, во мраке устремившийся на восток. К рассвету глаза автозавра бледнеют и смотрят холодно, не мигая, так же как не мигая смотрит змея, потому что у нее, в отличие от нас, людей, или другого зверья, нету век.

Однако, прежде чем пресмыкающееся начинало обшаривать дорогу и ее окрестности желтыми глазами, пастух бросал палку вслед какому-нибудь ягненку, с возгласом «А ну, вошки, а ну!» собирал ота-

ру и исчезал со своими пузатыми вошками между двумя холмами на западе. Там же исчезало солнце. За его спиной автострада усиливала рык — машины прибавляли скорость, чтоб темнота не застала их в дороге. Но хоть они и прибавляли скорость, темнота все же накрывала их. И вот тогда со стороны лугов появлялись милые прыщавые бугорки.

Может ли кто-нибудь сказать, где и как природа-мать укрывает своих детей? Трудно сказать точно, где и как, и мы говорим обычно, что она укрывает их в своем лоне. А тут язык не поворачивается назвать лоном эти вытоптанные и подчистую обобранные домашней скотиной и пузатыми ягнятами луга! Словно бы из ничего или из наступающих сумерек зарождались эти прыщавые бугорки!

Это были лягушки!

Некоторые ползли на брюхе, другие приподнимались и неуклюже двигались на четырех лапках, третьи прыгали — прыгнут раза три-четыре и остановятся отдохнуть. Но отдыхали они недолго, старались, чтоб никто их не обогнал. Были среди них маленькие лягушата, размером с зеленого кузнечика, были — и они преобладали — средней величины, но попадались кое-где и старые лягушки, такие старые, что по их виду им можно было дать сто лет. Они тоже, пыхтя, двигались к автостраде. Опаленный молниями дуб с обугленной наполовину сердцевиной тихо шелестел листвой, словно шикал на кого-то. Древесная лягушка пряталась в его ветвях среди зеленых листьев, но она не слезала с дерева и ни разу не отправилась с другими лягушками к автостраде.

Чем же автострада привлекала этих земноводных тварей?

Не были ли это искательницы сильных ощущений, которые воображали, будто могут, поднатужившись, своими лягушачьими прыжками пересечь дорогу, по которой со скоростью сто километров в час проносятся десятки и сотни смертоносных автомобильных шин, и добраться до другой стороны шоссе? И какой магнетизм или какая сила притягивала эти нежные создания к пресмыкающемуся?.. Ответить на эти вопросы я не могу. Я могу лишь посочувствовать этим милым бугоркам, которые сидят неподвижно, вплотную друг к другу, и смотрят на тысячеокое пресмыкающееся своими вытаращенными глазами. Поток машин не прекращается ни на миг, несутся автомобили всех видов, один неудержимее другого, сотни марок автомобильных шин катятся по пути из Западной Европы на Восток и в Индию или из Индии и с Востока в Западную Европу. Когда за пределами нашей страны возникает эпидемия холеры, поток иностранных машин, ограниченный санитарным кордоном, движется только ночью. Грузовые машины, рефрижераторы, краденые машины, прицепные домики, купленные с рук, всяческие моторизованные создания, латаные и перекрашенные или только что сошедшие с заводского конвейера,— все это катится на новых широких шинах, или на старых ветеранах, вулканизированных в убогих мастерских, или на шинах уже облысевших, без всякого рисунка, подобных старым галошам — стоит упасть на асфальт одной капле дождя, и стертые галоши скользят, словно это не автомобильные шины, а полозья бобслея. Промчатся милицейские машины, на миг парализуя поток, но он тут же встряхивается и, рыча, набирает скорость, спеша наверстать упущенное.

Все это проходит перед носом у лягушек, у самых их носов — если бы только можно было сказать, что у лягушки есть нос, потому что у нее ведь нет лица — ни носа, ни лба, ни подбородка или щек, а только лягушачий рот и два вытаращенных глаза! И ни у кого к этой твари никакого сочувствия, все смотрят на нее как на полное ничтожество, называют лягушкой-квакушкой, или лягухой, или лягвой. Дети, как завидят ее, так сбегаются, чтоб размозжить ей голову камнем, или кто-нибудь наступит ей на голову башмаком, так что глаза совсем вылезут из орбит. Только одно село недалеко от Плевена проявило

симпатию к лягушкам и жабам — называется оно Кыртожабене, другого села с лягушачьим именем я не знаю, слышал, правда, о каком-то Жабокреке, но не знаю, деревня ли это, или местность, или городской квартал... Ну да бог с ними!

Лягушки и жабы вообще не знают, как мы, люди, к ним относимся, не подозревают, что для нас они синоним безобразия, уродства. В сказках всех народов если царскую дочь заколдовывают, то обязательно превращают в лягушку, чтоб все смотрели на нее с отвращением. Лягушка превращается снова в царевну, если находится человек, который без отвращения поцелует ее в губы. Но, спрашивается, кто же в наше время возьмется целовать лягушек и превращать их в царевен? Если человеку попадется на пути лягушка, он в лучшем случае отшвырнет ее ногой. И вот эти всеми презираемые твари собираются вдоль автострады, ждут, когда сумерки сгустятся, и поодиночке или группами пускаются наперерез движению тысячелапого пресмыкающегося. Всю ночь симпатичные мне прыщавые бугорки лезут под лапы автомашин, одни приникают к асфальту, другие пытаются пересечь дорогу большими скачками, но так или иначе, одни медленнее, другие быстрее, все устремляются на другую сторону.

Что заставляет эти комочки жизни пересекать ночью грозно рычащую автостраду?

Утром, при дневном свете, на влажном асфальте видны раздавленные лягушки, они расплющены, как арбузные корки, некоторых воздушные вихри отбросили за обочину, и они валяются в выжженной траве кюветов. Солнце медленно поднимается по небосводу, высушивает сплющенные бугорки, постепенно они становятся легкими и, вертясь, как волчки, путаются под каучуковыми ногами автострады. Появляется со своими пузатыми ягнятами пастух, иногда остановится, опершись о герлыгу, и, видно, думает о том, как хорошо, что проволочная сетка отделяет его и ягнят от автострады. Не будь этой сетки, ягнята того и гляди вдруг ринутся, подгоняемые стадным инстинктом, на автостраду и все до одного погибнут под колесами. Умные люди умно придумали эту умную проволочную сетку, не случайно же народ говорит: береженого бог бережет!.. А лягушки? Лягушки, которые пролезают под проволочной сеткой? Пусть погибают, раз они такие дуры!

И они что ни день (а точнее, что ни ночь) погибали под колесами машин. Одни отправлялись в путь с правой обочины автострады, другие — с противоположной, левой обочины. Поодиночке или группами эти симпатяги стремились с риском для своей куцей жизни на другую сторону. И если тысячи гибли, то единицы — я глубоко в этом убежден,— где прыжками, где ползком, где почти вжимаясь в асфальт, все же достигали другой стороны. Сам факт, что эти маленькие прыщавые бугорки, с глазами, вытаращенными, как головки спичек, продолжают жить и размножаться по обе стороны автострады, говорит о том, что автострада не в состоянии их истребить. И они не только размножаются, но каждый раз с наступлением вечера направляются по ощипанным скотиной лугам, мимо старого дуба, к рычащей автостраде и, несмотря на бешеную ее скорость и смертельную для себя опасность, пытаются пересечь ей дорогу.

Знак ли какой подают мне эти маленькие бугорки, которые мы брезгливо называем лягушками, подсказывают ли мне что-то, вопросом ли каким-то вторгаются в мое бытие, не могу вам сказать, потому что сам я — внутри автострады, меня везут четыре колеса, я частица этого гигантского пресмыкающегося — слепого, хоть и тысячеглазого,— я поместился внутри него, как в свое время Иона поместился во чреве кита... Где ж мне успеть увидеть, слева или справа ослепленная фарами лягушка пытается перейти на другую сторону! Если бы она передвигалась всегда параллельно пресмыкающемуся и не пересекала ему дорогу, она бы и не погибла. Я-то на всякий случай залез вовнутрь,

как-то нашел себе место, стал частицей этого автозавра или этого пресмыкающегося, я все чаще и чаще это сознаю. Однако того, что нас ждет, сознание мое до конца охватить не может. Мчась между защитными сетками со скоростью сто километров в час, не пересекаем ли и мы, сами того не ведая, подобно маленьким прыщавым бугоркам, дорогу еще более гигантскому пресмыкающемуся? И не останемся ли мы валяться на его пути, сплющенные, точно арбузные корки, его могучими лапами?

Куст шиповника

Я не могу сказать, насколько он стар, и никто из тех, кого я позже расспрашивал, тоже не мог сказать мне, как давно живет он на свете, ровесник ли он столетних дубов и платанов, или он еще старше и пришел к нам из времен Атлантиды, динозавров, мамонтов и всех тех ужасных чудищ, чьи окаменевшие кости мы находим нынче в земле, в скалах или в угольных пластах; куст шиповника, хоть и умирает непрестанно, зато обладает способностью столь же непрестанно воскресать, потому что на месте состарившихся и умирающих веток каждый год появляются молодые побеги, которые тут же заступают на пост, стоят на карауле у смертного одра, и, когда умирающие умирают, они умирают во весь рост, подпираемые крепкими молодыми побегами. Смерть каждой ветки шиповника наступает постепенно, но и после смерти своей эта ветка еще долгие годы остается частью крепости. Говорю «крепости», ибо полагаю, что куст шиповника творит и содержит себя как постоянно действующую крепость, обращенную одновременно на все стороны света, и начинает он вести себя так со дня своего появления.

Каждый год он высевает и ревниво, как ни один другой куст, охраняет свои семена. Вообще, если он в чем-то и схож с другими кустами, то сходство это лишь частичное. Природа никому не дала столько средств обороны, сколько шиповнику, и если мы вступим с ним в честный поединок, то неизбежно потерпим поражение. Говоря о честном поединке, я имею в виду, что мы не станем поджигать его и предавать огню или не пустим на него кусторезную машину... Воображение подсказывает мне, что в своих когтях он все еще держит лоскут божьего плаща, оставшийся с той поры, когда господь обходил землю. Годы многое разметали и унесли с собой, но на кусте шиповника можно увидать и клочья шерсти, вырванной у овец, и обрывки выгоревшего ситца, и часть чьего-то рукава попадется на глаза, и веревка какая-то, и человеческие волосы, и деревянные крюки. Этими крюками сборщики шиповника притягивают к себе ветки, чтобы легче было обирать ягоды. Иногда сборщики нападают на куст целой ватагой, тащат и распинают его крюками со всех сторон. Особенно бесчинствуют они поздней осенью. Тогда внизу плоды уже обобраны, но на верхней части куста пламенеют заманчиво сверкающие ягоды, такие яркие, точно это живая кровь выступила на ветках и застыла каплями, ласково освещаемая осенним солнцем.

Человек обращает внимание на этот куст два раза в год — весной, срывая с него цветы, и осенью, обирая его плоды. Аромат у цветов шиповника чрезвычайно нежный, я бы даже сказал робкий, и ведет он себя крайне деликатно по отношению ко всему тому, что буйно цветет вокруг. Попробуйте сорвать несколько цветков — и вы увидите, что, пока вы идете по тропинке к дому, цветы один за другим осыплются. Если вы неотрывно и пристально будете всматриваться в цветущий куст, вы заметите, как под вашим пристальным взглядом цветы начнут облетать и падать на землю. Мне не хотелось бы преувеличивать, но я не могу отделаться от мысли, что по весне шиповник как-то особенно застенчив. Кроме едва уловимого аромата от

куста исходит весной и тихое жужжание — это жужжат пчелы и всякие другие насекомые, это вершится бесшумное таинство опыления.

Когда же куст шиповника отцветает, никто больше на него и не смотрит!

А в это время, все так же молчаливо, бесшумно и самоотверженно, куст шиповника начинает растить свои плоды... В одиночестве проводит он свои дни до самой осени. По склону холма вблизи шиповника снуют отдыхающие из окрестных домов отдыха и санаториев, и никто наш куст не замечает; внимание людей больше привлекают шевелящиеся свежие кротовины, и они подходят к ним на цыпочках, надеясь увидеть самого крота; им и невдомек, что крот давно уже услышал крадущиеся шаги, потому что во мраке подземных лабиринтов осторожные шаги доносятся до него тяжелым и грозным гулом, точно катится на него всемирный потоп. Вот как чувствителен этот подземный зверек! Несколько лет назад один мой приятель привез из Франции капкан для ловли кротов и поставил его во дворе своей дачи, потому что там появились кроты и двор стал выглядеть так, словно в нем расположилось стадо верблюдов — куда ни посмотри, повсюду кротовые холмики да горбы,— так вот мой приятель и вознамерился с помощью этого самого французского капкана повести с кротами пуническую войну и ликвидировать верблюжье стойбище у себя во дворе.

Не тут-то было!

И по сей день всякий, кто попадает туда, видит не только во дворе моего приятеля, но и во всей дачной зоне кротовьи кочки и холмики, иные давно уже заброшенные, поросшие травой, превратившиеся в кротовьи могилы, а другие совсем свежие, настолько свежие, что выброшенная наружу земля еще курится... Приходилось мне наблюдать, как человек, набравшись воловьего терпения, стоит, расставив ноги, над кротовьей кочкой, сжимает в руках мотыгу и не смеет шевельнуться, стоит, оцепенев, точно пригвожденный к месту, дышит осторожно-осторожно — не спугнуть бы зверька — и ждет того момента, когда он начнет мордочкой выталкивать землю из своих подземных лабиринтов. Часами стоит так человек, и лишь только кочка зашевелится, заносит мотыгу, чтобы поддеть ею и кротовью кочку, и крота, но поддевает обычно только часть кочки, а крот бесследно исчезает под землей.

Но вернемся снова к нашему кусту шиповника... Утонув по колено в овечьей шерсти, он привольно расположился на южном склоне Бабы-Яги. Вокруг него паслись овцы, вся Баба-Яга вытоптана ими и выщипана подчистую. В сердцевине куста виднеется сочная трава, овцы просовывали туда морды, чтоб ее выщипать, а когда выбирались назад, каждая из овец оставляла на ветке по клоку шерсти — потому и кажется, что куст стоит по колено в шерсти. Дальше по склону видны и другие кусты, можно сказать, что все дорожки Бабы-Яги, предназначенные для больных-сердечников, украшены кустами шиповника, и кусты эти, кудрявые, взъерошенные, топорщатся, словно шапка волос на голове девушки-негритянки, наш же шиповник красуется, точно шапка волос на голове Анджелы Дэвис. Издали видно, что сборщики шиповника его не обошли,— до той высоты, до какой дотягивается рука, он весь обобран. Однако верхняя половина куста вся усыпана крупными, сочными плодами, ярко-красными и блестящими, точно капли крови. Осень щедро одарила все плодовые деревья. Усыпаны плодами и старые груши. Отдыхающие то и дело трясут их, груши с глухим стуком, словно камни, падают на землю, отдыхающие собирают их, надкусывают и выплевывают откусанное — груши еще зеленые и несъедобные,— бросают плоды и переходят к следующему грушевому дереву, трясут его, пробуют упавшие плоды и бросают их на поляну и на дорожки терренкура. Баба-Яга вся усеяна надкусанными грушами, история эта повторяется каждый день, и

удивительно, как это снующее по холму недужное человечество не может понять, что груши еще зеленые и твердые, и проверяет каждый божий день крепколобое человечество, в самом ли деле груши еще зеленые и твердые и в самом ли деле их нельзя есть! И средиземноморский каштан торчит на самом хребте Бабы-Яги, плоды его щетинятся колючками, крепколобый человек и здесь пробует свои силы, сшибая зеленых ежиков камнями. И ореховые деревья растут на склоне, скорлупа орехов уже трескается, в зеленые кроны со свистом врезаются камни, и орехи один за другим падают на землю. Нет такого дерева, которое отдыхающие не атаковали бы камнями, или такого куста шиповника, который они не пытались бы обобрать. Каждый норовит что-то сорвать, как будто природа широко распахнула дверь в свои кладовые, чтоб любой прохожий мог протянуть руку, пошарить и уволочь что попадется. Видел я, среди прочих, старушек таких древних, что в голову приходит мысль, не ровесницы ли они наскальным рисункам из пещеры Магура, идут эти бабки целой ватагой, на ногах у всех зеленые или лиловые шерстяные носки, и почти всегда в группе есть одна бабка вдвое старше всех прочих — так и кажется, что подуй только ветер, и полетит старушка, точно баба-яга, над холмом. Родственники послали ее на воды в надежде, что она в этих водах в конце концов утонет. Но бабка не тонет, и вот через сто с лишним лет после освобождения от османского ига семенит шустро и принимает минеральные ванны, а когда не принимает ванны, то обшаривает поляны Бабы-Яги и с помощью перочинного ножичка пробует все зеленые груши подряд; если другие залезают в куст шиповника, чтобы набрать ягод для шиповникового вина, она тоже лезет в куст и тоже собирает шиповник на вино, потому что это вино битком набито витаминами и всякой другой пользительностью. Среди бабок торжественно продвигаются мужчины разных габаритов, почти все они в куртках из черной искусственной кожи, лица их раскраснелись от ежедневных ванн, и глаза тоже покрасневшие. Они повсюду носят с собой японские стереофонические магнитофоны «хитачи» величиной с космические челноки и заливают громкой музыкой всю Бабу-Ягу. Глазами они зыркают во все стороны, предвкушая появление какой-нибудь красотки, которая будет поглядывать украдкой на их стереофонические «хитачи», разлегшиеся среди жухлой травы и цветов осенницы и наяривающие каждый свою мелодию. Что касается женского пола, на Бабе-Яге его видимо-невидимо, к минеральным источникам съезжаются главным образом женщины. Они группами проплывают по склону Бабы-Яги, точно мелодия народной песни, все как одна выкупанные в минеральных водах, в большинстве своем завитые мелким бесом, меньшинство — с прямыми волосами или в платках, и распространяют вокруг себя прилипчивый запах духов «Может быть». В то время эти духи были на курорте в большом ходу, женщины, вероятно, ценили их за сильный аромат. Он был способен буквально обезглавить человека, зарезать его словно бритвой, а женщины, как видно, к тому и стремились.

Вот в такой среде обитал наш куст шиповника. Добавлю еще только, что вокруг него цвели осенницы и в какой-нибудь пяди друг от друга были разбросаны норки полевых сверчков. Сверчки высовывали из них лишь головы, грея их на солнышке, но, завидев человека, мгновенно скрывались. Магнитофонов они не боялись, наоборот, устраивались преспокойно у порога своих жилищ и слушали музыку. Наверно, они принимали их за больших сверчков.

Один лишь куст шиповника стоял, погруженный в себя, отвернувшись от Бабы-Яги вместе со всеми ее отдыхающими, с цветами осенницы, толпами народа, недозрелыми грушами и каштаном. Он использовал мягкое осеннее солнце, чтобы налить соком свои яркие плоды и навести на них весь возможный глянец. Любители шиповника, конечно же, приметили наш куст, но обобрали лишь нижнюю

его часть, насколько доставала рука. Настоящие сборщики, те самые, опытные, с длинными деревянными крючьями и другими самодельными приспособлениями для сбора дикорастущих плодов, пока еще не появлялись. Такие сборщики имели обыкновение проноситься по природе подобно смерчу. После дождя они собирали подчистую все грибы, вырывая их с корнем, не пренебрегали и улитками, стоило только брызнуть хоть маленькому дождичку и медлительным, беспомощным созданиям поползти по мокрой листве; те же ценители природы ограбили землю-матушку, перетаскав всех черепах, и теперь если черепаха пожелает найти себе пару, должны пройти десятки лет или целое столетие, пока одна черепаха доберется до другой черепахи, что живет на соседнем холме! (А может, они и вообще никогда не встретятся и не спарятся, потому что за пятьдесят лет, что я живу на свете, я ни разу не видел, чтоб черепаха, в стремлении продолжить свой род, перебралась с одного холма на другой!) Все те же тонкие ценители шастают по горам с железными граблями и обдирают черничные поляны, заготавливая ягоды на варенье и джемы; вместе с ягодами они обрывают своими железными граблями листья, таким образом сбор идет быстрее, а кроме того, можно не бояться, что какая-нибудь змея, притаившаяся в частых кустиках черники, кольнет коварно незащищенную руку сборщика. Природа заготовила разнообразные западни, она пытается оборонить то, что породила, но человек, накапливая опыт, стремится перехитрить природу и одного за другим вырывает ее детей из ее объятий.

Пока я размышлял о моем кусте шиповника и смотрел с восхищением на верхнюю его половину, что алела, не тронутая ни одним сборщиком, я увидел, как, лавируя среди владельцев стереофонических «хитачей», прошли человек десять с деревянными крючьями, отполированными долгой службой. Некоторые несли в руках корзины, закрытые сверху кусками материи, другие закинули за спину большие мешки. Это были настоящие, профессиональные сборщики дикорастущих плодов. Они еще издали углядели яркие, налитые соком ягоды, венчающие большой куст шиповника, и теперь напоминали мне верблюдов, которые после долгого перехода через пустыню увидели наконец своими выпуклыми меланхолическими глазами оазис, и, хотя их выпуклые меланхолические глаза не выдают ни малейшего волнения, можно заметить, что верблюды ускоряют шаг. Таким же образом ускоряли шаг и сборщики, особенно выделялся своей энергией низкорослый человек в рваной зеленой фуфайке. Не знаю, была ли на его фуфайке хоть одна петля, не задетая колючкой или шипом — боярышника ли, шиповника или ежевики. Волосы у него были встрепанные и торчали во все стороны, напоминая в какой-то степени его же растерзанную фуфайку. В одной руке он держал короткий крюк, которым он размахивал, показывая что-то остальным, и то забегал вперед, то как-то боком возвращался к основной группе. Когда сборщики шиповника подошли к кусту и стали его оглядывать, прикидывая, с какой стороны удобней напасть на него и обобрать, к ним подошли и владельцы стереофонических аппаратов. Одни из них сменили кассеты, другие усилили звук, и музыка, смешанная с человеческим говором, затопив всю Бабу-Ягу, докатилась до самой резиденции — тихого здания, одиноко белеющего внизу. Это и были те самые многоопытные сборщики, что проносятся по природе, словно смерч, не пропуская ни деревца, ни кустика, так что у природы уже не осталось ни одной крепости, которая не пала бы перед их натиском.

Сборщики оглядели куст и небрежно атаковали его с верхней стороны. Баба-Яга спускалась здесь к югу, к резиденции. Сборщики полагали, что с верхней стороны им легче будет захватить куст, разодрать его крючьями и каждому подтащить к себе свою часть. Судя по их возгласам, они уже были под парами. По двум соседним дорожкам прошли женщины, распространяя вокруг себя прилипчи-

вый аромат «Может быть», сборщики зацепились за них взглядами, точно колючки, и попытались было перекричать магнитофоны, но у них ничего не вышло... Атака с верхнего края куста не дала результатов, тогда они разделились на две группы, одна группа перешла к нижней и более низкой стороне куста, и все снова, закидывая крючья, стали тянуть его к себе.

Куст шиповника вздрагивал и покачивался, раздираемый сборщиками. Чего они, в сущности, хотели, чего добивались от куста? Я стоял на гребне Бабы-Яги и наблюдал, как эти умельцы пытались разодрать огромный куст, показывавший спину каждому из них. Они стремились отъединить от куста отдельные ветки, отдельные побеги и пригнуть их к себе, пытались разомкнуть эту гибкую, пружинистую колючую крепость, чтобы легко и безболезненно сорвать с нее плоды. Но колючая крепость, хоть и вздрагивала и изгибалась, хоть при особенно сильных рывках угрожающе клонилась набок, все же не сдавалась и упорно отстаивала свою целостность. В единении всех ее ветвей заключалась та сила, которую она противопоставляла сборщикам. Вскоре послышалась команда, хриплый голос через равные промежутки времени стал выкрикивать: «А ну разом!.. А ну разом!..»

Меньшие кусты шиповника, беспорядочно раскиданные по всей Бабе-Яге, стояли испуганные и притихшие, точно головки негритяночек, уткнувшихся в колени матери, и лишь тот огромный куст, о котором в самом начале мы сказали, что в своих когтях он держит лоскут божьего плаща, раскачивался все сильнее, терзаемый сборщиками дикорастущих плодов. В наступательном раже они закидывали по очереди свои крючья, подтягивали к себе ветки, отцепляли крючья и снова их закидывали, захватывая мало-помалу отчаянно сопротивляющийся куст. Они показались мне похожими на пиратов, что своими крючьями берут на абордаж мирный корабль, одиноко пересекающий океан. Особенно ярился низкорослый человечек в зеленой фуфайке. Он лез напролом, угрожающе размахивал своим крюком, закидывал его и повисал на нем всей своей тяжестью, скорчившись, как эмбрион в утробе. Наконец сборщикам удалось слегка раздвинуть ветки; куст медленно и постепенно, все так же вздрагивая, чуть приоткрылся, точнее, отворил в себе узенькую расщелину. Сборщик в зеленой фуфайке, тыча крюком в расщелину, закричал: «Змея, змея!» Несколько «хитачей» приблизились, владельцы их в черных куртках из искусственной кожи заглянули в расщелину и увидели, что в кусте притаилась не змея, а сухая выползина. Змея когда-то приползла сюда, скинула одежку в куст шиповника и поползла дальше по Бабе-Яге.

Крик «Змея, змея!» — и вид змеиной кожи заставил нападающих отступить, куст прошелестел и быстро сомкнулся над расщелиной, скрыв от глаз людских сухую змеиную кожу. Никто не мог сказать, что еще прячется там, в сердцевине куста. От выползины повеяло некоторой мистикой, и я могу сказать, что среди сборщиков наступило известное замешательство. Первым пошел на новый приступ сборщик в зеленой фуфайке, остальные, один за другим стряхивая с себя оцепенение, перебрались вслед за ним на нижнюю сторону, рассчитывая, видимо, что если все они нажмут с нижней стороны, то повалят куст и расстелют его по земле и тогда уже легко будет собирать ягоды.

В какой-то момент они почти уже добились успеха, куст сильно наклонился, и стало слышно, как трещат его сухожилия. Часть сборщиков отцепила крючья, чтобы перехватить ими повыше и еще потянуть куст на себя, но тут он внезапно рывком снова выпрямился. Вместе с его ветками взлетел в воздух и человек в фуфайке, крепко ухватившийся за свой крюк. Я увидел, как он перевернулся на лету, услышал его возглас, и не успел этот возглас стихнуть, как человек вместе со своим крюком исчез среди веток. Куст шиповника вдруг

предстал передо мной как расположившееся на голом склоне Бабы-Яги хищное животное. В мгновение ока он ухватил своими когтями бедолагу с крючком и втянул его в свою колючую утробу, туда же, где пряталась змеиная выползина. Из куста послышался стон, сборщики в замешательстве отпрянули от куста, черные куртки из искусственной кожи, наклонившись, приглушили рев своих «хитачей». Бабки перестали трясти зеленые груши и заспешили по дорожкам терренкура.

Над кустом пролетели сойки, каждая из них несла в клюве по грецкому ореху. Куда они несли эти орехи, не могу сказать, неясно мне также, может ли сойка проглотить орех или расколоть его клювом, или она с высоты роняет его на камень, чтоб орех раскололся и она могла съесть ядрышко. Человек из куста стал звать на помощь, он, видно, запаниковал, потому что забился в кусте, точно муха в паутине. Однако, подобно мухе в паутине, чем больше он метался, тем больше запутывался, куст охватывал его и впивался когтями со всех сторон. Куст лишал его возможности двигаться.

Солнце клонилось к закату, освещая пологими лучами алые плоды шиповника, и они все больше напоминали капли крови, проступавшие на лбу куста. Страх пополз по скатам Бабы-Яги, сборщики предпринимали вялые попытки помочь пленнику, но попытки их скорее всего отягчали его положение, потому что вскоре он стал вопить изнутри, умоляя не раскачивать куст, не то его когти еще глубже впиваются в тело. «Ох, больно... ох!»...— стонал бедолага, попавший в ловушку.

Никогда прежде я не видел, чтоб Баба-Яга так быстро пустела. Отдыхающие поспешно спускались к своим домам отдыха и санаториям, по ту сторону гребня прошел чабан, покрикивая на овец. Его не было видно, слышно было только блеянье да перезвон колокольцев. Владельцы «хитачей» совсем приглушили музыку и почти на цыпочках спускались в низину, где зарождался легкий голубоватый туман, а может, и дым, кто знает. Во всяком случае этот голубоватый туман или дым волнами медленно пополз по голому боку Бабы-Яги к кусту шиповника, вонзившему все свои когти в пленника. Я стоял на гребне и наблюдал за сборщиками. Они разбирали свои корзины и мешки, кое-кто закурил, дым пластами повисал над ними. Они о чем-то тихо переговаривались и тихо говорили что-то пленнику. Потом взяли свои корзины и мешки и, вскинув на плечи деревянные крючья, потянулись в разные стороны. Видимо, эти люди не принадлежали к одной группе сборщиков, а случайно встретились днем у кустов шиповника, разбросанных по горному склону, наскоро перезнакомились, но при первой же беде разбрелись каждый в свою сторону. Они немало поизмывались над природой, но вот и природа нашла случай поизмываться над ними и задержала одного из них в своих когтях.

Больше я не подходил к кусту.

Я медленно прошел по гребню, мне казалось, что куст шиповника становится все больше и все более крупными делаются кроваво-красные плоды, усыпавшие его со всех сторон, а среди них, быть может, проступали и капли живой крови, которые древний куст с эпическим спокойствием выдавливал из своего пленника. Тот едва шевелился в его утробе, всеми покинутый, в обществе одной лишь высохшей змеиной кожи, хрипел и отдавал богу душу... Непонятно было, кто и как мог помочь несчастному!

Я шел по гребню Бабы-Яги и думал о том, что возле нас непрерывно кто-то или что-то умирает и что умирающим никто не в состоянии помочь. Если б сам господь спустился с неба, он лишь беспомощно пожал бы плечами, и лучшее, что он мог бы сделать в подобном случае, это прибрать душу умирающего. Я часто спрашивал себя, зачем богам души умерших, и никогда не мог найти ответа на свой

вопрос. Не для того ведь собирают боги души умерших, чтобы играть с ними в домино!

На другой день прошел дождь с градом, потом белый туман окутал Бабу-Ягу, и в тумане возвышался огромный, дикий и взъерошенный куст шиповника. Народ толпился в отдалении, наблюдая, как медленно куст убивает человека. Сборщик диких плодов подавал совсем уже слабые признаки жизни, он почти не шевелился, лишь пытался повернуть голову, ожидая, как видно, что вот-вот появится помощь, но крепкие когти куста ухватили его за чуб — кровь, забрызгавшая его, уже свернулась — и не позволяли умирающему обернуться. Солнце временами пробивало туман, заливая светом Бабу-Ягу и куст, в его лучах огромные кроваво-красные плоды казались огромными каплями крови, которые куст шиповника выдавливал из самого своего сердца, угрожающе поглядывая на все стороны света. Я стоял среди притихшей толпы и заметил, как у всех мурашки побежали по коже. Люди переступали с ноги на ногу, тихо переговаривались, потом появились владельцы «хитачей», но аппараты их на этот раз молчали. Над всеми нами, над всем этим недужным миром минеральных вод и санаториев возвышался, точно злой идол, дикий куст шиповника. По всей вероятности недужный этот мир впервые наблюдал, как куст убивает человека. Словно какое-то ужасное чудище времен погружения Атлантиды и динозавров появилось на холме, посягнуло на одного из нас, двуногих, и теперь неторопливо и неуклонно выцеживало из него соки.

О Бабе-Яге. Название «Баба-Яга» закрепилось за широкой седловиной холма, расположенного на запад от минеральных источников. Весь курорт Банкя находится в микрорайоне, насыщенном кислородом, а уж Баба-Яга до того им богата, словно над этим холмом бьет невидимый небесный ключ, и на отдыхающих, подобно водопаду, низвергаются кислородные волны. В те дни, когда содержание кислорода в воздухе особенно высоко, здесь ощущаешь нечто вроде приятного опьянения, будто волхвы подхватили и несут тебя, и ты, почти бестелесный, едва-едва касаешься земли. Свое имя холм получил от маленького деревянного домика, поставленного на гребне, никому и ни для чего не нужного и названного почему-то домиком Бабы-Яги. Сам домик люди постепенно перестали замечать, никто около него не останавливается, потому что в нем нет ничего приметного, но имя Бабы-Яги осталось и понемногу, год за годом, распространилось на весь холм. Наверху, у самого домика, настлана площадка из бетонных блоков, в щелях между ними растет трава. Больные из санаториев и домов отдыха под руководством молоденьких инструкторш по лечебной физкультуре делают там упражнения. Иногда можно увидеть, как группы по пятьдесят, по сто человек упражняются с палками из букового дерева. Для большей части отдыхающих и больных, склонных к полноте, занятия эти — истинная пытка. Да простит меня нежный пол, но особенно мучительны эти упражнения с легкими буковыми палочками для женщин. Могу сказать, что во времена куста шиповника две из трех женщин непременно были толстые, они с величайшим усердием выполняли упражнения, надеясь похудеть, но нагибаться им было трудно, и зрелище они представляли собой крайне забавное. Кроме палок на Бабе-Яге использовали для занятий физкультурой и мячи, с женщин и тут сходило семь потов, но они все равно не отступались, потому что женщина, как известно, существо самолюбивое и упорное. Может быть, я вынес с Бабы-Яги не совсем верные впечатления, особенно по части женщин, но оправданием мне должен служить тот факт, что в описываемое время женщины составляли три четверти, если не четыре пятых всех отдыхающих. У женщин большая слабость к минеральным водам. На какой наш ку-

рорт с минеральными источниками вы не отправитесь, всюду увидите, как по курорту толпами движутся женщины и лишь кое-где можно заметить мужчину, несомненного доходягу, с мученическим выражением лица, жертву то ли хронической язвы, то ли песка в почках, то ли ревматизма, шпор, артрита или дьявол знает чего еще. Женщины, напротив, очень редко страдают какой-нибудь болезнью, а на курорты ездят просто потому, что обожают минеральные источники, вот и съезжаются туда, словно к провидице из Петрича. В Болгарии полно минеральных источников, и немного найдется таких римских императоров или турецких султанов, которые не окунали бы свои зады в наши минеральные воды. Из поколения в поколение о минеральных источниках рассказывают легенды — больных, мол, привозят на телетах, приносят на руках или они добираются на костылях, а потом, выкупавшись в бассейне с минеральной водой, бросают костыли и пешком отправляются по домам. Я повсюду слышал подобные легенды, но ни на одном курорте не видел музея, в котором были бы собраны брошенные костыли. Не видел и не увижу!.. Здесь, у Бабы-Яги, тоже нет музея костылей... На холм ведут разные дорожки, одни — крутые, другие — ступенчатые, третьи — с едва заметным наклоном, чтоб по ним могли ходить и тяжелобольные. Эти дорожки со всех сторон опоясывают Бабу-Ягу, через равные интервалы на них поставлены таблички, указывающие, каков наклон, и больные могут сами регулировать нагрузку на сердце. Эти дорожки называют терренкуром, они предназначены для сердечников. Считается, что, если человек, перенесший инфаркт, поднимется на гребень Бабы-Яги, значит, он уже здоров. Нередко можно увидеть больных, которые прохаживаются взад и вперед у подножия холма, с опаской поглядывая на гребень, как будто они смотрят на Гималаи. Это люди, которые недавно перенесли инфаркт, в их глазах появляется ужас при одной только мысли, что когда-нибудь им придется покорять Бабу-Ягу... До войны весь холм принадлежал частным лицам, жители поселка владели там участками, засевали их, некоторые пытались делать террасы, чтобы потоки воды не смывали плодородную почву, другие сажали фруктовые деревья, от них остались груши с плодами, твердыми, как камень, которые, по-моему, вообще никогда не созревают и остаются каменными до следующей осени, третьи попытались засадить на самом гребне маленькую рощицу из средиземноморского каштана и грецкого ореха и почти в этом преуспели, но отдыхающие постоянно бомбардируют орехи и каштаны камнями, ломают ветки, и несколько уцелевших на гребне деревьев представляют сейчас жалкое зрелище. Еще на холме остались луга, заросшие осенницей и изрытые кротовинами, по лугам разбросаны одичавшие груши, кусты лесного ореха, шиповника, боярышника, акации, сосенки, яблони. Среди всего этого проложены дорожки, и вот уже года два или три как новая дорожка ведет промеж низкорослой кукурузы прямо в горы, так что Баба-Яга стала связующим звеном между горами и курортным поселком. Я никогда не доходил до конца этой новой и, как мне кажется, бесконечной дорожки, но мои знакомые доходили и говорят, что она выводит к монастырю и что это очень приятная прогулка, но второй раз они, по-моему, так и не пошли. Эта дорожка пугала меня, потому что я видел, как по ней в горы отправляется группами множество людей, а назад идут немногие и поодиночке. В теплую погоду вся Баба-Яга усыпана народом, кто лежит на спине, подложив руки под голову, кто прогуливается взад-вперед с шагомером в руке, женщины сидят кучками на траве и вяжут что-то из зеленой шерсти (в то время в магазинах продавалась преимущественно зеленая шерсть, ее особенно любили турчанки, они покупали ее килограммами и знай себе вязали), владельцы здоровенных «хитачей» проносятся, как собачья свадьба, со своими аппаратами, внезапно останавливаются, уставившись на магнитофоны, потом как по команде поднимают их с земли и

несутся куда-то дальше. Куда устремляются эти люди и почему их несет точно сомнамбул, не могу вам сказать! О них было известно только, что они выращивают грибы или откармливают свиней, зашибают хорошую деньгу и, не зная на что ее употребить, покупают дорогую музыкальную аппаратуру. Всегда, когда я их встречал или подходил к ним, меня удивляла фанатичность их взглядов, прикованных к «хитачам», словно каждый из них всем своим существом обращен к своему божеству и, вслушиваясь в его вибрации, непрерывно перебирает дрожащими пальцами штекеры и кнопки. Тем самым каждый из них заставлял свой аппарат выть на верхних нотах, низвергаться в гортанные низы и разлагать музыку на составляющие ее голоса разных инструментов, словно повсюду вокруг играли невидимые музыканты... Эти люди, думается мне, больны, они маньяки, они погрузились в свои аппараты, как утопленник погружается на дно и вода еле-еле его покачивает. Мы должны быть снисходительны к людям такого рода, они находятся во власти какого-то недуга и вращаются в недужном же мире, потому что на минеральных водах преобладают люди старые и больные. Мне совсем не хочется наносить обиду старости, но ведь именно старость чаще всего приводит с собой болезни, наглядно показывая нам, что человеческое тело бренно, поэтому старость накладывает свой безрадостный отпечаток на всю Бабу-Ягу, и если то здесь, то там иногда и услышишь смех, то и смех звучит нерадостно, рассыпаясь по плешивеющим склонам Бабы-Яги. Нередко можно увидеть на холме и пенсионеров, усевшихся играть в бридж-белот. Вокруг всегда толпятся зеваки, которые подсказывают игрокам, хотя необходимости в этом нет, потому что игроки и так постоянно заглядывают в карты противника, что-то подсказывают друг другу условными жестами и обыкновенно ссорятся, не доведя игру до конца. Поодаль видны люди, которые стоят и смотрят на белое здание резиденции, расположившееся у подножия холма, чистое и уединенное, точно на глазах у людей возникло каменное видение будущего, с магнетической силой привлекая к себе взгляды. В особенности это относится к новичкам, каждый новичок, как только начнет подниматься на Бабу-Ягу, по лугам ли, по дорожкам ли терренкура, не умолкая спрашивает, где резиденция, и как только увидит ее между деревьями, занимает удобную позицию и долго за ней наблюдает, а если новичков несколько, они тихо переговариваются и гадают, какая часть резиденции для чего служит, почему совсем не видно людей, почему из труб не идет дым и т. п. и т. п. Чаще всего ведут себя так мужчины, женщины проявляют меньше любопытства, они бросают на резиденцию мимолетный взгляд и идут дальше. Еще над Бабой-Ягой во всех направлениях разносятся плоские шутки, охи и вздохи тех, кто карабкается наверх, а кое-где, в укромных местечках за кустами лесного ореха, мужчины делятся друг с другом воспоминаниями, рассказывают истории, случившиеся с ними или от кого-то услышанные, всяческие небылицы и прочее. В таком укромном местечке я раз слышал, как одного мужика уговаривали рассказать историю о гиппопотаме. «Ну расскажи про хепопотама,— непрерывно увещал его кто-то из группы. — Расскажи, пусть другие послушают, они этой истории еще не слышали!..» Мужик не выдержал натиска и рассказал следующую историю о гиппопотаме, которую я постараюсь передать. В одном болоте жил, по уши в тине, гиппопотам. Недалеко от него жил жираф, животное длинношеее и высокомерное. Жираф терпеть не мог гиппопотама и искал случая послать его по матушке. Будучи существом ехидным и коварным, точно византиец, жираф придумал вот что: он пройдет мимо болота и скажет гиппопотаму: «Здорово, гиппи!», гиппопотам ответит ему: «Здорово!», жираф спросит: «Как живешь?» — и гиппопотам сдуру ответит: «Прекрасно!» Тогда у жирафа будут все основания вспылить и сказать в сердцах: «Как же это прекрасно, так тебя и разэтак! Как прекрасно, когда ты си-

дишь по уши в грязи, в этой вонючей луже, и тебя не видать даже, только глаза над болотом торчат, словно кочки! Разве это прекрасно?..» Вот так, значит, жираф придумал, как он изматерит гиппопотама, и пошел к болоту. Однако!.. Однако посреди дороги он останавливается и говорит себе: «Ну ладно, приду я к гиппопотаму, скажу: «Здоро́во, гиппи», он скажет: «Здоро́во», я скажу: «Как живешь-можешь?»... и вдруг он скажет: «Да плохо живу!» — что я тогда ему скажу? Тогда я скажу: «Еще бы тебе не жить плохо, так тебя и разэтак! Как же тебе не жить плохо, когда ты сидишь по уши в этой грязной луже, весь в тине, и никакого не видишь перед собой простора!..» И жираф, воодушевленный своей новой идеей, продолжает путь к болоту, однако через некоторое время снова останавливается и говорит себе: «Ну ладно, я подойду к гиппопотаму, скажу ему: «Здоро́во, гиппи». он скажет мне: «Здоро́во», я спрошу его: «Как живешь-можешь?» ...и если он не скажет мне ни «прекрасно», ни «плохо», а скажет: «Так себе» — что я тогда ему скажу?» Подумав немного, жираф издает радостный клич. Вот что он тогда ему скажет: «Как же это так себе, так тебя и разэтак! Как же это так себе, когда ты живешь в гнусном болоте, в этой тине, в которой ты погряз по уши, так что ничего дальше своего носа не видишь! Какое же это так себе!..» И жираф, совершенно уверившись в том, что гиппопотаму нипочем не вывернуться, самой небрежной своей походкой подходит к болоту, в котором гиппопотам сидит-таки по шею в тине, и говорит ему: «Здоро́во, гиппи!» Гиппопотам отвечает: «Здоро́во!» «Как живешь-можешь?» — с византийским коварством спрашивает его жираф, а гиппопотам преспокойно отвечает: «Так тебя и разэтак!»— и спокойно погружается еще глубже в болото... Наступило молчание. Потом какой-то наивный товарищ спросил, а что такое «хепопотам», другой ответил, что это бегемот, и спрашивающий, вероятно, удовлетворился, потому что ни о чем больше спрашивать не стал, опасаясь попасть в положение жирафа, который, несмотря на все свое ехидство и византийское коварство, все равно сел в лужу. Видно, предусмотреть заранее все варианты лужи никогда не удается, потому что у лужи всегда есть запасной вариант!.. И другие истории можно услышать на Бабе-Яге, но историй этих столько, что все не перескажешь. Еще знатоки лекарственных растений собирают здесь всякие целебные травы, у подножия холма турчанки целыми днями ковыряют ножичками, добывая кору платанов, из которой приготовляют средство против трещин на пятках, а люди со слабым зрением, проходя мимо минеральных источников, каждый раз споласкивают глаза, полагая, что минеральная вода улучшает зрение. Однажды я заметил, как у источника споласкивает глаза поп, и подумал: «До чего дожил — увидел, что и поп во что-то верит!..» Еще на Бабе-Яге можно увидеть, как медленно, пощипывая траву, бредут отары овец, а иной раз — как стоит на самом гребне лошадь, задумчивая и неподвижная, точно камень, упавший с неба. Чья это лошадь, откуда она взялась на гребне, бог ее знает! Даже если бы сама баба-яга пронеслась над холмом, оседлав старое помело, едва ли кто-нибудь бы удивился, потому что все живое мельтешит по холму в состоянии какой-то отрешенности, словно это волхвы подхватили его и куда-то несут. А кислород продолжает невидимыми волнами струиться из небесного источника. и, может, он-то всех и пьянит... Но на этом мне пора остановиться и вернуться к кусту шиповника.

Я сказал, что тот бедолага, захваченный кустом, хрипел и отдавал богу душу.

Кабы это было на самом деле!

И не хрипел он, и не отдавал богу душу. Кусту шиповника не удалось его захватить и вонзить когти в его тело. Он вообще не су-

мел взять в плен никого из сборщиков дикорастущих плодов. Хотя наш куст, глубоко ушедший корнями в землю, гибкий и сильный, сопротивлялся, трещал и угрожающе шипел, хотя поначалу ему удавалось, напрягая все свои сухожилия, отцепиться от деревянных крючьев своих недругов, все-таки в конце концов он не выдержал и рухнул; люди понемногу, не торопясь, растаскивали его на части, прижимали отдельные побеги к земле, наступали на них ногой, потом захватывали своими неумолимыми деревянными крючьями следующие и таким образом разодрали и уничтожили всю его негритянскую прическу. Одновременно они подзывали и бабок, чтоб и те подошли и набрали себе шиповника на вино, и бабки подходили и рвали крупные ягоды, и несколько молодых женщин свернули с дорожек, проложенных для сердечников, и тоже стали обрывать куст, а владельцы здоровенных «хитачей» усилили звук до такой степени, что аппараты их заревели, точно львы, вдруг набежавшие на облысевшие склоны Бабы-Яги. И не успели еще наступить сумерки, как куст шиповника был совершенно разорен, растоптан ногами и избит деревянными крючьями сборщиков, отомстивших ему за то, что он так долго сопротивлялся и что он сумел пустить кое-кому кровь, вонзив коготь в плечо или оцарапав щеку. Они убили его в буквальном смысле слова, пришибли, как пришибают змею, заколотили до смерти своими деревянными крючьями. И, как ни странно, никто не крикнул: «Что вы делаете, зачем вы убиваете куст!» — как будто всем казалось вполне естественным, что группа людей, вооруженная своими первобытными орудиями — деревянными крючьями,— набрасывается на мирный куст шиповника и с первобытной жестокостью растаптывает его, как растаптывают голову змеи.

Я не знаю, сколько лет было этому кусту, и никто из тех, кого я позже расспрашивал, не мог мне сказать, как долго жил он на нашей земле, ровесник ли он столетних дубов и платанов или он еще старше и жизнь его началась во времена ушедшей под воду Атлантиды, наскальных рисунков в пещере Магура и всех тех чудищ, чьи окаменевшие кости оседают в земле, в камне или в угольных пластах... а также внутри нас, во мраке наших глубоких, затаенных подземелий.

Ночной выпас

Я каждый день хожу в парк, ходил зимой, несмотря на мороз, и весной хожу, когда один, когда в компании с каким-либо неотвязным воспоминанием или с какой-нибудь мыслишкой в голове, такой убогой и неприглядной, что, хоть я и таскаю ее с собой целыми днями, мне никак не удается соблазнить ею другую мысль, чтоб они совокупились, оплодотворили друг друга и, глядишь, породили бы что-нибудь дельное; иной раз мне кажется, что даже улитка с улиткой или черепаха с черепахой и те совокупляются быстрее.

Но что я могу поделать, если по части мыслей вокруг меня так бедно? По части мыслей бедно, зато картин сколько угодно. С каждым днем в лесопарке все оживленнее, все больше и людей, и птиц, парк медленно, но неуклонно зеленеет, пробивается нежная травка, особенно на припеках, деревья покрываются зеленой листвой, и в тишине можно услышать, как под корой шепчет мезга. В тихую погоду даже дятел умолкает, вслушиваясь в шепот мезги, и перестает долбить ствол. Дерево целиком сосредоточивается на себе и словно говорит дятлу: «Не смей стучаться ко мне в дверь!» — и дятел, недаром он лесной житель, тут же внемлет этому предупреждению, понимает, что дереву не до него, и не стучится к нему в дверь. Если же мимо пройдет человек, то он, в отличие от дятла, не послушается предупреждения и постучится в дверь. Таким же образом, когда человек видит на стене надпись: «Не трогать!» или: «Осторожно, окрашено!» — он тут же трогает стену пальцем, чтобы проверить, пра-

вильно ли написано, и, убедившись в том, что правильно, принимается ругать стену, свежую краску, потом надпись и под конец самого себя... Но вернемся к картинам, которые можно увидеть в парке.

Пруд, который зимой был спущен, теперь снова наполнен водой, и по нему плавают утки. По островку посреди пруда крадется железная лисица, ее назначение — пугать уток. Но утка — птица глупая, она поплавает по пруду, понырял, а потом преспокойно вылезает на островок и прямо около крадущейся лисицы чистит перышки и охорашивается. По субботам я вижу, как работающие на субботнике сгребают прошлогоднюю листву. Часть листвы куда-то увозят, часть складывают в кучи за обсерваторией. Издали эти кучи похожи на верблюжьи горбы, все равно как если б одногорбые и двугорбые верблюды разлеглись на зеленой траве среди деревьев и жевали свою жвачку. Я смотрю, как мои сограждане орудуют граблями, мотыгами и лопатами, и вижу, как неловок в этой работе горожанин и как он постепенно на сотни и тысячи световых лет отдаляется от простых орудий труда... В ветках дерева я нередко замечал маленькую птичку с коричневой шейкой; вся обратившись в трепетный инструмент, она исторгала из себя нежные звуки. Неподалеку, скрывшись в ветвях, откликалась другая птичка, тоже обратившаяся в трепетный инструмент по производству звуков, называемых «птичьи трели». Больше всего этих птичек в Крумовой роще. Крумова роша расположена на юг от обсерватории, сразу за ревущей автострадой, которая носит нежное имя аллея Яворова[1]. Немного странно звучит это слово «роща» применительно к городскому парку, но лесоустроители назвали этот участок парка именно так, о чем гласит надпись, которую может прочесть любой грамотный человек.

С каждым новым днем весна расширяет свои владения, не пренебрегая ни одним уголком земли. Под ветвистыми дубами поднимаются молодые дубки с тремя-четырьмя листочками. Они проросли только этой весной. Если вырвать такой дубок, станет видно, как вплотную к корешку стоит на страже скорлупка желудя. Эти желуди всю осень таскали и зарывали в землю белки, запасая еду на суровую зиму. Но съели они не все или просто нашли не все закопанные в землю припасы: ведь пугливые эти зверьки закапывают желуди наугад, и так же наугад потом ищут их под дубами. Вот и получается, что белки не только обеспечивают себе пропитание, но и делают полезное дело — сажают дубы. Я не раз наблюдал, как собаки и дети, завидев, что белка спустилась на землю, чтобы зарыть желудь, кидаются к ней со всех ног. Однако зверек так быстро прячет желудь и так стремительно взлетает на ближайшее дерево, что ни детям, ни собакам ни разу не удалось его догнать. И я ни разу не видел, чтобы дети нашли спрятанный белкой желудь, сколько бы они ни искали и ни ковыряли прутиками землю. Что же касается собак, то добродушные тут же убегали обратно к своим хозяевам, а зловредные еще долго торчали под деревьями, облаивая белку.

Во второй половине зимы в парке неизвестно откуда появились бродячие собаки. Они крались по густому кустарнику и издали поглядывали на людей со странно виноватым видом, как будто только что получили взбучку; если же такой собаке надо было пересечь аллею, она быстро перебегала ее, поджав хвост, опасаясь, как бы кто не запустил в нее камнем. То же продолжалось и в марте. Днем бродяги прятались в чаще, но к вечеру, когда начинало смеркаться, подходили к аллеям и с жадностью всматривались в прохожих. Не знаю, были ли приняты какие-либо меры для их отлова и истребления. Знаю лишь, что в марте по парку развесили объявления, призывающие собаковладельцев водить животных только на поводке. Это длилось около месяца, все владельцы прогуливали своих собак на поводке — на ремне или на цепочке. Постепенно предупреждения исчез-

[1] Пейо Яворов (1877 — 1914) — болгарский поэт. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ли (думаю, что их пообрывали в темноте), стали понемногу исчезать и бродячие собаки. Теперь во всем парке не осталось ни одного объявления, и все гуляют со своими собаками как кому заблагорассудится, не опасаясь встреч с бродячими собаками. Беспризорники скрылись глубоко в чаще, и только по вечерам, когда в парке зажигают фонари, можно заметить, как проносится, подобно привидению, собачья тень и мгновенно сливается с темнотой, а на освещенное место с лаем выскакивают несколько собак, вглядывающихся во тьму. Пока они облаивают мрак, невидимые хозяева зовут их грозно-ласково: «Трезор!», «Диана!», «Цезарь!»— или раздастся из темноты пронзительный и призывный свист, который служит собачьим паролем. В дальнейшем мы еще встретимся в темноте с этими собаками, когда они будут ожесточенно облаивать коня, не обращая на собачьи пароли ни малейшего внимания.

Впервые я увидел его следы на зеленой траве за обсерваторией. Конь, видно, щипал здесь нежную травку, копыта его глубоко увязали в рыхлой и влажной земле. Следы показывали, что он пришел со стороны аллеи, проложенной вдоль обсерватории, траву где выщипал, где потоптал, а потом спустился по слегка покатой поляне к рычащей и загазованной автостраде. Следы копыт можно было увидеть у бездействующего фонтана, по ту сторону автострады, они тянулись по одной из аллей, что ведет к Крумовой роще, и там терялись среди следов кед, туристских башмаков, рубчатых велосипедных шин и колес детских колясок; кое-где виднелись отпечатки мягких собачьих лап, и, наконец, все смешивалось так, что уже нельзя было различить, где след копыта, где собачьей лапы, а где туристского башмака.

То, что в парке кто-то пас свою лошадь, очень меня озадачило. Выпасы тут не бог весть какие богатые, вряд ли хозяин лошади мог рассчитывать на то, что животное прокормится на здешней слабой и нежной травке. Невозможно было предположить также, что это бродячая лошадь вроде бродячих собак. Лошадь явно привел хозяин, привязал ее к дереву на самом припеке, где появляется первая в парке трава. Вечерами там почти никто не ходит, особенно теперь, когда аллея до половины завалена кучами прошлогодней листвы. Многие фонари разбиты, в них свили себе гнезда воробьи — одним словом, место вполне подходящее для того, чтобы ночью пасти здесь лошадь. Может, владелец лошади — конокрад, потому он и выводит ее попастись под покровом темноты?

Я не мог точно объяснить, в чем дело, но как только я увидел в парке отпечатки лошадиных копыт, они меня чрезвычайно заинтриговали. В ту весну тема лошади часто попадалась мне на пути: в театре играли английскую пьесу «Эквус» («Конь»), в газете «Литературен фронт» я прочел стихотворение Пырвана Стефанова «Лошадь», по телевизору два раза показывали «Синие кони на красной траве» и «Историю лошади», Елисавета Багряна[1] приветствовала хана Аспаруха[2], который вошел в историю на коне. В связи с тысяча трехсотой годовщиной основания болгарского государства я все чаще и чаще встречаю в печати летящих всадников, которые во всех направлениях пересекают историю, гремя копытами по мощеным дорогам средневековья, и я вижу, как, проскакав по истории, эти всадники группами или поодиночке несут свои послания в будущее. Однако так, видно, обстоит дело только в литературе и графике, не случайно поэт Димитр Методиев жалуется на то, что не может нигде найти конской подковы, чтобы показать ее сыну. И вот именно в такой литературной ситуации, когда конь царит лишь в нашем воображении, в воспоминаниях и в истории, я вдруг обнаруживаю в парке, между обсер-

[1] Елисавета Багряна — болгарская поэтесса.

[2] Аспарух — хан протоболгар (ок. 643 — ок. 701), возглавивший их вторжение на Балканы, с 681 г. хан Первого Болгарского царства.

ваторией и рощей, отчетливые следы лошади, следы реальные, глубокие и совершенно свежие.

Еще в самом начале я сказал, что хожу в парк каждый день. Это давало мне возможность держать под наблюдением весь район за обсерваторией, и я надеялся, что за день-другой узнаю, кто приводит сюда лошадь. За день-другой я, однако, ничего не узнал, прошла целая неделя. Я продолжал ходить туда каждый день, утром и вечером, но лошадиных следов больше не видел. Только в конце недели как-то утром я понял, что лошадь приходила снова. Днем рабочие подожгли старую листву, но она больше дымилась, чем горела. Все это верблюжье стойбище лениво попыхивало, окутываясь дымом, по нему бродили рабочие, ворошили длинными палками кучи листвы в надежде, что она разгорится, но отсыревшая листва тлела и испускала дым так медленно, словно собиралась гореть всю весну. Дым совсем прогнал людей из этой части парка. Кто бы откуда ни появился, как увидит дым, так и поворачивает назад. Люди, видно, читали газеты и знали, что дым канцерогенен, поэтому бежали от него как черт от ладана. Я, однако, не убегал, рассчитывая, что тот человек именно теперь, используя дымовую завесу, и начнет регулярно выводить свою лошадь.

Но, очевидно, он был в высшей степени осторожен и приводил в парк свое животное только в полной темноте. Когда в конце недели я увидел, что лошадь приходила снова, вечером я пошел в сторону обсерватории. Народу в парке было немного. Влюбленные парочки сидели в самых освещенных местах. Влюбленные боятся темноты, хотя, целуясь, они закрывают глаза и все равно ничего не видят, так что, я думаю, ни одна парочка меня не заметила. Попалось мне и несколько собаковладельцев, они спустили собак с поводков, и иногда я слышал их тихие возгласы: «Цезарь, ко мне!» Собаки убегали вперед, возвращались к хозяевам, какое-то время трусили рядом, потом удалялись легкой рысцой, пропадали в темноте, снова появлялись, голосом давая знать хозяину, что они здесь, и снова продолжали рыскать по парку, то исчезая, то появляясь на свету. Некоторые вылетали из темноты с воем и визгом и прижимались к ногам хозяина, хозяин наклонялся, тихо успокаивал собаку, и дрожащее создание продолжало прижиматься к нему, глядя в темноту. Бедные городские собаки! В какие только стрессовые ситуации не попадают они в городе, в городских скверах и парках! Поэтому, я думаю, у многих городских собак виноватый вид, в глазах затаился страх, а нрав меланхоличный или зловредный. Бóльшая часть этих собак боится леса.

Едва я подошел к обсерватории, в нос мне ударил едкий запах дыма. Я не остановился и вышел на широкую аллею, всю окутанную дымом от подожженных куч старой листвы. Сквозь дым виднелись желтые языки пламени, они то взбирались на верблюжьи горбы, то сбегали с них и мгновенно гасли, а в следующий миг уже плясали на соседнем горбе. Отовсюду сочилась влага, и я на всякий случай прихватил с собой зонтик. Беззвездное небо низко нависало над деревьями. Я шел в дыму, мимо подожженных листьев, дымная завеса кое-где разрывалась, открывая освещенную автостраду, но лишь на мгновение, дым тут же плотно прикрывал дорогу. Сначала сквозь дым и вспышки огня я увидел человека. Он стоял возле купы деревьев, спиной к огню, уставившись на что-то или просто задумавшись. Он был сутуловат, руки казались слишком длинными. Я подумал, что это старик и что он, вероятно, возчик. Бедный человек, который вынужден поздним вечером приводить свою лошадь в парк пощипать запрéтной травы... Господи, какой же он конокрад?!

Такие мысли мелькнули у меня в голове. Концом зонта я пошуровал в куче листвы — авось вспыхнет. Она вспыхнула, точно разрыв фугаса, я отпрянул и, разочарованный, решил уже возвращаться домой.

И тут я увидел коня... И застыл, пораженный.

Конь был крылат.

Он едва-едва пощипывал нежную травку, крылья его обвисли, касаясь травы, и выглядели безжизненными. Когда конь переступал, крылья волочились по траве с сухим шуршаньем. Траву он брал помалу и неохотно. На крупе его я заметил старые рубцы, местами кожа была вытерта, и животное напоминало старого ломового одра. Дым от горящей листвы то прятал его от моих глаз, то открывал наполовину, так что, дав волю воображению, я легко мог представить себе, что крылатый конь, хоть и медленно, с усилием, но чуть ли не плывет в дыму, и я ждал, что он вот-вот взмахнет своими старыми потрепанными крыльями и полетит среди деревьев и над парком.

Мне трудно объяснить читателю, что́ я пережил в ту минуту. Впервые в жизни я видел пегаса. Сердце у меня забилось, кровь в жилах зашумела, и я сосредоточился, как то дерево, которое прислушивается к шепоту своей мезги и говорит дятлу: «Не смей стучаться в мою дверь!» Мне тоже хотелось крикнуть своему сердцу: «Не смей стучать так громко, мы можем спугнуть пегаса!» — но я не крикнул, я ведь знаю, что сердце никогда не слушается человека, я только тихонько попятился, чтобы спрятаться в кустах. Дым рассеивался, и тогда моим глазам открылась вся картина — усталый человек и усталый конь. Бесконечная печаль подступила ко мне со всех сторон, подобно тяжелому, холодному дыму, что-то сжало мне горло. Человек, которого я принял за возчика, по-прежнему стоял спиной к огню. Он вынул сигарету и, закуривая, прикрывал спичку ладонями. Руки у него были большие, чтобы не сказать огромные, руки кузнеца или каменотеса. Это был какой-то горемычный поэт, который под прикрытием темноты вывел своего пегаса попастись... Он направился к животному, откашлялся глухим кашлем старого курильщика, взялся за веревку, болтавшуюся на шее коня, и, не говоря ни слова, дернул ее. Конь вздрогнул, попытался было приподнять свои тяжелые, изломанные и потрепанные крылья, по ним тоже прошла дрожь, словно при землетрясении, но она быстро стихла, и крылья так и не поднялись с травы. Человек и конь пошли прочь, и тогда с другого конца дымной аллеи послышался неистовый лай собак, спущенных своими хозяевами. Они обнаружили крылатого коня и отчаянно его облаивали, не слушая зова хозяев. Сквозь собачий лай прорывались человеческие голоса: «Трезор, ко мне!», «Диана!», «Цезарь!», потрескивали горящие листья, слуха моего достигал сухой кашель — кашлял тот самый курильщик,— сухо и пронзительно шуршали изломанные крылья старого пегаса, который плелся, повесив голову и слегка прихрамывая, за своим поникшим хозяином.

Темнота и дым поглотили их. Спустя какое-то время я услышал стук копыт — человек и конь вышли на асфальт. Конские копыта отбили лишь несколько тактов, они прозвучали будто стихотворная строка, таинственная и недоступная. С глубоко запрятанной от самого себя надеждой я взглянул на низко нависшее небо — а вдруг там, над темным и задымленным парком, появится крылатый конь и превратит небо в сказку? Надежда вспыхнула и погасла, как вспыхивали и гасли у меня под ногами сухие листья. По ту сторону дымной завесы собаки продолжали облаивать темноту. Стало грустно и тоскливо, точно всю душу заволокло тяжелым дымом.

Мне было жалко коня.

Нежная спираль

Морозным зимним днем, возвращаясь с охоты, я ехал на санях по Лудогорью. В деревянный короб набилось порядком народу, одни сидели лицом к лошадям, другие спиной, третьи примостились боком, все промерзли, устали и приуныли. Воротники у нас были под-

няты, шапки и папахи низко надвинуты и обвязаны поверх шарфами, так что ни одного лица нельзя было как следует разглядеть. Из-под шапок и шарфов вырывался пар от дыхания, пар валил и из лошадиных ноздрей. Когда едешь в санях, очень быстро коченеешь, холод ползет по всему телу, глаза начинают слезиться, вся природа вокруг кажется враждебной. Небо над нами было серое, влево от саней стоял серый лес, справа простиралась слегка покатая равнина, покрытая снегом.

Дорога шла зигзагами вдоль самой опушки, спускалась в ложбины, подымалась вверх, местами сани заносило, полозья скрежетали по щебню и камням, лошади начинали храпеть, возница взмахивал в воздухе кнутом и кричал: «Н-но! Н-но!» Белая равнина, поворачиваясь, слегка стелилась за санями, примолкший лес на цыпочках отступал назад, ближайшие к дороге деревья бежали быстро, дальние уходили медленнее, и создавалось впечатление, будто лес движется, уносимый назад тысячами ног, и при этом ни одно дерево не наступает на другое.

У поворота внезапно вынырнул из снега куст шиповника, снизу доверху усыпанный яркими, красными плодами. Он был обращен одновременно во все стороны. Возница воскликнул: «Глянь-ка!» — взмахнул кнутом и огрел куст по лицу.

Шиповник вздрогнул, вздрогнули вместе с ним блестящие красные ягоды, сверкнули, как живые глаза, словно не замерзший куст огрели кнутом, а ударили по лицу живое существо. Полозья саней продолжали равномерно поскрипывать по накатанной колее, равномерно звенели, подпевая, бубенцы на сбруе, куст шиповника медленно отступал назад, не сводя с нас сотен своих красных глаз. Дорога пошла чуть под уклон, лошади захрапели; обернувшись, я увидел плечи, спины, папахи и голубые глаза одного из охотников. Во рту у него торчала давно погасшая сигарета. «Должно быть, вампир?» — сказал мне охотник. «Ты о чем?» — спросил сиплый голос с передка саней. «О том кусте»,— ответил человек с погасшей сигаретой и повернул голову, чтобы кивком показать на куст. Я увидел, как по его лицу разлилось недоумение.

Я посмотрел назад — куста шиповника не было. Лишь равнина белела, да двигалась серая стена леса, да серело наверху небо. Мы спустились в ложбину, и она скрыла сани от пристального взгляда шиповника.

«Почти как человек... почти как человек!» — обожгла меня мысль. Я сидел по-прежнему спиной к лошадям, мне слышался перезвон бубенцов, кашель, чья-то воркотня, скрип кожаной сбруи. Властное воспоминание пустилось вдогонку по колее за санями, рядом с ним бесшумно, нигде не спотыкаясь, бежал тысяченогий лес, человек, в гуцульской шапочке, с бородой, тоже бежал, не отставая, я видел ясно его высокий лоб и почти фанатичный взгляд. Впереди него крутился и скользил по снегу куст шиповника, словно подстегиваемый невидимым кнутом, пристально вглядываясь сотнями блестящих красных глаз в своего преследователя. Внезапно куст и преследователь остановились, я увидел, что человек, задумчиво почесывая бороду, всматривается в куст, будто ищет что-то в нем запрятанное.

Человек в гуцульской шапочке был Методий Андонов[1].

Вот уже пять лет как его нет с нами, но мое воображение часто рисует мне его таким живым и настоящим, что, окликни я его, я б наверняка услышал его голос. Однако я ни разу не посмел его позвать, мне как-то боязно, боюсь, что, если я услышу его голос и увижу, как он в ответ идет ко мне, мое сердце может не выдержать. Когда он был жив, мы однажды отправились в горы Руй охотиться на крупную дичь. Тогда тоже была зима, мы охотились в лесу, уг-

[1] Методий Андонов (1932—1974)— известный болгарский режиссер.

рюмом и негостеприимном, по небу ползли рваные тучи, лес то заливало солнце, то накрывала тень, со стороны засад изредка доносились выстрелы, ложбины отзывались на них рыком. В конце охоты Методий — мы стояли в засаде недалеко друг от друга — позвал меня. Я увидел, что он топчется вокруг куста шиповника, так пристально в него вглядываясь, словно в нем спрятался зверь. «Сюда, сюда!» — позвал он тихо. Я спросил его, в чем дело. «Смотри!» — сказал он, показывая пальцем на куст. Лицо его сияло, во взгляде его я увидел что-то фанатическое. Я внимательно осмотрел куст шиповника.

Это был куст высотой в человеческий рост, с широким основанием, весь усыпанный яркими, красными плодами. «Теперь посмотри с другой стороны!» — сказал Методий Андонов, и мы оба зашли с другой стороны, но и с другой стороны куст был точно такой же. «Откуда ни подойди, на тебя смотрит!» — сказал Методий Андонов. Я закурил и предоставил ему ходить вокруг куста, что-то в нем высматривая. Несколько раз он бросал в него снежки, куст вздрагивал, вздрагивали сотни красных ягод, и вполне можно было счесть, призвав на помощь воображение, что куст шиповника действительно вздрагивает, как живое существо, и глаза его по-разбойничьи стреляют во все стороны. Методий Андонов то трогал свою бело-серую гуцульскую шапку, то почесывал бороду с какой-то особой, почти сладострастной нервностью. В его голосе я уловил патетические ноты. «Это и есть театр! — громко говорил он.— Чудо! Чудо!.. Представляешь себе этот куст на сцене — настоящий, взятый прямо из лесу, взъерошенный, промерзший, усыпанный яркими плодами! И чтоб вся сцена была совершенно белой, девственной, как этот снег вокруг, мы будем заливать ее светом, потом накроем тенью, часть куста окутаем белым туманом, потом пустим ветер, чтоб он смел туман... это же может получиться потрясающе!»

Он с воодушевлением ударил себя рукой в грудь и снова уставился фанатичным взглядом на спокойный, спокойно расположившийся в снегу куст шиповника. В эту минуту он казался человеком, который перестал смотреть на жизнь и на природу вокруг себя как на декоративный занавес, а пытается прорвать этот занавес, эту портьеру, раздвинуть ее и посмотреть, что за ней. Наверное, Методию Андонову это удалось, хотя, быть может, он посмотрел всего лишь в глазок, но увидел он, по всей вероятности, что-то чрезвычайно существенное и важное, потому что как же еще можно объяснить, отчего нормальный человек ходит и ходит вокруг замерзшего куста, окидывая его таким вдохновенным взглядом?

Я не удивился бы, если б он в эту минуту разбежался и впрыгнул в середину куста; мне трудно определить, кто из них в большей степени казался частью природы — человек или куст. Наверное, оба они были одинаково неприрученными... Так я и буду помнить всю жизнь, как пристально они друг на друга смотрели, и одного не могу понять — почему так рано, так поспешно природа занесла руку на этого бородатого паренька из Калиште, та самая природа, которая никогда не дремлет, но всегда хранит спокойствие? Неужто ей недостаточно кустов шиповника и она вырвала из наших сердец и этот куст, вырвала и погнала по снежной пустоте?

...Я снова услышал за спиной бубенцы, кашель, человеческие голоса. Посмотрел на колею за санями — все было пусто. В сущности, нечего было и высматривать в этой снежной пустыне. Если я хотел что-нибудь найти, мне снова надо было порыться в себе самом. Однако у меня не осталось на это времени, потому что я увидел, как из серого неба рождаются птицы, все более заметные, хотя тоже серые. Птицы образовали большую серую стаю, которая спокойно неслась над серым лесом, не издавая ни звука. «Дикие голуби!» —

воскликнул сиплый голос, который недавно спрашивал голубоглазого о вампире.

Все в санях зашевелились, голубоглазый быстро зарядил свое ружье и крикнул вознице, чтобы тот придержал лошадей, поводья натянулись, стало слышно, как лошади сердито грызут железные удила. Кто-то сказал, что голуби очень высоко и стрелять нет смысла, потому что из ружья на такой высоте никого не собьешь. Голубоглазый кричал: «А вот собью!» — другой же возражал, повторяя одно и то же: «Никого не собьешь!» Стая летела спокойно и плавно, голубоглазый спокойно целился и плавно передвигал стволы ружья. Когда птицы засвистели над нами и все услышали, как могучи взмахи крыльев, охотник выстрелил. Стая мгновенно взмыла вверх, только одна птица осталась в стороне, она качнулась и сделала маленький круг, проверяя, что это за грохот раздался с земли и что там могло случиться?

Но она не поняла ни что это был за грохот, ни что случилось, поэтому сделала еще один круг, а потом еще один; эти круги дикий голубь выписывал в небе спиралевидно, потому что, кружа над землей, он старался в то же время двигаться вслед за стаей. Но вот одно его крыло ослабело, он уже не мог взмахивать им достаточно сильно, круги становились все меньше, птица теряла высоту, хотя продолжала удаляться от нас, и в какой-то миг перестала взмахивать крыльями. Она вдруг превратилась в серый лоскут, уже не могла удержаться в воздухе и стремительно понеслась вниз.

Дикий голубь упал совершенно беззвучно, исчезнув в снегу так же внезапно, как исчез перед тем куст шиповника.

В группе я был младшим, поэтому я соскочил с саней и пошел подбирать птицу. Снегу навалило много, местами он доходил до колен. Нигде не было видно никаких следов, белая равнина расстилалась у меня перед глазами чистая и светлая, белизны ее не нарушало ни пятнышко, ни пылинка. Однако это продолжалось недолго. В одном месте, чуть в стороне, я увидел алую каплю, подойдя поближе, заметил вторую, немного дальше блестела третья. Я остановился перед этими каплями в снегу. Они вытягивались в подобие спирали, составляли круг, в него вписывался второй, из него выходила нежная дуга и вычерчивала третий... Я смотрел то в небо, то на капли крови на снегу.

Это была кровь дикого голубя. Пока птица кружила наверху и выписывала в небе круги и спирали, ее кровь крупными каплями падала на снег, вырисовывая на нем те же круги и спирали. Я не посмел ступать дальше по снегу, какое-то странное чувство не дало мне войти даже в первый круг. А дальше шли другие круги, ярко вычерченные на девственной белизне.

С саней мне кричали, указывая место, где дикий голубь упал и утонул в снегу. Я тоже стал кричать, что дальше пройти нельзя. Половина охотников повскакала с саней и, прикуривая друг у друга, зашагала за мной по снегу, не понимая, что могло остановить меня на середине пути. Едва различимые под надвинутыми шапками и шарфами лица их выразили изумление, когда они увидели кровавые дуги и круги, нежно выписанные на снегу. Нигде ни бороздки, ни пятнышка — только нежные кровавые дуги алели в снегу, красиво выписанные кружащей в небе птицей. Полет дикого голубя порывист и элегантен. Когда выстрел с саней прервал его и птица начала делать медленные круги, отставая от стаи, никто из нас не подозревал, что птица, кружа, медленно выжимала из себя кровь, чтобы неясными кругами и спиралями дописать свое последнее послание белой равнине, последнюю в своей жизни фразу.

Может быть, эта фраза содержит проклятье, может — завещание другим птицам, а может быть, это просто отпечаток ее внезапного конца?

Во всяком случае никто не посмел идти дальше, порвать или затоптать нежные алеющие спирали. Мы все примолкли, стало как-то неловко торчать среди белой равнины, мужчины один за другим повернулись и, ни слова не говоря, пошли назад к саням. Тихо звякнули бубенцы, лес недружелюбно темнел по ту сторону дороги, исчезнувший было куст шиповника снова стоял среди снежного поля, усеянный пылающими угольками своих плодов. От саней его не было видно, потому что они спустились в низину, но отсюда он совершенно отчетливо выделялся на белом фоне, так что каждый из нас мог его увидеть, и он мог засечь нас своим пристальным взглядом. Мы молча пробирались к саням между алеющим кустом шиповника, уставившего на нас, как вампир, сотни своих красных глаз, и нежными дугами и спиралями, выписанными на снегу падавшим с неба голубем.

«Н-но!» — громко крикнул возница, когда мы все набились в сани. Заскрипели по колее полозья, равномерно зазвенели бубенцы, и во мне постепенно рождалось ощущение, будто кроме бубенцов что-то еще звенит и отдается в моей душе, что-то подобное красной небесной слезе, шепоту вспугнутого куста шиповника, и будто душа моя начинает выписывать неясные, но нежные круги и спирали.

В поезде под дождем

Если вам случалось ехать в поезде поздней осенью, вы поймете, почему путник бывает в скверном настроении, почему он подавлен и раздражен. Вагоны все еще не отапливаются, хотя в них так холодно и сыро, что пассажиры сидят в верхней одежде, как сидит в пальто на своем постаменте в центре Софии Иван Вазов. Купе набиты до отказа, и невозможно шевельнуться, не задев локтем соседа или не толкнув коленом колено сидящего напротив. Коридор тоже набит пассажирами. Если кто-то пытается пройти из конца в конец вагона, да еще с багажом, части коридорных пассажиров приходится открывать двери купе и входить туда, чтобы пропустить идущего. Когда тот проходит, они возвращаются в коридор — во всяком случае, так это делается в нашем купе. Если взглянуть на коридор, увидишь главным образом спины и табачный дым. При появлении пассажира с багажом широкая спина в бурой штормовке открывает дверь нашего купе, вдвигается в него, сжимая нас, как гармошку, извиняется, даже не глядя на нас, потом выходит обратно в коридор и с силой задвигает за собой дверь. Это повторяется на каждой станции, потому что на каждой станции кто-то сходит и кто-то садится. Впрочем, в наш «Диана-экспресс» пассажиры больше садились, чем сходили.

Поздней дождливой осенью в купе неуютно и неприглядно. Отовсюду проступает сырость. На улице идет дождь, по грязному оконному стеклу бегут струйки, за окном, медленно поворачиваясь, скользят назад серые рощицы, окутанные дождем, мокрые поля, холодные зеркала затопленных нив, какое-нибудь облетевшее дерево с унылой птицей на ветке, стожки кукурузных стеблей, железные опоры высоковольтных линий, и нигде — ни единого человека. Предупредительная надпись «Не высовываться!» теряет всякий смысл: кому сейчас придет в голову опускать грязное стекло и высовываться наружу? Две ветхие занавески со штампами БДЖ [1] болтаются по обе стороны окна. Один из пассажиров, сидящий у окна, время от времени протирает занавеской быстро запотевающее стекло. По сути дела у этих занавесок едва ли и есть другое предназначение, по крайней мере я ни разу не видел, чтоб их использовали для чего-нибудь другого, кроме протирки запотевших окон. Во всем мире,

[1] Болгарские государственные железные дороги.

похоже, так принято: если есть окно, значит, должна быть и занавеска, и вот по инерции на вагонные окна тоже вешают занавески. И в самолетах тоже вешают, не то летишь себе, а кто-нибудь любопытный подойдет снаружи к окошку и подсмотрит, как ты там летишь!

Холод и сырость усиливают все запахи. Хотя паровозов уже нет, в купе пахнет сажей, из него еще не выветрились воспоминания о дыме и копоти. Из коридора просачивается табачный дым, воздух в купе спертый. В нем растворено что-то тяжелое и липкое, и кажется, что это липкое чуть ли не проникает сквозь поры в кожу. У каждого животного есть свой запах, у поезда тоже свой особый запах. Просидишь день в поезде, и потом целую неделю у тебя такое чувство, будто ты ночевал в медвежьей берлоге... Наша медвежья берлога (или купе) выглядит таким образом. С одной стороны сидит молодая женщина, рядом с собой она положила младенца, младенец спит. Около младенца сидит солдат, рядом с солдатом — ваш покорный слуга. Солдат, собственно, двое, но они меняются. Какое-то время один из них курит в коридоре, потом его сменяет другой. Они словно продолжают нести службу — если один сидит и дремлет, то другой в коридоре бодрствует и стоит на карауле. Делают они так, чтоб освободить побольше места для женщины с ребенком. Против нас сидит человек, вытирающий занавеской окно, рядом еще один, они разговаривают друг с другом, оба загорелые, примерно одного возраста и одинаково подстриженные. Подстрижены они очень коротко, до середины затылка. Такой способ стрижки весьма экономичен, раз подстрижешься — и хватает на год. Рядом со стриженными затылками сидит старик в очках. Стекла в очках толстые и выпуклые, у старика бельмо, и он едет в Большое село на операцию. Те двое, что похожи один на другого и коротко подстрижены (вероятно, одним парикмахером), так же как и старик, когда заходит речь о Софии, говорят не София, а Большое село. Четвертый пассажир на противоположном сиденье — небольшого росточка, плотный, в серой кепке, надвинутой до середины лба. Когда своими короткими ручками с коротенькими пальцами он приподнимает кепку, открывается низкий лоб, наверное пальца в два. Иногда он совсем снимает кепку, чтобы почесать голову, и снова надвигает ее до середины лба, но так, что лба почти и не видно, точнее, видна узенькая полосочка. Этот человек сидит прямо против женщины с ребенком. Когда мужчине в штормовке, который стоит перед нашим купе в коридоре, приходится пятиться задом и прижимать нас, больше всего достается пассажиру с короткими ручками. Тогда пассажир с короткими ручками оживляется и еще долго после того, как дверь, скользнув, закрывается, что-то бормочет и ерзает, устраиваясь в своем углу, как курица на насесте.

Таково наше купе, которое я называю «медвежьей берлогой». Признаться, вначале я называл его купе, как это и принято, тем более что поезд у нас не какой-нибудь, а «Диана-экспресс». Экспресс этот идет из города Ямбола, древнее имя которого — Дианополис. Ваш покорный слуга тоже возвращается из города Ямбола с древним именем Дианополис — город был назван так в честь богини охоты Дианы. В наше время жители города поставили богине памятник. Хотя с той дождливой осени прошло лет пять, а может и больше, я все еще помню, что богиня изваяна с луком и стрелой, а перед ней ирландский сеттер или какая-то другая породистая собака делает стойку. Памятник разделен на две части, к примеру, тут на траве стоит богиня, а немного дальше (тоже на траве) застыла в стойке собака, так что все выглядит почти как живое.

Правда, мокрое.

И богиню и собаку поливает монотонный дождь, они теперь черные и блестящие. Однако если со стороны плавней на реке Тунд-

же покажется пестрый силуэт колхидского фазана, дождь не помешает богине отпустить тетиву и послать в фазана стрелу. А может быть, память изменяет мне, может быть, богиня уже отпустила тетиву и летящая стрела давно ударила прямо в сердце летящего сквозь дождь фазана... Все это медленно проворачивается в моем воображении и скользит назад вместе с серыми рощицами, окутанными дождем, мокрыми полями, холодными зеркалами затопленных нив, облетевшими деревьями с унылой птицей на ветке, стожками кукурузных стеблей и прочим. На станциях слышно, как дождь барабанит по жестяной крыше вагона. Пассажир с коротенькими ручками оживляется в своем углу, спрашивает, что за станция, один из стриженых затылков опускает окно, высовывается, смотрит налево, направо и обычно отвечает или что вагон не доехал до станции, или что он ее проехал. «Да ты спроси!» — говорит тот из угла, и тогда коротко подстриженный спрашивает у кого-нибудь, кто бежит под дождем по перрону, ему что-то отвечают на бегу, после чего коротко подстриженный качает головой и говорит, закрывая окно: «Буркнул себе под нос, а что — не поймешь!» Иногда станция оказывается с другой стороны поезда, и тогда некого даже и спросить.

Все это происходило в начале нашего путешествия. Постепенно мы все реже интересуемся, на какой станции остановился поезд, пожалуй, даже перестаем замечать, что поезд время от времени останавливается, дождь барабанит по жестяной крыше, но барабанит глухо, садятся новые пассажиры, те, кто стоит в коридоре, расступаются, пассажир в штормовке вдвигается в наше купе, прижимает нас, снова выходит и с треском закрывает дверь, так и не обернувшись. Младенец, лежащий между женщиной и солдатом, продолжает спать.

Младенец запеленут, как кокон. Личика не видно, один только сморщенный лобик. К белому чепчику женщина пришила стеклянную синюю бусинку от сглаза. Сколько раз пассажир в штормовке вдвигался в наше купе, столько раз женщина бросала взгляд на свой кокон. Взгляд ее не выражал тревоги, женщина просто смотрела, не проснулся ли ребенок. И когда солдаты меняются — один входит, а другой идет в коридор на пост, женщина тоже смотрит, не зашевелился ли кокон со сморщенным лобиком. Я тоже посматриваю через плечо солдата, и когда женщина поправляет мадеполам перед личиком, я вижу кроме лба еще и носишко величиной с пуговку. Младенец, верно, весь величиной с головастика, не больше, но кажется гораздо крупнее из-за пеленок, простынок и синего шерстяного одеяла. Мать — молодая, полная женщина, вдоль ушей вьются русые пряди. У нее застенчивая улыбка, глаза смотрят очень внимательно. Это взгляд женщины, которая умеет слушать. Внимательные глаза и застенчивая улыбка придают ей выражение приветливости. Она принадлежит к тому типу женщин, про которых народ говорит — «как домашний каравай». Такой вот домашний каравай, хорошо подошедший, чуть подрумяненный, судьба послала в нашу медвежью берлогу, и могу сказать, что благодаря ему ехали мы, невзирая на холод, сырость и тесноту, сравнительно приятно.

Если не считать старика, подслеповатого, несмотря на толстые стекла очков, за которыми видны увеличенные голубые радужки, все остальные пассажиры явно поглядывают на женщину так, как лисица поглядывала на виноград. И не только поглядывают, но и пытаются с ней заигрывать. На шуточки она отвечает осмотрительно, сохраняя на лице застенчивую улыбку. Держится свободно, видно, что ей приходилось бывать на людях. Наиболее активно заигрывают с ней двое стриженых затылков, за ними идет пассажир с короткими ручками, что сидит против нее, за ним оба солдата. Время от времени поворачивает голову и пассажир в штормовке, кото-

рый стоит в коридоре и вдвигается в наше купе, когда пропускает пассажиров с багажом. Поворачивая голову, он смотрит на женщину сверху и пытается заглянуть ей за пазуху. Замечает она это или нет, не могу сказать. В таких делах женщины не только хитрее, но и умнее мужчин, поэтому я воздерживаюсь от каких-либо предположений. Могу только повторить, что присутствие этой женщины в нашем купе делало все путешествие терпимым.

Можно ведь проехать Болгарию из конца в конец и попасть в купе с малоприятными попутчиками — один спит или дремлет, спрятав физиономию в поднятый воротник пальто, другой уткнулся в книгу, третий разувается, чтобы дать отдых ногам, и тем самым выгоняет половину пассажиров в коридор, четвертый пытается привлечь к себе внимание дурацкими анекдотами, а иногда в купе оказываются женщины, которые всю дорогу разворачивают у себя на коленях какие-то свертки и все едят и едят, раздувая щеки. Со мной такое случалось не раз, я говорил себе, что народ подобрался с бору да с сосенки, и утешался тем, что выходил в коридор и остаток пути проводил, стоя у окна и глядя на бегущие вдоль поезда пейзажи. Но бывает и так, что из конца в конец Болгарии едешь в купе, наполненном дружелюбными попутчиками, сам охотно включаешься в разговор, и я не раз видел, как, выходя на конечной станции, люди расстаются чуть ли не как родственники или самые близкие друзья. Всяко бывало. Случалось мне легко и быстро подружиться в вагоне с цыганами. Цыгане ужасно любопытны, и если цыган увидит, что ты возвращаешься с охоты мокрый до костей и с пустой сумкой, он тут же выскажет тебе сочувствие, а если их несколько, то все выскажут сочувствие, потом спросят тебя, сколько стоит твое ружье, и если ты скажешь, к примеру, что ружье стоит двести левов, все напустят на себя крайне удивленный вид и заахают: мол, как же так, столько протопать с ружьем за двести левов, да в такую гнусную погоду, и подстрелить одного бедного зайчишку за два лева! А то и одного не подстрелить! Вообще цыгане умеют проявлять сочувствие к попутчикам. Однако это сочувствие мгновенно испаряется, как только поезд останавливается на станции Подуене [1], потому что тут цыгане таинственно исчезают. Ты еще слышишь, как они перекликаются со своими соплеменниками из соседних вагонов, и не успеваешь сосчитать до трех, как их уже нет... Обычно я нагонял цыган на стоянке такси. Они первыми оккупировали свободные такси, набивались в них и почти все без исключения, группами, отправлялись к Судебной палате, чтобы проверить, не судит ли государство, случайно или по недосмотру, кого-нибудь из цыган. Я не раз наблюдал, как эти славные ребята волнуются и шумят, пока такси одно за другим трогаются к Судебной палате, сердито сметая дворниками со стекол серый софийский дождь!..

...Один солдат сменил другого солдата. Тот, что вошел из коридора, так сильно повел плечами, что сухожилия и кости громко захрустели. Он откинулся на спинку дивана и, уставившись на женщину, на ее гладкую шею и русые пряди вдоль ушей, глубоко вздохнул. Женщина уловила и взгляд и вздох, взялась двумя пальцами за свое обручальное кольцо и стала его вертеть. Она держалась за обручальное кольцо, как утопающий держится за соломинку. Застенчивая улыбка сошла с ее лица, но застенчивость осталась. В этот миг у меня перед глазами возникла босоногая девушка, цыганочка лет восемнадцати-девятнадцати, в старых башмаках на босу ногу. И у нее, как у женщины в купе, была застенчивая улыбка. Больше ничего застенчивого в ней не было, все прочее разило насмерть. В тот раз мы вместе с писателем Дончо Цончевым, за которым водилось тогда прозвище «Ах, Симеон!», бродили в районе станции Верила, вернее, пересекали район станции, где строились двойные

[1] Район Софии и железнодорожная станция в городской черте.

пути, собираясь пройти к северу от железнодорожного полотна и поохотиться там на диких уток. Я не помню, как была одета девушка, быть может, во что-то серое, потому что в моем сознании не осталось никакого яркого пятна, ничего красивого на смуглой бродяжке не было. Даже старые башмаки, надетые на босу ногу, были ей велики. Видимо, она не обращала внимания на свои наряды, не знала своей силы. Ее глаза раздавили нас, как два тяжелых мельничных жернова, пригвоздили к просмоленным шпалам. Смуглая шея девушки вела к овальной смуглой ложбинке, мы скользнули по стенам этой ложбинки и ухнули в широкие складки одежды, как можно ухнуть безвозвратно, если скользнуть по стенкам песочных часов. Так ухнули и утонули мы в этих подвижных смуглых песках. Девушка уносила свои башмаки промеж двух железнодорожных линий, лишь иногда оборачиваясь и взглядывая на нас. Не говоря друг другу ни слова, мы шагали с ружьями между рельсами вслед за девушкой, и, если бы в эту минуту появился поезд, он смел бы нас с лица земли, и мы бы этого даже не заметили и не почувствовали, потому что нас и так уже смело. Такой красоты, обутой в изношенные, старые башмаки, я не видел никогда прежде и едва ли увижу до конца жизни. С таким только раз в жизни и встречаешься и потом до конца дней своих не можешь понять, вправду это было или нет. Скажу лишь, что мы были готовы идти не останавливаясь, пока это смуглое создание шло перед нами, оборачиваясь через плечо то ли чтобы взглянуть на нас, то ли чтобы добить, доконать, то ли чтоб продлить это колдовство, этот гипноз — или для всего вместе. Если бы девушка остановилась и потребовала от нас взорвать показавшийся вдали поезд, мы сделали бы это немедленно. Но она ничего от нас не потребовала. Она только взволновала нас глубоко и сильно, так что вся кровь забродила и запылала в жилах, она ничего не потребовала, а когда заметила, что поезд со свистом приближается, отошла в сторону — она влево, мы вправо,— и когда поезд прошел, мы увидели, как она исчезает среди нескольких домишек из необожженного кирпича и развешанного на проволоке убогого белья. Там вился дым, несколько собак собрались нас облаять, сопливые ребятишки выбежали посмотреть, что происходит, бросили в собак камни, те заскулили и кинулись врассыпную между бельем на проволоке и домишками из необожженного кирпича. Это было какое-то болотное обиталище, временное — тогда еще достраивалась фабрика «Верила», вокруг валялись железки, гвозди, доски, части опалубки, земля была изрыта канавами, то и дело попадались грязные ямы, вообще все было драное, мокрое, пришибленное и неприглядное. И вот именно сюда, в это топкое обиталище, в грязь, строительный мусор и сырость, закатилась смуглая жемчужинка, которая всего за несколько мгновений заставила нас внутренне вытянуться в струнку. Сколько таких жемчужинок катится по жизни, наверное, и сам дьявол не знает!.. Мы с «Ах, Симеоном!» остановились, закурили и сказали друг другу, что если мы люди, то пойдем за Ней. Однако мы, очевидно, были не люди, а цивилизованные дикари, потому что, посасывая сигареты с фильтром и кашляя, мы свернули и пошли не к Ней, а к «ним», то есть к диким уткам. Настоящий дикарь тут же пошел бы за девушкой и ухнул бы, и утонул бы в смуглых песках времени, которые так заманчиво начинались у основания шеи и кутались в широкие складки одежды. Однако мы были не дикари, а цивилизованные олухи. Ведь что такое цивилизованный олух, если не дикарь, который научился читать и писать, знает таблицу умножения, курит сигареты с фильтром и который уподобился толченому житу, основательно побитому в ступе жизни. Вот такими толчеными олухами мы и были! «Ах, Симеон!» сплюнул, сказал мне: «Сплюнь и ты!» — я спросил его, зачем мне плевать, но он не ответил. Он сплевывает, потому что думает тайком, что, если он курит и сплю-

вывает, у него не будет язвы, а я вот курю и не сплевываю, так у меня язва будет. Он думает, что я не знаю его тайны, и помалкивает, а я знаю и тоже помалкиваю. Мы постояли с ружьями, повешенными на плечо, потом повернулись спиной к топкому обиталищу нашей юной колдуньи и зашагали к «ним», туда, где были только болота, лужи, камыши, комары, жабы, головастики, засоленные почвы, свирепые химикаты, тайно, по ночам, спускаемые фабриками, и где изредка могла подняться дикая утка. В этой жизни не только блага распределены несправедливо, красота тоже распределена несправедливо. Сколько женщин было обделено и ограблено в пользу красавицы в башмаках? Ведь достаточно окинуть взглядом окружающих, чтобы увидеть, сколько среди женщин всяческой невзрачности. И за счет этой невзрачности родится на свет кто-то совсем иной...

Пока воображение уносило меня на станцию Верила к цыганочке в башмаках, пассажир в штормовке опять вдвинулся в наше купе, какие-то люди проходили по коридору с двумя тюками, тюки прошли, пассажир вышел в коридор и с силой толкнул за собой дверь. Дверь закрылась, попутчик с коротенькими ручками и с половинкой лба подпрыгнул в своем углу и завопил: «А-ах! А-ах! Ах!»

Что случилось?

Пассажир в штормовке, закрывая дверь, прищемил руку нашему попутчику, сидящему против женщины в углу, вернее, не руку, а пальцы. Подпрыгнув, коротышка оттолкнул дверь, прижал руку к груди и принялся растирать пальцы, оглядывая их со всех сторон с таким ужасом, словно каждую секунду один из его толстых коротеньких пальцев мог оторваться и упасть на пол. Он даже попробовал их подергать — не оторвутся ли, но они не оторвались. Занятый своими пальцами, он, однако же, не забыл и пассажира в штормовке.

— Ты куда смотришь, а? Куда ты смотришь? Гляди, как мне руку изувечил! — набросился он на него.

— Да я вообще на тебя не смотрю,— ответил пассажир в штормовке с полным пренебрежением в голосе и закурил сигарету.

— А-а, ты еще и куришь, вот как! Не смотришь и куришь! А что здесь женщина с ребенком и что это купе для некурящих, на это тебе наплевать, так, значит? И когда дверь дергаешь, тебе тоже на все наплевать! Ты ведь мне руку изувечил, смотри, что ты с моей рукой сделал! Да я этой рукой всю жизнь себе на хлеб зарабатываю, рука эта меня кормит! Да ты знаешь, что я эту руку за всю жизнь, можно сказать, не оцарапал, да и как я могу ее оцарапать или поранить, если эта рука меня кормит? Да ведь если я ее пораню или изувечу, кто ж меня тогда кормить будет? Ну и народ пошел! Да ты что, или ослеп, ничего перед собой не видишь?.. Руку мне изувечил! Я эту руку как зеницу ока берегу, эта рука меня всю жизнь кормила!

— Ну извини! — с досадой сказал пассажир в штормовке, отвернулся и больше уже не смотрел на нашу берлогу.

Пострадавший сел в свой угол, но все не находил себе места, вертелся и кудахтал, как курица на насесте. Старик имел неосторожность спросить, есть ли кровь. Коротышка тут же оживился:

— Еще чего не хватало, кровь! Да была бы кровь, я б его тогда убил!

Женщина напротив засмеялась. Младенец зашевелился, заплакал, она взяла его на руки и стала легонько укачивать.

Старик возразил, что нельзя убивать человека за здорово живешь, только за то, что он прищемил тебе руку, и спросил потерпевшего, зачем он сунул руку туда, где ее можно прищемить, у него-то на глазу нет бельма, и он должен видеть, что, если сунешь туда руку, ее могут прищемить.

— А он куда смотрит? — вскинулся потерпевший, не переставая

растирать руку.— А если б женщина с ребенком как раз выходила и он бы дернул дверь, так и ребенка бы изувечил, а потом что же, женщина была бы виновата или те, что только курят и ничего не видят, будто слепые? Они, значит, не должны смотреть, так, что ли?

— Кто его знает,— сказал старик и, подумав, добавил: — Да и то сказать, все время смотреть не станешь. На войне у меня был кореш, хороший такой мужик, но привычка у него была глупая, все норовил из окопа выглянуть, посмотреть, что там впереди. Мы ему говорили: нечего, мол, так часто нос высовывать, да лукавый словно толкал его, он все высовывался и смотрел, пока однажды пуля не жикнула. И наповал.

Один из коротко остриженных встал и предложил пострадавшему угостить всю компанию в честь того, что он легко отделался. Тот, что сидел рядом с ним, тоже встал, встал и солдатик, меня тоже подхватили, и мы стали продираться сквозь толчею в коридоре, расспрашивая, в каком вагоне буфет. К нам присоединился второй солдат, нас стало пятеро. Коротко подстриженные шутили, что, мол, пассажир с защемленной рукой, наверное, еще долго будет ее оплакивать, так что есть резон тем временем что-нибудь выпить в буфете.

Буфет принадлежал конторе железнодорожных ресторанов и спальных вагонов и был в порядочном запустении, тоже вроде медвежьей берлоги. Продавалось там только газированное вино с полынью, производимое на станции Костенец, которое со второго глотка ударяет в голову и потом несет тебя вместе с поездом по дождливой, пропитанной влагой Фракии. В Костенеце небось не знают, что такое лоза — то ли однокопытное, то ли парнокопытное животное, но это не мешает им со страшной силой выпускать вино с полынью, которое при посредстве этой самой конторы ж. д. ресторанов и спальных вагонов расходится по всей Болгарии. Хватив на скорую руку газированного вина, мы отправились обратно по вагонам искать свое купе. Впереди шли стриженые затылки, они разговаривали громкими голосами и весьма беспардонно пробивали нам путь. Так же беспардонно ввалились мы и в купе. Женщина держала ребенка на руках, поэтому на диване освободилось дополнительное место, и в купе зашли оба солдата. Коротышка с половинкой лба и прищемленной рукой говорил женщине и подслеповатому старику:

— Что еще есть у человека в жизни, что еще его держит, если не эти вот две руки? Без рук все, каюк, тут же с голоду помрешь! Потому человек и бережет свои руки, глядит, как бы их не поранить, не искалечить...

Его прервал один из коротко остриженных, тот, что сидел рядом со стариком. Глаза его, затуманенные газированным вином, уставились на женщину.

— Рукой и приласкать можно. Ты только одного хочешь, чтоб руки тебя кормили, смотришь на них, как на рабочих волов. Да разве это дело, чтоб у человека руки были словно волы и только его кормили? Руки могут и погладить и приласкать, ребеночка выкупать, к примеру, запеленать его, ему порадоваться. Человек, когда трогает что руками, радуется. Не одни глаза ему радость приносят.

Его приятель сказал: «Гляди глазами, да не тронь руками!» — и засмеялся. Глаза его тоже были затуманены винными парами, и взгляд совершенно очевидно устремлен на женщину с ребенком. Младенец лежал у женщины на коленях — маленький, тихий кокон. Мать так приладила пеленку, что виден был только багровый лобик. Поскольку мы опрокинули в себя некоторое количество вина, оно, видимо, бежало по жилам, кипело и бурлило, как всякая пенистая жидкость. И разговор постепенно становился бурливым и пенистым и недвусмысленно закружил вокруг женщины. Я уже говорил раньше, что она сидела в нашей перенаселенной медвежьей берлоге, как

домашний каравай, хорошо подошедший, слегка подрумяненный. Игристое вино шумит в жилах, бурлит в темных извилинах мозга, какой-то голод витает в купе, словно бы каждый хочет протянуть руку к хлебу. Это видно по глазам, взгляды делаются все более настойчивыми, все более липкими. И шутки постепенно становятся солеными, я боюсь, как бы грубость не подмяла все под себя в этой душной и холодной берлоге. Женщина продолжала спокойно защищаться своей застенчивой полуулыбкой, окидывая нас всех взглядом внимательных глубоких глаз. Похоже, она привыкла к тому, что мужчины к ней цепляются. Красивая женщина — словно куст ежевики, сколько раз ни пройдешь мимо, столько раз зацепишься. И если на окне висит табличка «Не высовывайся!», то на женщине следовало бы написать: «Не засматривайся!» — потому что если засмотришься в ее глаза, то в них и утонуть недолго. Никто, однако, там не утонул и за пазуху не успел нырнуть, потому что ребенок громко заплакал. Женщина затрясла его, но ребенок все плакал, и старик с бельмом спросил: «Может, оголодал твой богатырь?» Женщина отогнула пеленку, открыла личико. Оно все сморщилось, багровое от натуги; величиной младенец и правда был с головастика, весь запеленутый и со стеклянной бусинкой от сглаза на чепчике.

Не успели мы все опомниться и что-либо сообразить, как женщина спокойно расстегнула блузку. Ток, ток, ток! — щелкнули металлические кнопки, и женщина, чуть повернувшись, чтобы младенцу было удобнее, спокойно вынула грудь и начала его кормить. Пышным и обильным было все в этой женщине, покойным и исполненным уюта. Ребенок утонул в этом уюте, посапывая от удовольствия.

В нашей медвежьей берлоге наступила тишина. Первым замолчал коротышка с прищемленной рукой. Правда, хоть он и замолчал, но губы его все еще недовольно двигались, наверное, он продолжал про себя рассуждать о том, как эта рука его кормила. Повернув голову с половинкой лба, он уставился в окно. Постепенно один за другим мы все поворачивались к окну, даже старик с выпуклыми стеклами очков обратил свои очки к окну. В притихшей медвежьей берлоге слышалось только тихое посапывание головастика. Никто больше не смотрел на мать, и газированное вино перестало бурлить в наших жилах и в темных извилинах мозга. Все до одного мы смотрели в окно, да с таким интересом и напряженным вниманием, словно за окном разыгрывались сцены второго пришествия или сама загробная жизнь заглядывала снаружи, и мы так пристально и тупо всматривались в загробную жизнь или во второе пришествие, что могли бы разглядеть их до мельчайших подробностей.

Увы! Мы не видели ни загробной жизни, ни второго пришествия!.. За окном по-прежнему шел дождь, по грязному стеклу сбегали струйки, мимо вагона, медленно поворачиваясь, скользили рощицы, окутанные туманом, мокрые поля, холодные зеркала затопленных нив, облетевшее дерево с унылой птицей на ветке, стожки кукурузных стеблей и листьев, железные опоры высоковольтных линий, и нигде ни единого человека. Две ветхие занавески со штампами БДЖ болтались по обе стороны окна. На фоне этих подвижных картин неясно отражаемся в стекле и мы, обитатели купе. Сдается мне, это начинает походить на возвращение блудного сына. Несколько лет назад я осматривал иконы в музее храма Александра Невского, и сильное впечатление произвела на меня икона под названием «Возвращение блудного сына». На иконе были изображены два путника, оба босые, штанины не доходят до лодыжек, лица у обоих заросли щетиной, оба жалкие, словно последние нищие. Они идут по пескам пустыни, пустыня серая, и небо серое, и одежда у них серых тонов. Я и теперь не мог бы сказать, кто из них двоих блудный сын... Вот что вспоминал я при виде неясного отражения в мокром грязном окне, пока мать кормила посапывающего головасти-

ка. Мы все до одного были словно возвращение блудного сына, и нас несло вместе с нашим жестяным вагоном и вместе со всем жестяным поездом по пропитанной дождем Фракии к Большому селу Софии. И ни у кого не хватало духу обернуться и посмотреть на мать, которая кормила грудью своего маленького сосунка. Вместо этого мы прилепились к мокрому и грязному оконному стеклу, уставившись на свои отражения и поглупев, точно сосунки!

Серая кобыла

До появления серой кобылы никто из нас не учился ездить верхом. Лошадей в деревне было мало, если кто и покупал лошадь и повозку, то держал лошадь не больше года и потом продавал, а повозку закатывал под какой-нибудь навес, в осенние дожди на ее сиденьях мостились приунывшие куры, шины ржавели, рессоры ржавели, кожаные части сбруи перегорали и становились ломкими. В Тодоров день на лугах — Асановице или Чилибинице — устраивали скачки, в них участвовало по три-четыре коняги, это были лошади Ванчо, Спаса Лилова (его лошадей раз увели конокрады из Кулы), Мито и Гёры, чью мосластую кобылу звали Тодорины-Куклы. Участие Гёры в скачках было недолгим, он играл на деньги, проиграл сначала Тодорины-Куклы, а потом и себя загубил. Никогда не принимала участия в скачках лошадь Сандо Тошина, он промышлял извозом и летом возил старух на Выршецкие минеральные воды, а потом забирал их оттуда и заезжал на обратном пути в Клисурский монастырь, где старухи могли поставить свечку и помолиться, потому что в нашей деревне церкви не было и поставить свечку и помолиться богу было негде. Потом выкупанные, чистенькие старухи месяцами ходили по деревне закутанные в платки и шали, чтобы после купаний ненароком не простыть. Более чистых и нежных старух я в жизни никогда не встречал.

Деревня в основном держала буйволов и одну породу мелких коров, которые карабкались по холмам, точно козы. Буйволы наши, крупные, ухоженные, славились по всей округе; если во время молотьбы надо было перевезти молотилку либо локомобиль из одного села в другое, то за буйволами приходили к нам, трех пар на локомобиль было достаточно, буйволы тянули, словно тягачи. Старые буйволы были посмирнее, ребятишками мы учились ездить на них верхом — или когда они паслись на лугу, или когда летом в жару их пригоняли к омутам на реке. Так было до появления обозной кобылы.

После Девятого сентября[1] прошло уже немало времени, когда в том же 1944 году у нас в деревне расквартировали военный обоз. Солдаты были почти все украинцы с волосами цвета соломы, народ немолодой, из украинских степей, их интересовали все виды наших сельскохозяйственных орудий, домашняя утварь, устройство домов, скотина во дворах; говорили они мягко, напевно, все больше на «х» и на «и», и были до невозможности голубоглазыми — посмотришь в такие глаза и заглянешь на самое дно души. Военный обоз простоял у нас неделю, и как пришел неожиданно, огласив деревню конским ржанием и неясной мягкой речью, так неожиданно, среди ночи, снялся и ушел. По дворам и улицам замелькали керосиновые фонари, обозники попрощались с хозяевами, и когда повозки затарахтели по улицам, в темноте послышались звуки гармони, им подтянули мужские голоса, фонари в руках мужиков застыли, а сзади к фонарям подступил мрак, густой и плотный. Все дальше и дальше уходил стук копыт и дребезжанье железных шин, все глуше и глуше слышалось конское ржание и песня солдат, и лишь едва-едва вздыхали

[1] Девятое сентября 1944 г. — день победы социалистической революции в Болгарии.

кожаные мехи гармоники. Потом все поглотила темнота, фонари снова замелькали, мужики разошлись по домам, и, я думаю, каждый из них унес с собой горсточку воспоминаний о нежданно появившемся и внезапно исчезнувшем военном обозе.

Во мне тоже с тех детских лет осталось зерно воспоминания. Оно пустило корень, но листьев не выбросило и не расцвело, а осталось у меня в душе, словно маленькая запятая. Позже я прочел стихотворение поэта Ивана Давидкова «Украинец с белой гармошкой» и почувствовал, что зерно воспоминания в моей душе живо. Иван Давидков родом из соседнего села, наши пастбища граничат с их пастбищами, вероятно, во время войны и в их селе стоял военный обоз с солдатами-украинцами, хотя точно не знаю. Во всяком случае поэт, украинец и белая гармошка проникли мне в душу и притаились в ее сумерках светлым пятном.

Несколько лет назад от восточных берегов Сибири штормом оторвало военную баржу с четырьмя солдатами на борту и сколько-то недель мотало по Великому, или Тихому, океану, пока им не встретился корабль-спаситель. Солдатики, едва живые, рассказали, что они спаслись благодаря кожаным мехам гармошки, которые они резали на полоски, вымачивали в океане, чтобы размягчить кожу, жевали эти полоски и так боролись с голодом. Это событие и съеденная гармошка снова воскресили в моей памяти исчезающий в темноте военный обоз, стук копыт и колес, приглушенную солдатскую песню и едва-едва вздыхающую гармонику. Не могу только вспомнить, ревел ли и стонал в той песне широкий Днепр или обоз пел какую-то другую песню. Я был тогда еще слишком мал, чтобы отличить одну песню от другой. Но это не имеет никакого значения, важнее, что звуки ее до сих пор живут во мне.

Обоз уехал, наутро деревня выглядела опустевшей, не видно было покрытых попонами лошадей у коновязи, не видно было голубоглазых солдат с волосами цвета соломы, которые вели бы лошадей на водопой, умолкло конское ржание. Мощные, как тягачи, буйволы вышли на улицу щипать траву, дышали они тяжело, смотрели свирепо и временами дули в свои иерихонские трубы. Запах сапог, ваксы и лошадиного пота понемногу рассеялся, деревня устроилась поуютней в своей котловинке и стала ждать зиму. И маленькое зернышко воспоминания тоже устроилось в душе, притаилось там и за более чем три десятилетия не погибло, но и не проросло.

Прошлой осенью я много бродил по стране, осень стояла долгая и сухая, напоминая мне осень 1944 года. Неделя за неделей деревья сбрасывали свои одежды; если я оставался ночевать в какой-нибудь горной деревушке, я слышал ночью, как ветер сметает с гор листву и гонит ее по деревенским улицам, если шел полями, я останавливался и смотрел, как на верхушке какого-нибудь тополя держится один-единственный лист, и думает этот лист, упасть ему уже на землю или потерпеть еще на верхушке; иногда увижу понурую ворону, усевшуюся на совершенно голое дерево,— и она думает, улететь ей или остаться на дереве. И сороку можно заметить, сидит неподвижно на дикой груше и никуда не летит, потому что нигде нет падали. На ощипанном овцами лугу загорятся здесь и там синелиловые огоньки осенницы. Вся природа пепельно-суха, она уже неделями не меняется, словно раздумывает, что ей делать дальше, или ждет, когда с ней что-то случится. То, что случится с ней, придет сверху, это будет первый снег.

И вот, когда я бродил неделю за неделей по обнаженной природе, останавливаясь то тут, то там перед какой-нибудь осенницей, я начал чувствовать, как то зерно, с запятую величиной, начинает давать ростки, воспоминание об обозе становится все более зримым и какое-то подобие осенницы раскрывает свою бледную чашечку. Я никогда не рву этот меланхолический цветок, потому что он вы-

глядывает из остывшей земли, о чем-то напоминая, что-то рассказывая или о чем-то предупреждая. Тут мне как раз было бы в пору вынуть коробку сигарет и записать на ней, что все это произошло, когда военный обоз ушел и на лугах начала цвести осенница. Если же сигареты выкурены и коробка из-под сигарет небрежно брошена на дороге, то можно и в другой раз все-таки вытащить коробку с сигаретами и записать на ней, что это случилось, когда цвела осенница.

Итак, это произошло в то время, когда цвела осенница.

Вторая мировая война с грохотом откатывалась на запад, школьный звонок каждый день созывал детей в школу, виноград был собран, в подвалах вино бушевало в бочках, желтая щекастая айва устроилась на подоконниках между горшками с геранью и смотрела, кто проходит по улице. По улице прошел первый черный платок, первая черная весть первой фазы Отечественной войны [1]... Учитель послал нас выкапывать цветки осенницы вместе с луковицами. Вооружившись деревянными мотыжками, мы отправились на Чилибиницу, где весной устраивали деревенские скачки. Пропасть осенниц цвела там, прямо пропасть, весь луг казался лиловым. Среди осенниц мы увидели серую лошадь. «Лошадь! Лошадь!» — закричали мальчишки постарше, второгодники, и кинулись к лошади. Мы — за ними.

Кобыла, не обращая на крики никакого внимания, стояла среди цветов как вкопанная. И когда мы подошли к ней совсем близко, она даже не взглянула на нас, стояла себе, повесив голову, и неуверенно моргала. И хвостом не махнула. Мы знали деревенских лошадей наперечет, эта была не из нашей деревни. На одной ноге у нее виднелась незажившая рана, на спине и серых боках вытерты белые полосы. Самый смелый из мальчишек потрепал лошадь по холке, она покачала головой, шевельнула ушами, мальчишка похлопал ее по спине, погладил и вскарабкался на нее. Кобыла сделала несколько шагов и остановилась. Тогда мы все столпились вокруг, каждый хотел ее потрогать, каждый хотел потрепать по холке, самые нетерпеливые, отталкивая друг друга, пытались на нее забраться. Лошадь оказалась в высшей степени смирной и добродушной, она всем позволяла садиться на нее верхом, делала с каждым новым седоком по нескольку шагов и останавливалась. Могу сказать, что в ту осень все мы впервые ездили верхом, и хотя животное переступало еле-еле, да еще прихрамывало, каждый из нас в воображении своем бешено мчался по осенним цветам.

Сколько мы ни смотрели по сторонам, нигде не было видно ни человека, ни распряженной телеги, и стука топора не доносилось из ближнего леса, мы же, гадая, откуда взялась лошадь, подумали было, не оставил ли ее на лугу какой-нибудь дровосек... Накопав осенниц с луковицами, мы вернулись в деревню, а лошадь осталась на Чилибинице.

На другой день мы нашли ее на том же месте, только она стояла мордой к деревне, словно ждала, что оттуда кто-то появится. Появились мы, некоторые из ребят притащили в карманах хлеб и веревки дали лошади хлеб, потом повязали ей на шею веревку, и когда кто-нибудь садился на нее верхом, по крайней мере двое вели ее за веревку, а другие прутиками погоняли, и таким образом верховой, уцепившийся обеими руками за гриву, мог объехать весь луг. Потом седок сменялся, пока очередь не доходила до последнего из мальчишек. Над лугом неслись крики, крики воодушевления, все вопили «Н-но!», а когда дня через два на луг пришли девчонки посмотреть на серую кобылу и убедиться своими глазами, какие бешеные идут

[1] В Болгарии принято делить участие страны в Великой Отечественной войне (после победы социалистической революции в Болгарии болгарские войска сражались в составе 3-го Украинского фронта Советской Армии на территории Югославии и Венгрии) на две фазы: первую (сентябрь—ноябрь 1944 г.) и вторую (декабрь 1944 — май 1945 гг.).

у нас скачки, торжество стало полным. И песни мы пели, всякие песни, но главным образом солдатские, потому что все мы не раз видели, как поздней дождливой осенью, во время осенних маневров, через деревню проходит кавалерийский полк, квартирующий в ближнем городе. В дождливую погоду грязь в деревне — по колено, по грязи шлепают насквозь промокшие всадники, из лошадиных ноздрей валит пар, седла поскрипывают, на седлах покачиваются серые солдаты, и надо всем этим несется солдатская песня, от которой дрожат в окнах стекла. Дождь и туман скрывают протянувшийся через деревню полк, какой-нибудь отставший всадник или связной скачет в одиночку по жидкой грязи, а оконные стекла еще позвякивают. Вот и мы ездили верхом на приблудной лошади так, словно служили в кавалерийском полку и как отставшие связные скакали в одиночку, догоняя ушедшую на осенние маневры кавалерию.

Как-то на лугу появилась группа мужчин, вооруженных ружьями. Они вышли из леса и направились прямо к кобыле. Мы подумали, что кобыла принадлежит им, сняли с ее шеи веревку и стали ждать, что будет дальше. Взрослые не спешили, они спокойно шли по лугу и курили. День был безветренный, синий дым от цигарок двигался вместе с ними и их ружьями. Когда они подошли ближе, мы их узнали. Это были мужики из нашей деревни, они устраивали облаву на бродячих собак. В те годы вокруг деревни бродили бездомные собаки, во время собачьих свадеб они сбивались в стаи и становились такими злобными, что могли напасть и на человека. Мы тоже бегали иногда разгонять такие своры бродячих собак и бросали в них камнями, но далеко от деревни отходить боялись.

Мужики оглядели кобылу, один из них разбирался в лошадях, он сказал, что она долго не протянет, что у нее нет зубов и она не может щипать траву, что она слепнет и у нее повреждена кость, а лошадиные кости не заживают. Он попытался расшевелить животное, сел на него верхом, пришпорил, и кобыла, выворачивая шею, с большим трудом пошла рысью, но через несколько шагов остановилась и опустила голову. Человек соскочил с нее и сказал, что, кроме всего прочего, лошадь запальная, на скаку чувствуются глухие удары в боках. Мы стояли молча, сбившись тесной кучкой, и ловили каждое слово. Знаток лошадей сказал еще, что кобыла эта обозная, оставленная здесь военным обозом, потому что дальше она идти не могла. «Таких лошадей обычно отдают львам,— сказал еще знаток,— но здесь львов нету!» Он предупредил нас, чтобы мы не мучили животное и не слишком его заезживали, глядишь, может, еще оправится и окрепнет, коли его выпрягли из обоза и оставили среди луга на воле.

Мужики пошли к деревне, мы постояли, постояли, глядя то на кобылу, то на лес, лошадь мы все больше жалели, а в лесу чудилось нам что-то враждебное. Пролетают стаи ворон, их карканье почему-то кажется нам печальным, мы смолкаем и молча идем в деревню. Если кто обернется назад или посмотрит через плечо, то увидит, как неподвижная лошадь на лугу повесила голову, словно она привязана к невидимой коновязи, и спокойно дожидается сумерек. Со стороны деревни доносится блеянье овец, слышны колокольцы, лают собаки, зовет кого-то женский голос, мирный дым вьется над крышами домов, и мы, не сговариваясь, ускоряем шаг... Мы спешим домой. Тогда это не приходило мне в голову, но вот теперь, когда я пишу, я не могу не думать о том, в каком одиночестве оставляли мы обозную лошадь среди осенних цветов на лугу!

Деревенская управа прикинула, нельзя ли каким-то образом использовать брошенную обозом лошадь, и отказалась от нее. Кобыла осталась целиком на нашем попечении, мы больше не ездили на ней верхом, но сохранили ей верность и если не каждый день, то довольно часто ее навещали. Иногда она стояла, повернувшись к шоссе,

и своими слепнущими глазами пыталась там что-то высмотреть. А ничего особенного на шоссе не было — разве что несколько телег, запряженных буйволами, везли зерно на мельницу. Черные рогатые тягачи медленно тащили повозки, на мешках с зерном сидели по пять-шесть помольщиков, они намеревались до снега смолоть зерно на паровых вальцовых мельницах. Лошадь стояла часами, к чему-то прислушиваясь, и чуть оживлялась только при стуке колес, день ото дня она все больше тощала, и мы очень удивились, когда однажды увидели, как она вскидывает голову и ржет. Случилось это, когда до луга донесся грохот взрывов в каменных карьерах. Лошадь повернулась в сторону взрывов, насторожив уши, попыталась вскинуть передние ноги, но не сумела, тяжело ударила копытами о землю и коротко заржала, потом еще и еще раз.

Постепенно осенницы начали исчезать, пополз белый осенний туман, природа все больше углублялась в себя, точно была на смертном одре. И наша кобыла стала постепенно растворяться в белом тумане, уходила то к самому лесу, то к тому краю луга, что спускался к оврагу с ручьем на дне. Иногда мы обнаруживали ее под разоренным навесом рядом с огородами, кобыла медленно перебирала ногами и ощупывала мордой деревянные подпорки навеса. Летом сюда привязывали лошадь, вот истощенное животное и ощупывало мордой и нюхало то место. Если по шоссе проезжала пролетка или телега и лошади замечали нашу, они ржали, не замедляя шага, кобыла поднимала голову, смотрела своими слепнущими глазами в неопределенном направлении, потом поворачивалась в противоположную сторону и долго стояла, не в силах понять, звали ее или нет. Кто может сказать, что происходит в голове старой, изможденной лошади, брошенной обозом посреди пути?

А однажды кобыла исчезла.

Не появилась она на лугу и на другой день, и на следующий ее тоже не было. Под вечер пошел снег, задул восточный ветер, к утру все побелело и снег продолжал идти. Мы решили пойти на Чилибиницу и привести серую кобылу в деревню, поставить ее под крышу. Вся Чилибиница была белая, и разоренный навес, и лес. Снег все шел, кружил вокруг нас, щеки у всех разрумянились, глаза блестели, ничто не могло лишить нас радости первого снега, в воздухе летали снежки, кое-кто из ребят катался по снегу и блажил вовсю. Вокруг было бело и пусто, никто не отозвался на наши крики, мы наскоро обшарили лес, с деревьев на нас сыпался снег, мы снова собрались на лугу и пошли к оврагу посмотреть, не там ли укрылась от ветра наша лошадь.

Едва мы подошли к оврагу, перед нами, словно вынырнув из снежной пелены, возникла свора бродячих собак. Ее даже трудно было назвать сворой, потому что каких в ней только не было собак, одни страшно лохматые, другие плешивые, эти хромые, те слепые, с рваными ушами, крупные и мелкие, и все до одной тощие. Встреча была такой внезапной, что и мы, и собаки замерли в снегу. А он все падал, сплетаясь в огромные белые полотнища, которые то закрывали от нас свору, то открывали, и вдруг мы с ужасом увидели, что морды у собак окровавлены и что все они облизывают морды языком. Некоторые из них, поджав хвост, затрусили было к оврагу, но снова останавливались и поворачивали к нам кровавые, красные морды. Снег продолжал проноситься волнами, и вокруг было так тихо, что мы слышали, как шумит в жилах кровь...

Вот что хотел я рассказать, пока еще цветет осенница и не появились первые снежинки. Замечали ли вы, как робки первые снежинки, как они мечутся в воздухе, кружат на месте, не зная, куда опуститься, хотя, куда б они ни опустились, они тут же и растают; за ними падают другие, они тоже не знают, куда опуститься, а опустившись, тут же тают, но за ними возникают новые, танцуют, пор-

хают или кружат в нерешительности — как же так, на землю босиком? — но раздумывать некогда, бесчисленное множество снежинок летит следом, смеркается, земли почти уже не видно, а позже, в темноте, целые тучи застенчивых босоногих снежинок, бесшумно сталкиваясь и кружась, ничком падают на землю. За ночь происходит чудо, каждая снежинка легко находит себе место среди других. Ведь легче ступить туда, куда до тебя уже ступили... Я вспоминаю, что мы пробежали тогда не только всю белую Чилибиницу, но продолжали бежать и по узким тропкам, протоптанным по деревенским улицам. Мимо тяжело прошествовали неповоротливые буйволы, выбрасывая пар из ноздрей,— шли на водопой. Тогда мы остановились — может быть, при виде буйволов, может, при виде человека, который спокойно шагал за ними, пытаясь с помощью огнива и кремня зажечь трут. Деревня была спокойной и светлой, все выглядело приветливо и пасторально, мирный дым курился из труб, точно дымок ладана, из окон смотрела на нас красная герань, между геранью приткнулись желтые щекастые плоды айвы — они тоже смотрели на улицу. А по улице, помню я, шел второй черный платок, второй в деревне черный знак второй фазы Отечественной войны. Война была далеко от нас, но мы были к ней близко, и она посеяла в нас воспоминания. Я задаю себе вопрос: надо ли нам распахивать залежь, именуемую человеческой памятью, или пусть себе зарастает травой? Что бы мы ни посеяли на этой залежи, семена не дают всходов! Но они и не умирают, а остаются жить, точно движущиеся светлые пятна в уютных сумерках души.

Шелковичный червь

Эта тихая и кроткая козявка требует тишины и полумрака. Она, точно вселенная или точно идея, рождается почти из ничего. Пока она не вылупится, женщины носят шелковичное семя за пазухой, потому что оно нуждается в тепле человеческого тела. В первые дни после выведения никакого шелковичного червя не видно, а виден только мелкий серый песок, который едва заметно шевелится на нежных листьях шелковицы, тщательно расстеленных женщинами. Только что вылупившиеся черви занимают какую-нибудь пядь пространства — скромную и незначительную территорию в комнате. Через несколько дней после первого сна они сбрасывают свою одежду, вытягиваются и начинают кормиться более энергично — уже можно ясно увидеть, как они обгрызают края нежных шелковичных листьев. Потом они снова спят, после второго сна опять линяют, раздеваются, как русалки, вылезая из старой тесной одежды белыми и страшно голодными.

Чтобы эти тихие и кроткие козявки не наползали друг на друга и друг друга не передавили, их надо непрерывно разреживать, постоянно расширяя их территорию. И только расширят им территорию, чтоб они могли спокойно на ней расположиться, глядь, через несколько дней и новая территория им уже тесна, поэтому день за днем территория эта все расширяется и расширяется, выживая обитателей дома со всеми их вещами, и вместо вещей и обитателей вдоль стен комнаты вырастают настилы. Через равные промежутки времени шелковичный червь засыпает, спит сколько ему нужно для того, чтобы скинуть старую одежду, просыпается подросшим и голодным, и тогда приходится сколачивать новые настилы, поднимая их в два и три яруса. На настилы бережно перекладывают тысячи шелковичных червей. Чтобы солнце не проникало в комнату, на окна вешают плотные занавески, и таким образом получается тот прохладный и тихий полумрак, в котором шелковичный червь должен прожить свою странную жизнь, пока не погрузится в мрак шелкового кокона, называемого в некоторых краях еще «кутанкой»... Вот

так бесшумно, день за днем шелковичный червь постепенно вытесняет обитателей дома и вольготно располагается на прохладных многоярусных настилах.

Несколько недель он копошится в полумраке и шуршит, поглощая шелковичные листья в неимоверном количестве.

Следить приходится не только за тем, чтобы обеспечить червю прохладу и полумрак, но еще и за тем, чтобы в доме не появились муравьи. Есть такой серый домашний муравей, его называют и фараоновым муравьем, потому что он живет промеж льняных бинтов, которыми обмотаны египетские мумии, так вот, этот серый домашний, или фараонов, муравей как почует, что где-то разводят шелковичного червя, так пробирается туда и яростно набрасывается на тихую и кроткую козявку. Кроме как от фараонова муравья шелковичный червь может еще погибнуть, если дать ему листья шелковицы, мокрые от дождя или росы, еще его пугают резкие звуки, от каждого, даже далекого, грома он поднимает голову и перестает есть, каждый крик петуха нарушает тихий ритм его жизни, равно как и громкий говор или близость кузницы. При стрессе изо рта шелковичного червя сочится вода, он сникает, перестает есть и умирает. Поэтому все следят, чтоб в доме было тихо, не топят печь — дым смертоносен для червя, стараются как можно дальше прогнать собаку, прогнать петуха подальше от порога, потому что этот разбойник все норовит заглянуть в дом то одним, то другим глазом и издали подает курам шифрованные сигналы в том смысле, что в доме, мол, богатая пожива, и все тайно про себя молятся, чтобы и грозы обошли деревню стороной, пока в доме шелковичный червь.

День ото дня эта тихая и кроткая козявка задает людям все больше и больше хлопот, сама она все растет и растет, пока не наступает наконец так называемый большой сон. Этот большой сон позволяет людям чуть перевести дух, а также найти себе помощников, потому что после сна козявка просыпается такой голодной, что, сколько листьев ей ни клади, она уничтожает их, будто пожар. Помню, что, когда мы выкармливали шелковичного червя, из соседнего села к нам на подмогу пришла старшая мамина сестра Ана со своим зятем Йосо. Йосо помогал резать и переносить ветки шелковицы из их садов, сады были далеко, в угодьях соседнего села, но у Йосо была такая проворная и быстрая походка, что он успевал сходить туда и обратно по два раза в день, выкуривая при этом по коробке сигарет, так называемой восьмерке. В этих восьмерках было по восемь второсортных сигарет, такая упаковка была очень распространена в Болгарии во время второй мировой войны. Кроме маминой старшей сестры и Йосо нам помогали еще одна тетка из нашей же деревни, дядя с отцовской стороны, один дядя с маминой стороны, у которого была телега с буйволами, и бабушка Велика, которая занималась в основном тем, что сучила пряжу и сыпала страшными проклятьями, надеясь тем самым предохранить окружающую среду от всяких напастей, которые развелись в наших краях еще с доаспаруховых времен [1].

Эти древние напасти в те годы все еще водились в северо-западной Болгарии, и бабушка Велика следила за тем, чтобы какая-нибудь из них не явилась и не попортила шелковичного червя, как зимой явилась чума, напавшая на свиней. Она смотрела также, чтоб не зашел к нам во двор человек с дурным глазом, потому что он мог сглазить червя, и цыганам она не давала близко подойти, будь то лудильщики, или сербские цыгане, или те, что продают деревянные миски, или медвежатники из котленских сел, или цыгане с берегов Дуная, которые приносили в своих бездонных мешках бракованный товар с Видинской фарфоровой фабрики и меняли его глав-

[1] То есть со времен до прихода на территорию нынешней Болгарии протоболгарских племен во главе с ханом Аспарухом.

ным образом на кукурузу. Эти фарфоровые изделия скорее напоминали турецкую черепицу, чем домашнюю посуду, но на ярмарках и свадьбах все-таки шли в ход. По мнению бабушки Велики, дунайских цыган вообще не надо было больше пускать в деревню, потому что они наполнили ее бракованной посудой на сто лет вперед, и мало того что ее полно во всех домах, но посудины эти, постояв известное время, не только не приобретают приличную форму, но искривляются еще больше, так что, когда придет кто в гости, неудобно даже и угощение подать на такой кособокой тарелке. Я не могу утверждать, что это правда, более того, я сильно сомневаюсь, чтобы фарфоровая посуда, вышедшая с фабрики, продолжала и потом деформироваться то ли от нагревания, то ли от холода, но бабушка Велика утверждала, что это так, и грозилась в один прекрасный день выкинуть всю эту посуду из дома и больше никогда не пускать во двор ни одного продавца бракованного товара. Однако же, несмотря на угрозы, она никогда ничего не выкидывала, и если те цыгане снова появлялись в деревне, всем кланяясь и благословляя каждого покупателя, она сменяла гнев на милость и звала их в дом, чтобы покормить и купить очередную кособокую тарелку. Торговцы эти были как один низкорослые, смирные, застенчивые, никакого дохода со своей торговли бракованной посудой они не получали, а просто сновали взад-вперед от Дуная к горам и обратно, протаптывая тропы в наш заброшенный и забытый богом край, потому что, не будь их, все заросло бы травой и затерялось в колючках и бурьяне.

Почти все женщины относились к цыганам и к сглазу так же, как бабушка Велика. Они сидели на низеньких трехногих табуретках перед домом, обрывали с веток шелковицы листья и, проворно работая руками, столь же проворно работали языком, мужиков же отгоняли от шелковичного червя подальше, потому что мужики курили, а червь, как известно, не переносит дыма. Мой дядя по отцу постоянно говорил Йосо: «Плюнь ты на этих баб, не видишь, что ли, они мелют, ровно грабелюки испанские!»

И Йосо соглашался с дядей.

То, что женщины мелют подобно испанским грабелюкам, производило на меня сильнейшее впечатление, я отчетливо это помню. Дядя соединял несоединимые слова, полагая, что таким образом он сразит женщин, занятых шелковичным листом и пустой болтовней. «Мелют» и означало «болтают», дядя хотел сказать, что женщины не разговаривают, а мелют, как испанские грабелюки. Слово «грабелюки» он совершенно произвольно образовал от «граблей», изменив их почти до неузнаваемости. Но ему, видно, и этого было мало, потому к «грабелюкам» он добавил «испанские», чтоб еще сокрушительней выразить свое пренебрежение к женщинам. Он считал, что таким образом он дает женщинам полную и точную характеристику, то есть что они, мол, ни на что серьезное не способны, а только мелют, ровно грабелюки испанские. Эти испанские грабелюки звучали в его устах почти с такой же силой, с какой звучит слово «фатально» у бай Ганю [1]. Женщины ничуть не обижались на это дядино определение, наоборот, полагая, что он с ними как бы заигрывает, совершенно не обращали на него внимания. Йосо застенчиво улыбался, глядя на женщин добрыми голубыми глазами. Он обрастал щетиной, времени побриться у него не оставалось. И дядя тоже не успевал побриться, только другой дядя, с маминой стороны, как-то исхитрялся находить для этого время. Он выезжал со своей телегой, запряженной буйволицами, затемно и возвращался домой тоже затемно. Буйволы тащили телегу с ветками шелковицы медленно и с такой торжественностью, словно они волокли за собой не ветки шелковицы, а само второе пришествие. Каждый раз, сгружая ветки,

[1] Бай Ганю — герои популярнейшего в Болгарии одноименного произведения Алеко Константинова (1863—1897).

дядя непременно говорил, что буйвол всегда просит хозяина нагружать его сколько угодно, но не гонять слишком часто взад и вперед. По силе буйвол не знает себе равных. Присутствие дядиных буйволиц в нашем дворе действовало как-то успокоительно. Мы были уверены, что, пока эти могучие животные у нас, шелковичный червь обеспечен едой, потому что, стоило дяде захотеть, он мог привезти целую гору шелковичных веток. Я тогда был еще маленький и смотрел на буйволов со страхом, хотя иногда дядя сажал меня на них верхом. Это тоже было очень страшно, ведь держаться было не за что. Я всегда пугался, когда проходил мимо буйволов, и они начинали пыхтеть, выворачивая белки глаз. Дядя брал меня с собой и когда по вечерам выходил во двор их доить. Они смирно жевали свою жвачку, почти сливаясь с темнотой цепи равномерно позвякивали, тонкие струйки молока белели во тьме, как две белые нити, и громко ударяли в стенки медного ведра. Над двумя темными тушами во дворе мерцали звезды, далекие, но несомненно проявлявшие к нам любопытство, потому что все они до одной смотрели на наш двор. Позади нас с дядей горел огонь, там женщины готовили ужин, далеко за ними светилась дверь дома, и внутри тихо шуршал шелковичный червь, керосиновый фонарь в чьих-то руках, покачиваясь, двигался от дома к огню или обратно, и это повторялось каждый вечер, пока рос шелковичный червь.

Вечерами дядя не поносил женщин, они с Йосо садились недалеко от огня, курили и тихо разговаривали о чем-то своем, известном только им двоим. Даже бабушка Велика старалась говорить тихо. Мне трудно теперь, когда прошло столько лет, отделить один вечер от другого, они почти сливаются в один-единственный длинный вечер, где пляшут во дворе языки пламени, вокруг двигаются неясные силуэты людей, слышится тихий говор, равномерно позвякивают на буйволах цепи, далеко в темноте лает собака, дом тихо шуршит изнутри, сдержанно, но равномерно, словно огромный уж сворачивается кольцом, шурша своей чешуей. Это шуршание производят шелковичные черви, по вечерам я вижу их в открытую и слабо освещенную дверь, и они кажутся мне мифическим существом, от которого зависит наш хлеб насущный. Дядя выдаивал буйволиц, и мы вдвоем несли медное ведро к огню. Вернее, он нес ведро, а я только держался за латунную ручку, чтобы не потеряться во тьме, и был уверен, что, пока я близко к дяде и держусь за ведро с молоком, никакие напасти и чудища из доисторических времен, известные бабушке Велике, не посмеют на меня накинуться.

Запомнил я еще, как дядя с маминой стороны рассказывает по вечерам женщинам, другому дяде и Йосо, что мы находимся на великом шелковом пути между Европой и Азией, поэтому и доля у нас такая — наше благополучие зависит от шелковичного червя, и мы держимся за маленькую кутанку, как утопающий за соломинку. В детстве я представлял себе этот великий шелковый путь как бесконечную шелковую нить, к двум невидимым концам которой привязаны две кутанки. Я прошу прощения у читателя, но, по моим тогдашним понятиям, одна кутанка была Европой, а другая — Азией.

Но не только вечера тогдашние слились в памяти в один долгий вечер, дни тоже постепенно слились или слиплись друг с другом. Шелковичный червь проснулся последний раз, последний раз сменил одежду, вырос до угрожающих размеров, и как только женщины расстилали на нарах листья, тут же сплошь покрывал их, грыз безостановочно шурша и треща при этом так, будто стадо коз тайком объедало свежую порубку. Мало-помалу женщины перестали болтать о пустяках, смех слышался все реже, Йосо и дядя совсем заросли, у Йосо борода была гуще, а голубые глаза его выцвели. Мужчины продолжали без передышки подносить вязанки шелковичных веток, женщины развязывали их, чтоб листва не задохнулась, рас-

стилали ветки в тени и тут же принимались обрывать с них листья. Они складывали листья в передники и, наполнив передники, тут же заходили в дом и стелили листья на настилы. Работая, все с тревогой поглядывали на горы. Уже несколько дней одна из вершин, Комичина-Дупка, курилась, а когда Комичина-Дупка начинает куриться — жди грозы. Потом во дворе появился деревенский дурачок, устроился среди женщин и начал рвать листья для червя. Дурачок наш был левшой, работал главным образом левой рукой. У него были светлые волосы, светлая борода красиво окаймляла его лицо, мечтательные карие глаза смотрели не в глаза тому, с кем он разговаривал, а куда-то очень далеко, словно бы за горизонт. Похоже, он видел что-то, что другим не дано было видеть, поэтому и взгляд у него всегда был мечтательный.

Так вот, и деревенский дурачок пришел помогать.

Детей тоже запрягли в работу, нас заставляли по утрам встряхивать каждую ветку шелковицы в отдельности, пока с листьев не опадет вся роса, потому что от росистых листьев шелковичный червь умирает.

Так потихоньку-полегоньку тихая и кроткая козявка превратилась в алчное и ненасытное чудовище, которое пожирало не только листья шелковицы, но и наши дни, да и наш сон — дней уже не хватало. Женщины непрерывно сновали в дом и из дома, следили, чтоб не зажужжала оса, чтоб не появился вдруг фараонов муравей и не пополз по настилу, где шелковичные черви разлеглись на нарах, крупные и белые, точно турчанки в гареме; еще они старались, чтоб петух с курами не прорвался в дом, и чтоб свет не слишком бил в окна, и чтоб не было шума, потому что любое волнение может иметь для шелковичного червя роковые последствия. У Йосо и дяди по отцу выросли настоящие бороды, а у дяди с маминой стороны борода подумала, подумала и, увидев, что бритва ей больше не угрожает, тоже принялась расти.

Под конец все уже двигались как сомнамбулы и глаза у всех покраснели от недосыпа. Женщины осторожно раскладывали на настилах метелки сорго и ветки граба, чтоб гусеницам было куда заползти, когда они решат наконец свивать свою кутанку, свою глухую темницу без единой щелочки. Но и листья шелковицы женщины не переставали таскать и расстилать на настилах, потому что шелковичный червь еще не кончил своей большой последней трапезы. Дядина телега продолжала тарахтеть по улицам медленно и тяжело, как второе пришествие, другой дядя совсем примолк, а Йосо курил по полторы восьмерки в день. Медленно, но неуклонно все двигалось к заветной цели.

Но вот пришел день, когда горы, давно уже курившиеся Комичиной-Дупкой и хмуро взиравшие на деревню, начали окутываться тучами. Горы медленно подступили к деревне, неся в своем зеленом подоле белые сугробы снега, оставшиеся еще с зимы. Мы знали, что перед дождем горы всегда подступают ближе, их можно разглядеть во всех подробностях, и появляется обманчивое чувство, будто, если протянешь руку, до них можно дотронуться. Но на этот раз никто не протягивал руки, все, видно, боялись ноздреватых снежных сугробов в подоле гор. От них веяло холодом. Дядя попытался пошутить, что вот, мол, и горы подходят ближе, чтобы посмотреть на нашего шелковичного червя, и хотя его заросшее бородой лицо смеялось, в глазах смеха не было.

И горы действительно пришли.

Они пришли с громом и треском, тяжелый ветер пронесся по деревне, подняв тучи пыли, дома исчезли в этой пыли, стало темно, крупные капли дождя застучали по земле, словно сотни людей бежали босиком, громко стуча по земле босыми пятками. Женщины кинулись в дом закрывать окна и двери, опускать занавески, чтобы

губительная пыль не ворвалась к гусеницам. Бабушка Велика вынесла старое решето, перевернула его вверх дном и начала сеять, надеясь этой ворожбой отвести грозу. Но порыв ветра вырвал решето у нее из рук, покатил по двору и вынес на улицу, хлынул ливень, и в считанные мгновения на нас обрушилось небо. Туча неслась по самой деревне, подминая ее под себя, молнии огненными языками облизывали мокрые крыши домов, над самыми нашими головами что-то трещало и рушилось, мы все были словно во взорванной каменоломне. «Черви! Черви!» — вопили женщины, ослепшие от ярких молний, оглохшие от раскатов грома, и кидались под дождем от дома к сараю, от сарая к дому. Потом они перестали метаться, впадая постепенно в какое-то странное оцепенение. Только дурачок продолжал левой рукой рвать листья. Его глаза и все лицо были странно оживленны, русая борода точно искрилась. Может быть, вот такие грозы и видел наш дурачок, когда смотрел не в глаза тому, с кем разговаривал, а куда-то далеко, далеко, словно бы за горизонт.

Помню, когда гроза ушла, женщины сдвинулись со своих мест, медленно пошли к дому и, перешептываясь, боязливо заглянули туда. Я тоже посмотрел: на настилах ничего не шевелилось. Тишина повисла в доме. Шелковичный червь не потрескивал, как стадо коз, запущенное тайком на свежую порубку, и ни одна козявка не двигалась. Тишина и полумрак струились из всех углов, из-под всех настилов. Вот она наконец, та настоящая тишина и настоящий полумрак, которые так любит эта тихая и кроткая козявка. Она зародилась, как вселенная или как идея, почти из ничего, у женщин за пазухой, и во время грозы превратилась в ничто... Мама тихо заплакала.

Мама тихо заплакала, уставившись взглядом в полумрак. Она не позволила ни одной осе зажужжать над шелковичным червем, ни одному фараонову муравью не удалось доползти до настилов, ни один резкий звук за все время не нарушил покоя шелковичного червя, и яркий свет мама не пропустила в окна, и ветру не дала подуть, и человека с дурным глазом не подпустила. Но грозу никто не мог остановить, ее ужасные раскаты потрясли дом до основания. Тонкая шелковая нить, которую дядя называл великим шелковым путем между Европой и Азией, порвалась так же ненароком, как ненароком, по всей вероятности, и появилась.

Много лет прошло с тех пор, но чем больше времени проходит, тем настойчивее напоминает о себе эта история, стучит в моем сознании, как дятел, не дает мне покоя. И сколько раз возвращаюсь я к ней, столько раз вижу все одну и ту же картину: гроза уходит, раскаты ее все глуше и глуше, со стрех звонко капают капли, горы едва видны, в зеленом их подоле белеют ноздреватые сугробы, женщины стоят на пороге дома, не отрывая глаз от мертвых шелковичных червей на настилах. Не выдержали они грома, и когда небо обрушилось сверху, точно взорванная каменоломня, тихая и нежная козявка погибла; мужчины тоже стоят молчаливо и неподвижно, только дурачок продолжает левой рукой обрывать листья, а позади всех стою я, босой, остриженный ножницами, и смотрю на сумеречный дом. И на что я, собственно, смотрю? На мертвого шелковичного червя смотрю или на что-то другое в этой дальней дали? И мне часто приходит в голову, не разглядываю ли я вместо воспоминаний свои тихие и кроткие сюжеты, погруженные в полумрак и тишину?

Упавшие птенцы

Вероятно, дело было в конце мая или начале июня, не помню точно, во всяком случае весной, по небу плыли вереницы облаков, тянулись на юг. Я стал тогда свидетелем одного незначительного случая, о котором не намеревался рассказывать кому бы то ни было

и долго хранил его про себя. Со мной и раньше бывало, что я долго хранил, как нечто дорогое, воспоминание о каком-нибудь совершенно незначительном эпизоде, но именно эти незначительные эпизоды иной раз, как ни странно, совершенно по-особому волнуют сердце и занимают воображение. Так, например, на прошлой неделе по дороге к обсерватории я увидел упавшую на спину букашку — то ли жука, то ли кого-то похожего на жука. Наполовину раздавленная, букашка продолжала дергать лапками. На нее яростно нападала оса. Оса в страшном возбуждении кружила над ней и впивалась в нее с таким ожесточением, будто не присасывалась к ее ранам, а рвала ее на части. С тех пор мое сознание много раз воскрешало эту картину, и я начинаю подозревать, что голова моя настолько опустела, что в ней не осталось ничего, кроме упавшей на спину букашки и налетающей на нее свирепой осы!

Но потихоньку-полегоньку мысль отодвигает эту картину на задний план, окутывает ее дымом или туманом, и я снова вижу плывущие на юг вереницы облаков. Я снова в парке, в воздухе жужжат пчелы, разносится птичий гомон и шум падающей воды. Этот шум производят бронзовые лягушки — они уселись кружком в центре пруда с лилиями и непрерывно выталкивают из себя водяные струи. Над головами их кружит стрекоза, застывает в воздухе, ждет, не появится ли рядом со струями или над белыми цветами лилий какая мошка, тут же атакует ее, исчезает, а вскоре я снова вижу ее над мокрыми спинами бронзовых лягушек. Здесь редко встретишь стрекозу, откуда только взялась она в софийском парке?.. Я не останавливаюсь у пруда, иду дальше своей дорогой. Смотрю — среди деревьев бродят по траве трое ребятишек: две девочки и мальчик, он самый младший. У старшей девочки в руках плетеная корзинка, прикрытая сверху серой тряпкой. Я вижу детей только со спины. Они медленно бредут по траве, то сходятся, то снова расходятся и смотрят себе под ноги. Больше всего они напоминают грибников, грибники вот так же бредут, когда собирают грибы. Но здесь, в парке, грибов нет. Я подумал, что дети потеряли что-то и теперь ищут.

Однако долго искать им не пришлось, потому что с противоположной стороны послышался предупредительный свист и далеко не ласковый мужской голос: «Вы что траву топчете, разбойники? Не видите, всюду вон какими буквами написано, что по траве ходить воспрещается? Или вам это не указ?» Дети повернули и между деревьями направились ко мне. Старшая девочка, с корзинкой, шла посередине, по одну сторону шла вторая девочка, по другую — спотыкался мальчонка. Одной рукой он держался за ручку корзины. Серая тряпка соскользнула и упала, старшая девочка подняла ее и снова старательно прикрыла корзинку. В это время послышался второй мужской голос, отвечавший первому: «Да здесь хоть проволочные заграждения ставь, все равно на траву полезут! Городское хулиганье, их разве словом прошибешь? Когда ни посмотришь, один разгуливает, другой собаку пустил по траве гадить, третьему приспичило мяч по траве гонять! Разве что коровы я еще здесь не видел, но если увижу, что корова пасется, тоже не удивлюсь! Да это же не парк, это прямо казино какое-то!»

Тот мужчина, который свистел в свисток и первым крикнул детям, чтоб они не топтали траву, возразил своему собеседнику, что корову сюда не пригонят. Скорее уж лошадь, а корову — ни за что!

Я остановился и наблюдал за детьми. Они подходили все ближе ко мне, о чем-то оживленно но тихо разговаривая, и меня не видели. Мне казалось, что все их внимание сосредоточено на корзинке, покрытой серой тряпкой. Заметили они меня, только когда вышли на аллею. Я остановил их и спросил, как нам быть со сторожем и с тем другим дядей, который не удивится, если увидит в парке корову. Ребятишки засмеялись. У младшей девочки на зубах была про-

волочная насадка для выравнивания зубика, норовившего удрать от остальных. У мальчонки были сильные очки, от этого глаза из-за стекол смотрели как у взрослого. Старшая девочка поправила серую тряпку на корзине и сказала: «Дядя, мы не топчем траву!» Мальчик добавил: «Мы птенцов собираем!» Я удивился — как это так собирать в траве птенцов. Девочка с проволочной насадкой на зубах вмешалась и пояснила: «Упавших птенцов!» «А упавшие птенцы откуда берутся?» — спросил я, чувствуя, что постепенно теряю почву под ногами. Тогда вперед вышла старшая девочка с корзинкой и объяснила, что, когда дует ветер, он очень сильно раскачивает деревья, а вместе с деревьями очень сильно раскачивает гнезда разных птиц. Сейчас птицы вывели птенцов, и когда ветер раскачивает гнезда, какой-нибудь птенец, воробушек какой-нибудь, может выпасть из гнезда на траву. Их мамы ведь не сидят все время с птенцами, они добывают им пищу, и птенцы как раз тут и вываливаются из гнезда. А птенец, если упадет на траву, обратно уже не может забраться. Поэтому они бродят по траве и ищут птенцов.

Я думал, что они еще ни одного птенца не нашли, но на всякий случай спросил. «Нашли, нашли!» — заговорили они наперебой, старшая девочка приподняла серую тряпку, и на дне корзинки я увидел, к своему удивлению, двух неказистых птенцов, наполовину голых, наполовину покрытых сероватым пухом. Как только на них упал свет, они тут же подняли головки и, беспомощно пища, широко раскрыли клювики. Жизнь в этих тельцах показалась мне такой хрупкой, что, казалось, она может угаснуть у меня на глазах. «Закройте их! — сказал я детям.— Они думают, что свет — это их мать, потому и раскрывают клювики. Голодные, пищу ждут!»

Дети закутали корзинку серой тряпкой, птенцы на дне умолкли.

Замолчали и мы. Потом я спросил: «Ну а что же дальше?» Старшая девочка сказала: «Как найдем гнездо, переложим их в гнездышко. Птичка ведь будет о них заботиться?»

«Непременно!» — сказал я детям и пошел по аллее, приближаясь к сторожам, которые продолжали убеждать друг друга, что этот парк — никакой не парк и траву здесь надо сторожить с дубиной в руках... Облака все так же тянулись на юг, далекие и чужие...

Больше я этих ребятишек не видел.

Я и до сих пор не знаю, что будет, если положить обратно в гнездо выпавших птенцов,— станет птица о них заботиться или нет. Важнее, мне кажется, искать и подбирать упавших на землю птенцов, как это делали трое ребятишек в парке, потому что бури и грозы постоянно обрушиваются на дерево жизни и из гнезд его то и дело падают на землю полуголые, неокрепшие, голодные и дрожащие птенцы.

ГЛЕН НИКА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик болгарской прозы и драматургии. В ее переводе опубликованы романы К. Калчева «У истоков жизни», А. Карасимеонова «Любовь», повести и рассказы Св. Минкова, А. Гуляшки, Э. Станева, Б. Райнова, В. Андреева, Д. Цончева («ИЛ», 1984, № 2) и др. пьесы В. Петрова и С. Стратиева. Переводила многие произведения Й. Радичкова, в том числе публиковавшиеся в «Иностранной литературе» новеллы «Жаркий полдень» (1964, № 5) и повесть «Воскресенье» (1969, № 5) и др.

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК

С польского

Поэзия позднего Слободника

Влодзимеж Слободник — старейший польский поэт, в этом году ему исполняется 85 лет. В его лирике 50—70-х годов присутствует личный опыт многих десятилетий, опыт житейский, душевный, литературный. Но не только личный опыт. Польская и мировая поэзия, польская и мировая культура ощутимо присутствуют во всем, что он делает. Кроме польской поэтической классики, от Яна Кохановского до Мицкевича, Норвида, Стаффа, в творчестве Слободника чувствуется и русская (особенно пушкинская) традиция, и прекрасное знание французской поэзии. Как переводчик русских поэтов Слободник — один из крупнейших в Польше мастеров наряду с Тувимом. Переводил он также стихи Бодлера и Лорки, Гёте и Рильке. Большое место в его жизни и творчестве занимает музыка — Бах, Брамс, Шопен, в юности он даже подумывал о том, чтобы стать пианистом-виртуозом. В конечном счете он стал не музыкантом, а «поэтом-музыкантом», тонко чувствующим мелодию стиха, строящим композицию стихотворения или цикла по законам музыки. Но, пожалуй, еще более он «поэт-живописец» и «поэт-скульптор». Мир предстает в его поэзии зримым, цветным, осязаемым, выпуклым, вещным. «Как огромную круглую вещь» ощущает он нашу планету. Любовно оглядывает, ощупывает он вещь, созданную человеческими руками, руками мастера — столяра, гончара, ваятеля.

Крупнейшей удачей в творчестве Слободника 50-х годов стали его «Сонеты о Вите Ствоше» (1954). Вит Ствош (Фейт Штос), выдающийся скульптор и живописец, двадцать лет (1477—1496) прожил в Кракове, тогдашней польской столице; здесь он создал свой шедевр — резной полихромный алтарь в краковском костеле Девы Марии. Для польского сознания краковский мастер Ствош — фигура столь же символическая, как для русского — Рублев.

Алтарь Ствоша, вывезенный в годы оккупации в Германию, был после войны возвращен в Краков, реставрирован и вновь открыт для обозрения. Это было заметным событием польской культурной жизни послевоенных лет, и на него откликнулись сразу несколько поэтов. Двое — Галчинский и Слободник (кстати сказать, неразлучные друзья в 20-е годы, когда оба входили в литературу) — создали вещи существенные и яркие. Поэма Галчинского «Вит Ствош», известная русскому читателю в переводе Д. Самойлова, как бы воскрешает Ствоша, позволяет заглянуть в его мастерскую, увидеть самый процесс рождения алтаря. Многочастный цикл сонетов Слободника — как бы модель многочастного алтаря Ствоша, воссоздающая скульптурно-живописный шедевр средствами другого искусства — искусства поэзии, поэзии «скульп-

© Włodzimierz Słobodnik, 1980.

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК — WŁODZIMIERZ SŁOBODNIK (род. в 1900 г.)
Польский поэт и переводчик. Лауреат премии министра культуры и искусства ПНР, премии города Варшавы, а также двух высших польских литературных премий для переводчиков. Автор 22 поэтических книг. В ПНР вышло семь изданий его избранных стихотворений. В годы войны (1939—1945) жил в Советском Союзе и посвятил Узбекистану книгу стихов «Дом в Фергане» (Варшава, 1946).
В русских переводах стихотворения В. Слободника печатались в антологиях и периодике, в том числе в «Иностранной литературе» (1972, № 12).
Публикуемые стихи взяты из книги «Избранные стихотворения» («Wiersze wybrane», Warszawa, 1980).

турной» и «живописной». И поэма, и сонетный цикл представляют алтарь Вита Ствоша как «зеркало действительности» (название одного из сонетов), как энциклопедию жизни старого Кракова.

В сонете «Пленение» Слободник угадывает за одним из рельефов алтаря Ствоша («Взятие Христа под стражу») страшную сцену на улице средневекового города. Сцену эту видят двое: Ствош и Слободник. Для современного поэта средневековье не заслоняет событий более близких по времени и столь же страшных: гитлеровской оккупации с ее облавами на улицах польских городов. «Солдаты, бедняка несчастного схватив...» — это и XV и XX век, это и солдаты вермахта в том же Кракове или в Варшаве. Строки стихотворения пахнут «едким горьким дымом» Освенцима.

Двуединая антивоенная-антифашистская тема — сквозная тема всего послевоенного творчества Слободника. В одном из стихотворений Орфею-песнопевцу, то есть поэзии и музыке, античности как символу культуры и гуманизма, противопоставлено «море свастик». В книгах пейзажно-музыкальной лирики Слободника 50—60-х годов среди его «мазовецких прелюдий» вновь и вновь появляются такие стихи, как «Трогаю землю...» или «Баллада о коне», столь близкая и к фольклору, и к образам народного изобразительного искусства. Стихотворение «Музей войны» соседствует в книге парижских стихов Слободника («Письма из Парижа», 1964) с «Гробницей Наполеона», как в Париже эта гробница соседствует с военно-историческим музеем. В этих стихах видна не только тень Наполеона, но и зловещая тень «атомного гриба».

50—70-е годы — время высшего расцвета творчества Слободника. Начиная с «Сонетов о Вите Ствоше», выходит двенадцать поэтических книг, несколько изданий избранных стихотворений. Своеобразным синтезом музыкальных и живописных поисков поэта стали его «симфонии». Цикл из 14 симфоний («Гончарная симфония», «Симфония сумерек», «Осенняя симфония», «Симфония детства» и другие) вошел в книгу «Роза света» (1967). «Симфония зимы», публикуемая в журнале,— это картина зимнего Мазовша: белые снега, нагие деревья, придорожные деревянные фигуры и часовенки работы безвестных крестьянских мастеров... И музыка Шопена, рожденная этими равнинами и воспоминаниями о них.

Начиная с книги 1957 года, Слободник обращается к свободному стиху, который становится отныне основной формой его поэзии. Иногда верлибр Слободника звучит ораторски, напоминая Ружевича или даже Уитмена. Чаще это гётевский тип свободного стиха — негромкое размышление вслух. Очень часто это «музыкальный момент», «прелюдия», «впечатление». Но наряду со свободным стихом Слободник по-прежнему пишет и регулярным стихом, силлабическим, то есть исконным стихом польской классики, и силлабо-тоническим, утвердившимся в польской поэзии в нашем столетии, утвердившимся благодаря великолепной работе таких мастеров польской силлабо-тоники, как Тувим, Ивашкевич и — не в последнюю очередь — Слободник.

В 1980 году к 80-летию поэта был издан 800-страничный том стихотворений Слободника. Он явился основой при составлении первого отдельного издания его стихов по-русски — книга выйдет в издательстве «Художественная литература».

В. БРИТАНИШСКИЙ

Из цикла «Сонеты о Вите Ствоше»

Образ правды

Хоть краше всех дерёв привислинская липа,
Хоть радует она и очи веселит,
И дубу с ясенем она равновелика,
И белый цвет ее в июле духовит.

Но истины одной взыскуют руки Вита,
И не одним Святым семейством мастер Вит
Свой населяет мир; природа разнолика —
В ней тешит красота, уродство в ней язвит.

В том дивном дереве не только красоты
Воссоздан образ, но и страшные черты
Уродства; к правде лишь одной стремится зодчий.

И липа светлая сама поражена,
Что в лики дьявольские преображена
И в образ палача, подобный черной ночи.

Цвет и запах вина

Бокалы в краковском веселом погребке —
Дзынь-дзынь — звенят, и в том чистилище беспечном,
Не каясь, грешники пьют, позабыв о вечном,
И без земных забот гуляют налегке.

Пьют горожанин и мошенник в клобуке,
Что посвятил себя утехам человечьим,
Пьет дурень и школяр, известный красноречьем,
Пьют девки — похабель у них на языке.

И мастер здесь сидит, дневной закончив труд,
Вкушая аромат и цвет вина в бокале,
Цвет крови и огня, чтобы, уйдя к себе,

Влить терпкое вино уже в другой сосуд,
Где заиграют мысль, и слезы, и печали,
И форму обретут не в чаре, а в резьбе.

Обуздание ветра

Вихрь выл, как пьяный сбир. По Кракову бежал,
Срывал листву с дерёв, бил в лица встречным слугам,
Над рынком бушевал, ходил в проулках кру́гом
И мессою пугал почтенных горожан.

Он мастера своим распевом поражал.
И тот прислушался к его сиротским звукам.
И в мастерской окно он распахнул со стуком.
И ветер охладил чела могучий жар.

Влетел, как стая птиц, продул углы, заплакав!
И мастер, не страшась, схватился с ним в борьбе,
Как с ангелом вступил когда-то в бой Иаков.

И силой мастерства он подчинил себе
Тот ветер, и когда в заре открылся Краков,
Был покоренный ветр запечатлен в резьбе.

Органная музыка

Алтарь, он как орган. Он зримостью вещей
Рождает музыку, что ощущают шкурой.
Он трубами гремит и всей клавиатурой
Цветов и образов, всей свежестью своей.

Здесь Средние века, поверья тех людей,
Сознание греха, покорность церкви хмурой
Воспел резной орган. А ноги той фигуры
Поют о терниях, о трудности путей.

Музы́ка дантова на мордах подлецов,
Где тень злодейств лежит. И отблеск их свинцов.
А лики ангелов — как лютни золотые.

И ветер воплощен, как фуга во плоти
Резного дерева,— вот он раздул плащи.
И литаниями звучат персты Марии.

Пленение

Ночь на дворе. Спит весь средневековый Краков,
От низких погребков до башен городских.
Проснулся мастер вдруг от криков нелюдских,
Услышав страшный рык солдат или варнаков.

Он поглядел в окно: среди ночного мрака
Солдаты, бедняка несчастного схватив,
Одежду рвут с него. И мастер, молчалив,
Глядит на улицу, где происходит драка.

Чтоб после, в алтаре, вся эта суета
Предстала сценою пленения Христа
И образом беды и муки человека.

Как будто в те года зажегся перед ним
Освенцима огонь, чей едкий горький дым
Нам разъедал глаза и пал на веки века.

Перевод ДАВИДА САМОЙЛОВА

Запах дерева

Вдруг ни с того ни с сего приходит
умерший столяр, которого я знавал
двадцать лет назад.
(Запах дерева и столярного клея —
крепкий и зрелый.)

Руки в жилах, похожих на черные корни,
он положил на моем столе
и рассказывает о своей жизни и смерти:
«Я любил жену. Но жена ушла,
потому что я был хромой».
(Запах дерева и столярного клея
дышит грустью и одиночеством.)

«Во времы войны
я прятал семью евреев.
Немцы разнюхали этот тайник
и расстреляли меня во дворе
дома, в котором я жил».
(Запах дерева и столярного клея
дышит любовью и смертью.)

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Баллада о коне

Пошел на войну
конь от плуга,
гнедой конь.
Грива его — облако,
копыта — молоты,
глаза — огонь.
На равнине — война,
на равнине — смерть.

Пошел против танков
конь от плуга.
Против железа — дух.
Грива его — печаль,
копыта — отчаянье,
глаза — боль.

Пал под танками
конь от плуга,
гнедой конь,
и перепахал кости,
конские его кости,
родной плуг.

Картины

Камни, воскресшие из мертвых.
Бегство далей.
Колодцы, такие глубокие,
что день в них тонет.
Беседа с ивой и молчанье с ивой.
Вода, печальная, как ночь.
Пейзажи Мазовша — как на ладони,
пробитой гвоздем
и, стало быть, кровоточащей.

■ ■ ■

Трогаю землю,
как огромную круглую вещь.
Говорю о людях живых
и о людях умерших.
Радуюсь цветку или облаку,
ибо мне не кажется, как другим,
что это уже устарело.
Птичье пенье, для других банальное,
для меня рождается заново.
Ем хлеб и пью воду,
пишу стихи и слушаю музыку,
грущу и радуюсь
моей уходящей жизни —
я, человек, избежавший
газовой камеры.

Гробница Наполеона

Над Домом инвалидов
каждое облако — как пушечное колесо.
Над гробницей —
тень в сером сюртуке и в треуголке.
Я поклонялся этой тени в детстве,
а сегодня и тень эта, и знамена
вырастают до размеров
ядовитого гриба
атомной бомбы.
И я развенчиваю тень
в сером сюртуке и в треуголке,
развенчиваю тень войны.

Музей войны

Куклы гусар и драгунов
наполеоновской армии на деревянных лошадках
мчатся галопом из своего столетия в наше.
Гренадеры гвардии шагают
из своего столетия в наше.
Солдаты Великой французской революции
маршируют из своего столетия в наше.
Знамена, знамена, знамена!
Под ними тени матерей убитых солдат
тянутся длинной вереницей из своего столетия в наше,
и слезы их переливаются из их столетия в наше.

Перевод НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

■ ■ ■

Чтобы висеть на кресте,
не обязательно нужно родиться в яслях,
не обязательно должна быть звезда,
не обязательно три волхва,
вол и осел.

Чтобы висеть на кресте,
не обязательно твоя мать
должна иметь сиянье над головой,
не обязательно Иосиф должен быть святым.
Чтобы висеть на кресте,
нужны лишь темные люди,
холодная усмешка нового Пилата
и поцелуй нового Иуды,
острый, как бритва.

■ ■ ■

Я думал, что это Орфей-песнопевец,
а это были только дикие звери,
не укрощенные его музыкой.
Я думал, что это плодоносящее дерево,
а это была только виселица.

Я думал, что это свет далекой надежды,
а это был лишь отблеск пожара.
Я думал, что это море, открытое ветру и горизонтам,
а это было лишь море свастик.

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Симфония зимы

Салинским — Станиславу Марии и его жене[1].

Вот быль о белом. Вот белы деревья,
Белы поля и белый день на свете.
Дымам препоручили небо птицы,
А те встают из труб многоусердных.
Пейзаж зимы от века был пейзажем
Столь белого, белейшего до боли,
Что в прочих красках недоверье зреет
К столь непорочной литанийной краске.
Белым-белы, Марии на распутьях
К сынам белейшим руки простирают —
Из их ладоней жаждут вынуть гвозди,
Утишить муки белые их жаждут.
Крови не видно, снег ее засыпал,
Хирург неслышный, белый и суровый.
А тут бредет чреда нагих деревьев,
С людьми соперничая в бесприютстве.
Ночь. Бельма коек слиты с белизною
Кашля и вздохов. И зима зимует,
И обнажает истинность детали,
Ибо открыта четырем поземкам;
Теперь поведать древними стихами
О преходящем, о любови той, что
Боится смерти, хоть сильнее смерти,
И о лежачем камне, что, влюбившись
В неверную звезду, преобразился
В живую тварь и дострадал до неба,
И камнем перестал быть, и о тени,
Которая, упавши, замутила
Белейшесть снега диссонансом тихим.
Зима, зима! И люди топят печи.
Руки топящих — это Прометеи,
Те, чей огонь украсть решились боги.
А белости молитвенной все больше
И все больничней на глухой равнине.
Теперь поведать древними стихами
О вечной смерти, о любови вечной,
И о Шопене молвить всей округой
И хлопьев снега кротостью, лежащих
На многих ветках, словно миф о птицах.
Догрезилась зима до белых кадок,
До белых стрех, до белых сколов угля,
До белой крови скорбных Иисусов,
До белых колоколен и безмолвья.
Больная мысль есть в белом, о которой
Все остальные краски знать не знают.
И видишь: белые врата. Мария
С недореченным на устах белейших.

Перевод АСАРА ЭППЕЛЯ

[1] Салинский Станислав Мария (1902—1969)— польский писатель.

МАЙК ХЭНСОН

Найди свое!

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского ОКСАНЫ КИРИЧЕНКО

Невыносимо в доме без огней,
Но Милосердье дышит у дверей.

Уильям Блейк

Впервые его затянуло в этот омут тогда, на заднем сиденье разбитого «бьюика», что стоял в глухом проулке в тупике. В общем-то в машине ничего, только мало ли как обернется. Могут застукать. Или после хлопот не оберешься. А долго ее тогда уговаривать пришлось, чтоб пошла. Он сидел, перебрасывался словами с одним, который знал, где берут таблетки. Первая забота — таблетки, выпивка. Откуда еще взять такую мощь, такую свободу, как, бывало, в те ночные часы в парке, когда они разлягутся на траве, в мальчишеской крови ходят яростные, зыбучие токи, руки кажутся невесомыми, движения растянутыми, в голове кружит, и еще несмелое мужское естество крепнет, наливается, и они катаются по земле от хохота.

— Подонок я, сучий сын! — вопят.

Или:

— Пропади все пропадом!

И все куда-то проваливается.

А потом они бегут по улицам, а если натыкаются на негров, обитающих через квартал, тогда, бывает, переулки и пустые автостоянки оглашаются криками, звенит разбитое стекло, слышен топот нагоняющих, топот убегающих. И перебранка:

— Скотина деревенская!

— Черная образина!

А раньше, вспоминал он, до всего этого, были горы, и собаки бежали куда-то, а он лежал ночью в кровати, прислушивался. И тянулся раскатистый лай, подхватываемый то одной, то другой собакой, и уносился далеко, откуда было уже ничего не слыхать. А по утрам солнечные лучи, просвечивая сквозь листву, золотили воду горных речек. И отец приходил домой с шахты, а по субботам бывал пьяный и злой; потом шахту закрыли, и отец, пьяный и злой, сидел дома; чтоб прокормить семью, оставалось разве что стрелять

© 1980 by Mike Henson

МАЙК ХЭНСОН — MIKE HENSON

Молодой американский писатель, рабочий из штата Огайо. Его рассказы и стихи публиковались в журналах и антологиях. В 1983 г. выпустил сборник рассказов «Не комнатушка, а грех на мою голову» («Small Room with Trouble on My Mind»).

Повесть «Найди свое!» — его первая книга, вышедшая в издательстве «Уэст Энд пресс», Кембридж, Массачусетс («Ransack» Cambridge, West End Press, 1980). Она войдет в антологию современной демократической литературы США «Верю в человека», которая готовится к печати в издательстве «Радуга».

дичь, ставить капканы на зверье, валить лес, ну и пособие по безработице, потому они бросили свое жилье в горах, подались в город. Он помнил, он все помнил.

Но когда вспоминал про нее, про ту девчонку, становилось не по себе. Они ныряли с ней в глухой проулок, где стоял растасканный по частям старый «бьюик» Мэрфи; покореженный, с выбитыми стеклами остов походил на разбитую о скалу лодку; разграбленный, ободранный, выпотрошенный «бьюик» уютно примостился здесь в тупичке, среди кирпичных и деревянных строений, в черной решетчатой тени от пожарной лестницы. Из машины растащили все сколько-нибудь пригодное для дела и ценное, осталось только массивное черное сиденье. Ребятишки выбили камнями стекла, и крохотные кубики осколков усеивали площадку, поблескивая там и сям в свете уличных фонарей посреди залитанного бензином гравия. Под ногами в машине было полно всякого мусора, но заднее сиденье заботливо выбивалось и вычищалось.

Временами откуда-то из окна раздавался крик, будто режут кого. Но в самом проулке никто не возникал.

Она не говорила ничего обидного. Не упиралась. Ни разу не оттолкнула его от себя. Пятна теней будто вмятинами темнели у нее на лице, на плечах. Он и она медленно срастались друг с другом, тесно, как сплетаются там, глубоко в земле, длинные белые корни.

Но что-то ему постоянно мешало, он никак не мог понять что. Словно сверху на него наваливалось кряжистое дерево, и опутывало ветвями, и не пускало.

В «бьюике» они бывали недолго. Когда все кончалось, оба замирали, вытянувшись на мягком плюшевом сиденье. Как-то раз пошел дождь, они лежали, а капли падали на них, и снова они потянулись друг к другу. Но обычно просто лежали бок о бок, он курил, а она, положив растрепанную голову ему на плечо, пощипывала мягкий, светлый пушок у него на подбородке.

Вот в такие минуты на него и находило, и тогда словно возникало что-то внутри, словно где-то в мозгу вырастало непонятное, новое, упрямо и своенравно пробивая себе дорогу; резко поднявшись, он садился, швырял окурок в окошко и принимался одеваться. Его била дрожь, руки и ноги дергало, трясло, сводило болью. Что-то подталкивало встать, идти. Он говорил себе: «Мне надо уити от нее». Сам не знал почему.

Когда же она приподнималась и дотрагивалась до него рукой, он весь напрягался, крепился изо всех сил, чтобы не оттолкнуть ее. И никак не мог понять, откуда это напряжение, эта дрожь в ногах, в мозгу, понимал только, что должен идти, если даже тянуло, звало остаться. Потому что в такие минуты он боялся самого себя, боялся: если не уйдет, ему захочется убить ее.

Вот чем памятны были ему те свидания. Что запомнилось ей, он не знал. Встречались раз пять-шесть всего в том старом «бьюике». Потом она куда-то делась, да и он подался из города.

С тех пор у него уже в привычку вошло перебирать в уме, сколько в жизни он упустил всякого и какой он невезучий и никому не нужный, и ему хотелось только одного — чтоб оставили в покое, не мешали обо всем этом думать.

1

Сет проснулся, от холода сводило руки и ноги его колотила дрожь; после сна, которого он уже вспомнить не мог, ему было тревожно, тяжко, гадко. В его закутке под лестницей слышно было, как кашляет старик за стенкой — вот так он прокашлял всю ночь. Откуда-то из домового нутра донеслись мелкой россыпью ощутимые, но невнятные утренние голоса — мужской и женский. Раз посреди но-

чи распахнулась дверь на втором этаже, женский визг вырвал его из сна, он вздрогнул, дернувшись, как рыба на крючке, да так и завис сонный, не соображая, что происходит; потом визг перешел в ругань, и наступила тишина, безмятежная, как стоячая вода.

Всю ночь он промаялся в полузабытьи, а слух вбирал дыхание каждой комнаты в доме, точно сипение глухих закоулков в старческой груди. Монотонно, как ходики, кашлял старик, шуршали крысы, заливался младенец, поскрипывали деревянные балки, тащился, спотыкаясь, припозднившийся жилец, трещала усохшая половица, мерно дышали в своих постелях все мужчины, все женщины и все дети, но стоило Сету, проваливаясь в дрему, уютно поплыть в потоке сна, как взорвался этот самый визг, непонятный, резкий. Когда Сет опять стал засыпать, его словно затянуло в сон и закрутило, швыряя, как щепку, и так несло, пока не прибило к берегу.

Голоса из раскрытой двери доносились все явственней и вдруг оборвались: дверь закрылась, и Сет услышал, как кто-то в сапогах начал спускаться с лестницы; шаги гулко надвигались на него. На улице занимался день. Утренний свет, прорвав ночной сумрак яркими лучами, играл на смоляной обмазке телеграфных столбов, высвечивая камешки и влажные следы дождя на темном асфальте, кирпичи и камни на обочине, серебря железное кольцо при обочине, к которому полвека назад привязывали лошадей.

Узкий луч света, улизнув с улицы, криво падал в коридор, освещая дощатый пол и истертый камень верхней ступеньки крыльца, обнажая облупленную стену под самой лестницей, выставляя напоказ темные деревянные перила. Однако до Сета не доходил; в углу под лестницей за штабелем ящиков, где Сет провел всю эту долгую, наполненную звуками успокоившегося жилья ночь, было темно.

Сапоги над самой головой прогромыхали по лестнице вниз, затопали по дощатому полу, и мимо Сета прошел человек с завтраком под мышкой. На мгновение возник, высвеченный солнцем в дверном проеме, как портрет в раме. Вышел на улицу.

Сет поднялся, сел, испугавшись, что, если опустится на пол, снова заснет, и тогда его здесь обнаружат. Он натянул куртку и прошмыгнул, пригнув голову и скрючившись, под лестницей, потом по коридору — за порог, на улицу.

На ходу щеки покрывало влажной моросью; Сету хотелось, чтоб поскорей солнце поднялось повыше, растопило затаившийся внутри холод. В начале лета, если спишь на улице, по утрам всегда зябко; когда же шел дождь, Сет забирался на ночь в какой-нибудь подъезд. А к полудню наверняка взмокнешь от жары — придется куртку сбросить.

Впереди на углу он приметил голубую патрульную машину, полицейский выжидающе замер рядом, скрестив на груди руки. Сет напрягся как струна. Потому что, когда вернулся в этот город, его тут же загребли в участок. В тот день Сет сцепился с одним, после этого все руки были в крови. Вспомнил, как стоял тогда на углу, в голове туман от таблеток, внутри все подскакивает, мчится, растягивается, кажется, вот-вот его разнесет на куски; и больше всего на свете ему хотелось тогда спать. А брата дома не было, дверь оказалась заперта, и когда он примостился у входа, объявилась какая-то старуха, пригрозила, что позовет полицию, пришлось опять идти на улицу, искать себе прибежища, и только он вышел, к нему прицепился какой-то парень в длинной куртке, Сет огрызнулся: «Отвали!» — тогда парень пихнул его к стенке, Сет размахнулся, двинул ему, и тут парень бросился на него, полоснул ножом по рукам и был таков. И Сета с окровавленными и изрезанными руками понесло опять на тот самый угол, и как раз когда он, чувствуя леденящую тяжесть в нелепо подрагивавших на весу руках, рассказывал любопытным, как было дело, мимо проходили двое полицейских. И не

успел Сет спрятать руки за спину, те остановились, повернулись и, скрестив на груди руки, уставились на него. И только Сет увидел, как они разглядывают его, сжав жесткие, будто из ременной кожи, губы, его словно пригвоздило к месту. Слова застряли в горле, он быстро оглянулся: может, они на кого другого смотрят,— но увидел, что больше не на кого, потому что остальной народ либо глазел на него же, либо расходился, Сет направился было по улице к дому, где жил брат, но один из полицейских окликнул его:

— Эй! Что у тебя с руками?

Сет повернулся, хотел рассказать, как на него напал тот парень, объяснить, что сейчас он идет к брату, потому что хочет спать, а кисти рук при этом продолжали нелепо трястись перед ним, и полицейский в белой рубашке отпрянул.

— Опусти руки, не смей меня пачкать своей поганой кровью!

Сет опустил руки, в мыслях пролетело: «Так вся кровь к черту вытечет!» — и он повернулся, чтоб убраться восвояси, но полицейский остановил его:

— Ты что, глухой? Тебя спрашиваю: что с руками?

Снова Сет обернулся к ним, снова хотел рассказать, как его полоснули ножом, но слова застряли в глотке, забились, как птенец в терновнике, и чем отчаянней он пытался высвободить их, тем крепче они увязали. А полицейские все стояли, скрестив на груди руки: крепко зажаты в пальцах дубинки, крепко сжаты губы,— и Сет снова поднял кисти, махнул полицейским, чтоб проходили, а сам потянулся прочь по улице, но тяжелая пятерня легла сзади на плечо, и голос произнес:

— Отвечай, я жду!

Тогда Сет взял и стряхнул своей окровавленной рукой белую полицейскую пятерню со своего плеча. И только перед глазами полицейского ярко блеснула кровь, он тотчас же схватил Сета за кисть и резко вывернул так, что у Сета все помутилось,— казалось, вот-вот лопнут глаза и все, что есть в голове, неистово брызнет наружу,— и с силой швырнул Сета к стене дома. Пока полицейские его обыскивали, кирпичная крошка сыпалась Сету на глаза, на щеки. Он сопротивлялся как мог.

В тюремной камере кровь на руках за ночь свернулась, запеклась черными, мелкими, как муравьи, сгустками, и тут ему стало чудиться, будто кости начинают медленно расползаться. Именно там, впервые оказавшись без таблеток, он понял, что это такое; и это тяжкое похмелье, и эта боль в руках настолько помутили его разум, что Сет потерял счет дням своего заключения.

Но вот его выпустили, и он снова оказался на улице, а в кармане всего четыре доллара, он стоял и думал: «Надо найти работу, надо куда-то приткнуться. Так дальше нельзя». «Да где уж! — мысленно возражал он сам себе.— Разве они мне дадут пробиться, если даже найдется работа?.. Дубина! — обрушивался он на себя.— Сам мимо рук пропускаю, когда случай подворачивается!» Вспомнилось, как однажды он получил работу на фабрике: надо было укладывать рядами коробочки с детским пластилином, готовить к погрузке. Сотни ярких, красных с желтым коробочек вываливались по скату на конвейер, откуда он хватал их и складывал, хватал и складывал, и так бесконечно, как заведенный, часами, ладони и пальцы горят, а перед глазами только красный — желтый, красный — желтый, и одна мечта — остановиться хоть на миг, чтоб хоть руки опустить, чтоб остыли, отдохнули, а потом — опять к конвейеру, хватать и складывать очередной штабель красно-желтых коробок с пластилином. Так и шло — хватай, складывай, пока, наконец, после двух подряд ночных смен ему не стукнуло в голову: «За каким чертом тратить жизнь на это занудство!» — тогда схватил он коробку и плюхнул прямо на

ногу мастеру; ну а после этого его рассчитали и с треском выставили.

И вот сейчас поутру он стоит посреди улицы, руки в карманах, и ломает голову, куда бы приткнуться, поскольку брат запретил к нему являться.

Сет уехал из этого города, когда мать вернулась в Теннесси, а отец снова как сквозь землю провалился; тогда и Сета понесло дальше, в штат Миссури, в Джексон, а деньги он стянул в лавке в каком-то городишке у подножия гор, в Теннесси. А когда в Джексоне деньги кончились, устроился там работать, но вот и эти места ему опостылели, и он снова, один как перст, пустился в путь, отправился через реки, через пустыни и горы в своей старой джинсовой куртке, с сумкой через плечо, где лежали свернутое одеяло, кое-какая одежда да старый материнский железный крестик, который та вытаскивала наружу в церкви всякий раз, когда молилась, и который отдала сыну, поняв, какая ему досталась доля. Попал в тюрьму в Айдахо. В Колорадо к нему, спящему, на живот заползла гремучка. В Орегоне он перелопачивал навоз для подкормки шампиньонов. В Калифорнии подхватил срамную болезнь и ему влепили четыре укола в задницу. Там же жил с одной женщиной; как-то ночью та лениво потянулась приласкать его, и тогда вдруг его руки принялись яростно молотить ее, словно их кто-то толкал со стороны; он даже отпрянул, оглянулся, кто направляет его руки, его кулаки, а когда все это кончилось, ему стало жутко: как жестоко его собственные руки избили ее, и он кинулся бежать, словно хотел скрыться от своей беды, от лиха, что засело, спряталось, как загнанная гончими лиса, в глубоких тайниках мозга.

В дороге, поджидая попутку, торча на холоде посреди шоссе, он стоял и смотрел, как постепенно, один за другим, гаснут огоньки в домах, и вот уже весь степной городок погружается во тьму, а он все стоит на том же самом месте, и ему чудится, будто и в нем, как в доме, потухает одно окошко за другим, и неудержимо хочется погрузиться в сон, чтобы взлететь. Долгожданная машина обрушила на него поток света и, прибавив скорость, ослепила сиянием фар и промчалась мимо, взметнув на нем одежду, потоком встречного ветра запустив ему по ногам дребезжащей жестянкой из-под пива. «Сволочи!» — пронеслось в голове. От встречного ветра, от воздушной волны он словно стал неподъемным, как та бетонная труба, что лежала у дороги, ждала, когда закопают. И чтоб не упасть в кювет, чтоб стряхнуть с себя тяжесть усталости, он оторвался от придорожного столба, где стоял, и всю ночь напролет прошагал, не видя шумно и стремительно проносившихся мимо автомобилей и грузовиков, тянувших на прицепах железные балки; он шел, пока не пришел в очередной городишко, там, горя как в лихорадке, разжился таблетками и снова глотал их прямо на ходу, шагал бог знает сколько еще дней и ночей, по дороге трижды добывая таблетки, и вот, еле волоча ноги, добрался до Цинциннати, узнал знакомые улицы, и хотя все над головой и под ногами словно принялось рушиться, он все-таки плелся вперед, уворачиваясь от падавших обломков, тащился мимо людей, может, знакомых, но неузнаваемых, пока не забрел в пустой дом, где, помнил, жила когда-то мать, и здесь силы оставили его.

Старик-пьяница, что ходил за ним, сказал, будто Сет пролежал так на полу двое суток, бормоча что-то, мечась в забытьи, а потом заснул, и пьяница решил, что он помер, но Сет пришел в себя. Почти на все оставшиеся деньги купили и съели вместе хлеб и колбасу, и Сет еще пару дней прожил в этом старом доме, пока ему не опротивело слышать, как по ночам шуршат и снуют крысы и пока старика-пьяницу не загребли на улице полицейские и не отправили в исправительную тюрьму.

Только он очнулся, немедленно почувствовал, что голоден. И с той самой минуты, как Сет пришел в себя в старом доме, где, казалось, должен помнить все закоулки, но где все было ему чужим, ему хотелось только есть, больше ничего.

Тогда-то он и разыскал брата, прожил у него с неделю, приходилось забираться спать повыше, на пожарную лестницу, подальше от детского ора и липких от шоколада рук; всех малышей он никак не мог упомнить по имени, потому что в доме брата жила еще и сестра братовой жены — уйма народу. Но тут его как раз арестовали, в тюрьме он чуть не свихнулся, и после брат вышвырнул его вон.

Теперь, измученный, больной, бездомный, весь в трясучке, Сет стоял на улице города, единственного в мире, где ему хоть когда-то и в чем-то повезло, где он решил: хватит мотаться, и следом же, сам того не желая, влип в историю с полицией, перечеркнувшую все его благие намерения. И Сет сказал себе: «Тут не хуже, чем в любом другом месте. Останусь, только бы не лез ко мне никто». Он стоял утром на углу в той самой куртке, с той же сумкой, с тем же крестиком, а полицейский застыл у машины перед пустым домом у пивной; руки скрещены на груди, усы лоснятся, ремень оттянут баллоном со слезоточивым газом, кобурой, наручниками, коробкой с патронами. Электронный голос, приглушенный, сиплый, отрывисто вылетал из висевшего на шее аппаратика; внезапный щелчок — голос оборвался. Сет не спускал глаз с полицейского, а тот скользнул взглядом сначала по Сету, переходившему улицу, и вдоль улицы, и к следующему углу, потом взгляд устремился куда-то вдаль. «Видит, что с вещами,— думал Сет.— Понял, что я бездомный. Что бродяга. Не так ступишь, не туда повернешься — мигом загребет».

Сет свернул за угол, и полицейского уже не было видно. «Хоть бы оставили меня в покое»,— думал Сет. И вот уже где-то в потемках, в глубине сознания сдвинулось что-то. Ему почудилось, будто чья-то невидимая рука опускается сверху ему на плечо.

На земле среди гравия, песка и битого стекла валялось что-то похожее на большую грушу. «Баба, ею стены рушат,— мысленно определил Сет.— Значит, поблизости сносят дом». Крапчатая, как мрамор статуй у здания суда, твердая, округлая поверхность была запорошена кирпичной крошкой, вспорота шрамами. Сверху торчал петлей металлический трос. «За него эту штуку и цепляют, когда по стенам бьют»,— подумал Сет. Нагнулся прочесть, что выбито у основания, но буквы начисто стерло от ударов. Сет огляделся. Вокруг стояло три пустых дома. Приколоченные к окнам нижних этажей доски покоробились, разъехались. Сету стало не по себе, как-то тревожно, он снова оглянулся, посмотрел на каменную грушу, словно боялся, что она шевельнется. В голове пронеслось: «Им бы только все разрушать. Что́ им дом снести, где ютятся бедняки, что́ им живых людей погубить — раз плюнуть; и не узнает никто, разве что камни. Вот так и я однажды проснусь, а на меня потолок рушится».

Здесь ничего не росло: ни травинки, ни корешка, ни веточки вокруг, лишь одно тоненькое, в обхват ладони, кривое деревце с пучком листьев на верхушке. Худосочными, цепкими, как пальцы, корнями оно впилось в крохотный островок земли на крыше кирпичного гаража за пустым кирпичным домом. «Откуда там земля? — мелькнуло в голове у Сета.— Может, дождем занесло? Что ж это за дождь был такой? Чудно́».

На деревце была развешена чья-то одежда — рубашка, кепка и еще что-то непонятное, все рваное, линялое от дождя и солнечных лучей, не баловавших задавленное тенью кирпичной стены дерево.

«Недолго ему тут расти»,— подумал Сет.

Круто, круто, круто, крах-х-х! Круто, круто, круто, крах-х-х!

Позади заваленного битым кирпичом и развороченного гусеницами тягачей дворика, среди тяжелых клубов желтоватой пыли маячила башня крана с кабиной-коробочкой, доносились тарахтенье моторов и внезапный, тяжкий вздох рушащейся массы: это черная металлическая пасть крана вгрызалась в плоть уходящего кирпичом в землю, стянутого железными скобами, серого каменного с деревянным чердаком дома.

Круто, круто, круто, крах-х-х! Круто, круто, круто, крах-х-х!

Кран откатился, облако пыли на мгновение рассеялось, и Сет увидел крановщика: тот, как боксер перед схваткой, замер, уставившись на дом, руки застыли на рычагах. Вокруг стояли рабочие — несколько человек с ломами в руках, один у грузовика, двое держали шланг, поливали стены, чтобы прибить пыль или потушить огонь, если где загорится; один рабочий срезáл автогеном железные скобы и болты с выбитых деревянных балок.

«Может, и мне работа найдется»,— подумал Сет.

Кран снова пошел на дом, поднял ввысь свой зубастый откидной черпак, врезался им в стену, и шарнирные челюсти сомкнулись, захватив обойму кирпича. Потом черпак отплыл назад и, разинув зубастую пасть, обрушил кирпичи вниз вместе с облаком пыли. После этого кран развернулся и, словно дубинкой, долбанул черпаком по стене, и кирпичи загрохотали вниз, задевая по кабине крановщика; одному из рабочих, которые орудовали шлангом, прибивая струей воды облако пыли, пришлось отпрыгнуть в сторону.

С каждым ударом рушилась часть дома, и осевшая пыль взвивалась с поверженных стен и от груд кирпича и щебня на земле; вздымаясь влажными от шланговых струй клубами и густой пыльной пеленой, тучи песка, известки, древесной трухи, штукатурки затягивали улицы вокруг, дерево на крыше гаража, Сета.

И когда снесли почти всю крышу и почти всю заднюю стену — обнажилась внутренность. Глазам открылась кухня: на раковине висит тряпка, посреди пола дыра, и у самого края, удивленно, будто застигнутые врасплох, застыли стол и два стула.

В глубине двора, там, куда не долетали рушившиеся кирпичи, Сет увидел рабочего в строительной каске с большой метлой в руках. Подошел к нему, тронул за плечо.

— Работа есть?

— У старшего спроси.

— А где старший?

— Да вон он.

Рабочий указал на того, что стоял руки в боки рядом с человеком в костюме. Сет направился к тем двоим сквозь тучи пыли, сквозь сокрушительный грохот, то и дело озираясь по сторонам, чтобы не угодить под лавину кирпича.

— Есть работа?

Старший не услышал вопроса. Блестящая каска потускнела под слоем пыли, зато металлические наконечники ручек на краю кармана горели на солнце. Старший водил пальцем вверх-вниз вдоль черных тросов крана, человек в костюме следил за его рукой.

— Я говорю: работа есть?

Старший опустил руку, умолк, но взгляда от крана не отвел. Сет решил зайти спереди, чтоб тот его увидел, в это время старший снова заговорил и снова принялся тыкать пальцем в сторону троса, хотя Сет прошмыгнул у него прямо под рукой.

Наконец старший взглянул на Сета, опустил руку, но продолжал говорить: мол, трос вот-вот лопнет, надо, мол, новый, дело подсуд-

ное и вообще закругляться пора. Но, произнося все это, старший оглядывал Сета с головы до ног. Как нежелательную помеху.

Один глаз у старшего был стеклянный. Безжизненный и гладкий, как костный хрящ. Другой глаз, налитый кровью, алел, как тормозной фонарь. Старший обратился к человеку в костюме, чтобы продолжить разговор, однако Сет не двинулся с места, и, почувствовав, что Сет впился взглядом в его искусственный глаз, старший снова обернулся, снова осмотрел его с ног до головы: не псих ли, часом? И спросил:

— Ты ко мне?

— Угу,— отозвался Сет.— Хочу узнать насчет работы.

Старший развернулся, чтобы скрыть искусственный глаз, и уставился на Сета красным глазом: нет, не псих, оборванец! И отрезал:

— Нету! Нет у меня работы. Своих хватает.

Тогда Сет повернулся и пошел, но, пробираясь между кучами кирпича по бороздам тягачей, он все время чувствовал спиной взгляд этих глаз — стеклянного и зрячего.

В скверике Сет нашел свободную скамейку, опустился на нее — отдохнуть, поразмыслить. Вокруг в поисках пропитания прохаживались, томно и вкрадчиво воркуя, жирные голуби с переливчатыми шеями. Сет принялся следить за птицами; вдруг они все как один поднялись в воздух, в глазах зарябило от черно-белых крыльев. Голуби с таким трудом оторвали от земли свои тяжелые гузки, будто что-то не пускало их вверх. Но, взлетев, все как один, словно освобождаясь от пут, привольно взмывали все круче и круче, маша крыльями и вытянув вперед шеи; дважды черно-белыми всплесками крыльев пронеслись над скверико м, над головой Сета, над улицей, потом все как один устремились к крыше ближайшего дома. Облетели раз, облетели два, только после этого все как один опустились — кто на карниз, кто на горящую смоляным блеском крышу, кто на кирпичную трубу. Расхаживали, выставлялись друг перед другом, хлопали крыльями, а иные просто отдыхали.

Отдыхал на скамейке и Сет, его клонило в сон. Почувствовав, как тяжелеет голова, он попытался было удержаться, не заснуть. Подумал: «Голова валится на грудь, это от голода. Таблеток уже не осталось. Нельзя тут спать! — пронеслось в мозгу.— Где тут разляжешься?»

Проснувшись, он пошел в «Белый замок» и выложил там на кофе все свои пятицентовики: «Ладно, пусть сахару побольше, а то ведь ни на что, кроме этого, не хватит». Он подсел с чашечкой к окну, уставился на улицу — напротив был какой-то театрик, у входа толпились люди, читали афиши, пробежал пес, обнюхал что-то в траве, задрал лапу, красномордый торговец сбывал дыни прямо с грузовика.

Мимо окна проплыла девица, подтянулась к дверям, вошла, застыла на пороге — Сету почудилось, будто она, как паучиха, опутывает его своей сетью. Девица постояла, вышла, прошла по тротуару, постояла за окном, оборотив к Сету обтянутый джинсами зад. Сет напрягся, жаркая волна накатила изнутри.

Но снова он сказал себе: «Хватит с тебя, парень. Хватит. Ведь через это первым делом все твои беды».

«Будто уж «первым делом»! Мало ли всякой другой в жизни пакости».

«Все, хватит!»

Девица нехотя повернулась — глаз за волосами не разглядеть — и пошла прочь. Некоторое время после кофе и густой, вязкой сахар-

ной жижи, подобранной со дна чашки, в желудке было сытно и сладко. Но, побродив по переулкам, Сет почувствовал, как сладость куда-то делась, и внутри стало кисло. Он побродил еще, ощущение кислятины тоже прошло, и голод, зашевелившись где-то в глубине бесплотной змеей, начал петлять по кишкам. «Глупо,— подумал Сет.— Но я помираю с голоду». Голова качалась, как пустой шар, все шрамы и ссадины на руках заныли.

«Поесть бы только. А так полный порядок».

И он еще с час бродил взад-вперед по переулкам и тупикам, забрел в какой-то дворик; там у мусорного контейнера стояла женщина, пряча что-то в фартуке, она стояла и смотрела на Сета, пока тот не двинулся прочь. А потом он забрел в парк, где лежали вповалку и бубнили что-то друг другу пьяницы, а какая-то пьяная старуха сидела одна, бормоча что-то себе под нос.

И Сет сказал себе: «На черта мне все это, мне работа нужна». И направился в бюро по найму, просидел час в очереди, ерзая на стуле, потом служащая заставила его заполнить какие-то бумажки и велела прийти через пару дней; и он снова оказался на улице.

«Через пару дней,— повторил он про себя.— Знала бы она, что это такое — день да другой».

Сет завернул за угол и вышел к какому-то ресторанчику, на улице мусорщики собирали мусор, бряцая контейнерами, ряды которых выстроились вдоль тротуара, о край железной пасти мусоросборщика. Гидравлика и моторы со скрипом вздымали контейнер: вперед — дном вверх, вперед — дном вверх, заглатывали содержимое и вновь выворачивали пасть наружу, а Сет стоял посреди мостовой, усыпанной шелестящими обрывками бумаги и мелким мусором, и глядел мимо вонючего помойного жерла в ресторанные окна. Там за стеклом громадных размеров баба с кобыльими глазами, с пунцовыми, как помидоры, щеками и в желтом парике, беззвучно хохоча, махала ему зажатой в руке вилкой.

Она сидела, утопая локтями среди тарелок, а на тарелках — горы блинчиков, кучи яиц, груды ломтей сала. Баба снова захохотала, подмигнула, потом уткнулась носом в тарелку и принялась запихивать еду в рот, словно у нее не рот, а мукомольня, и каждый раз заглатывая по стольку, будто пища отправлялась на невидимый транспортер. Напротив сидел и глядел выпученными, как фары, глазами куда-то поверх ее головы мужчина, сложив перед собой, на манер проповедника, массивные руки и откинув лысую, как колено, голову назад, отчего адамово яблоко выпирало гигантским орехом. Баба подняла голову, встретилась взглядом с мужчиной и захохотала. Потом взглянула на Сета, улыбнулась, блеснув лоснящимися от подливки зубами.

— Высочество,— услышал Сет голос за спиной.— Их Высочество Покахонтас.

Сет обернулся. Перед ним, засунув руку в карман, стоял черный как деготь, длинный и сутулый старик-негр с близко посаженными глазками.

— Кто ее знает, как ее на самом деле,— продолжал старик.— Сама себя так величает. Что, нравится?

Сет отрицательно мотнул головой.

— Ну и молодец.

Их Высочество помахала старику рукой с зажатой вилкой, на которую был насажен блин, сказала что-то, беззвучно шевельнув губами.

— Сидит вот так и ест,— сказал старик.— Ходит по ресторанам, заказывает еще побольше этого и все до крошки уплетает. Не боит-

ся лопнуть от обжорства. А когда расплачивается, дает полсотни бумажкой.

Старик вынул из кармана руку, почесал нос. Потом спросил:

— А ты чего тут?

Сет не спешил ответить, и старик снова спросил:

— Работу, что ль, ищешь?

Сет кивнул.

— Ну, есть тут работенка.

Старик снова повернулся к ресторанному окну.

— Хочешь, к ней поди, она тебе тут же всучит американский флаг и долларовую бумажку. Неплохо, а? Флаг можешь себе к двери прибить, а можешь и под себя подстелить, заместо простынки.

Их Высочество выскребала ложкой остатки масла и подливки с тарелки.

— Пойдем-ка отсюда,— сказал старик.— Кофе хочешь?

«Жрать я хочу, жрать! — мысленно выкрикнул Сет.— Пожрать бы только!» Но стоило ему вспомнить про еду, как что-то внутри свернулось, смоталось клубком и живот стянуло, он сделался тяжелым и твердым. «Боже ты мой! — подумал Сет.— Сейчас наизнанку вывернет!» Но он уже шел за стариком.

Высочество помахало им вслед. К пальцам у нее прилипли кусочки сала.

Они прошли с квартал и завернули в крохотный ресторанчик, что-то звякнуло, дверь за ними закрылась. Опершись о спинку стула, женщина в фартуке разговаривала с кем-то, при этом очки у нее то подскакивали на лоб, то съезжали на нос; но вот она заметила старика.

— Тут-Как-Тут, что ли?

Как раз в этот момент старик пытался незаметно прошмыгнуть и сесть на стул. Женщина сдвинула очки на кончик носа и взглянула на старика поверх очков.

— Ну да,— сказала она,— Тут-Как-Тут.

— Это прозвище мое,— объяснил старик Сету.— Вообще-то у меня имя есть, да какая разница? Ну а забудешь, можно просто старым шахтером звать.

Старик кивнул двум рабочим за соседними столиками, снял шляпу. В открытую на кухню дверь было видно, как повар, худющий и длинный как червяк и с лицом белым точно мел, кашляя, скреб плиту.

— Чего тебя принесло? Зачем пожаловал?

— Да вот кофейку попить.

— Как же, кофейку!

Привалившись к стене, сидели двое стариков.

— Привет, дружище! — сказал один, и старик-негр кивнул в ответ.

— «Привет»! Еще чего! У меня бы язык не повернулся здороваться со всяким старым алкашом.

— Это кто же алкаш?

— Кто! Глянь на себя.

— Ну а что ты скажешь, если я возьму да булочку закажу?

— У нас булочки по десять центов.

— Всего?

— По пятницам дороже.

— Ладно, дай одну, пока не стали как камень.

— Видно, ты сегодня еще не набрался,— сказала женщина, потянувшись за тарелкой и за булочкой, потом плюхнула тарелку на столик перед стариком.

— Кофе торгуете?

Женщина встала перед ним, засунув руки в карман передника.

— А знаешь, почему я поняла, что ты еще не набрался?

— Кофе давай, а то булка в горло не лезет.

— Когда ты пьяный, с тобой сладу нет. Вот почему. Никакого сладу нет.

— И со сливками.

Женщина пошла за стойку, бормоча себе под нос:

— Выпивки тебе, не кофе. Кроме своей выпивки, ничего не знаешь. Старый пьяница.

— А вот сегодня с утра я виски принял.

— Чего, чего?

Женщина поставила перед ним чашку кофе, положила ложечку.

— Ну да, «Джек Дэниелс».

— Да откуда у тебя на «Джека» деньги!

— Что ж, меня и угостить уж некому? Ну-ка вот мальцом этим займись.

— Чего есть будешь?

— Ничего,— выдавил Сет.

— Ладно, ладно,— сказал старик.— Начнешь работать, отдашь. А покуда надо тебя подкормить, чтоб хоть до работы дотянул.

«Господи, на кого же я стал похож? Мать честная! — думал Сет.— Хорош, наверное, оборванец. Или уж вовсе доходяга».

— Так чего тебе?

Комок в животе стало отпускать, словно отворилась дверца, только внутри оказалась не пустота, а что-то вязкое. И эта вязкая мерзость стала растекаться по желудку.

— Дай ты ему хоть что-нибудь поесть,— попросил старик.

— Тушенка у нас,— сказала женщина.

«Ничего мне не надо,— думал Сет.— Только б в покое оставили». Он решил, что в любой момент может смыться, потому что, кроме как за еду, он старику ничего не должен, но когда они снова двинулись по улице, съеденное восстало в желудке: зыбкие волны внутри топили, перемешивали пищу сверху донизу, и вдруг мышечные стенки напряглись, сжались, как кузнечные мехи, и пришлось стремглав бежать в закоулок, потому что чрево принялось исторгать чужеродное. Отпрянув от кашеобразной кислой жижи, Сет подумал: «Ну вот, теперь и за еду я ему не должен» — и еще: «Старик твердит: мол, работа есть, а мне бы теперь только чтоб не приставал никто, захочу, сам найду работу, захочу — нет». И от всей этой кислятины во рту Сету вдруг захотелось сгрести старика в охапку, вмазать в стену, сказать, чтоб катился ко всем чертям со своей работой: «Куда мне работать, если даже есть не могу, с собой никак не совладаю?» И вот уж Сет готов был ухватить старика своими изуродованными руками за ворот, отпихнуть от себя, и каждый мускул скрутило, свело, до того захотелось шваркнуть старика оземь, сказать ему, сказать им всем: «Да отвяжитесь вы, оклематься хоть дайте!» — но тут как раз старик повернулся к Сету, дряблый желтый рот открылся, и внезапно Сет ощутил, как разверзлась внутри голодная пустота, как в голове все перевернулось вверх тормашками, будто птица под вихрем, и руки, как крылья, наполнились этим вихревым ветром, и когда до его сознания дошло, что старик что-то ему говорит, Сет все еще никак не мог очухаться, взять в толк, откуда накатил этот шквал, что словно потоком мертвых, сухих листьев вырвался из него наружу, оставив после себя пустоту.

— Это здесь за углом,— сказал Тут-Как-Тут.

Он завернул за угол, обогнул дешевую лавку, в витрине которой были бутылки, какой-то слесарный инструмент и банджо. На углу через улицу застыл пустой дом, дверь на лестницу распахнута, в проеме видны ступеньки, вход перегорожен сломанным стулом. Окна выбиты, осколками стекол усыпало тротуар, с оконной

рамы на третьем этаже, как зуб на нитке, свисает выломанная ставня. Когда проходили мимо, из раскрытой двери на Сета повеяло холодом, он скользнул взглядом вверх по лестнице. На нижней ступеньке валялась винная бутылка с отбитым горлышком, из нее что-то сочилось.

— В этих старых домах трубки есть медные,— сказал старик.— Но отсюдова-то мы их поснимали.

Он остановился, оба принялись разглядывать дом.

— Медные трубки да чугун. Вот тебе и денежки.

Сет подумал про себя: «Сроду не умел деньги добывать. Ни гроша за душой».

Старик двинулся дальше.

— Надо знать, чего искать,— сказал он.— И когда искать.

Сет промолчал. Старик взглянул на него, словно ждал вопроса. Потом оглянулся на ходу, посмотрел куда-то вдаль пожал плечами.

— Что я, старый человек. Для этих дел не слишком уж гожусь.

Он шел, засунув руки в карманы. Вдруг остановился, принялся вертеть головой — то вперед посмотрит, то назад, и Сет решил: либо старик заблудился, либо у него плохо с глазами, либо что-то перепутал, никак не разберется. Но тот перестал вертеть головой и уставился себе прямо под ноги.

— Вот состаришься,— произнес он. Голос у него дрогнул, и старик кашлянул, чтоб совладать с голосом.— Состаришься, как я...— И оборвал себя, бросив Сету через плечо: — Ну пошли, что ли!

Они миновали еще два дома и вышли к засыпанной гравием площадке между домами.

— Вон! — сказал старик, ткнув пальцем вперед.

Гора почерневшего, гора чистого кирпича, и видно, как стоял снесенный дом, на месте которого образовался этот пустырь. Желтой краской на стене соседнего дома, наверное, когда-то делали разметки будущих этажей, помечали, кто здесь работал. А поверх желтых разметок всеми цветами радуги пестрели художества строителей — имена, амурные признания, изречения.

У дома было три подъезда, центральная дверь, выводившая на лестницу, распахнута. Справа и слева от лестницы располагались квартиры первого этажа.

Сет спохватился: где же старик? Но, повернув голову, увидел, что Тут-Как-Тут уже поднялся на крыльцо к левой двери и принялся в нее дубасить с азартом судебного исполнителя. «Надо же,— подумал Сет,— и как ему кулака не жалко». Старик колотил в дверь с такой неистовой, сокрушительной силой, что гремели петли, и каждый раз больно было смотреть, как его кулак вмазывается в бугристую от наплывов прежней краски, грубую, ободранную деревянную поверхность.

Стукнув несколько раз, старик остановился, прислушался.

— Там он, там!

И снова принялся дубасить.

Как только старик опустил кулак, Сет подошел к двери, приложил ухо — ни звука. Но ему тотчас пришлось отскочить от греха — Тут-Как-Тут возобновил свою громовую канонаду и еще раз пять саданул по двери, приговаривая:

— Ты у меня небось встанешь, голубчик!

Сет взглянул на окна, чтоб уловить хоть какие-нибудь признаки человеческого присутствия в доме. Подумал: «Раз тут у них работа, должны же быть люди поблизости». Отступил на несколько шагов, чтоб получше рассмотреть, что выбито под дверной притолокой. Но буквы были какие-то старинные. Разобрать не смог ничего. «Что-то не по-нашему,— решил он.— И видно, давно очень написано».

Сет оглядел улицу. Двое рабочих вошли в пустой дом напротив. По тротуару тащилась в окружении детворы нагруженная бельем женщина. К уличному фонарю прилепился, засунув руки в карманы, мальчишка. На гребне крыши примостился, помаргивая и подрагивая крыльями, голубь.

— Да дома он,— говорил старик.— Сейчас уж поздно, какого черта ему шататься. Он и не работает-то никогда до этой поры.

Старик перестал стучать, стоял, опустив руки, не разжимая кулака, и Сет разглядел глубокие черные рубцы на его сжатых черных пальцах. На мгновение Тут-Как-Тут будто сник, словно вот-вот опустится на землю. И вдруг, совершенно для Сета неожиданно, снова рванулся к двери и заорал:

— Вставай!

И опять принялся барабанить, пока не разбил пальцы в кровь, тогда стал стучать торцом кулака. Опустил кулак, поднял глаза к окнам верхнего, третьего, этажа, засунул руки в карманы, пожал плечами, снова вынул разбитую руку из кармана, на сей раз чтобы почесать нос, и произнес:

— Значит, дома нету.

Они вернулись обратно уже к ночи. Трое ребят перебрасывались мячом, подкидывая его высоко и рискуя залепить по фонарю, ловили мяч, снова подкидывали.

— Эй, Тут-Как-Тут! Привет! — донеслось с их стороны.

Старик притворился, будто не слышит, поднялся по ступенькам, занес было кулак, чтоб стукнуть в дверь, но застыл, уставившись вниз на Сета,— кулак, как крючок вешалки, повис в воздухе — потом спросил:

— Дома́ когда-нибудь сносил?

— Никогда,— ответил Сет.

Вспомнились тяжелая груша в пыли, старший и еще тот, с автогеном. Подумалось: «Как же! Кто меня тут на работу возьмет?»

— Ничего, присмотришься.

И старик застучал: бах! бах! Дверь сотрясалась, ходила ходуном, но за ней было тихо. На сей раз старик держался уверенней.

— До него с первого раза не достучишься, надо время дать, чтобы прислушался, понял, что свои.

Тут-Как-Тут снова стукнул, и теперь изнутри явственно донеслось приглушенное шарканье, стихло на мгновение, послышалось вновь. Тут-Как-Тут равномерно, как маятник, отстучал еще раз десять, переждал прислушался, тут зашаркало у самой двери, и она открылась.

Сначала Сету показалось, что внутри никого нет. Тот, кто открыл им отступил за дверь, и в кромешной тьме не видно было ничего, кроме едва различимых очертаний какой-то мебели.

— Рей! — рявкнул Тут-Как-Тут.

Сет услышал чей-то тяжелый вздох и следом голос:

— Заходите.

Они вошли, обитатель дома потянулся и щелкнул выключателем, под потолком вспыхнула лампочка без абажура, осветив загаженное, хуже курятника, обиталище с тремя кушетками, разбросанными там и сям газетами, битыми пепельницами и грудой пустых бутылок из-под пива.

Спина у незнакомца была широкая, как матрас. Ногой он отпихнул стул со своего пути, при этом майка на спине всколыхнулась и осела, как одеяло поверх просторной постели.

Человек снова повернулся к вошедшим и, щурясь, словно со сна, стал их разглядывать, опершись о притолоку двери, что вела в темноту комнат. Одну руку он засунул в карман, другой схватился за притолоку, оказавшись как бы в раме, посреди которой огром-

ной желеобразной лавиной застыло брюхо, свисающее поверх запятнанных пластиковой смолой, грязью и краской штанов. Подсвеченные лампочкой волосы ощетинились мотком колючей проволоки. Увесистый, что тормозная колодка, подбородок подрагивал. Человек хмыкнул, поправил на носу съехавшие очки и произнес:

— Ну и как она, жизнь?

— Вот подыскал тебе парня в подручные.

Человек кивнул, глянул на Сета, повернулся к старику, снова кивнул. Еще сильнее сощурил глаза поверх очков, съехавших на середину переносицы. Глаза у него были маленькие, черные, как угольки, пытливые.

Сет подумал: «Интересно, он всегда так щурится?»

— Может, кофе хотите? — спросил Рей.

Тут-Как-Тут кивнул, Рей, оторвавшись от притолоки, повернулся, и его колышущаяся майка растворилась в темноте за дверью.

— Двигайте за мной,— послышалось из глубины дома, и они двинулись следом в кромешную тьму. От стен на Сета повеяло спиртным и горелым.

Когда они прошли внутрь, Рей включил свет и принялся шарить по коробкам и банкам на полке в углу комнаты. На плите у него стояла кастрюлька с водой. В комнате ничего не было, кроме стола с тремя стульями и матраса за плитой в углу. Хозяин поставил на стол три чашки, кинул в каждую по ложечке растворимого кофе и застыл, прислонившись к стенке, ожидая, пока вскипит вода. Рядом с ним на полу валялась жестянка с гвоздями, высилась стопка касок для строительных работ. Поблескивая, у двери черного хода замер, как часовой, лом. С заднего крыльца за низкой оградой виднелась пустая автостоянка за домом, а дальше через улицу светились огни какого-то заведения. На заднем дворе стояла пара покореженных мусорных контейнеров, валялась опрокинутая тачка, а рядом — металлический колпак от колеса, в нем мерцало грязное машинное масло. Больше видно ничего не было, обзор загораживала бетонная лестница, ведущая со двора прямо на второй этаж. Свет фонаря из переулка падал на гладкие, металлические ручки тачки, на ее ободранное, некрашеное дно, на темную, глянцевую поверхность масла.

Вода в кастрюльке закипела; лениво, словно кот, Рей направился к плите, выключил газ, вынул из кармана носовой платок, обернул им горячую ручку, налил кипяток в чашки.

Потом Рей сел и принялся потягивать огненный кофе, не дожидаясь, пока растворится, и когда он поставил чашку, губы у него были все в кофейной пене и черненьких точках.

— Ну как дела, ничего? — спросил он старика.

— Ничего,— ответил тот.— Со спиной только что-то.— Он потянулся рукой, потер поясницу.— А так все в порядке. Чем нынче Дейл промышляет?

— Все тем же.

— Снова подрядились?

— Ага, снова.

— И что за работа?

— Дом сносим. Ремонт дорого обходится.

— Ну и сколько домов он еще снесет?

— Кто его знает, сколько ему вздумается! Перед нами не отчитывается. Работаем на него — и привет.

Помолчали, выпили кофе.

Тут-Как-Тут опрокинул свою чашку и сказал:

— Пора двигать.— Он кивнул в сторону Сета.— А этот у тебя пусть остается, лады?

— Лады.

— Работу ему подыщешь, а?

— Подыщем.

— Ведь руки-то вам нужны?
— Нужны.
— Ну, значит, все. Мне пора двигать.
Старик кивнул Рею и Сету и ушел.
— Так вот, Дейл нам этот дом покуда оставил,— начал Рей. Но, поймав вопросительный взгляд Сета, спохватился: — Дейл — это хозяин наш. У него таких домов штук сто, наверное. Оставляет, значит, нам дом, ну и платит, когда ему вздумается, за то, что мы по всем его старым домам проходимся. Выволакиваем всякие тяжести наружу, вычищаем все внутри, латаем что надо. Ну а если дом негодный, сносим. Вот так, значит, и работаем.— Он отхлебнул из чашки и снова прищурился.— Меня Реем зовут. А если какой полицейский спросит, тому скажешь, мол, Чарли. Проболтаешься, что я Рей,— меня загребут, а пока я для них Чарли, все в порядке. Если меня выдаст кто, тогда всем нам не поздоровится. Так вот, когда Дейла нет, я вроде как босс. Хотя и не очень чтоб. Чего тут командовать? Работают ребята, знают свое дело — и все. Просто, если Дейла нету, я как бы заместо него. Ребята у нас друг другу в печенки не лезут, не тронут, если сам к ним не полезешь. А чего тебе особенно? Комнату выделю. Хочешь, сиди, вообще ничего не делай. Никто тебе слова не скажет. И на тебя никто жаловаться не побежит. А уйти надумаешь, скатертью дорога.

Достав клетчатый платок, он снял очки, чтоб протереть, и тут Сет понял, что у Рея от природы такой прищур, а очки просто скрывают это, и когда глаза за очками, лицо кажется мертвым, безжизненным. Рей поднял глаза, посмотрел на Сета, снова сильно прищурился, так что нос у него сжался и стал похожим на кулачок, а Сету почудилось, будто Рей буравит его взглядом. И Сет подумал: «Будто насквозь меня видит» — и не успел подумать, как вся кровь бросилась ему в лицо и он сказал себе: «Не останусь, зачем мне, ничего из этого не выйдет. Говорит, не сунется ко мне никто. А сам вон как на меня смотрит».

Рей кончил протирать очки, снова водрузил их на нос и принялся рассматривать свою ладонь. Внимательно ощупывая ее другой рукой, он наконец наткнулся на то, что его беспокоило. Под мозолистой кожей засела крупная заноза. Рей вынул перочинный нож, открыл и, держа, словно карандаш, острием вниз, попытался вспороть мозоль и подцепить занозу. На лезвии был выгравирован плуг. Рей надрезал мозоль и нежную кожу под ней, нашел занозу, подцепил ее кончиком, вытянул.

Потом он сложил ножик и взглянул на Сета: как острием лопаты нацелился. И Сету почудилось, будто он задыхается, будто его живьем зарыли в землю и он жадно носом и ртом ловит воздух. Острие сощуренного взгляда все ближе и ближе, и Сет растерялся, гадая про себя: вызволит ли его из земли эта острая сталь или перережет пополам.

2

От зари до зари под нестерпимо палящим солнцем, обливаясь по́том и без устали толкая вперед тянущего цепь мула, они волокли по склону вниз поваленные в горах деревья. И только бесконечный поток ослепительного света, давящий сверху прямо на голову, бьющий в глаза снизу, с укатанной до блеска стволами горной тропинки. Слепящий свет высасывал жизнь из тела, ноги цепенели, становились неподъемными; подрагивая в зное, впереди маячила черная спина мула, ноздри свербило от запаха упряжи, ярко вспыхивали зелеными кронами и ржавыми стволами кедры; бывало, вдруг метнется за добычей незаметная в сухой листве змея-гремучка, блеснет ее гибкая, вся в мелких блестящих крапинках спина, и снова змея спрячется в густой траве; и опять вяло позвякивает цепь и тяжело скользит по земле дерево.

И все, и ничего больше; но когда, сорвавшись со скал, прямо над головами спланирует ястреб, все бросают тянуть, начинают следить за полетом птицы, и долго им всем помнить это; особенно он, мальчик, долго еще будет вспоминать неукротимый и безупречный плавный полет хищной птицы.

Они спустились в долину и услышали выстрелы.

Пробуждение робким земляным дождем посыпалось на погруженного в сон Сета, словно юное растеньице где-то над головой встревожило пустившимися в рост корешками застывшую землю.

Еще не проснувшись, Сет почувствовал, как, пытаясь удержать свой сон, он борется с ним, будто это не сон, а человек, может, мужчина, а может, женщина, и хочет улизнуть от Сета, и во время схватки это существо, теперь явно женщина, уступает, и ее видно все ясней, а Сет все сражается, но сам спит, это внутри у него что-то с чем-то борется, и потому нервы обвивают, сдавливают мышцы, притоком крови раздувает вены, выталкивает наружу мозг. И не в силах вынести такого напряжения, Сет сдерживает разящий кулак, кулак повисает в воздухе, ноя от боли; внутри действительно все успокаивается. Но Сет продолжает сдерживать кулак, не давая ему вырваться, и тогда снова внутри все приходит в движение; сотрясаемый внутренней борьбой, Сет переворачивается на другой бок, и тут яркий солнечный луч, упавший из ставен на подоконник и притаившийся у изголовья, как хитрая лиса, подкарауливающая добычу, ослепительной вспышкой вырывает Сета из дремоты, кулак опускается, сон уходит, и Сет просыпается, чувствуя, как ноет все тело, как ломит в висках.

Но дневная явь уже крепко держит его, Сет открывает глаза и видит то, чего не видел вчера: перед глазами комната, в которой он обосновался с разрешения Рея. Помнится, тот сказал: «Ступай на третий этаж, там никто не живет». И Сет поднял с пола сумку, взял свою куртку и пошел по освещенным лишь луной ступенькам на самый верх, потом двинулся ощупью по темному коридору, подошел к двери комнаты, что выходила окнами на улицу. Дверь была закрыта, пинком Сет распахнул ее: внутри пусто, только на полу в скудном свете, проникавшем через ставни с улицы, серел тюфяк. Сет опустил сумку в угол и тут вдруг ощутил, как кровь бросилась в лицо, стремглав понеслась по паутинкам капилляров, с силой прилила к голове, заметалась внутри, как плещет вода о стенки поднятого с земли ведра, и Сет повалился на тюфяк, говоря себе: «Надо мне избавиться от этого дурмана внутри, не то он меня скрутит. И тогда мне крышка».

Забывшись, он уже не помнил ни про буйство крови, ни про то, где он был, на чем лежал, в голове пронеслось только: «Как высоко над землей поднялся. Упаду — верная смерть». И он рухнул камнем с высоты, погружаясь в сон

Сейчас, уворачиваясь и жмурясь от режущего глаза назойливого луча, Сет на мгновение окунулся в темноту, но вот очертания комнаты вновь стали проступать перед глазами. И вместе с этими очертаниями в мозг впилось непонятное: «В этой комнате лежал мертвец». Ну да, конечно! Видно, здесь жил кто-то и умер. Тот, кто здесь жил, умер, и не так давно. На Сета повеяло смертью: чем-то аптечным, влажными простынями и винным духом. В комнате ничего не было, кроме этого тюфяка. На уступе стены и в тех местах, где была ободрана краска, луч переламывался. Сет оглядывал комнату, переводя взгляд от одного угла к другому,— пусто, ни клочка бумажки. «Он умер, и отсюда выволокли все его имущество, может, даже распродали».

Дверца стенного шкафа была открыта, внутри, касаясь друг друга, покачивались две проволочные вешалки, так и хотелось повесить на них что-нибудь, чтоб перестали качаться. «Здесь все так,

будто его только что отсюда вынесли». И Сету в себе самом почудилась смерть, кости рассыпаются в прах, влага в ушах, сквозь мозг прорастает что-то черное. На миг он застыл, привалившись спиной к стене, чтобы стряхнуть с себя это наваждение: постепенно стал дышать ровнее, сердце уже билось не так часто, он успокоился. «Не понравится в одной спать, выбирай другую»,— вспомнил он слова Рея. Сет скосил глаза и увидел, что на полу у двери так и лежит сумка, как он ее оставил, на мгновение захотелось схватить ее и кинуться обратно на улицу. «Какое им всем до меня дело? До того мертвого старика им же не было дела! Ну и пусть, мне-то что? Все умирают. Сам чуть не помер. Эти хоть дом-то мне на голову не обрушат...» Сет потянулся к сумке, вынул рубашку, оттолкнул одну вешалку от другой, повесил рубашку.

Сет спустился к краю крыши с ломом в руке и увидел, как внизу по улице шествует Их Высочество Покахонтас в том же самом громадном светлом парике, в соломенной шляпе с черной лентой, как у важных государственных чинов, и в больших круглых темных очках. На необъятных телесах болтались обноски одеяний сенаторов и судей, к хвосту облезлой лисы приколота, как бирка, шерифская звезда. Сжимая в руке черный флажок и бряцая на ходу жестяными бляхами значков, она как хлыстом замахивалась флажком на уличных ребят, стоявших, разинув рот, посреди тротуара, и кричала:

— Чего глазеете? Что это вам, цирк?

Рядом, отступя на полшага, поблескивая лысым черепом, выстреливая на ходу острыми, худыми коленками и безвольно мотая руками, шел супруг, выпучив глаза так, будто только что заглотнул целиком яйцо.

Утерев со лба пот, Сет стоял и смотрел вниз, сзади погромыхивали срываемые с крыши листы железа. Покахонтас остановилась поговорить с каким-то стариком, стоявшим на крыльце, изо рта у него торчала трубка, в трубку воткнута сигара.

— Куда тебя нынче черт понес? — спросил старик.

— Во, в самый раз спросил! — Голос ее пулеметной очередью прокатился по переулку.— Иду кандидатуру свою выставлять.

— И куда это?

— А везде. Я ведь избранница народа.

Старик утвердительно кивнул, а Их Высочество продолжала:

— Тебе не мешало бы знать. Хоть всех и всюду не охмуришь, но, бывает, целый город обалдуев набирается. Вон их кругом сколько.

Сет выплюнул шарик жеваной бумаги; тот, мелькнув белой горошиной, перевернулся в воздухе пару раз и шлепнулся на тротуар. «Вот гнусь поганая! — подумал он.— Что жрет, что говорит — глаза бы не глядели». Вещая на всю улицу, Их Высочество махала флажком перед носом у старика. Вот она взмахнула в последний раз и снова важно поплыла вперед по тротуару, увлекая за собой отставшего на полшага муженька, поравнялась с подъездом дома, на крыше которого стоял Сет, пробежала глазами табличку о сносе с соответствующими инструкциями, задрала голову вверх, увидела Сета, подняла кверху жирную, как окорок, руку с нацеленным на Сета пальцем, рукав платья задрался, блеснули огромные черные часы, утопленные в складках жира. И Их Высочество прогремела снизу вверх:

— Что, ребята, рушим?

Сзади к Сету подошел Эл.

— Да уж не загораем,— отрезал он.

— Еще чего, загорать!

Она опустила руку, уперлась кулаками в бока. Повернула голову, уставилась на Эла. Лицо тарелкой посреди стола прилепилось к массивному туловищу.

— Работенка у вас, между прочим, не из лучших,— сказала она. Сморщила лоб, прищурилась одним глазом.— Как там твой хребет, цел еще?

— Ничего, выдержит.

— Выдержит, говоришь? Ну тогда не иначе грудную жабу себе наживешь. Небось в глазах так и щиплет? И в глотке першит от штукатурки! И ноги тяжелые, как гири! Или, скажешь, ржавчиной все нутро не разъело? Ну что ж! Давай-давай, старайся! Работка для настоящего мужчины, это точно.

Вот стерва вонючая! Тысяч десять в кубышке, а сама незнамо в чем ходит, прибедняется.

— Что, согласен? — гаркнула она. Гладкий череп мужа блестел рядом, муж поглаживал подбородок.

— Да катись ты! — сказал Эл.— Не то уроню вот этот молоток прямо на твою дурью башку.

Тут Их Высочество вскинула руки, схватилась за парик, присела.

— Раз насилие, я — пас! — проговорила она, пятясь подальше от дома.

Муж тоже съежился и шагнул с тротуара. Высочество отняла руки от головы, снова ткнула пальцем вверх.

— Нечего меня запугивать! Не дорос еще, чтоб меня запугивать.— Тут она перевела палец на остальных на крыше.— А вы работайте, ребята, работайте! Сносите свой дом, как положено по инструкции. Все подчистую! Нечего это старье беречь.

«Дурочку из себя корчит»,— подумал Сет. Их Высочество пятилась прочь, словно щитом загораживаясь своим флажком. Муж, как раньше, потирая подбородок, потащился следом. Она допятилась до противоположного тротуара, повернулась и двинулась к углу дома. Тут уличный мальчишка запустил в нее камнем. Чуть не задев мелькающие ноги, камень с силой стукнулся о землю совсем рядом.

Потрескавшийся толь на крыше ударил смоляным блеском в глаза, и Сету показалось, будто голова расплющилась, раскалилась под солнцем, как монетка под колесами поезда; но пора было вместе с другими включаться в работу. Сет обернулся, посмотрел вдаль, туда, где за причудливой вереницей черных крыш и кирпичных труб пульсировало замурованное в бетон сердце города, потом отвел взгляд в сторону, где за коробками новых домов зеленели холмы. И зашагал по крыше вверх, там не прекращалась работа.

Он приступил к работе в это самое утро. Спустившись вниз с третьего этажа, Сет увидел Рея на тротуаре перед домом, тот стоял, засунув руки в карманы. Услышав, как Сет спускается по ступенькам, Рей обернулся, спросил:

— Есть хочешь?

Сет кивнул, и они пошли в кухню, где Рей принялся стряпать на скорую руку. Поставив воду для кофе, он с такой быстротой стал разбивать яйца на сковородку, что со стороны казалось, будто он их, как есть, кидает прямо в огонь.

— Хлеб вон там. И масло бери. Все что надо. Еще чего будешь? Хочешь картошку? Возьми вон в холодильнике.

Рей ел стоя; поел, сунул тарелку с чашкой в раковину. Подождал, пока поест Сет, потом взял длинный, в рост человека, демонтажный лом и направился к двери. Когда Сет, дожевывая на ходу, выбежал вслед за Реем на улицу, там на крыльце уже поджидали трое. Утро было прохладное; все в куртках, но никакого инструмента при них не было.

— Вчера все перетащил на место,— сказал Рей.— Только лом вот этот и остался.

Один из рабочих с тяжелым, точно кувалда́, подбородком и сам кряжистый и налитой, как кулак, взял у Рея лом и принялся с мощностью копра забивать его в землю. Рей спросил:

— Куда идти, все знаете?

Тут кряжистый, воткнув лом острием в землю между стеной и асфальтом, приставил его к стене, привалился к нему спиной. Кряжистого звали Ферном.

Худой, вытянутый, как топорище, малый назвался Элом. Черная куртка на нем была простегана драконами, еще на ней была выстегана красным какая-то карта и надпись: «Дананг». Достав из кармана джинсов расческу, Эл зачесал назад светлые волосы, потом засунул руки в карманы, поиграл локтями.

Третий сидел обособленно на ступеньках, прислонившись спиной к двери. Едва Сет появился на крыльце, этот не сводил с него настороженного взгляда — все в нем заострилось, ощетинилось: и глаза, и вытянутое лицо, и коротко подстриженная бородка. Глаза следили за каждым движением Сета, тому даже почудилось, будто в горло неотвратимо врезается острая бритва, даже спину жгло, хотелось дернуться, сбросить с себя колючий взгляд. Парня звали Рик.

Рей сказал:

— Ну, пошли, что ли? Чего мы ждем?

Ферн взвалил лом на плечо, и они двинулись по улице.

Пока шли, Рей то и дело кивал или махал кому-нибудь из проходивших или проезжавших мимо. У перекрестка их обогнала полицейская машина. Рей кивнул полицейским, которые, сняв фуражки, развалились внутри. Сидевший за рулем походя кивнул, даже не взглянув на Рея, пощипал редкий ус и сосредоточился на каком-то старике впереди: тот сунулся было, не глядя, переходить улицу.

Когда подошли к тому дому, что предстояло сносить, все двинулись внутрь, а Рей задержал Сета у дверей. К кирпичной стене дома была прибита табличка «На слом».

— Значит, так, этот самый дом надо снести,— начал Рей.

А Сет подумал: «Это ничего. Я видел, как сносят. Видел, как рушат дома». Под солнцем голые по пояс, лоснящиеся по́том рабочие сначала сдирают крышу, потом валят стены, тут только успевай поворачиваться, не то прямо на голову ахнет лавина битого стекла, ломаного кирпича, красной пыли. «Да что там, справлюсь!» Вот они стоят, ждут своей участи — и этот, четырехэтажный, кирпичный, и другие, те, что бок о бок рядом с ним; а в тех местах, где цемента кажется много, даже наружу вылез, между кирпичами-то его совсем почти не осталось. Парадная дверь под козырьком из резного камня вела на лестницу, которая снизу доверху пронизывала весь дом и, выводя к комнатам верхних этажей, шла на чердак. Две другие двери, по правую и по левую руку, вели в квартиры первого этажа. Обе эти двери были распахнуты, и Сету, стоявшему возле одной, прямо в глаза бил сквозной поток света. Фасадные окна смотрели из-под нависших каменных бровей, выставив вперед каменную нижнюю челюсть, а под самой крышей вдоль всего здания тянулся деревянный резной фронтон, колонки, бутончики, зубчики. Фронтон навис над чердачными окнами, и они прищурились под ним, как из-под низко надвинутой кепки.

«Подумаешь, дело какое,— думал Сет,— справлюсь!» Но он молчал, не зная, что сказать Рею, задержавшему его в дверях. Дотронулся до стены — краска сухим листом слетела с кирпича. Местами она вздулась и задралась слоями, как лишайник, а стоило потереть ее, пальцы упирались в шов между кирпичами, и песчаная пыль вперемешку с известковой тихонько сыпалась вниз по стене. Между резными каменными парапетами и ступеньками крыльца цемент потрескался, и Сет представил себе, как по всему фасаду то тут, то там все трещит и крошится: вон щели между рамами и кирпичной кладкой,

вон лопнул посредине накладной фронтон, вон стену будто молнией раскололо, тянется зигзаг от центральной двери прямо к крыше, на пути выбрасывая к каждому окну трещинки. Сету почудилось, будто наполненное людскими голосами строение стонет под тяжестью шагов, будто слышно, как трещат балки, как песком сыплется высохший раствор.

Здесь и пахло ветхостью: сыростью, гнилым деревом. Сет подумал: «Одолеть дом нетрудно».

— Нелегко придется,— произнес Рей, взглянул вверх на фасад дома и, встретившись глазами с солнцем, сощурился еще сильнее.— Очень даже нелегко. С ними вечно так. Ну пошли, посмотрим, что там внутри.

Они вошли, и на Сета повеяло холодом, как тогда, в детстве. Вспомнился их дом в горах. Однажды родители взяли у кого-то грузовик, погрузили имущество, а он не понимал — куда, зачем; помогал складывать одежду в картонные ящики и потом таскать к машине и все спрашивал, но ему никто не отвечал, а когда вещи были погружены и все стояли и чего-то ждали, ему вдруг захотелось есть, и он вернулся в дом, не подозревая, что в доме пусто. Стояло лето, жаркое, душное, под вязами стрекотали цикады. Но стоило ему перешагнуть порог пустого дома, на него повеяло таким холодом, какого не бывает даже в самые студеные, самые долгие и бесконечные, самые лютые зимы.

Здесь, в этом пустом доме, где-то в глубине, слышны были людские голоса, что-то рушилось внутри. Сет огляделся и вновь ощутил немощь этих стен. В первой же комнате потолок над головой осел, как брезент под тяжестью, с него свисали какие-то длинные клочья. Стена под окном вся потрескалась от водяных подтеков; обои побурели, пожухли, вдоль плинтуса тянулась белая полоска обсыпавшейся штукатурки. Заколотилось сердце, зачесались руки в предвкушении работы, и снова Сет подумал: «Все же, наверное, это нетрудно».

Оглядывая комнату, Рей тихонько присвистнул.

В следующей, в тени под раковиной, лежал на боку отопительный блок, из него, изгибаясь змеей, торчала медная трубка. Рей достал из кармана штанов гаечный ключ, вывернул трубку.

— Медь нам сгодится,— сказал он.

Потом повернулся, распахнул стенной шкаф в углу. Там было пусто, ни полок, ни даже перекладины, лишь связка каких-то бумаг на полу; края бумаг закручивались кверху, как капустные листья. Рей поднял связку, и Сет, бросив взгляд через плечо, увидел, как тот проглядывает пожелтевшие печатные листки.

— Какая-то книжка старая,— произнес Рей, швырнул связку на середину пола, поднял лом и нацелился им на каминную полку в том самом месте, где проходил дымоход. Самого нагревателя не было, иссиня-черное, изогнутое колено трубы застыло на весу, как человеческое, согнутое и загипсованное. Рей просунул лом в щель между полкой и стеной, дернул и вывернул из стены кусок трубы с газовым краном, и она грохнула на пол, усыпав махрами копоти книжные листы. Потом, рванув ломом, Рей выломал левый край полки из стены. Сет своим ломом отодрал правый край Вместе они потащили полку, выволокли на середину комнаты, с оголившегося кирпича тяжело упали комья сажи, куски высохшего раствора.

Тут Рей выпустил лом из рук и, скрючившись у стенки, принялся ощупывать покрытые золой шаткие кирпичи и швы, откуда высыпался раствор.

— Чего это ты там высматриваешь?

— Да, может, где деньги припрятаны.

Рей прошелся по всей обнажившейся поверхности стены, ничего не обнаружил. Выпрямился. Снова взялся за лом, начал отдирать плинтусы.

Когда с этой комнатой было покончено, двинулись по дому дальше, потом поднялись на второй этаж и там разошлись: Сет направился в выделенную ему комнату, проходную; сюда через открытую дверь из передней комнаты с окнами на улицу узким, длинным и тусклым, словно через воду пропущенным лучом проникал свет. Сет распахнул левую дверь: залитая солнцем ванная, унитаз завален доверху, над ним рой зеленых мух. Сет отступил назад, в комнату, из-под перевернутой кушетки выгреб пятнадцатицентовик вместе с клубком свалявшейся пыли, потом отодрал плинтусы и осмотрел стенной шкаф. На полке, в коробке из-под обуви, обнаружил пачку газетных вырезок, но только взялся их перебирать, как они рассыпались под пальцами. Сет отбросил коробку на середину пола, поднял лом и двинулся к каменной полке в темном углу комнаты.

Когда отдирал полку от стены, перед глазами, будто гнилушка во тьме, запутавшись в слоях дранки, сверкнул первозданным блеском серебряный доллар: безмятежный лик статуи Свободы в обрамлении лучей ярко блестел здесь, в самом темном углу, на самой грязной стене, где дранка вся обуглилась, истлела.

«За такой доллар можно кое-что выручить,— подумал Сет.— Старые деньги всегда в цене». Но только он дотронулся до монеты, как отделились серебристые чешуйки, посыпалась черная пыль; чешуйки упали на пол, а пылью припорошило кончики пальцев, и Сет почувствовал, как они горят, словно в них проникло что-то едкое; он потер пальцы о рубашку, чтоб перестали гореть. И где-то внутри застрял немой вопрос, заметался, пытаясь вырваться наружу. Но вырваться не получилось, и Сет испугался, что вот-вот захлебнется этим невысказанным, и, подавив внутреннюю дрожь, заставил себя взяться за лом. С верхнего этажа доносились шаркающие шаги Рея: Сет прошел в соседнюю комнату.

Здесь на стене висело деревянное распятие, алое сердце Христа пламенело чадящей головешкой. У стены напротив темнел деревянный гардероб. Сет распахнул дверцы и обнаружил там мужской костюм, только воротник весь протерт, лацканы слишком узкие, а брюки как жеваные. «На черта мне это барахло»,— подумал Сет. Он понемногу успокаивался. Жар и дрожь внутри утихли.

Открыв дверь в следующую комнату, он на мгновение окунулся во тьму и застрял в дверях, пока глаза не привыкли к темноте, и тут на пороге на него снова нахлынуло то же, что там, в комнате, где он провел ночь: почудилось, будто здесь только что умер кто-то, и опять повеяло покойником, чем-то аптечным, влажными простынями, винным перегаром. Рука сама, словно не его, чужая, забарабанила пальцами по притолоке. Он стоял, вглядываясь в темноту и постукивая пальцами по притолоке, но вот слева в углу выплыли очертания человеческой фигуры, коленки и руки с головой сведены вместе, как у зародыша. «Какой-нибудь старик-пьяница,— подумал Сет.— Ну да, старик-пьяница, может, спит, а может, помер». Тут на ум пришло: «*Если со спящего не сводить глаз, он проснется. А не проснется* — значит помер» Сет потянул носом, и на него так явственно повеяло покойником, чем-то аптечным, влажными простынями, винным перегаром, что Сет решил: мертвец! Он замер, уставившись на неподвижного, свернувшегося клубком человека, стоял и ждал, и вдруг в правое ухо ввинтился окрик. От звука этого голоса Сета всего передернуло, внутри, в спине, в руках тревожно заныло. Сет занес копьем тяжелый лом и рванулся назад, в коридор, готовый в любую минуту нагрянуть на чужака.

Из комнаты никто не показывался, и тогда Сет выкрикнул:

— Эй ты, сволочь, выходи!

И только тут до него дошло: что́ крикнули,— он ведь не разобрал.

— Есть здесь кто?

Он услышал за спиной шаги, подошел Рей, сказал:

— Давай, приятель, выходи!

Рей прошел вперед мимо Сета, застывшего с поднятым ломом, прислонился к дверному косяку.

И тут на свет, руки в карманах, вышел старик в шапке железнодорожника.

«Чертов негритос!» — пронеслось в голове у Сета.

— Горячий больно парень,— сказал старик.

— Сегодня первый день.

— Что, сносить будете?

— Приказано сносить.

— Что же, раз приказано...— Старик оглянулся в темноту на лежащего в той же позе человека.— Убираться, значит?

— Выходит, что так, если не хотите, чтоб все это хозяйство вам на башку ахнуло.

— Да нет уж, уберемся! Чего там. Уберемся отсюда.— Старик прошел по коридору, сплюнул в лестничный пролет.— Ну, не враз выметаться-то?

— Не враз.

— А то вон этого разбудить надо, он спать здоров.— Старик подался внутрь комнаты и крикнул: — Эй! — Сведенные вместе конечности дернулись.— Сейчас проснется.

Все стояли и ждали, клубок медленно разворачивался у них на глазах.

— А нет ли у вас мелочишки какой, поесть?

Рей покачал головой, старик перевел взгляд на Сета, потом снова посмотрел на Рея и сказал:

— Так свою дуру на весу и держит. Тяжело ему небось, как думаешь?

Сет смутился. Про лом он совсем забыл. Опустил руку.

В коридор вышел заспанный человек, обоими кулаками он тер глаза на красном, опухшем от сна лице.

— Вот, друг, попросили нас отсюда,— бросил ему старый негр.— Вон они тут орудуют.

Заспанный опустил кулаки, стиснул зубы, лицо напряглось, он двинулся вниз по лестнице.

— До скорого, ребята! — сказал негр.

Оглядел Сета с ног до головы, задержал взгляд на ломе, зажатом у того в руках.

И тут Сет ужаснулся, до чего довели его эти таблетки. Лом, того и гляди, из рук вывалится, мышцы слабые, растянутые, как истертые веревки, а нервы словно заползли куда-то внутрь, притаились, точно змеи в расщелинах.

Двое бродяг сошли по лестнице вниз.

— Ну вот,— сказал Рей.— Первым делом надо пьяниц повыгонять.

В подвале светили себе фонариком; сюда едва проникал свет из узких и длинных оконцев, прикрытых с улицы от крыс проволочными сетками, в которых застряли комья грязи, обрывки веревок, бумажки. Сет, сойдя по ступенькам вслед за Реем, не видел, куда идти дальше, потому что Рей светил фонариком себе прямо под ноги, до Сета луч не доходил. Сет даже не видел, куда ступает, пока вдруг не ощутил под ногой деревянный настил пола. При этом он чуть не уткнулся Рею в спину, и в нос так резко ударил запах разгоряченного тела и пота, что Сет даже сразу не сообразил, откуда это, ведь отовсюду здесь несло холодом и сыростью, пахло известкой, гнилью, плесенью, сырым камнем подземелья.

— Это ты? — спросил Рей.

— Я.

Спустились с лестницы, постояли, Рей осветил фонариком кучу старых электросчетчиков, покрытых белым лишайником коррозии, каменные стены — в песке, в земле, в грязных подтеках раствора, зажатые между стен балки пола, торчавшие из верхних потолочных перекрытий концы шурупов, пирамиду черных автопокрышек, обломок ослиного черепа, кожух коробки передач и груду черных аккумуляторов с белыми налетами соли. Луч высветил проход вдоль подвала, поймал ряд шкафчиков у стены.

Осмотрев первый шкафчик, они извлекли снизу, прямо из земли, полдюжины пустых бутылок.

— Бутылки загнать можно,— сказал Рей.— Тому, кто собирает.

Снова принялись шуровать в твердой, перемешанной с углем земле, раскопали топор, сломанный черпак, проржавевший гаечный ключ, помятый колпак колеса, головку куклы, почерневшую в земле.

На следующем шкафчике висел замок; Сет держал фонарь, а Рей, подсунув лом под ушки, дернул, и болты, ухнув, полетели из дерева. На дне шкафчика, в земле, обнаружили коробку, где срослись клубком перекореженные, ржавые отвертки и гаечные ключи. На полке нашли масляную лампу, проржавевшую насквозь банку с гвоздями и шурупами, позеленевшую, влажную от плесени библию.

Рей кинул банку на пол, библию положил обратно на полку. Потом протянул Сету фонарик, сказал:

— Глянь-ка, есть тут что еще?

И двинулся обратно к лестнице.

Взметнувшись с пола, угольная и земляная пыль, древесная труха повисли в луче оконного света, потянулись вверх, к улице.

Оставшись один в этом черном бункере, Сет испытал неведомое ему до того чувство замкнутости, будто он в коробке, замурован в клетке, сотканной темнотой, единственный выход — луч, пробитый карманным фонариком, и в голове пронеслось: «Тут, верно, крысы!» И он двинулся вперед, при каждом шаге взмахивая фонарем из стороны в сторону, освещая стены и кидая луч к потолку. Раз, споткнувшись о железяку, хотел было удержаться за стену, наткнулся рукой на какие-то выступы, но почувствовал не камень, а что-то крошащееся, какую-то грязь — и тут же отдернул пальцы. И в этот самый момент прямо перед собой он увидел человека без рубашки, голова обвязана платком, впалые щеки, ввалившиеся глаза, человек светил в Сета фонариком; на мгновение Сет взглядом поймал луч света у себя на груди и луч света на груди у незнакомца и, только замахнувшись ломом и увидев, как незнакомец тотчас замахнулся в ответ, только направив лом острием и увидев, как на него самого надвигается острие лома, только тогда, когда все было кончено и раздался звон разбитого стекла, и перед глазами одновременно со стеклом вдребезги раскололся свет, и внезапно встала кирпичная стена в раме,— только тогда Сет понял, что́ это был за незнакомец.

— Чего там у тебя? — сверху с лестницы крикнул Рей.

И Сет ответил:

— Да вот, с зеркалом воюю.

И подумал: «Так, совсем дошел до ручки!»

— Ну вот, этого нам еще не хватало!

«Что же,— подумал Сет,— семь лет такой жизни. Уж чего теперь хорошего ждать».

Потом все пятеро поднялись на чердак; там было душно и пахло дегтем и утеплителем; туда проникал из щели под самой крышей единственный лучик света, так что всем пятерым приходилось глядеть в оба, чтобы не угодить ногой в дыру на полу, не налететь на моток старого провода или на разбитый ящик со всяким инструментом, не стукнуться головой о косую балку, не напороться на кровельные гвозди, торчавшие остриями из обшивки. Наконец Рей взло-

мал замок верхнего люка, крикнул: «К чертям отсюда, скорее!» — и первым ринулся наверх, на крышу.

Вырвавшись на воздух, вздохнул полной грудью, а после Сет вместе со всеми принялся оттаскивать ящики и коробки от чердачных окон.

— Возьми отвертку и отдери-ка вон то окошко,— велел Рей.— Как увидишь освинцованную раму, так знай: стоящая вещь. Ну, а если витражное стекло осталось, тем более.

Сет высадил раму со стеклом, снес вниз, на первый этаж, куда складывалась вся их добыча: кучка монет, извлеченный откуда-то из-под линолеума ветхий бумажный доллар, дубовый резной стул, рама зеркала, разбитого Сетом, три старых радиоприемника, с которыми вызвался повозиться Ферн, кинескоп от телевизора, пара книг в кожаных переплетах, множество медных трубок, латунная электроарматура из коридора.

— Стальные трубы не берите. Грош им цена. А все свинцовые и чугунные хватайте. Со свинцом ничего не сделается, даже если чугун сверху сбиваешь, свинец не ломается.

И вот в подвале, вооружившись кувалдами, они выбивали нижние трубы парового отопления, чтоб верхние трубы съезжали вниз, после их разбивали на секции, сортировали: железные — отдельно, свинцовые — отдельно и все волокли потом наверх, в большую комнату.

— Давайте сначала все сложим вместе,— сказал Рей.— А после по-братски поделим.

Потом все они высыпали с чердака на крышу. Тогда-то Сет и стоял на краю, держа в руках ломик, изогнутый гусиной шеей. Ветром холодило влажные от пота грудь, спину, руки, и Сет думал: «Эта гадина смеется надо мной. Ну ясно, я дурак для нее, стою, как есть оборванец, на крыше, а она внизу шныряет, тоже с виду оборванка, а у самой денег видимо-невидимо. А все-таки ребята перед ней не дрейфят!»

Раскаленная крыша сквозь подошвы жгла ему ноги.

В тот же день вечером он снова увидел ее, ту самую, Риту. Работу закончили. В пекло среди дня подъехал самосвал, привез мусорник, длиннющий черный ящик с крышкой. Самосвал заурчал, заработал гидравликой, ящик сполз с кузова на тротуар, самосвал отъехал. Они сбивали с крыши водосточные желобы, бросали вниз, и те с жестяным лязгом падали в мусорник; потом со скрежетом срывали железные и рубероидные листы с крыши, они летели вниз громадными одеялами и с клацаньем валились в ящик.

Когда побросали все с крыши, Рей объявил:

— Все на сегодня. Хватит надрываться.

И они ринулись через чердачный люк, через чердак, где узкие лучи света разлиновали обшивку на стенах, исполосовали весь пол,— и по лестнице вниз.

Пока в нагретой солнцем комнате верхнего этажа Сет надевал оставленную там рубашку, остальные направились к выходу. Одевшись, Сет спустился вслед за ними, но когда вышел, их спины уже маячили далеко впереди; шли гуськом, первым Рей, потом Эл с Ферном, позади Рик.

Сет двинулся по улице, чувствуя, как с каждым шагом все круче вверх по спине взвивается ломота и нельзя поднять шею: он шел, уставившись в землю, под ногами мелькали трещины в асфальте — сквозь них пробивалась наружу худосочная травка,— брошенные бутылки, забытый детьми мячик, бортовой камень тротуара, камешки и пятна мазута, но вот наконец возник срезанный копытом вытянутый нос сапога Рика. Сет поднял голову.

— Ну как, нравится работа?— спросил Рик.

Сет пожал плечами, а Рик продолжал:

— Ничего, поработаешь — привыкнешь. Может, даже понравится. По-всякому бывает.

Они шли рядом. Рик закурил на ходу, протянул Сету пачку. И тут вдруг спросил:

— Ты сам-то откуда, здешний?

Сет только глянул в ответ, но не сказал ничего, а про себя подумал: «Что-то в нем есть такое, темное».

Рик резанул Сета взглядом, отвернулся, сплюнул и выдавил сквозь зубы:

— Не хочешь, не говори.

Когда на углу они пережидали, пока проедет автобус, чтоб перейти улицу, Рик, обведя взглядом пьяниц, выстроившихся вдоль стены, проходившую мимо с сумкой снеди женщину, портье, что, сложив руки на груди, пялился в гостиничное окно на улицу, бросил:

— Народец тут — палец в рот не клади!

— А я разве кого трогаю?

— Да нет, я просто сказал...

— Сказал и сказал, мне-то что?

— Нет, я просто говорю, тут тебе не райский уголок, тут надо с оглядкой, тут главное не встревать ни во что.

Завернули за угол, впереди показался их дом, на крыльце спиной к ним, почесывая в затылке, стоял Рей.

— И еще,— Рик остановился, глянул Сету прямо в глаза.— Ты за Рея не очень-то цепляйся. Полиция что-то к нему имеет, при случае могут загрести. Он это чует. Потому и шальной какой-то. Да он и вообще такой. Живет, не хоронится.

Тут Рик увидел что-то за спиной Сета и сказал:

— Ну пока, я пошел.

А вечером Сет вынес на крыльцо те бутылки, что они выгребли из земли в подвале, и, вооружившись ведром с водой и щеткой, принялся их отмывать при свете уличного фонаря. «Рей говорит, их можно по доллару толкнуть». Но ни водой, ни щеткой, ни даже кончиком прутика — ничем не удавалось соскрести приставшую к стеклу ссохшуюся, комковатую грязь. С горлышка соскоблился черный катышек и тотчас накрепко прилип к пальцам.

Бутылка была четырехгранная, из-под виски. «Старая, наверное, хорошие деньги за нее выручу, если только удастся отскоблить эту чертову грязь».

И тут он увидел ее.

Но она его не узнала. Он увидел ее и сразу понял, что она его не узнаёт. «Но ведь чувствует, что я на нее смотрю»,— думал он, заметив, как она дрогнула плечами, будто сбрасывала что-то, тогда-то он и понял: «Не признала меня. Я теперь сам на себя не похож». Она дернула головой, взглянула на Сета сверху вниз, задержала взгляд. Он молча смотрел на нее, а потом она поднялась по ступенькам и, глядя ему прямо в глаза, бросила, как спасительную соломинку:

— Привет!

Будто на свечу дунула.

И близко-близко прошла, край ее жакета мазнул Сета по щеке, и мимо, и вверх по ступенькам. Он услышал ее шаги по лестнице.

Сет даже не удивился, почему она идет сюда, в этот дом. Он подумал: «Было и прошло. Да и давно все было».

Он снова взялся за бутылку, и снова на него глянули загнанные вглубь комочки грязи. И в нем самом, как проросшее семечко, как существо, погребенное заживо, что-то встрепенулось, рванулось наружу. Это упрятанное в недра живое с силой накатывало из глубин, и все в Сете заметалось, понеслось кувырком, завертелось рулеткой и, наконец, сложилось в безысходную мысль: «Говорю, что мне ничего ни от кого не нужно, а самому нужно все, немедленно, сейчас!»

Опять руки у него заныли, затряслись, все пальцы, все суставы напряглись, захотелось пульнуть подальше то, что держал в руках, и, уже замахнувшись и швырнув бутылку, чтоб она, пролетев через улицу, ударилась о стену пустого дома, чтоб разбилась вдребезги, Сет почувствовал, что за спиной стоит Рей; и только стекло бутылки сверкнуло в свете фонаря, Сет, не дожидаясь, пока стеклянная пыль взметнется над тротуаром, вскочил и кинулся с кулаками на Рея, который прилепился к дверному косяку, руки в карманах, очки съехали на нос, в волосах завязли комочки дегтя, и взгляд прищуренных глаз еще глубже, еще настойчивей, чем накануне, ввинчивается в Сета.

В ту ночь, лежа в ожидании сна и понемногу проваливаясь в небытие, Сет вдруг услышал: девичий голос поет под гитару. Голос вырвал его из дремоты, Сет приподнялся в постели на локтях, силясь уловить слова, мотив. Казалось, голос доносится с улицы, откуда-то из-за угла, но, даже подойдя к окну, Сет никак не мог разобрать ни слов, ни мотива, ни тем более увидеть ту, что пела. «Чего колобродишь, спать пора!» — твердил он сам себе. Но стоило ему снова прилечь на тюфяк, как он снова услышал девичий голос и песню, и, взбудораженный, Сет поднялся, спустился по лестнице вниз. Однако, выйдя из дома, обнаружил, что ни песни, ни девушки на улице нет, должно быть, они затерялись в каком-то доме, в какой-то квартире. Сет завернул за угол, огляделся, прислушался, подождал; зажегся зеленый глаз светофора.

Потом, вынув из кармана руки, поднес ладони к глазам. Их сводило, будто судорогой, пальцы подрагивали, как травинки на ветру.

«Что-то надо делать. Худо мне, нервы совсем никуда. Даже заснуть не могу. Слишком много дряни принимаю. Третий день. Нет, четвертый. Не помню уж, сколько дней. Ну а как без этого? Вместо этого-то что?»

Сон не шел. Сет поднялся с тюфяка, подошел к окну, сел на стул и принялся смотреть вдаль, за дома, где вставали горы и маячила, мигая красными огнями, радиомачта; и Сет стал думать о тех, кто живет там, за желтыми окнами, как они лягут спать в своих квартирах, как потушат свет, а пьяницы и бродяги вроде него спят там, где и тушить нечего; и тут ему вспомнилось. Дома они как-то рыли колодец, и в земле, в красной глине, им попадались — сначала одна, потом еще, а потом вдруг целая куча — погруженные в спячку белые личинки цикад. И Сет все удивлялся, как же это можно столько лежать под землей и ждать своего часа? Каждая застыла в своем белом сне, глубоко зарывшись в землю, чтобы потом пробуравиться кверху. И застрекотать. А пока они — в земле, и над ними зеленеют поля, высятся горы, а личинки притаились и ждут, когда наступит срок всем вместе пробуравиться наружу. Пусть даже сверху цементный фундамент ляжет, пусть построят над ними дом, все равно они найдут, как прорваться на волю, потом разлетятся, застрекочут. Брюшком своим. И когда стрекочущая на брюшке кожица станет тесной, из старой оболочки появится на свет новая цикада и тоже застрекочет. На коре дерева или под самой крышей повиснет старая оболочка, будто в ней еще живет цикада, да только нет, через такую оболочку, как сквозь воду, и дерево просвечивает и дом. Отцепишь оболочку, положишь на ладонь и только диву даешься, как это новой цикаде удалось протиснуться сквозь эдакую узенькую щель на спинке! И как, должно быть, это больно продираться наружу — лапками, головкой, брюшком и спинкой, чтоб потом вырваться на волю и застрекотать.

И дальше день за днем они дружно наваливались на старый дом. Солнце гигантским воротом выкручивало их, выжимало, высасывало

всю соль, все соки. После такого солнечного натиска капли пота становились тягучими. А когда одно разгоряченное тело нависало над другим, сверху на лицо тяжелыми плевками падал незнакомый, пресный пот. И свой стекавший с губ пот терял и запах, и вкус, и всякое сходство с водяной каплей. Он даже не обжигал кожи, этот ни на что не похожий, не человеческий пот.

Легкие разъедало пылью сухой штукатурки, высохшего раствора, битого кирпича, древесной трухи, сухой земли. Казалось, песком забило нутро до предела, и с каждым вздохом чувствовалось, как натужно человеческий костяк вздымает затянутый в ребра груз мышц, будто дряхлый старик взваливает себе на спину сосновый гроб.

Сперва Рей с Сетом доска за доской отдирали обрешетку кровли, начиная от конька и постепенно продвигаясь вниз, от балки к балке, они с обеих сторон ломами подцепляли доску и дергали, и так до самого карниза, до первого ряда обрешетки, а потом снова к коньку, сгибаясь под палящим солнцем, и вниз, вприсядку, визжат гвозди, трещит дерево, и голова гудит от зноя. Остальные на улице сортировали доски, сгнившие — в мусорник, целые — на продажу.

И вот здание, как оскальпированная жертва, глянуло в небо дырой вместо крыши.

— Эта обрешетка сроду солнца не видывала,— сказал Рей.

А половые доски выгорели от солнца, и только в тех местах, куда падала тень еще не сбитых балок и стропил, на белые доски легли темные полосы. Рей подхватил длинную крепкую балку, поднял, ударил по тому месту, где сходилась передняя пара стропил, и немедленно отскочил: одна из стропильных балок летела ему прямо на голову, другая грозила ударить по спине. Сет кинул обе вниз, на задний дворик, а Рей принялся выбивать очередную пару.

Когда со стропилами было покончено и все вновь собрались вместе, Рей объяснил Сету, что надо в доме сверху донизу пробить как бы глотку, через которую рушащийся дом сам себя заглотнет. Сначала разобрали чердачное перекрытие, побросали рухлядь в мусорник, а то, что годилось на продажу,— на задний дворик. Потом, спускаясь с этажа на этаж и руша за собой пол, каждый раз оставляли узкие, в шаг шириной, мостки. Рей научил Сета сгибать стальную трубу крючком, а потом, стоя на мостках, цеплять им и валить кирпичные стены, чтоб они рушились внутрь пустого дома прямо в подвал. Если же стены не поддавались, Рей показывал, как их крушить кувалдой: замахнулся, ударил, отступил; замахнулся, ударил, отступил; снова замахнулся.

Только дом так просто не сдавался. Когда Ферн рушил молотом часть стены, посыпавшиеся вниз кирпичи выбили у него опору из-под ног; уворачиваясь от летящих кирпичин, Ферн изловчился, ухватился за балку и так повис на высоте четвертого этажа без всякой опоры под ногами. Потом Рей, стоя на подгнившей доске, зацепил крюком стену, кирпичи проломили доску посредине, один конец рухнул вместе с кирпичами вниз, а другой вместе с Реем обеими концами лег прямо на оштукатуренные перегородки нижнего этажа.

— Думал, верная крышка, ан нет,— пробормотал Рей.

Сет смотрел, как Эл высаживает топором оконную раму: сначала обрубает снизу деревянный каркас, потом ломиком срывает боковины и подоконник и, цепляясь за верх, сбивает раму вместе с кирпичами Когда же раму попытался высадить Сет, верхняя часть окна со всем грузом штукатурки, кирпича и досок рухнула прямо на него, он отпрянул и не туда: на мгновение внутри похолодело, все оборвалось — сверху обломок стены внизу пустота, и он летит прямо в эту черную дыру, и там — смерть. Страхом сдавило его, перевернуло, и тут мелькнул кусок гнутой трубы, торчащий из стены, и Сет уцепился за него, но все равно почему-то продолжал падать; труба внезапно чуть не вырвалась из рук, ладони обожгло, но Сет удержался и толь-

ко тогда понял, что труба просто разогнулась под его тяжестью и что теперь он болтается, точно рыба на этом крючке, подкинутом старым домом.

Прямо перед ним на своей опоре стоял Рик.

— Черт! В жизни такого не видал!— качая головой, произнес он.

Без внутренних стен лестница могла обвалиться под ними в любую минуту. Для опоры приходилось вгонять толстый и длинный брус в стены между слоями штукатурки и дранки. Потом ногами они сбивали потолок, ломали мостки. Дальше выбивали кирпичи, державшие перекрытия, снимали сами балки и, взявшись вдвоем с обоих концов, швыряли их вниз, во двор, оставляя только одну, ту, что держала лестницу. И все спускались на нижний этаж, а последний выбивал оставшуюся балку, сходил по шатким ступенькам, а потом все вместе валили лестницу и стену за ней. Сначала, на верхнем этаже, все шло гладко. Но этажом ниже балка не удержала марша, и Рик свалился с лестницы, располосовав руку об острый обломок кирпича.

— А, черт, перевяжите кто-нибудь!

Под ними, где-то внизу, погребенное под завалом битого кирпича и штукатурки, осталось земляное дно подвала со всеми его шкафчиками, углем, электропробками, осколками битого зеркала.

И так день за днем они валили стены домов по очереди с четырех сторон; и когда какая-нибудь стена заслоняла от них солнце, казалось, что это не стена, а отвес каньона и они спускаются в ущелье. Но только время подходило к полудню, солнце жгучей лавиной властно обрушивалось сверху — не спасешься, не скроешься. На голову то и дело падали комья сухого раствора. И все вокруг начинало пахнуть по-иному: известью, влагой, землей и особым, ни с чем не сравнимым духом разогретой солнцем пыли.

Теперь невидимое раньше бросалось в глаза: вот утюги на полу, вот пистолет с полной обоймой, всего только раз из него стреляли, даже заклиненную гильзу не вынули, вот чье-то письмо из тюрьмы, ссохшийся голубой листочек, сложенный конвертом. На лестнице в прогрызенной дыре виднелся крысиный помет. Крупные мокрицы, семеня легкими, как пушинки, перепончатыми ножками, слепо копошились среди обрывков газет и щепочной крошки. Рей потянул носом, нацелился сапогом и, припечатав, размазал жирных мокриц по полу.

Повернувшись, чтобы закинуть треснувшую балку в мусорник, Сет увидел, что прямо на него с важным видом надвигается Их Высочество. На ней был голубой купальный халат с капюшоном, накинутый, видно, прямо на голое тело. Широкие босые ступни шлепали по тротуару. Из-под капюшона высовывались соломенные букли парика. На шее веночек из бумажных цветов, с него свисал плакатик с надписью: «Мир!» Как только она поравнялась с ним, Сет ухнул тяжелую балку в мусорник, та с силой грохнула по металлу, а Их Высочество, выкатив глаза, рявкнула:

— Это еще что такое!

«Гадюка чертова! Думает, всеми может распоряжаться. Думает, ей все дозволено».

Сет взял еще одну старую балку, швырнул в ящик, балка описала дугу и концом чуть не сшибла парик с головы Их Высочества. Но спина у нее не дрогнула, и если даже Их Высочество почувствовала что-то, виду она не подала. Пройдя несколько шагов, она повела плечами,— раскрылся продольный разрез на спине, обнажилась голая, заплывшая жиром, подрагивающая на ходу спина и огромный, весь в складках, переваливающийся из стороны в сторону зад.

«О господи!— подумал Сет.— Неужели она — человек?»

Сет увидел: угрожающе сдвинув брови, сжав кулаки и хищно оскалившись, легко пружиня затянутыми в джинсы ногами по тротуару, Ферн наскакивает на огненно-рыжего вихрастого плотника по прозвищу Кобелек. Кружа на пятачке, они топтались друг перед дружкой, то пуская в ход кулаки, то пинаясь ногами, но вот Ферн с размаху двинул Кобелька так, что тот чуть было не завалился на спину, однако, раскинув крыльями руки, все-таки удержался на ногах. Тут-то оно и случилось: Кобелек рванул из-за голенища изогнутый нож.

И вот тогда из дома вышел Рей и прекратил эту драку. Загнутым концом лома он прижал руку Кобелька с ножом к железной ограде и так держал, пока тот не разжал пальцы и нож не выпал; только после этого Рей отпустил руку рыжего и сказал, чтоб убирался.

Потом опустился на ступеньки.

— В чем дело?— спросил он.

— Да этот все приставал к старому пьянице, ну, я сказал: отвяжись!

— А он?

— А он: не твое, мол, это дело.

— А ты?

— А я ему: если не отстанет от старика, я ему покажу.

— А он не отстал?

— Я ему сказал, чтоб оставил старика в покое.

— Ты что, не знаешь, что с этой гнусью лучше не связываться? Не знаешь — чуть что, он за нож?

Ферн выгреб из кармана мелочь — несколько двадцатипятицентовиков, один десятицентовик, пригоршню центов,— уткнулся в ладонь и принялся считать.

— Скажи спасибо, что еще полиция не набежала.

Ферн пересчитал мелочь.

— Я велел, чтоб не смел лезть к старику,— отозвался он, ссыпал мелочь в карман, повернулся и зашагал по улице прочь.

Пока он не скрылся за углом, Рей все глядел ему вслед, механически тыча концом лома в трещину ступеньки.

— Ох, и влипнет он когда-нибудь,— проговорил Рей.— Да еще кого-нибудь с собой потащит.

— Ну и не лезь к нему, чего лезешь?

Рей повернулся и из рамки дверного проема, где он застрял с тех пор, как ушел Ферн, впился своим прищуром в Сета.

— Ага, а к тебе, значит, можно?

Каждый вечер они возвращались в свой дом измученные, молчаливые, в животе как в пустом шкафу, только голод да жажда так и болтаются в пустоте, будто на вешалке. Пыль разъедала мозг, ноги становились тяжелые, словно гири. Придя, разбредались по своим углам; Сет с Реем ужинали вместе, изредка перекидываясь словом.

А в дождливые дни наступал отдых. Ветер, предвестник дождя, как потерявший управление грузовик, несся по улицам, вздымая пыль, взвивая перед собой бумажки, подкидывая вихрями в небо столбы пыли и мусора. Чем темнее становилось за окнами, тем ярче вспыхивали огни машин, а если тьма на улице сгущалась среди дня, начинали, как вечером, разгораться холодным светом уличные фонари. Внезапный дождь тяжелым и беспощадным потоком смывал прохожих с улиц, загоняя в дома, в пивные.

Если ненастье начиналось прямо с утра, у них из дома никто не выходил, а Сет валялся в постели целый день. Но однажды как-то дождь издевательски обрушился на них средь бела дня, пришлось побросать ломы и зарыться поглубже в дом, туда, куда не проникал дождь. Сет скользнул под лестницу, прилег на пол, отдыхал, то поглядывая вверх на белое небо в блестящих нитях дождя, косо струяще-

гося сверху, то на ступеньки, усеянные крупными каплями, то на каплю, что повисла на обломке доски над самой головой: вот она наливается, зреет и падает, уступая место следующей.

Сет повернул голову и увидел, что Эл с Ферном курят, устроившись на деревянных мостках, а Рей спит, в неудобной позе привалившись к кирпичам, и рука у него веткой свешивается вниз в пропасть, которая в два этажа глубиной.

Грянул гром, небо с треском раскололось, и деревянные мостки содрогнулись, словно дом не мог выдержать такого удара, и Сету тотчас представилась глубина пролета и груда битого кирпича внизу, и как вода заливает все это кирпичное крошево, снова обращая строительный раствор в песок, оголяя кирпич, заполняя его поры, пропитывая насквозь обломки старых досок, а потом, фильтруясь через землю, смешанную с камешками, всасывается, уходит вглубь под черный пол подвала.

Дождь белыми потоками выдалбливал жар из асфальта, заболачивал глинистые дворики, широкими реками разливался в намытых руслах. Струился с крыш, гнал водопады из водосточных труб, полоскал стены и тротуары, лавинами несся в сточные канавы. А там вздымались бензиново-мазутные волны уличной грязи и длинными голубовато-желтыми переливчатыми полотнищами тянулись, извиваясь, прямо к решеткам стоков и падали вниз, устремляясь в те каналы, что пролегали под улицами, и дальше через дренажные трубы — прямо в реку. Вот уже кончился дождь, а бензиново-мазутные переливы потоков все тянутся и тянутся водной лентой вдоль улиц и дальше, дальше, к реке.

И той водой, что точит камень, эти потоки грянули на Сета, словно груда сыпучей щебенки обрушилась на голову.

Окно...

Во рту противно, внутри щекочет от затяжки, голову скрутило, пальцы свело, будто пригоршни камней в руках; Сет сидел у окна в своей комнате, упершись локтями в подоконник, стряхивая рядом пепел, и глядел вниз. Подсвеченные фонарем, горевшим перед складом, мальчишки карабкались на высокую металлическую ограду частной автостоянки.

По случаю позднего времени на воротах висел замок. За оградой виднелись бетонные бортики для парковки, площадки, усыпанные гравием, разбитый асфальт, горки красноватого песка из пескоструек, тянулся длинный гараж с колючей проволокой поверху, высилась мрачная коробка склада. Ограда шла вдоль улицы и загибалась вбок, отделяя стоянку от задворков. На металлических опорах крепилась проволочная сетка, а над каждой опорой маячила насадка, от которой шли отводки-растяжки, тянувшие ряды колючей проволоки — три снаружи, три — изнутри.

Мальчишки по очереди, цепляясь ногами за проволочную сетку, подтягивались вверх и перемахивали через колючую проволоку. Сет смотрел, как первый мальчишка взобрался по сетке до верха, завел руку за голову и вверх, ухватился за ближний ряд колючей проволоки, подтянулся, ухватился другой рукой, еще подтянулся, уцепился ногами за сетку ограды и, обеими руками держась за колючую проволоку, навис над колючками. Потом подтянулся, схватился за дальний ряд проволоки, осторожно, сначала одной, потом другой ногой, встал на колючую проволоку, повернулся, разжал руки и спрыгнул вниз прямо на стоянку.

За ним через ограду перемахнули еще трое. Трое ждали на улице своей очереди. Минуту посовещались, потом один из них подошел к ограде, и только он начал карабкаться вверх, у Сета внутри все так и напряглось. В глазах защипало, ударило в голову: «Вот сейчас, этот...»

Мальчишка добрался до верха ограды, но дальше сделал иначе, не так, как предыдущие. Ухватившись за крепежные стойки, он развернулся между рядами проволоки и неуверенно потянулся, чтоб опереться на ограду ногами. Нащупал, но как только отпустил руки, ноги соскользнули. Сет увидел, как они дернулись, потеряв опору, заболтались в воздухе, ударились об ограду, мальчишку бросило животом прямо на колючую проволоку, и она провисла под его тяжестью.

Он даже не вскрикнул. Взгляд взметнулся к дому, откуда наблюдал за происходящим Сет, рот раскрылся для крика, но крик словно застрял на колючках проволоки. Взгляд скользнул вверх, на мгновение встретив на пути глаза Сета, а крик все никак не вырывался, снова взгляд упал вниз. Голова замоталась из стороны в сторону. Дрогнули, ища опоры, локти.

Сет попытался встать, пальцы разжались, выпустив невидимую тяжесть, но стоило оторваться от стула, как немедленно сдавило голову и все поплыло перед глазами. Ноги застряли, прижатые к стене ножкой стула, невесомые пальцы беспомощно скрючились. В голове пронеслось: «Надо спуститься, снять мальчишку! Нет, сперва надо найти лестницу или мусорник, иначе до него не дотянешься! Нет, сперва надо крикнуть ему, чтоб держался. Нет, куда уж теперь бежать, не поспеешь!»

Мальчик потянулся, оторвал руку от проволоки, подался вперед, чтоб уцепиться за дальний ряд, не дотянулся, дернулся, теряя опору, и грохнулся мешком оземь, и только тут раздался вырвавшийся на свободу крик.

Когда Сет выбрался на улицу, кто-то уже прорыл под оградой лаз и растянул сетку, чтоб вытащить мальчика. Пока возились с его распоротыми до крови колючей проволокой руками, грудью, исколотым лицом, дули на ранки, промывали, мальчик сидел на земле, тяжело дыша, кашляя и всхлипывая — отрывисто, как позвякивает цепь, что тянет дерево вниз с горы. Улица быстро опустела — не дай бог нагрянет полиция.

Сет сидел, привалившись к стене, на низком и жестком, впивающемся в зад тюфяке, от застарелых пятен обивки разило винным духом. Посреди комнаты застыл отсвет уличного фонаря, почти как лунный, только неподвижный, он прочно припечатался к полу отраженным ликом окна. К этому часу в доме все стихло. Кто ушел на ночь, кто уже спал. Сет сидел один на один с застывшим, тусклым светом из окна и с огоньком сигареты, то тлеющим, то ярко вспыхивающим; негромко поскрипывал серевший в полумраке тюфяк, плавно тянулось кверху белое дымное облачко.

Жар подобрался к кончикам пальцев, сигарета догорела до фильтра, погасла. Сет бросил окурок на пол, придавил каблуком, узкая белая струйка поплыла к носу, рассеялась дымкой вокруг щек. Через открытое окно в комнату доносились с улицы людской гул и шум машин; Сет слушал. Сначала улица приблизилась бесплотной паутиной еле уловимых звуков, но Сет все вслушивался, вслушивался, и паутина, заколебавшись, разбилась на отдельные звуки: дальний вой сирен, перекличку автомобилей, человеческие голоса, шорох шагов по асфальту. Кто-то орудовал домкратом: влип! влип! влип! Слух снова перебрал уличные отголоски: урчание моторов, отдаленные выкрики. Бог с ними! И в то же мгновение стало тихо; Сет больше не слышал звуков и сам удивился этому. Но понял — не слышит потому, что перестал вслушиваться. И он забыл про звуки.

Мерзость какая внутри!

Живот сводит судорогой. Водянистая слизь потекла струйкой изо рта; Сет утерся. Подумал: «Раньше было не так, руки тряслись, кишки распирало, кости как труха, а сам вот-вот лопну. И руки чесались

убить кого-нибудь. А теперь мне страшно». И глубоко засевшее семя страха прорвало оболочку, пустило белый корень, выкинуло вверх зеленый росток.

Как же там было? Черные железные пожарные лестницы жмутся к стенам домов в переулке, и черный остов «бьюика» перед глазами, и слепящие искорки битого стекла, и шорох — скороговорка крыс, шныряющих вдоль изгороди. И внезапно над головой из горящего желтым светом окна — отрывистый женский хохот.

И ему захотелось прильнуть к ней и поплыть, спастись, унбсимому течением; она влекла его, как река, а одному ему не выплыть.

Испугавшись, что потонет, он забарахтался, ловя ртом воздух, и тут понял, что дубасит кулаками по чем попало. Он молотил по полу, по тюфяку, по стене, по коленям, пока не сбил все костяшки пальцев, пока резкая боль не заставила его остановиться.

И тогда Сет обнаружил, что весь дурман из головы куда-то улетучился; он ощупал сбитые костяшки на одной руке, потом — на другой. И подумал: «Ну сколько еще, с неделю, больше? Долго ведь не протяну».

3

Она спускала детскую прогулочную коляску с последней ступеньки, собираясь двинуться в полумрак прохода между двумя домами под узкой щелью стиснутого крышами неба, под нависавшей пожарной лестницей, но ей все еще казалось, будто отяжелевшая голова осталась где-то в постели, под одеялом, и вся стянута, скована обручем, который никак не разжать, и нет сил забыться сном, избавиться.

Обруч сдавил сильнее; она приподняла передок коляски, чтоб задними колесами съехать со ступеньки на дорожку, голова снова погрузилась под одеяло, она покачнулась, поплыли зеленые круги, она схватилась за ручку двери, коляска, соскочив с последней ступеньки, клацнула об асфальт, покатилась вперед, врезалась в стену; ребенка подбросило, он съехал вниз к жердочке с погремушками. Снова голова выплыла из-под одеяла, и донесся плач ребенка, очутившегося на самом дне коляски.

Она подхватила малыша, усадила на место.

— Ш-ш-ш!

Ребенок заплакал еще громче.

Она покачала его, положив руку ему на плечико.

— Ш-ш-ш!

Ребенок успокоился, принялся тыкать пальчиками в шарики погремушек. Она откинула ему прядь со лба и подумала: «Надо поосторожнее. Сама не соображаю, что делаю».

Вспомнила: утром, еще не до конца проснувшись, села в постели, озираясь вокруг, затылок весь набряк и раскалывается от боли, а жилы будто разбухли, отяжелели, как свинцовые, стали неуловимые, как ртуть.

На простыне большое, с ладонь, кровавое пятно. Она ничего не помнила. И все-таки вид крови ее почему-то не удивил. Сидела, уставившись на пятно. Внезапно показалось, словно вся кровь в ней, сдавленная свинцовой тяжестью, метнулась по своим руслам, словно забили источники под коркой льда. Так и не вставала, сидела в кровати.

Когда вышла потом и стала свозить коляску вниз по ступенькам, помнила только, как стаскивала простыню, чтоб никто не увидел, как засовывала в мешок с грязным бельем, как одевала ребенка, как ела. И, только спускаясь с коляской вниз, впервые за все утро встрепенулась с тревогой: откуда кровь?

Она стояла, пережидая приступ головокружения. Думала: «Должно быть, ночью что-то со мной стряслось. Никогда еще так худо не было».

Все силилась понять: «Что же случилось? Что произошло ночью, почему я ничего не помню?» Но мысли терялись, упирались в сдавивший виски обруч, в мягкое одеяло, она развернула коляску и пошла по улице.

Впереди лучик солнца упал на тротуар, осветив часть стены. На асфальте, привалившись крылом к стене, лежал растерзанный, облепленный зелеными мухами воробьишка. Голая шейка скручена, головка запрокинулась. Черные веки сомкнуты, клювик разжат. Запекшаяся, почерневшая кровь ниточкой протянулась до самого асфальта.

Она метнула взгляд кверху, к железному каркасу пожарной лестницы. Никакого птичьего гнезда. Может, кошка сюда занесла?

Однажды как-то на ее глазах подбили камнем голубя, он упал с пробитой головой, заметался по асфальту, и крылья у него заходили по воздуху, как два серпа; мальчишка снова запустил ему камнем в грудь, и голубь опрокинулся навзничь. Она застыла под деревом как вкопанная, а мальчишка опять швырнул камнем, и еще раз, и вот крылья птицы замерли, оборвав свою жатву на потрескавшемся асфальте. Тогда она схватила палку, с силой ударила мальчишку по руке, ругая его на чем свет стоит, но было слишком поздно. Страшное уже свершилось.

Ребенок уставился на блестевших, как новенькие монетки, мух, копошившихся над воробьем. «Не надо ему смотреть! — подумалось ей.— Не надо ему видеть всего этого!»

И в это мгновение открылась боль в низу живота. И внезапная ярость забурлила едкой щелочью внутри. Почему, откуда кровь? Что такое сотворил этот мерзавец?

Стоило ей выйти на улицу, как тут же ударило в голову: «Меня выгонят с работы!» Но теперь звонить, предупреждать было поздно. Утром, сидя в постели, она чувствовала, как кровь стучит в висках, и как живые шевелятся напряженные нервы; она смотрела, как движутся стрелки, как проходит время, когда ей надо вставать, потом когда надо завозить ребенка к матери, потом когда надо являться на работу.

Но страх потерять место появился только теперь, на улице, когда голова почти высвободилась из-под тяжелого одеяла. А тогда, когда сидела в постели на простыне с кровавым пятном, поглядывая на ребенка, ворочавшегося во сне в своей кроватке у стены, и следя то за утренним лучом, неторопливо ползущим по стене, то за бесстрастным ходом стрелок по кругу и вслушиваясь в звуки города, она вдруг услышала где-то рядом, как будто за стеною, плач ребенка. Уличный шум заглушал этот плач, но ей мучительно захотелось слышать, как он плачет. Она выбралась из постели, чтобы дознаться, откуда доносится плач: сверху, снизу, а может, и вовсе из окна? Но стоило ей встать, плач тотчас оборвался.

Когда спускала ноги на пол, обожгло холодом. И от этого ледяного холода все силы, поднявшие ее из постели навстречу детскому плачу, иссякли. «Наверное, так бывает, когда умрешь,— подумалось ей.— Не слышишь и не видишь ничего. Но раз я думаю об этом, может, я еще не умерла?»

Тихо, слышно только, как ребенок ворочается в кроватке. Она подошла к нему, вынула из кроватки, прижала к груди, стала укачивать на руках, чтоб уберечь его сон. От укачивания у нее закружилась голова. «Как на ветхом деревенском подвесном мостике в сильный ветер — скрипят покрытые ржавчиной тросы, мостик раскачивается под ветром, пружинит при каждом шаге, а там, внизу, под серым льдом, речка, и темные полыньи бегут под мостом вслед за тобой». Она опустила малыша обратно в кроватку, а сама снова прилегла — подождать, чтоб унялась круговерть в голове и внутри.

Потом вдруг подумала: «Что ж это я ничего не делаю?» И, не

сообразив еще, за что бы взяться в первую очередь, зная только, что надо вставать, поднялась, нащупала одежду и постепенно включилась в дневные заботы.

Сейчас, идя по улице и впервые почувствовав боль внутри, она поняла: «Этот мерзавец что-то со мной нехорошее сделал и смылся. Днем ходит, кругом тут все рушит, а по ночам, думает, и со мной так можно? Но работу мне терять никак нельзя. Если отправят в исправительную тюрьму, тогда малыша заберут в приют — ведь мать не сможет за ним круглые сутки ходить».

Она поборола накатившее отчаяние: нет, не видать им его! Подумаешь, условия у них! Не видать им его, и все. Они, понятно, ему не враги... Нет, все равно не отдам! Не имеют права. Пусть я плохая мать, но сама решу, кому его отдать. Откуда им, чужим, знать, что моему малышу надо?

Значит, если меня погонят с работы, загребут в исправиловку, надо будет тогда найти, кому отдать ребенка. Но ведь пока же не загребли? Ну вот и думай, как теперь быть! Сейчас, соберусь с мыслями, может, придумаю что и работу не потеряю.

Да шут с ней, с этой работой! Обрыдло мне это их заведение. Только и знаешь крутишься целый день с тарелками да все чиркаешь заказы, чиркаешь, еще и орать приходится, а все за горстку чаевых, притом вечно у меня недостача. Да просто нет никаких сил сейчас на работу идти. Что-то он со мной такое сотворил, до сих пор в себя не приду. Самое лучшее сейчас — отвезти малыша к матери, пусть там поживет, пока я не очухаюсь.

Мать орать будет. А куда денешься? Что мне там торчать, слушать ее — повернусь да пойду.

Подойдя к дому, где жила мать, она стала было подниматься по ступенькам, но остановилась в раздумье: сможет ли дойти до верха, не накатит ли приступ, и мать — оставит ли у себя ребенка, а что, если сообразит, что ни на какую работу сегодня дочь не пойдет? Да что уж тут, думай не думай, другого выхода нет.

Винтовая лестница, четыре витка. Развернула коляску и, поднявшись на ступеньку, потащила за собой наверх.

— Что, опаздываешь? — встретила ее мать.

— Опаздываю.

— Почему не оделась для работы?

Действительно, а она об этом даже не вспомнила.

— Да, может, меня уже не пустят. Надо автомат найти, позвонить.

— Так и оделась бы в рабочее платье, если пустят — сразу и пошла б.

— Не сообразила.

— Встать надо было вовремя. Ну иди, я за ним пригляжу.

Сет встретил ее на улице: жакет нараспашку, она шла выпрямившись как струна, сжимая ручки коляски; зажженная сигарета гордо, как стяг, торчала между пальцами. Направилась с коляской к краю тротуара, пошла через улицу, и как раз в этот момент из-за поворота вылетел грузовик; взвизгнули тормоза.

— Смотреть надо, куда едешь! — крикнула она.

Вот она, толкая впереди себя коляску, двинулась через улицу, вот дошла до тротуара, вкатила коляску и, затянувшись на ходу, зашагала дальше.

Потом он встретил ее еще раз: она сидела одна в парке на скамейке, засунув руки в карманы жакета и уставившись на стайку голубей, которым какой-то человек кидал крошки. Мимо прошла женщина, всполошив голубей; она встрепенулась, подняла взгляд, прово-

дила глазами женщину, потом взгляд упал на голубей, снова слетавшихся к крошкам; посмотрела на них, закусила губу, встала, зашагала куда-то.

А Сета опять ждала работа.

Оставив ребенка у матери, пообещав ей, что попытается вернуться на работу, она, оказавшись теперь одна, почти восстановила в памяти, что случилось вчера. На работу не пошла. Решила: «Надо прийти в себя. Привести в порядок мысли». И принялась бродить по улицам в надежде, что сможет остаться наедине с собой. Домой ее не тянуло; там давило на голову, оттуда несло холодом.

Сейчас, когда смогла напрячь память, вспомнила: пришел он и еще двое: мол, есть у них кой-чего; а она им — тут ребенок, ничего такого не надо, сама не хочет и им не позволит. И тут чем-то тяжелым ее ударило по голове, и сознание с этим тяжелым куда-то кануло, а место, куда ударило,— дыру — будто наглухо завалило снегом.

«Его рук дело. Как же я оплошала, как же допустила это?»

Показалось: вот-вот пробьется сквозь снежный завал, стряхнет наваждение, наткнется в памяти на то, что никак не может отыскать. Нет, еще не пора.

«Говорят, память все сохраняет. Все, что случается с нами, все, что мы делаем, оставляет след и где-то глубоко хранится; помним мы об этом, нет ли, все равно это в нас. Что бы мы ни делали, всем движет наша память, порой бывает, сами не знаем, почему так поступаем, что нас заставило. А потом все скрытое проявится, надо только делать свое дело и ждать, взрыхлять забытое, вырывать из пустоты, чтоб вышло на свет, а когда выйдет — не упустить, потому что оно для чего-нибудь да нужно».

Она помнила, откуда все пошло, откуда в ней это отвращение ко всему мерзкому.

Однажды дядька приволок самку опоссума и кинул на крыльцо их хибары. Самка была мертвая. Пуля размозжила ей череп, превратив морду в черное, безглазое месиво. В раздавшейся утробе остались нерожденные детеныши. Скрытая жизнь билась в мертвом теле, вздымался пушистый живот, выпячивались соски. Шея, лапы, когти, хвост были неподвижны. Лишь брюхо пульсировало, словно детеныши хотели проскрести себе путь на свет. Ей подумалось тогда: «Нет, не может быть! Они не понимают, что творят. Они слепые, не видят, просто им стало холодно». Отец присел на крыльцо, уставился вдаль, откуда доносился грохот перевозящих уголь самосвалов.

— А может, ей разрезать живот, вынуть их?

— Нельзя. Не выживут. Не надо, не смотри!

Но она все смотрела, молча, долго; прошел, наверное, час, и в животе перестало шевелиться.

«Вот тогда я и почувствовала какую-то мерзость в себе,— вспомнила она.— Когда ничего не можешь сделать и остается только смотреть, тогда вся мерзость увиденного переходит в тебя. Вот откуда во мне столько грязи. Эту мерзость в себе оставлять никак нельзя. Удавила бы каждого, кто на глазах у ребенка пакости творит, чтоб ребенок смотрел и нельзя было ничего поделать».

Надо всю себя поломать и попытаться сложить заново. Только складывать-то из чего? Остается все то же, и творишь теми же руками. А ведь так хочется, чтоб было лучше!

4

— Ах ты сукин сын, ну и дом заковыристый! — сказал Рей.

И они обрушились на дом всей мощью стали, крепостью рук и ног, силой мускулов и упругостью веревок, сбивая руки в кровь, сту-

ча молотами, собрав в кулак всю свою злость. Сет рванул со стены пласт штукатурки, на шлем и на плечи ему посыпались потоки сухого цементного раствора и клочья дранки. Они крушили трубы вместе с проводкой, с оглушительным грохотом валили стены целиком, вздымая лавины удушливой пыли, оседавшей на лобовых стеклах полицейских машин и грузовичков, развозивших пиво. С голодной жадностью впивались в балки. С алчным нетерпением отдирали остатки металлических креплений. Гвозди и острые щепки рвали им руки. На голову падали кирпичи. Перерезанные провода, выбиваясь из-под оконных рам, норовили проткнуть глаза. Полы то и дело готовили западни, чтоб поломать им ноги, чтоб обрушить вниз.

Пятнистые от пыли, со вздутыми мышцами, вспоротые ссадинами тела словно повторяли знакомый рельеф географической карты. Песчаными пятнами пустынь осела на лицах пыль.

В кармане куртки у Сета сохранилась горсть белого песка с калифорнийского побережья. Теперь этот песок смешался с пылью штукатурки, крупинками извести и грубого песка, со сгустками цементного раствора и серой древесной трухой. Проводя расческой по волосам, Сет вытаскивал гнилые щепочки, чешуйки высохшей краски, комки сухой замазки, а однажды выудил даже гнутый ржавый гвоздь.

А когда наступил всему этому конец, когда балки, и брусы, и половые доски, и чугунные трубы были погружены в кузов, когда последние гнилые деревяшки догорали в железной бочке, Сет рухнул на ржавую от кирпичной пыли траву во дворе прямо посреди обломков кирпича и осколков стекла, и все то, что еще оставалось в нем, потянулось в землю. Вся кровь, весь пот, вся плоть, весь монолит костей — все поплыло куда-то вниз, вливаясь в упругие вены трав, проникая туда, в сплетение белых подземных корней, в черный покров земли и глубже, проваливаясь в глубинные недра глины и окаменелостей, куда не доберется ничей взгляд, где ничего не растет.

Назавтра явились двое негров, очистили кирпич от известки, уложили на поддон для продажи. Когда кирпич вывезли, Дейл прислал самосвал с гравием, чтобы заровнять площадку.

Их Высочество пребывала в смятении. Сет смотрел, как она шла по улице, сощурившись под мягкими полями знойно расцвеченной «колониальной» шляпки. Шляпка громоздилась поверх массивного, как облако взрыва, парика, точно горный орел в своем гнезде. Их Высочество поигрывала тесемкой у подбородка, которая подстраховывала всю эту пирамиду. Под мышками жакета-сафари уже темнели пятна пота, туго набитые, оттопыренные карманы, откуда вдобавок торчала экзотическим цветком пластмассовая вилка, позвякивали чем-то на ходу, как жестянки на уличном лудильщике. Солнце золотило латунные звезды у нее на плечах. Голые ляжки выпирали из шорт защитного цвета; тугие, белые, как облака, складки жира подрагивали. Она ступала голыми пятками по асфальту осторожно, чтобы не напороться на стекло.

— Диверсия! — вдруг выкрикнула она.

Остановилась, опустила руку на плечо мужу, неотступно шагавшему следом, задрала левую ногу, согнула в коленке, притом с такой силой оперлась рукой на мужа, что тот качнулся и весь напрягся, чтобы удержать ее. Она вытянула из пятки сверкнувший осколок зеркала.

— Ну вот, я же говорю, заговор!

И она многозначительно подмигнула. Лицо у мужа не дрогнуло. Да и ей самой тоже было не до смеха. Вид был явно встревоженный. Пока она, опираясь на плечо мужа, ощупывала порез, кадык у того прыгал туда-сюда.

— Не смертельно,— сказала она.— Бывало и похлеще. Но все-таки жуть как глубоко. А ну, не зевай! Гляди, может, у них тут засада.

Она пошарила взглядом вокруг и, ткнув пальцем в Сета, который вместе с Элом сидел на крыльце, крикнула:

— Ах, вот он, голубчик!

Опустила ногу, сняла руку с мужнина плеча, сунула под нос мужу ладонь. Тот выпучился, при этом кадык у него снова запрыгал, и вложил ей в руку полицейскую дубинку. Она сжала дубинку, ткнула ею в сторону Сета и произнесла:

— Этот вот, запомни его. И того тоже.

Она ткнула дубинкой в сторону Эла, потом сунула руку за пазуху, пошарила, на мгновение замерла, зарылась пятерней поглубже и извлекла бутылку кока-колы.

— Не спускай с них глаз, если что, мы их в порошок сотрем!

Повернулась и пошла, ковыляя, прочь; муж двинулся следом.

Они спускались с лестницы, волоча кушетку: Рей за низ, Сет за верх. Костяшки сжатых рук обдирались, задевая за облупленные стены. Кушетка никак не пролезала между перилами и стеной, пришлось поднять ее повыше.

— Погоди-ка! Да постой же, черт тебя подери! — сказал Рей.— Опусти!

Кушетку опустили, и она зависла над лестницей, вклинившись между перилами и стеной. В полумраке Сет увидел, как Рей привалился спиной к кушетке, одновременно подпирая, чтоб не съехала вниз.

— Ты чего?

Рей молчал. Рука у него была прижата к правому уху, лица в темноте было не разглядеть.

— Эй! Что с тобой?

Рей отнял руку от уха.

— Все эти чертовы железки, что мне в голову понавтыкали. Когда мне черепок разбили. Раз как-то здорово отмолотили меня, чуть умом не тронулся. Теперь проснусь, голова трещит, нет сил, никак сообразить не могу, где я, бывает, и глаз сильно дрожит, ничего не вижу. А отмолотили меня, понимаешь, потому что я смотрел вокруг и не отворачивался, если что. Ну и насмотрелся всякой пакости.

«Нашел тоже место байки травить»,— подумал Сет.

И видно, чем-то он эти свои мысли выдал, потому что сразу почувствовал на себе цепкий, как тиски, прищур Рея. Рей продолжал, медленно растягивая слова:

— Меня от гнусностей всего воротило. Повидал я, как полиция обращается с людьми, с деревенскими и со всякими цветными тоже. Раз, вечером дело было, один полицейский мне и говорит: убирайся, мол, подальше; он тут на пьяницу одного охотился. А я сказал, что нет, останусь лучше, посмотрю, как он тут орудовать будет. А он мне: я, дескать, в два счета тебе покажу. И тот, что с ним был, тут же засвистел, на помощь позвал. Они всегда так. Чуть что — сразу дружков на подмогу зовут. Ну а я все равно говорю, что просто в сторонке постою, погляжу, а он мне: постой, мол, где в другом месте, нечего тут ошиваться! И только я собрался уйти, только ему сказал, чтоб отстал, делал свои дела, только двинулся от него прочь, тут все и началось. «Стой!» — кричит и на меня с дубинкой, хочет к стенке пихнуть, ну я вырвал у него дубинку, бросил наземь, а он тогда пушку свою вынимает и рукояткой прямо мне по голове. Тогда они оба про пьяницу, видно, позабыли и на меня, молотят дубинками, кулаками сыплют; сообразить не успел, что к чему, как взвоют сирены, как понеслось, целая тьма их на меня по улице катит, сшибли с ног,

рукояткой по башке и в машину, на заднее сиденье, привезли к реке и там отделали по всем правилам. Даже в участок не свезли, зачем им!

Вот после этого мне в больнице и вставили эти железки, голову чтоб скрепляли. В голове теперь будто радио какое. Все ничего, только не дай бог, затянет какой пройдоха проповедь...

Рей провел ладонями от ушей к подбородку.

— И болит, бывает, здорово.

Он приподнял свой конец кушетки с перил.

— Ну, давай поволокли эту чертяку вниз...

Впервые в ушах Рея стало потихоньку завывать вот уж скоро год тому назад. Сначала он решил, что звуки где-то рядом, будто кошка канючит, в стенку замурованная, будто кличет могильщик, запертый в склепе, будто плачет где-то в пещере малыш. А иногда казалось: может, с улицы? Неужто это от битья ухо слышит теперь то, чего обычно не слышат? И ему чудился сначала все время один и тот же звук, тоненький, словно кто-то, дрожа от страха, дудит на дудочке; он слышал этот звук и посреди ночи, и днем, когда трясся в грузовике, и по утрам, когда пил кофе, и в те дни, когда приходил пьяный. Потом звук стал слышаться не снаружи, а изнутри, завывание доносилось откуда-то из узкого коридорчика в самой голове, словно после того, как его избили, в глубине уха открылся какой-то новый проход: потаенный звук долетал, как далекий крик заваленного в шурфе шахтера, перекрывающий и звон кирки, и рев отбойного молотка спасателей, тот крик, который оборвется тогда, когда несчастному не хватит воздуха.

Сет увидел, как ее с пачкой сигарет в кулаке, с отчаянной яростью в глазах выводят из дома. Перед этим на носилках вынесли Рика, бледного как смерть, голова безжизненно болталась, словно висела на ниточке. Она глядела, как носилки с Риком запихнули в машину «скорой помощи» и санитары побежали к дверцам. Потом подняла глаза, посмотрела вперед, поверх полицейских голов, поверх машинной крыши, взгляд упал на Сета. И только. Упал мимоходом, как мелочь в ладонь кассира. Будто расплачивалась за мелкую покупку. Среди глазевших прохожих Сет заметил Рея, тот привалился к столбу, руки в карманах; Сет подошел к нему.

— Вот, пырнули этого мерзавца. Полиция нагрянула, а тут она. Ее и взяли.

— А кто пырнул, она?

— Может, и она. Было за что. Доконал он ее.

— И что теперь?

— Подождем, объявят залог, тогда вызволим.

Ферн с Элом были уже дома, стояли на крыльце, поджидали.

— Слыхали? — спросил Рей.

Эл кивнул.

— А Рик-то живой?

— Выживет. Хоть и не стоило б, но выживет.

— Если не помрет, ей приговор смягчат. Пока это, можно сказать, нападение с применением оружия. Ну, или попытка убийства.

— Как, вызволим ее?

— Если денег наскребем.

— А где их взять? Здесь и загнать-то больше нечего. Деньги! С луны они, что ль, упадут? Вон и Дейл нам уж две недели как не платит.

— Заплатит, куда он денется. Возьмем его в оборот.

— Ну да, ищи его, свищи! Сам знаешь, чуть что, он под лед.

Глаза Рея сощурились, нацелились на стену прямо над головой Эла.

— Да будет вам,— произнес он.— При чем тут деньги?

— А чего без них сделаешь?

— Есть вещи и посерьезнее. Понятно?

Эл присел на ступеньки, забарабанил пальцами по стене, потом отозвался:

— Понятно.

И поднял на Рея тревожный взгляд. А Сет подумал: «Видно, Рей что-то замышляет, и Эл знает что».

Рей сказал:.

— Вот что, ступайте-ка туда, в суд, и узнайте, какой назначен залог. А мне тут нужно кое с кем встретиться. Насчет денег.

Эл опустился по ступенькам и двинулся по улице, за ним следом Ферн. Рей повернулся к Сету.

— Хочешь, можешь с нами. А нет, так и не надо. Ты ж ее не знаешь.

На мгновение все внутри у Сета перехватило спазмой, ударило в виски: «Нет, не скажу! Потом, когда сам с собой разберусь, потом». Следом шевельнулась мысль: «Соглашусь, и тогда совсем мне крышка!» И при всем этом в голове стучало: «Эх ты, я ведь ее раньше тебя знаю! Ничего-то ты не понимаешь!»

— Я с вами. Куда ж мне еще? — сказал Сет.

— Что ж, тогда, если хочешь, пошли со мной. Дело есть.

Посреди заднего двора, вооружившись молотками, обложившись камнями, фанерой, содранной с заколоченных окон новых домов, и грудами неведомо откуда взятых досок, семеро сооружали себе домик — пятеро мальчишек, две девчонки. Они покрикивали друг на дружку, сыпали один другому распоряжения, каждый начальник. Только сложили остов, отлетел кусок обшивки, и все сооружение рассыпалось, как карточный домик, а они стояли над грудой досок и все спорили, кто виноват, наконец двоим спорить наскучило, и они стали растаскивать попáдавшие доски и возводить все заново. Постепенно подтянулись и остальные, включились в работу; дня через три домик был готов. Все это строение держалось на гнутых гвоздях и шатких опорах. Вместо дивана притащили старое сиденье из машины, постелили половичок, повесили занавесочки, высунулись из окошка, украшенного фанерными обрезками, смотрят прямо на Сета, застывшего в окне дома напротив, хохочут.

Он и раньше с улицы за ними наблюдал. Теперь он в доме, который скоро сносить, с ним Рей, и они рыщут здесь в поисках медных и свинцовых трубок. Двигались с верхнего этажа вниз, сбрасывали с лестницы металлические трубы, да так стремительно, что Сет чуть не задохся от напряжения, а один раз даже кубарем полетел с лестницы.

Удержался, ухватился за перила, повис вниз головой, закрыл глаза, вцепившись ногтями в металл, чувствуя, как в каждой клетке мозга бешено стучит кровь. Он висел, живой и невредимый, как летучая мышь на своде пещеры.

Скинув свой груз на нижний этаж, Рей вытянул Сета, поставил на ступеньки, спихнул из-под ног обломки труб, и они загрохотали вниз по лестнице.

Сет на минуту опустился на ступеньки передохнуть и, приходя в себя, чувствовал, как успокаивается кровь, как возвращаются силы Потом поднялся, пошел вслед за топавшим вниз Реем к грузовику, помог закинуть в кузов трубы. Подъехали к реке, где стояли грузовые краны склада металлолома; отодрали куски ценного металла, кинули на весы, потом сгребли в кучу и смотрели, как закованный в висящую в небе железную кабинку крановщик поднимает магнитом груды лома. Худой и длинный негр разбил ящик с железными

обрезками, покидал обломки ящика в бочку, где горели щепки, и замер, устало опершись о топорище. Крановщик зевнул, потом задвигал рычагами, и огромный магнитный крюк, размером в колесо тягача, проплыл мимо кабинки и медленно потянулся на сотню метров вниз подхватить кучу их лома — обрезки, обломки труб, автодетали и старую железную кровать. Электромагнит заурчал, и груда задрожала мелко-мелко, как кучка новорожденных щенят, потом железки, подпрыгивая, как собаки, стали налипать на крюк. Взвился трос, поднимая ощетинившуюся кучу вверх, к кабине, и вот все рухнуло вниз, в лоток посреди завала железок и утиля.

Когда Рей с Сетом вернулись, Эл и Ферн жарили дома колбасу.

— Залог две тысячи,— сказал Эл, переворачивая колбасу.— Значит, поручителю вносить двести. А у нас с Ферном всего тридцать пять на двоих. Жалко же, черт побери! Какого рожна чужого дядю подкармливать?

— Тоже мне, заботы! — отозвался Рей.— Ну что, колбасу-то вашу можно есть или нет?

Поев, они снова разбрелись кто куда в поисках денег. Нужно было набрать еще сотню долларов. Сет отправился по улицам один. Окна ломбардов светили ярче даже, чем окна баров и ресторанов. Вовсю полыхали рекламы часов и музыкальных инструментов — на это средств не жалели.

Закладывать в ломбард Сету было нечего, да если б и было, ломбард уже закрыт. А на окнах у них, как пить дать, сигнализация. Несколько девиц стояли на углу; из окон кафе пялились сутенеры. Широкий, украшенный гирляндой фар задок автомобиля вильнул за угол; девицы переглянулись. Машина развернулась, вынырнула обратно, остановилась неподалеку от угла. Одна из девиц откололась от группки, подбежала, склонилась над окошком. Поторговалась, дернула дверцу.

«Можно было бы и в центр двинуть! — подумал Сет.— Мало ли что эти после скажут. Чего уж там! Хуже не будет».

Но в центр он все-таки не пошел.

Какое-то зудящее бормотание, какая-то словесная мельтешня докатились до него. Сет обернулся.

— Мазурики!

Их Высочество двигалась к нему из глубины улицы, с каждым ее *шагом речь доносилась все явственней.*

— Жулики!

Муж семенил следом, весь подавшись к ней, вперед, и приложив ладонь рупором к уху.

— Убийцы, уголовники!

Муж закивал, поймав лысиной неоновый отблеск рекламы. На Их Высочество была накинута судейская мантия, снизу мелькали голые ноги. Груди, как чашки весов, ходили под мантией вниз-вверх, вниз-вверх. Парик на голове удерживала стянутая на лбу тряпка. желтые свалявшиеся куделькн спадали на выпученные глаза.

— Шлюхи и извращенцы! Ты знаешь, кто такие извращенцы, а?

Муж напрягся, снова подался вперед, будто не расслышал.

— Да нет, откуда тебе знать! Так вот, извращенцы — это мерзкие развратники, попирающие общественные устои. Они ненормальные. Значит, вредные. Тут все связано. Законы природы и устои общества. Такие отщепенцы не считаются с частной собственностью. Расхаживают повсюду, будто хозяева земли. Разбойники! Ворюги! Карманники! Насильники! Мятежники! Хулиганы! Им не место среди приличных людей. От них надо избавляться. Нужен порядок. Всех засудить, пересажать, потом перевоспитать и выпустить на поруки. А

кто не исправляется, тех, значит, ликвидировать. Надо им показать! Чтоб знали! Всем этим хиппи, наркоманам, всем этим бродягам. Им надо как следует всыпать, чтоб потом вернуть обществу. Их надо перевоспитать. Им надо помочь. Излечить. Шлепнуть по заднице разок-другой. Их надо полюбить.

Девицы на противоположной стороне улицы, проводив Их Высочество взглядами, плюнули ей вслед. Проходя мимо Сета, Высочество ткнула в него пальцем и заговорщицки посмотрела на мужа. Муж кивнул, кинул взгляд на Сета, поскреб подбородок. Затем кашлянув, бросился вдогонку за супругой, которая успела оторваться.

— Надо, чтоб они покаялись. Чтоб кто-то наставил их на путь истинный. Что у них за вид! Что за речь! Что за походка! Даже есть как следует не умеют! Для них нет ничего святого. Они опасны! Они никчемны! За ними нужен глаз да глаз. Иначе им удержу не будет!

Их Высочество широко вышагивала по улице, заняв собой весь тротуар, шедшая навстречу старушка с сумками посторонилась даже, чтоб пропустить эту необъятную, изрыгающую слова громадину. Высочество при этом и бровью не повела, оборотилась к мужу, чуть не сокрушив старушку, та отпрянула, отступила раз, отступила два и оказалась прямо на мостовой, застряв между двумя машинами, припаркованными у тротуара, но Их Высочеству было не до нее.

— У, хавронья старая,— пробормотала старушка.

Сет повернул за Их Высочеством и немедленно окунулся в поток словесной трухи, исторгаемой ею на ходу. Прохожих отбрасывало в разные стороны, будто Их Высочество, как корабль, разрезала носом встречную волну. И всю дорогу, пока она шла по улице, пока переходила через улицу, люди, попадая в шквал исторгаемых ею слов, оборачивались, смотрели ей вслед, качали головами, иногда бормотали что-то, иногда просто смеялись. Следом за ней неотвязно, как шлюпка при судне, тащился муж.

— Полный вперед! — выкрикнула Их Высочество.

Сет шел за ней по пятам. Это вышло как-то само собой. Он старался держаться на таком расстоянии, чтоб ни она, ни встречные не поняли, что он ее преследует. Даже когда она, сворачивая за угол, скрывалась из виду, до Сета все равно доносилось ее зычное нескончаемое словоблудие.

Их Высочество двигалась через пустую стоянку у школы, бормотание стало невнятней, отрывистей. Казалось, она захлебывается своими же словами; звуки вылетали из нее брызгами, как мокрый кашель, как плевки, барабаня по кирпичным стенам, застревая в листве деревьев в глубине парка.

Сет следил за ней, укрывшись за мусорником у школы. Она вступила под кроны деревьев парка, и тусклый отсвет фонаря смазал по лысине тянувшегося следом мужа. Сет вгляделся в темноту: их тени замерли у высокого дерева. Оттуда не доносилось ни звука. Они стояли неподалеку от дорожки, можно было подойти к ним поближе — мало ли, прохожий! — и Сет направился к парку, но едва окунулся в темноту, как их тени тотчас слились с другими.

У того самого дерева, рядом с которым он их видел, Сет остановился, прислушался. И тут в спину ему ударил ее голос.

— Юноша,— произнесла Их Высочество.— Ты шел за нами.

Сет обернулся: она стояла перед ним руки в боки. Рядом муж постукивал кулаком об ладонь. Несмотря на уличный шум. Сет слышал мерное, глухое тюканье кулака.

— Зачем ты за нами ходишь?

Сет молчал. Он не знал, что сказать. В мозгу пронеслось: «Только попробуйте троньте, я вас обоих прирежу!» И он скользнул рукой в карман, где лежал ножик.

— А я тебя, юноша, знаю! Ты не подозреваешь, а ведь я тебя знаю.

Муж прекратил тюкать кулаком по ладони, скрестил руки на груди.

— Даже представить себе не можешь, как хорошо я тебя знаю. Ох, как знаю! От меня не скроешься. Я могу обернуться кем угодно.

Она отняла кулаки от боков, воздела руки к небу, всколыхнув складки мантии.

— Нет, от меня не уйдешь! Мои люди за тобой следят. Мне известно, что не туда тебя потянуло. Не туда! Свою жизнь попусту тратишь.

Тут муж принялся медленно, точно псаломщик, кивать.

— Взгляни на него,— призвала Их Высочество.— Ишь мозгляк! Думает, запугает нас ножичком, тем самым, что у него в кармане. Думает, ага, попались! Думает, нас защитить некому!

И она расхохоталась; у мужа тоже в горле лягушкой, заглотанной удавом, затрепыхался смешок.

— А ну, давай пошли! — оборвав смех, приказала она мужу, у которого все еще барахтался в глотке смешок. Она повернулась и ринулась прочь, да так стремительно, что муж даже опешил, но спохватился и, не успела она выйти на свет из тени под деревом, дернулся вдогонку. Оба устремились к дорожке парка, вдруг она обернулась, махнула ладошкой Сету, чтоб шел следом.

— Пойдем-пойдем, тут недалеко!

Они прошли несколько кварталов и остановились у мрачного каменного дома с железными решетками на окнах. Это было здание суда.

— Знаешь, что в этом доме, а?

Сет поднял голову — на верхнем этаже, под самой крышей, чернел ряд окон.

— Там сейчас в душных этих камерах человек сто мается. И никуда им оттуда не деться. Было дело однажды, десятка два сбежало. Помнишь? Ничего, всех обратно доставили. Кроме одного, правда. Но, будь спокоен, жизнь у него хуже, чем у собаки. А тем, кто здесь, уже не выйти. Вон там, ниже, все их дела хранятся. Нынче ночью тут никого, кроме арестантов и тюремщиков. А вот завтра утром сюда пожалуют и судьи, и адвокаты, и судебные исполнители, и секретари, и будет все по форме. По форме! А сейчас — ночь, только арестанты да тюремщики. Но никому отсюда не уйти!.. Так вот. Вы тут рушите, верно? Дома сносите. Так? Только этого здания вам ни в жизнь не разрушить. Тут кирпичи намертво положены, крепче, чем иные законы. И балки здесь железные или из векового дуба. Фундамент гранитный, мощный, как стены банка. Сработано на века. Вам, ребятки, его не снести! Этого не снести, а нового не воздвигнуть. Куда вам, с вашими молотками и с этими — как их? — с ломами. Нет, эта штука не про вас. Дом громадный. Прочный. Уж если рушить, гигантские краны нужны и груша чугунная. Так или не так?

Муж, поддерживая локоть рукой, уперся подбородком в ладонь. И снова закивал.

— Так или не так?

Сет молчал, она продолжала:

— Ну а все эти дерьмовые штукенции у нас в руках!

Муж резко кашлянул, и подбородок соскользнул у него с ладони. Она обернулась к нему.

— Прости! Я хотела сказать, что у нас и техника вся, и взрывчатка, и все самое мощное оборудование. Понятно? Так вот, чтоб снести какой угодно дом, тому парню, что при технике, делать нечего: сиди себе, двигай рычагами, крути баранку или кнопки нажимай, и все! Но мы ему платим за то, чтоб сносил дом, какой мы ему укажем. Ну а взбрыкнет, пусть пеняет на себя. А с такими, как ты, не договоришься. Того и гляди, вас что-нибудь ломать потянет. А что

ломать, сами как следует не знаете! Вот потому-то я и хочу тебе поведать о неколебимых движителях правосудия. Как, ничего фразочку завернула? Итак, правосудие. Я тебя насквозь вижу. Ты все мечешься. Ты и сейчас мечешься. Я вижу.

Зрея, набирая силы, слова Сета никак не могли прорвать свою оболочку.

— А на мир надо глядеть спокойней. Вся твоя суета, все твое упрямство до добра не доведут. Это так же смешно, как пытаться разрушить тюрьму, этот оплот правосудия. Тебе не по зубам. И пытаться нечего!

— Ты... ты дура ненормальная! — наконец вырвалось у Сета.— Дура!

— Ну вот, пожалуйста! — Она опять повернулась к мужу, который, подбоченясь и прищурившись, глядел на Сета.— Все они такие. Не хотят слушать доброго совета. И стало быть, они...

— Давай деньги!

— Что?

— Деньги, говорю, давай!

— Ну вот, агрессивность проявляет!..

— Выкладывай деньги, не то я твоему ублюдку черепок проломлю!

— Угрожает! — произнесла Их Высочество, обращаясь к мужу.— Не сдавайся!

— А ну вынимай деньги!

— Юноша, я тебя не этому учила.

— Деньги!

— Гэролд! Выдай ему доллар.

— На что мне твой доллар! И флага мне твоего не надо. И ходить я к тебе не собираюсь!

Они переглянулись. Гэролд кашлянул в кулак и с шумом глотнул. Она повела глазами из-под кудряшек парика от мужа к Сету, снова к мужу, потом снова к Сету.

— Тут люди ходят...

— Никто не увидит. Даже полиция прибежать не успеет. Ну а увидит кто, подумаешь!

— Шарахнешь, говоришь, его? Честное слово? Хм!

В раздумье она потерла щеку.

— Нет, этого допустить нельзя. Гэролд! Отдай ему все, что у тебя есть.

Гэролд разинул было рот, но она метнула на него такой недвусмысленный взгляд из-под своего парика, что тот немедленно полез в карман, вынул бумажник и, возведя глаза к небу и покачивая при этом головой, извлек деньги, протянул Сету.

Сет пересчитал бумажки, проверил, не фальшивые ли, потом повернулся и зашагал к дому. Пройдя с квартал, он оглянулся: оба, упершись руками в колени, неподвижно, как две статуи, сидели на ступеньках суда.

Откуда-то из глубины слуха донеслись из потаенных норок голоса и зазвучали разом, десяток, а может больше; крики, нытье, угрозы сдавленно теснились где-то на самом дне слуховых проходов.

В конце комнаты за железным турникетом на высоком табурете под лампой без плафона сидел охранник и что-то писал на доске, вделанной в стену. Из-за спины охранника, из бесконечности каменных коридоров и камер доносился гул шагов, лязганье и грохот железных дверей.

Эл сидел напротив Рея.

— Ну выпустят ее, как мы ее потом прокормим? — говорил

Эл.— Из Дейла больше ничего не выжмешь. Что он нам, за красивые глазки, что ли, платит? Его ничем не проймешь.

Рей повернулся к охраннику за турникетом.

— Чего долго так?

— Надо все как следует оформить.

Скамьи были с высокими спинками, но с узкими сиденьями, никак не притулиться, чтоб вздремнуть. По дереву ножом были вырезаны какие-то инициалы, просто бороздки, человеческий профиль и рядом надпись: «Вот она, тюряга». Рею захотелось бежать отсюда: тысячи стен давили на него, оглушающе выли беззвучные сирены. А в ушах катились-перекатывались волнами проклятья, нытье, угрозы...

Не сводя глаз с дверей исправительной тюрьмы, Сет опустился прямо на шершавый асфальт тротуара под деревьями и удобно привалился спиной к хромированному, шуршавшему песчинками колпаку автомобильного колеса. Подумал: целый час уже. Битый час, наверное, с этими бумажками возятся. Чего держат, чего им там не нравится? Окна за железными решетками и сетками казались непроницаемыми. Порой какие-то еще более непроницаемые тени мелькали в них. Сет сидел, слушая непрерывный гул и рев магистрали, пролегавшей за тюрьмой, да птичий гам, доносившийся с деревьев. Другие звуки не долетали.

Он сидел и вспоминал: пьяный Тут-Как-Тут наскочил на него прямо на улице, взял под руку, прильнул, обдав сладковатым перегаром и запахом грязного и потного белья. Сказал: «Запомни. Рея убьют. Они его уже наполовину убили. И ты это запомни». Сет промолчал, а старик прижался к нему еще теснее, и тут уж не сладостью винной, а гнилью желтых зубов пахнуло на Сета, повеяло мраком от черного лица. «Ты слушай, я расскажу, что видел: два дула двустволки, а человек идет прямо на них, хоть и знает — тот, кто с ружьем, пристрелит его, если он не остановится. А он идет. Тогда из обоих стволов обе пули — р-раз!— и тому человеку в живот. Только он умирает не сразу. Еще полчаса живет. И он умирает, а у него из-за спины выходит целая толпа людей, и они проходят в ворота и сжигают весь тот шахтный копр. Ты это запомни. Вот, например, если высоко в небе птицу видишь, так высоко, что она только черненькой точкой плывет в облаках, смотришь и думаешь про себя: ишь как высоко взлетела! А другой-то голос отзывается: ничего, опустится, надо ж ей пить, есть. Но когда птица на землю опустится, то уж может обратно не взлететь, возьмется откуда-нибудь мальчишка да камнем или палкой ее прибьет. Что ж, прибьет так прибьет! Но раз ты видел птицу высоко в небе, никогда ее не позабудешь. Что, мудрено небось говорю?» — спросил старик.

А Сет подумал: «И вправду мудрено».

Двери широко распахнулись, и на пороге показался Эл. За ним девушка с бумажной сумкой в руках, между пальцами только что прикуренная сигарета; искусственная кожа жакета вызывающе скрипит, светлые пряди откинуты назад, за уши, глаза горят злобой. Следом, искривившись прищуром, Рей, прижимая к виску правую руку.

Потом пошли вместе с ней к матери забрать малыша.

— Я за Джонни,— сказала девушка с порога.

— Ясно, за Джонни.

Во всей квартире горела всего одна лампа. Рей с Сетом остановились в дверях, наблюдая.

— Ну, и сколько ты его на этот раз продержишь? Назад-то в тюрьму когда тебе?

— Все, хватит!

Мать присела за стол, налила себе кофе, указала носиком кофейника на Рея с Сетом.

— Они тебя, что ль, вызволили?

Девушка кивнула, а мать пододвинула к ним кофейник, кивнула на чашки на краю стола. Потом повернулась к дочери, заговорила, при каждом слове тыча в стол пальцем:

— Пока ты там была, тут из благотвориловки приходили за ребенком. Я не дала. Хотели в приют его взять, а я им: «Если тронете, я вам покажу!» Мужчина важный такой. И женщина с ним. Ну они туда-сюда, залебезили, запричитали, заюлили: мол, такие условия, и метрика, и тебе попечительство, и что ребенку хорошо будет, а тут, мол, угроза преступности. А я им и говорю: никуда ребенок отсюда не денется, только если со мной, и я отсюда никуда без него, но пока вот болею, не могу выйти, значит, мы с ним оба тут посидим, а кто сейчас уберется отсюда, так это мне хорошо известно, хотите вы этого или нет, а если не уберетесь, грохну тяжелым по башке, а после скажу, что хотели силой отнять ребенка, а это нарушение закона, уж я-то знаю, сама не раз привлекалась. Ну они и отстали. Вот. Теперь, верно, к тебе за ним пожалуют. Потому что ты для них неподходящая мать. И видно, так оно и есть, раз не сумела даже прикончить мерзавца, который тебе всю жизнь испоганил!

— Не знала я, что он такой...

— Ведь я ж тебе говорила! Сколько раз говорила!

— Ну говорила. Только если б я его прикончила, тут бы с тобой сейчас не сидела.

— Ну вот, а теперь за то, что ты его недорезала, тебя и загребут лет на восемь!

— Не загребут!

— Думаешь, не загребут?

— Точно.

— Почем ты знаешь?

— Знаю не знаю, только в тюрьму больше ни за что!

Мать потянулась за пачкой сигарет, вытрясла одну на стол, задержала на мгновение в пальцах, забыв про спичку.

— Не маленькая, пора уж соображать.

Она повернулась к Рею.

— Как думаешь, выйдет у нее что?

Но Рей не слышал ее вопроса. Веки его были крепко сомкнуты, брови свело напряжением. Могучая, как из камня высеченная, рабочая пятерня в белых неживых рубцах старых порезов пожелтевшими кургузыми пальцами с обломанными ногтями зарылась в вихры волос и тяжелой ладонью, словно кувалдой, припечатала, вдавила, как гаечным ключом, крепко-накрепко прижала ухо к голове.

Сету не спалось, он сидел у окна, а дождь каплями выбивал из стен ударявший в ноздри запах плесени. Откуда-то снизу, из коридоров, до Сета долетел плач ребенка, проникая через дощатые перекрытия, через балки, причудливо вздымаясь кверху под стук дождя по крыше, под хлюпанье капель в желобах, под бормотанье стекавшей по стокам воды. Потом плач стал выбиваться будто толчками: прорвется, смолкнет, прорвется, смолкнет — и точно так же запульсировала внезапная боль где-то под самым теменем — то схватит, то отпустит. Сет взглянул на руки, подумал: «Все, нету больше этой трясучки! Только вот боль в голове не стихает». Внизу Рита сказала что-то громко, и резкий звук голоса, пробив деревянные преграды, взрывной волной ударил в Сета, и немедленно боль куполом раскрылась над ним, нависла, покрыв всю голову. «Будь ты неладна! Да прекратишься ты когда-нибудь или нет?»

А потом Сет подумал: «Я не сплю, и она не спит. Может, к ней спуститься?» Но он не мог отделаться от воспоминания: когда его тянуло к ней, всегда в нем вспыхивала внутренняя борьба, просыпались злые, чужие силы и каждый раз возникал страх; шевельнулся и сейчас.

«Да что там! — говорил он себе.— У нее и без меня забот хватает. Меня даже не узнала. Если и узнала, то виду не подала. Да и с чего ей меня помнить? Жизнь здорово ее потрепала. Столько, видно, всякого пришлось повидать. А я вот все помню. Хоть и мне не сладко пришлось».

Он сжал кулаки, разжал. Пальцы подрагивали, как отпущенная пружина.

Ночью ему приснился сон: ему снилась радуга, и колючая проволока, и рудничным газом разъедало глаза, и был снег; снилось умытое дождем небо, поле и влажная земля. В бороздах засел последний снег. И совсем близко, так, что слышно, как бурлит, течет черный ручей; он бежит вперед и мимо шахтного копра. Перед Сетом ограда из колючей проволоки, а рядом женщина, лица не видно под козырьком шапочки. Сет поворачивается к ней, а она из-под пальто достает младенца: губки сведены плачем, кулачки сжаты. Женщина протягивает младенца Сету, кончиками пальцев откидывает одеяльце и проводит по голубым жилкам темечка новорожденного, показывает Сету. «Это брат твой,— говорит.— Твое дитя».

Столбы у изгороди ржавые, источенные, в них раскрытыми ртами зияют дыры, краска вылиняла от дождей. А проволока новенькая. Вот бы исхитриться, залезть, думает он. И только полез, извиваясь, тут какой-то человек возник, стащить его хочет; Сет, уворачиваясь, проволокой рвет на себе одежду, колючки вонзаются в мягкий живот. Но у него ребенок на руках, отогнать того человека он не может, и тогда женщина, что рядом, стала отталкивать чужака, и вот они оба оттолкнули его и потом идут вместе, выходят на какое-то незнакомое поле

Сет проснулся, выглянул на улицу. Солнце, отраженное дождевой водой в сточной канаве, ударило в глаза. К дому, что ремонтировали напротив, уже подкатил грузовик с рабочими, оттуда выгружали инструмент, вытягивали панели из прессованной стружки. Взвалив на плечо охапку деревянных планок, рабочий пошагал в дом, и концы планок трепетали за ним на ходу, как крылья.

Старший, привалясь грудью на крышу грузовика и заведя руку с каской за спину, глядел на их дом, пониже Сетова окна и правее, видно, на кого-то пялился. Сет высунулся, проследил глазами за взглядом старшего и увидел: сбоку, прямо под его окном, пряди светлых волос, ее затылок, плечи; она точила что-то об камень наличника; скребу-режу, скребу-режу. Выпрямилась, уставилась на то, что держала в руках; на солнце сверкнуло лезвие ножа. Она провела большим пальцем по острию, заметила, что на нее глазеет старший, отпрянула от окна, скрылась в комнате.

Сет спустился вниз, вместе с Реем они позавтракали яичницей с салом. Потом вышли Ферн и Эл, они с Сетом сели в грузовик, отправились на работу.

На углу улицы, у перехода, поджидая, когда загорится зеленый свет, зажав в обеих руках сумки с продуктами, стоял Гэролд. Прямо под правым глазом у него пышной розой багровел здоровый синяк. Налитые кровью глазки встретились со взглядом Сета и поспешили отъехать в сторону. Сет рассмеялся и крикнул ему из грузовика:

— Что, врезала тебе твоя?

Гэролд отвернулся, скрывая подбитый глаз, тут зажегся зеленый, и он тяжелой поступью навьюченного верблюда прошел перед остановившимся грузовиком. Эл тихонько присвистнул.

— Вот бедолага!

Отработав день, Сет, Эл и Ферн вернулись в дом, вернулся со своей работы и Рей. Сет с Элом принялись готовить ужин из того, что купили по пути, а Рей поплелся наверх, на второй этаж. Слышно было, как он зовет ее, а потом тяжелые шаги над головой. К тому времени, как приготовили ужин, спустился Рей, вышел на крыльцо, взглянул на улицу.

— Ну что она, будет ужинать или нет? — спросил Эл.

Рей внимательно оглядывал улицу.

— Я говорю, ужинать она будет?

— Нету ее.

Рей есть не стал, остальные притихли, ели молча. После ужина Рей сказал:

— Поидите-ка, гляньте поблизости, я тут обожду. Ох, она доиграется!

— А ты чего не с нами? — спросил Эл.

— Боюсь, как встречу, так и врежу.

Эл расспросил по соседству, узнал, что она вышла из дому одна с коляской. Стали искать, разбрелись кто куда: один к матери, другой в ресторан, где она раньше работала, третий туда, где раньше жила. Когда все трое вернулись ни с чем, Рей так и стоял в дверях. Только и сказал:

— Ах, стерва безмозглая!

Он будто прилип к притолоке, руки в карманах. Солнце светило прямо в стену здания напротив, озаряя ее красным светом. Они стояли и ждали.

— Может, она на старую работу пошла? Могли ж ее позвать обратно? — сказал Эл.

— Куда это, с ребенком-то?

— Да разве она его на нас оставит!

— А почему нет?

Эл пожал плечами.

— А вдруг полиция ее за что загребла? Может, в участок заглянем?

— Совсем сдурел!

Подождали еще. Солнце садилось, кирпичная стена поблекла, уличные фонари, почуяв приближение темноты, принялись потихоньку разгораться. Эл сказал, что есть у него одна мысль, и куда-то отправился. Ферн чистил свечи зажигания. Сет поднял обломок доски и принялся строгать ножом, получилось что-то наподобие человечка; Сет скоблил ножом, выстругивал, резал, и вот у него в руках возник деревянный человечек со сжатыми кулачками, с выпуклым, как яблоко, лбом. От рук Сета пахло сосновой стружкой.

Медленно, словно старая калитка, поворачиваясь, Рей перевалился с ноги на ногу в дверном проеме, и его скрепленный скобами подбородок натужно напрягся. «Лопнет сейчас!» — подумал Сет. Прищур, вездесущий и меткий, как струя поливальной машины, впился в Сета.

Появился после своей прогулки Эл, подошел, засунув руки в карманы куртки. Рей на него даже не взглянул. Сет поднял на Эла глаза, но тот покачал головой и опустился рядом на крыльцо. Еле слышно произнес:

— Во Вьетнаме вот так же ждать приходилось. Только там мы в этой чертовой норе сидели, по пуп в воде.

Ферн скривился, глядя на последнюю прочищенную свечу, потом ввинтил ее в двигатель. Еще раз осмотрел, нет ли каких неполадок, не нашел, принялся протирать тряпкой корпус.

— Вот сидим в этой собачьей норе, значит. Притаились, не дышим, чтоб нас не засекли и чтоб выманить их из леса, а этот сукин сын лейтенант знай бубнит в самое ухо, как в засаде сидеть, а после,

когда полезут из-за деревьев, как в них стрелять надо. Слава богу, хоть под конец заткнулся! А мы в гробу видали все его инструкции. Ну и что, черт подери, ну заметил я: один из тех юрк из-за дерева, по сторонам оглядывается. Все наши видели. И что с того? Нам бы переждать это дело да поскорей отсюда к чертовой матери. Тот постоял-постоял и обратно в заросли. Чего выглядывал, шут его знает! Больше никто из них не показывался, но нам, куда денешься, приказано было ждать. А поди разбери, чего тут ждать, вдруг и те, как мы, засели где-нибудь и тоже ждут? Ей-богу, наверное, так и было. Вот сижу я в той чертовой норе, глубоко, только глаза наружу выглядывают, а кругом трава растет, так что мне все хорошо видно, а меня не видать. И тут, значит, эта самая змея и выползает. Чертова кукла! Прямо на меня ползет. И откуда только взялась! Гадина такая. Зеленая вся, извивается, как хлыст, и на меня. Глазки такие черные. Она на меня смотрит, а я на нее и моргнуть не смею. Вот она с шипом на меня язык — раз-другой и, гляжу, подалась назад, и в траву... Сначала вроде ничего. А как добрались до базы, меня всего и затрясло. Полдня трясусь, никак остановиться не могу. Так худо было, отправили меня оттуда.

Эл потер ладони, потом опустил глаза, поглядел на обе руки.

Ферн кинул тряпку в сточный желоб и снова принялся осматривать двигатель. Потом глянул на Эла, сидевшего на крыльце, покачал головой. Привалился к радиатору. Скрестил руки на груди, постоял, выглянул на улицу, посмотрел направо, посмотрел налево, снова вынул тряпку из желоба, стал протирать верх аккумулятора.

На углу улицы трое мальчишек с криками играли в мяч. Из верхнего окна доносилось вкрадчивое бормотание радио. Мимо прошли двое полицейских, переговариваясь с кем-то по рации. В конце улицы на крылечке раскатисто хохотали две женщины. По телебашне на вершине горы то вверх, то вниз пробегали красные огоньки. И тут они увидели ее.

Она показалась в глубине улицы, сперва ее загораживал грузовик, но вот она подошла, и они увидели ее. Малыш спал, уронив головку на подлокотник коляски. Ферн опустил руку с тряпкой, Эл встал и двинулся мимо Рея в дом. Сет поднялся кивнул ей; только она глядела мимо, на Рея, скулы над впалыми щеками резко выпирали, словно нарисованные. Она направилась было по коридору к лестнице, и тут Рей спросил:

— Ты где это, черт побери, шлялась?

Она взглянула на него, пальцы с силой сжали ручки коляски.

— Где шлялась, спрашиваю?

— Ты меня выкупил, не купил!

Взгляд Рея затянулся на ней узлом.

— Нет, ты все-таки отвечай! — произнес он.— Почему это ты полдня шляешься незнамо где, а мы тут гадай, может, стряслось что, может, за решетку попала, может, закрутила с каким пропойцей, может, сама напилась, а может, прирезали в темном переулке! Ведь знаешь, черт подери, в любой момент тебя загрести могут, если мерзавец, которого ты пырнула, отдаст богу душу.

— А я не обязана перед тобой отчитываться, понятно?

— Ну и выметайся тогда отсюда к чертовой матери!

Она вся сжалась, как змея перед прыжком. Груди напряглись, даже сквозь одежду было видно.

— Ну и выметусь! Пошли вы все с вашим вонючим домом! Заткните его себе в зад, весь по кирпичику!

Она повернулась и так резко дернула за собой коляску, что малыш, проснувшись, чуть не угодил мордочкой прямо в погремушки, замахал ручками и тоненько, боязливо захныкал; она на ходу похлопывала его, успокаивая.

— У тебя вещи там в доме,— сказал Ферн.

— Их тоже в зад себе заткни!

И она направилась в ту сторону, откуда только что появилась.

И тут Сет неожиданно для самого себя произнес:

— Погоди!

— Вот именно, куда ее несет!

Она остановилась, но головы не повернула. Эл вышел из-за спины Рея, отодвинул его локтем, спустился с крыльца.

— Никуда ты не пойдешь, Рей тут не один распоряжается. Мы, как и он, свою долю внесли, и мы тебя не гоним. А он с нами не может не считаться.

— Да наплевать мне на вас на всех!

— Плевать так плевать. Хочешь уйти — уходи. Но запомни: Реи тебе не указ, вместе это затеяли, вместе и решать.

Она повернула голову, поглядела через плечо на каждого, скользнула рукой вниз, погладила плачущего мальчика. Потом вынула его, хнычущего, из коляски и, гордо вскинув голову, направилась вверх по ступенькам.

Эл снова присел на крыльцо. Потер ладонью об ладонь, уставился на тротуар. Сет поднял глаза: Рея на крыльце не было, он незаметно скрылся в глубине дома.

И снова в эту ночь Сету снился тот же сон: та же женщина и ребенок, и впившиеся в одежду колючки проволоки, и борьба у изгороди; как стояли рядом, как отпихивали того человека, как вместе шагали по полю. Проснувшись, Сет начал думать, что бы это значило, но ни к чему не пришел, понял только: ясно, как и что он должен теперь делать. Он поднялся и, стоя босиком на полу, принялся натягивать одежду, глядя на красные огоньки телебашни. Одевшись, вышел в коридор и направился к лестнице. Проходя мимо комнаты Рея, услышал его храп.

Выйдя на улицу, Сет сначала взглянул на дом напротив — тот стоял, зияя пустыми проемами окон, а фонари искоса бросали на него свет,— потом повернулся и оказался лицом к лицу с домом, в котором жил. Поднялся на крыльцо, прошел по коридору и стал подниматься по лестнице, нащупывая в темноте перила, думая про себя: «Нет, не признает она меня. Разве я сейчас такой, как тогда? Да и она сильно изменилась». Поднявшись на ее этаж, подумал: «Ей, как и мне, хочется одного — чтоб оставили в покое. Но я должен сейчас к ней войти. Должен во всем разобраться. И больше не буду ей докучать».

И, уже отворяя к ней в комнату дверь, он сказал себе: «Узнаю, и все. А потом все равно, будь что будет».

Войдя в комнату, он понял, что она не спит. Малыш спокойно посапывал в своем углу. Ее постель была у окна, и, озаренные уличным светом, ее плечи голубели в темноте. Она лежала на боку, положив руку под голову. Он вошел, и она шевельнулась. И сказала:

— Учти, сунешься, станешь руки распускать, я тебе все кишки повыпущу!

— Да я к тебе не за этим.

Тут Сет разглядел нож у нее в руке. Лезвие блеснуло, словно на поверхность вынырнула рыба. Она молчала.

— Ты, видно, не узнаешь меня? — спросил он.

— Узнаю. Только не прикасайся!

— Нет, вижу, что не узнала.

— А чего это мне узнавать?

— Да так, ничего.

— И зачем мне тебя узнавать?

— Я же не говорю, что надо.

— Чего ж тогда зря трепаться?

— Сам не знаю.

— Ну а явился зачем? Мозги мне хочешь запудрить?

— Не хочу.

Она села в постели. Ножа из руки не выпускала, только теперь держала его обыденно, как гаечный ключ.

— Так зачем явился?

— Чтоб понять, как мне быть.

— С чем быть?

— Со всем тем, что забыть никак не могу.

— О господи!

Она откинулась к стенке.

А он подумал: «Я вот решаю, как мне теперь быть. А у нее свои заботы, зачем ей мои? Но я сейчас, только сейчас должен решить, как быть дальше».

И память заклокотала, заговорила, и сердце сжалось страхом. И все, что теснилось в нем, вся страсть, вся ненависть, стремглав понеслось по жилам грохочущим потоком. Но он почувствовал, что может обуздать этот поток.

Вскрикнул и дернулся во сне ребенок.

— Опять что-то приснилось,— сказала она.

Положила нож рядом с подушкой, встала, подошла к ребенку, принялась укачивать, тихонько похлопывая, чтоб успокоился. Когда малыш затих, вернулась к кровати, села.

— Знаешь что,— произнесла она.— Хоть ты с виду и тихий, но в голове у тебя что-то творится.

— Да нет...

— Так что же с тобой?

— Просто я решаю.

— Чего решаешь?

— Как мне быть дальше. Вот и все.— Он поднялся.— Ну я пошел?

— Иди,— отозвалась она.— Если тебе больше нечего здесь делать...

«Не сейчас,— подумал Сет.— Теперь я могу совладать с собой».

5

И ему вспомнился тот ястреб, грациозность и невесомость полета птицы, безупречная отточенность развернутых по ветру крыльев. И когда ястреб, скользнув вниз по небу, пролетал над самыми верхушками сосен и мимо, были отчетливо видны и четко очерченный заостренный клюв, и темный пушок вокруг глаз, и развернутый веер медно-кремового оперения.

Потом они увидели его на самой верхушке колючей медоносной акации; Сет, тогда мальчишка, полез за ястребом, продираясь сквозь пучки толстых, изогнутых змеями шипов,— каждая колючка из трех острых лучиков, как тот материнский крестик. Он потянулся достать птицу, застрявшую в шипах, земля далеко под ним, внизу, поплыла, и тут колючка, метя в глаз, воткнулась в нежное веко; в том месте, куда угодила дробь, перья пестрели черными пятнышками-точками, крылья птицы безжизненно поникли, и на Сета уставился остекленевший голубой глаз.

Откуда-то из туго перевитых улиткой каналов Реева уха тянулось, расширяясь раструбом, приглушенное завывание. Нарастая, оно рассыпалось гулом скопища голосов. Злобных, жалобных, робких, наглых, смеющихся. Голоса гудели разом и по очереди, и так всю ночь напролет, и Рею не было от них сна до тех пор, пока самого его не засасывало в пучину, где зудели эти голоса, и пока его соб-

ственный, то смеющийся, то ворчливый, то убеждающий, то угрожающий голос не вливался в общий хор. А если этот хор голосов накатывал на него среди дня, спину тянуло так, будто у него не позвоночник, а буксирная цепь, и чтобы заглушить этот ропот, Рей с грохотом валил кирпичные стены, трубы, крушил проводку, отворачивал муфты.

И все время думал: «Ведь знали, что покалечили, когда меня били. Как поняли, сразу бить перестали».

Тогда посреди оглушающего зудения в голове он вдруг услышал, словно откуда-то из утробы лопнувшей трубы, голос: «Хватит! Хватит! Он свое получил!» Услышал и подумал, что уже не жив. Так его и бросили там лежать, на камнях, в воде, и ушли, а он выполз на берег, огляделся, привалился спиной к железной бочке у края аллеи и замер, глядя на огни города, на снующие мимо машины и вниз, на огоньки в реке, и вверх, где высились горы, и понял: им не было смысла его убивать, но покалечили на совесть и бросили валяться здесь, среди камней.

И Рей подумал: «Сделали свое черное дело, избили меня до полусмерти. Но все-таки я жив».

Поутру Сет вышел за молоком, и тут какой-то рыжий вислоухий пес с обрубком вместо хвоста припустил за ним обнюхивая на ходу. Пес семенил рядом, шерсть его раздувало ветром на хребте, потом обогнул Сета, обнюхал ему колени, припустил дальше, оборачивая морду на каждом углу пытаясь угадать, куда направится Сет. Так пес и бежал по улице впереди Сета, когда же, оглянувшись, увидел, что тот заворачивает за угол, подбежал, снова понюхал, потянулся следом.

Раздался чей-то крик; пес дернул мордой, побежал на крик. Он бежал, припадая на одну лапу, и темный ворс полосой поблескивал у него на затылке. Сет смотрел и недоумевал про себя: «Чего это он привязался ко мне?»

Вспомнилось: когда-то деревенские собаки выбегали из-за деревьев и припускали за ним вниз, с горы, потом отставали, возвращались в лес или цеплялись еще к кому-нибудь.

Когда Сет, купив молоко, вышел из магазина, пес поджидал у дверей, норовя лапой и носом поддеть с земли расщепленную палочку от мороженого. Только Сет прошел мимо, пес поднял морду и двинулся следом. В проулке двое детишек плясали на мостовой. Взявшись за руки, они кружились, что-то пели, споткнулись, со смехом вцепились друг в дружку, так же со смехом повалились на мостовую.

Пес побежал к ним, оглянулся, увидел, что Сет идет дальше, припустил вдогонку потом остановился, повернулся и, задрав нос по ветру, засеменил обратно в проулок.

Когда Сет вернулся в дом, там было пусто. Ушли, даже не позавтракали. Неспроста это. Поставив молоко на полку, Сет прошелся по комнатам; никого, никаких следов; вернулся, вышел на крыльцо, обошел дом — грузовик на прежнем месте; пересек пустырь, вышел с противоположной стороны дома, двинулся по улице. Он заглядывал в пивные, в лавки, в рестораны — никого; столкнулся на улице с Их Высочеством, та ухмылялась.

— Ах, вот оно что, тебе никто ничего не сказал, а?

На сей раз парик у нее на голове сидел ровно, волос из-под него было не видать. Их Высочество завела руку за спину, уткнувшись ею мужу в живот, развернула ладонь. Муж зашарил по карманам пиджака, рубашки, джемпера, брюк, извлек маленькую чер-

ную библию. Вложил ей в ладонь, и Высочество помахала библией перед носом Сета, потом хлопнула ею о другую ладонь и изрекла:

— Тут есть кое-что прямо для тебя. Скоро сам поймешь что. Это я тебе говорю.

Рука Сета уж было потянулась сама собой, чтоб ударить ее, чтоб вырвать эту библию и дубасить ею Их Высочество по голове, пока не свалится ее парик. Но Сет сдержался. Подумал: «Теперь мне нельзя как раньше. Нужно совсем по-другому. Уж это я точно знаю».

И он пошел по улице, а вдогонку ему летел ее хохот.

Когда Сет снова вернулся в дом, там сидел Тут-Как-Тут.

— Рей велел, чтоб я тебя подловил,— сказал он.— Беда. Парень тот помер.

— Какой парень?

— Да тот, кого она пырнула.

— Ну и что теперь?

— А теперь вот полиция охотится за девчонкой, а Рей сказал, чтоб ты уложил все барахлишко, да и перенес в тот дом, что вы сносить собираетесь, они там ее на эту ночь спрячут, пока лучше места не подыщут.

Сет рванулся вверх по лестнице.

— Постой,— остановил его старик.— Зачем носиться сломя голову, чтоб все про всё догадались. Тут с умом надо. Ты сперва, значит, все прикинь как следует и не суетись. Для начала давай в грузовик, поезди малость и оставь его где подальше. Потом за барахлом придешь, но сноси понемногу зараз. А когда подтаскивать к тому месту станешь, перед самым домом-то не мелькай. С задней стороны зайди, с проулка, чтоб не видели, как ты вещи вносишь. Большинству начхать, но люди всякие есть. Ну и полиция всюду рыщет. Ничего, мы их обманем! Только надо по-тихому, понял?

И вот Сет с грузом принялся петлять туда-сюда по улицам, по задворкам, снес все к заднему крыльцу того дома. Ногой открыл дверь, руками прижимая к себе коробки, вошел в темноту, прислушался: не слыхать ли Рея или девушки в доме? Хотел было крикнуть, но, спохватившись, вспомнил, что надо потише. Опустил груз на пол посреди комнаты.

Из черневших в темноте дверей одна вела на лестницу, но Сет не помнил, какая именно, и только он, вглядываясь в мрак, шагнул туда, где друг напротив друга чернели обе двери, как вдруг почудилось, будто за спиной кто-то шевельнулся. «Засада! — ударило в голову.— Черт, вот болван!..» Все оборвалось внутри, будто он падал на дно колодца; и его охватил с ног до головы неведомо откуда взявшийся страх. Внезапно перед ним, подсвеченный слабым, тусклым светом из забитого досками окна, из темноты возник знакомый силуэт Рея с всклокоченными волосами; тот застыл с киркой на плече, как бейсболист перед ударом.

— Кто ж так дверь пихает? Я уж думал, это полиция, не иначе...— И не дав Сету вставить слова, Рей продолжал: — Мы ей там наверху разгребли местечко. А я за стулом сюда спустился.

На втором этаже Эл, Ферн и Рита завтракали. Ребенок посапывал во сне. Рей с Сетом тоже подсели к еде. И тут Эл сказал Рею:

— Что, никак не угомонишься?

Прищур Рея остановился на нем. Потом Рей хмыкнул и уткнулся в еду.

Эл откинулся к стене.

— Знаешь ведь, тебя в любой момент могут взять. Так и ждут, что не туда ступишь, не так посмотришь!

Рей продолжал есть. Он впился в куриную ножку, как богослов в библию, как любитель бегов в программу скачек.

— Не будешь меня слушать, они за ней погонятся и тебя зацепят.

Рей поднял взгляд от обглоданной ножки.

— Я прятаться не привык.

— Да ну тебя к чертовой матери!

Эл загрохотал сапогами вниз по ступенькам.

Сет остался на ночь в том заброшенном доме, он сидел и слушал, как ветер задувает в щели между кирпичами, как от каждого грузовика содрогается фундамент, дребезжат трубы, ходят ходуном доски.

Заплакал ребенок, и Сет поднялся по холодной, точно погреб, точно гроб, лестнице в комнату, где укрывалась она.

— Никак не заснет,— сказала она.— Страшно ему. И я с ним совсем извелась.

Она стояла, прислонившись к стене и не сводя глаз с ребенка в картонной коробке, куда его уложили на ночь. Зябко потерла локтями о бока. Снова пискнул малыш, ее руки скользнули вниз, сжались в кулаки.

— Хочешь, я с ним похожу? — сказал Сет.

Он взял ребенка на руки, а она покачала головой, опустилась на кушетку.

Стоило Сету взять малыша, как тот с силой уперся ему коленками в живот, прижал к себе ручки, одним локотком уткнулся Сету в шею, другим — в плечо. И зычно заревел. Плач острым лезвием резанул Сета по уху. И в голове пронеслось: «Господи, как же можно так кричать!» Всхлипы вперемежку с завываниями, взрывами будоражили его притупившийся слух, точно острые когти барсука впивались в твердую землю. Визг-визг — хрип, визг-визг — хрип — буравило недра слуха, сверлом уходя вглубь, как в песок.

«Господи! — отзывалось в мозгу.— Господи! Господи!» Но он что-то говорил этой воющей у него в руках ноше, он поволок ее в коридор и снова и снова говорил, только б не молчать! Ну же, ну же, ну! Тише, тише, тише! Ш-ш-ш, малыш, ш-ш-ш, малыш, ш-ш-ш!

И плач мало-помалу затихал, и невидимые острые когти перестали терзать ухо, и коленки ослабли, не упирались в живот, ребенок, сопя и причмокивая, уткнулся Сету в мокрое плечо; и пока Сет расхаживал так взад-вперед по всем пустым комнатам этажа, подходя к окну, таращась на огни среди темноты, на желтую вспышку тягача, на фонари у дверей домов, на мигающий глаз самолета в небе,— малыш уронил головку, тельце его обмякло; он заснул. Сет отнес его обратно к ней в комнату, опустил в коробку. Усталый, измученный, все еще ощущая звон в ухе, он прилег тут же на пол, взглянул, увидел, как ровно она дышит во сне, и погрузился с головой в поток протяжных звуков.

Проснулся Сет, ощущая глубокий звон в ушах, засевший в недрах, как семя, стреляющее вниз корнем, вверх ростком. Проснулся с мыслью: «Пора мне становиться на ноги!»

Ни девушки, ни малыша в комнате не было. Сет спустился вниз, попал в самую темную во всем доме комнатушку, без окон, рядом с черным ходом и обнаружил там всего-навсего старика-негра — темная тень лица под шапочкой с козырьком; на коленях у старика резвился ребенок.

— Что, никак проснулся? — сказал старик

— А где все?

— Пришлось им смотаться, опасно, полиция девчонку ищет, Рей и повез ее на грузовике, куда те не сунутся искать.

— Рей повез?

— Рей.

— Ну а с ребенком-то что сказали делать?

— А все вместе ходить за ним будем, пока она не вернется. Не дадим, чтоб в приют его забрали.

— Кто это «все»?

— А ты да я, и Рей, и все наши.

Сет выглянул из двери на улицу, дневной свет ослепил его. От подрубленного корешка внутри кверху потянулся росток, коликой отчаяния пробиваясь наружу.

«Все с собой никак не могу совладать»,— подумал он нервно постукивая себя кулаком по бедру.

— Ты чего, парень?

— Да вот, соображаю, как быть.

— Рей-то небось знает, что делает.

— Ох, боюсь, что не знает!

И отчаяние снова запульсировало в нем. Надо что-то делать. Стены надвинулись со всех сторон, от них повеяло промозглостью, холодом. Обои поползли со стен, доски выскальзывали из-под ног. Подумалось: «Это все от наркотиков!» Еще ослепленный уличным светом, он повернулся: старик растворился в темноте, но ребенок, зримый, как вспышка во мраке, как регулировщик с жезлом, колотил по воздуху, словно молотом, своей игрушкой.

Подойдя к дому, где они жили, Сет сперва кинул взгляд на пустырь; там дети громоздили шаткие стены своего двухэтажного домика из фанерных обрезков. Они возбужденно о чем-то спорили.

Притормаживая, как собравшаяся причалить лодка, проплыла мимо полицейская машина. Скрылась из виду. Сет снова принялся глазеть на детей.

А в окне верхнего этажа почти отстроенного заново дома напротив, заполнив собой все оконное пространство, выставилась, как в раме, Их Высочество — голышом, все тело в жирных, покрытых пушком складках; она стояла, похлопывая себя по бокам, зияя прямо на орудовавших на пустыре ребят громадной, утопленной посреди жирного брюха дыркой пупка. Окно было прямо над Сетом, и ему было видно, как, свисая с плеч тучными крыльями, болтались у нее из-под мышек оковалки жира. На шее цепь с колокольцами. В парик воткнут цветок. Он утопал в хаосе парика, колокольцы терялись в белых клубах жира и складках сала. Их Высочество улыбалась. Сет, не раздумывая, подхватил в траве обломок кирпича и запустил в нее; кирпич, описав дугу, угодил прямо в Их Высочество. Колокольцы брякнули, кирпич стукнул об пол. Она скорчилась от удара, взвыла, оборванная цепочка повисла между грудей, а под грудью, в том месте, куда угодил кирпич, возник дугообразный рубец, от которого потянулись сине-красные щупальца кровоподтеков. Никто из ребятишек даже головы не поднял.

— Ах, чтоб тебя! — крикнула Их Высочество вниз Сету.

Дети подняли головы на голос, увидели ее.

— Смотри! Смотри!

Сет потянулся за очередным кирпичом, но Высочество пригнулась, нырнула вниз. Послышались спотыкающиеся шаги и следом топот ног по только что покрытому пластиком коридору.

В их доме не оказалось никого, кроме Ферна.

— Рей заходил и ушел,— сказал он.

— Куда?

— Сел с девчонкой в грузовик, и они укатили. Вернется.

— Что, куда-нибудь спрятать ее повез?

— Спрячет, приедет.

— Самому бы ему поберечься.

— Да уж небось побережется.

— Так-то оно так....
— Да что ты каркаешь в самом деле!

А у Сета перед глазами встала фигура Рея, как тогда, на ступеньках: взгляд остановился, ладонь изо всех сил прижата к уху.

Рей стоял на крыльце дома, предназначенного на снос. Грузовик на улице. Слышался стрекот включенного двигателя: штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм!

Сет шел к крыльцу, и ему казалось, что из дома уже веет знакомым запахом тлена, штукатурки, сырости, спиртного.

— Тут-Как-Тут сейчас дома,— сказал Рей.— А ребенок здесь, наверху. Забери его и отнеси старику, пока полиция или благотворители не нагрянули. Нам надо хорошенько обдумать, как быть с малышом.

— А Рита где?

— После расскажу. Давай-ка снеси малыша к старику.

И только когда Сет уже бежал по переулкам с малышом на руках, в голове пронеслось: «Почему я? Рей и сам бы мог ребенка снести!»

Спохватился: «Рей ведь знает, если его с ребенком схватят, тогда все и раскроется. Он все рассчитал. Его не собьешь. Он знает, что ему нельзя в эти дела впутываться».

Но что-то все равно зудело внутри. Даже когда, оставив ребенка сосать из бутылки молоко у старика, Сет вновь вышел на улицу, даже когда убеждал себя: «Нет, Рея не собьешь, он знает что делает»; до него постепенно начало доходить: «Рей не боится, что его убьют, не боится смерти, почему это? Бывает, человек в себе находит такое, что ему и жизнь не мила, а чего же Рею-то не живется?»

Впереди, посредине длинной улицы, перед тем самым домом на снос, Сет увидел Рея с двумя полицейскими. Сета отделял от них целый квартал, и первой его мыслью было поднять обломок толстой балки, что валялась у края тротуара. Но, подняв балку, он тотчас бросил ее. Подумал: «Нельзя сейчас, нельзя!» И пошел по улице туда, где стоял с полицейскими Рей, шел и думал: «Пока ничего такого не случилось. Узнаем, за что его, тогда видно будет».

Он шагал вперед и вперед и вдруг увидел: там, за Реем и за полицейскими, из самой глубины улицы, согнувшись, будто его пнули в живот, бежит как безумный Ферн, а за ним Эл с криком:

— Не смей, идиот чертов! Не смей!

Сет пробежал чуть-чуть вперед, остановился. Одновременно с ним остановился и Эл, и в это мгновение Ферн с налета сшиб с ног одного полицейского, и тот грохнулся о ступеньки крыльца. Схватился за шею, попытался встать и взвыл от боли Ферн, еще не придя в себя, огорошенный к тому же последствием собственного удара, отпрянул и попал как раз под дубинку второго полицейского. Мелькнув в воздухе, она обрушилась ему на спину, и Ферн рухнул на тротуар.

Поверженный полицейский тоже вытащил дубинку, взгляды полицейских встретились. Без слов поняв друг друга, они оба обрушились на Ферна, который начал было приподниматься, и принялись молотить его так, словно хотели впечатать в асфальт... и тут Рей потянулся и вырвал дубинку из занесенной руки первого полицейского. Оба полицейских от неожиданности замерли, с опаской гля-

дя на Рея. Ферн лежал, не двигаясь. Рей поднял дубинку, взялся поудобнее, взглянул на нее так, будто собирался выпустить из рук, но как-то нехотя удержал.

Только замахнуться он не успел. Будто из-под земли появились еще двое полицейских — Сет не заметил, как напротив к тротуару подрулила машина. Оба напали на Рея сзади и, когда он повернулся, стали бить его прямо в лицо; кровь залила ему глаза и уши.

Руки Ферна дрогнули, пальцы прошлись по разбитой голове. Руки Рея были намертво прижаты к вискам, словно пытались удержать всю его боль, только, видно, скрепки не выдержали, лопнули слуховые проходы, и все, что так болело внутри, хлынуло наружу, прямо на улицу.

Он даже не успел ничего сказать.

Сет и Эл стояли и глядели друг на друга, а между ними лежал мертвый Рей и еще живой Ферн, а полицейские брезгливо, боясь замараться кровью, обшаривали их карманы. Потом Эл перевел взгляд на Рея и Ферна, поднял глаза, кивнул Сету в сторону их дома, но тут взвыли сирены, и он отступил назад. Подошла девушка с грязной повязкой, навернутой на пальцы, потом двое из тех ребят, что строили фанерный домик, с пригоршнями гвоздей в руках, почтальон с пачкой писем; медленно стала стекаться толпа.

Прошло несколько дней; Эл, Сет и Тут-Как-Тут по очереди ходили за малышом. Днем Эл и Сет уже с новыми ребятами орудовали в том самом доме на снос, где пряталась Рита, возле которого убили Рея.

В ночь после его смерти Сет пришел на то место, стоял на углу, смотрел, а Их Высочество с мужем, вооружившись ведрами и щетками, замывали лужи крови на асфальте. Луж было две, их соединяла тонким стебельком запекшаяся струйка. За день кровь присохла коричневыми родимыми пятнами, и уборщикам никак не удавалось ее смыть.

Чем только их не засыпáло — обломками кирпича и труб, щепками, кусками штукатурки,— пятна не исчезали. Они не исчезли даже и после того, как рабочие разрушили весь дом до основания.

А потом туда каждый день наведывался старик в шапочке рабочего-путейца и молча сидел среди груд черно-красного кирпича и сломанных досок, выбирал годные для продажи кирпичины, сбивал цемент с нерасколотых, складывал все в столбики на деревянные подставки, чтоб затем оттащить отсюда. Разводил в железном бочонке огонь, сжигал обломки и щепки. Старик расчистил площадку, и явились самосвал и бульдозер, все разровняли, посыпали гравием.

Только тогда пятна наконец исчезли, ведь их и солнцем жгло, и кирпичными обломками стирало, и подошвами прохожих, и размывало дождем; а размывшая их вода понеслась в стоки и дальше к реке или, просочившись сквозь асфальт, впиталась в землю. Но Сет явственно помнил, где и какие они были, эти пятна.

По вечерам, когда работа кончалась, Сет все равно выходил из дома — либо кто чего просил, либо просто в магазин купить что-нибудь малышу. Раз вечером, когда пятна почти пропали, а старого дома уже давно не было, Сет стоял на углу, поджидая, когда зажжется зеленый; поднял взгляд вверх и там, над проводами, над дугами фонарей, прямо посреди розоватого песчаникового фасада дома на противоположной стороне, в окошке, примостившемся под двумя гранитными львиными головами с глазами, черными от уличной копоти и дождей, он увидел двух ребятишек лет трех-четырех: голенькую девчонку и мальчишку в рубашонке до пупа; оба стояли на подоконнике.

Девчонка, шевельнув занавеской, соскочила вниз, в комнату, потом снова вскарабкалась на подоконник, зажав в кулачках какие-то бумажки. И, словно письмо в ящик, принялась просовывать бумажку в щель между фрамугой и окном, а мальчишка подпрыгивал на подоконнике, упираясь пальцами в стекло, и не сводил глаз с руки девчонки. Бумажку приходилось проталкивать, и вот когда листок полностью выехал наружу и двигать оказалось больше некуда, он на мгновение застрял в щели, торча оттуда, как белый флажок. Но вот бумажку подхватил ветер, и мальчишка с девчонкой, прижавшись лбами к подрагивавшему стеклу, следили, как, падая вниз, листок крутится на ветру. Сет глядел, а девчонка пропихнула в щель еще пару бумажек, и вот, наконец, последнюю, которую порывом ветра сначала подкинуло вверх, к крыше, потом понесло вниз, мимо внимательно следивших мордашек за стеклом, поволокло вдоль каменной ограды перед фасадом дома, потом взметнуло над улицей, пару раз прибило к земле, подняло, опустило на тротуар.

Увернувшись от автобуса, Сет перебежал улицу, подобрал одну бумажку, еще не успевшую отлететь далеко: это была реклама какого-то продуктового магазина, вся в столбиках цен. Сет поднял голову вверх: окно, занавеска; дети, видно, спрыгнули с подоконника.

И Сет подумал: «Мне еще во многом надо разобраться. Но кое-что я повидал и этого не забуду». С тех пор он уже ни разу не раздумывал о том, сколько он всякого упустил, о том, что нет сил совладать с собой, о том, как его однажды чуть не погребло под кирпичами. Он думал о том, как теперь надо жить.

Послесловие

Майк Хэнсон, как и некоторые другие молодые авторы, наделенные подлинным классовым чутьем (я имею в виду Джой Харджо, Эрни Брилла, Аню Ахтенберг), стал настоящим писателем. Майк чрезвычайно серьезно смотрит на писательский труд. К классическому наследию относится бережно, как мастер к инструменту, без которого ему никак не обойтись. Расскажу о характерном случае. Я подчеркнул в его рукописи одну фразу, которая показалась мне слишком вычурной. Он посмотрел: «А мне нравится!»

Надо ли говорить — то, против чего восстает в жизни Майк Хэнсон, вызывает возмущение всего рабочего класса, откуда он вышел. Как-то я позвонил ему из Канзас-Сити в Цинциннати, чтобы снять вопросы по верстке его книги, позвонил ночью, потому что Майк работает в вечернюю смену на заводе, расположенном на границе между Огайо и Кентукки. Он сказал: «Если так пойдет и дальше, мне придется уйти с завода» — и поведал о том, как давит начальство, как подговаривает рабочих не поддерживать его открытые выступления за улучшение условий сверхурочной работы в выходные дни.

Повесть «Найди свое!» — важное произведение не только потому, что автор, выходец из рабочих, обладает острым классовым чувством. Она важна самой своей темой, важна как голос угнетенных масс, важна тем, что дает руководство к действию. Она не просто выражает классовую сущность чаяний самых обездоленных трудящихся, как в знаменитом рассказе Пьетро ди Донато «Христос в бетоне» (1938). Книга Хэнсона является аллегорией необходимости социальной и политической перестройки нашего общества. Повесть не проповедует обращения в новую веру, как это происходит в иных романах 30-х годов. Это книга о социальном возрождении. Она не похожа и на многие европейские романтические произведения, где показано лишь развитие характеров и событий. Майк Хэнсон счастливо избежал навязчивой, искусст-

КИРИЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛОВНА

Советский литературовед-американист, кандидат филологических наук, переводчик с английского и испанского языков. В ее переводе изданы повести П. О'Доннелла «Гордый остров», Бетти Уилсон «Андре Том Макгрегор», сборник рассказов А. Маршалла «Пишу о тех, кого люблю», рассказы Джойс Кэрол Оутс, Дж. Сейлса, Франсиско Гарсиа Павона, Карлоса Мурсиано и др.

венной сосредоточенности на отдельной личности, что так характерно для буржуазной литературы. Повесть призывает к тому, чтобы мы осознали себя как общность, как народ и чтобы создали такой тип общества, который соответствовал бы этому осознанию. Об этом не говорится впрямую. Это литература, а не научный трактат. Но именно эти мысли — основа того, о чем повествует Хэнсон. Свою социальную идею он воплотил в образе персонажа, который борется.

Главный герой повести, Сет, измучен собственной ожесточенностью. Она вызвана его пристрастием к наркотикам и проявляется в том, как он ведет себя с женщинами, в которых ошибочно видит враждебную силу, и в его отношении к обществу, где он не может найти себе места. Преображение Сета как личности показано в тот момент, *когда он ищет работу и особенно когда начинает трудиться рядом с Реем*, который руководит разноликой рабочей артелью, занятой сносом старых домов, и слышит его невеселые рассуждения об обществе, истинная сущность которого в том, чтобы разрушать.

Рей оказывается жертвой самых жестоких элементов этого общества, но Сет избегает смерти и готов начать новую жизнь. Не все его проблемы пока решены. Но основа заложена. «И Сет подумал: «Мне еще во многом надо разобраться. Но кое-что я повидал и этого не забуду». С тех пор он уже ни разу не раздумывал о том, сколько он всякого упустил, о том, что нет сил совладать с собой, о том, как его однажды чуть не погребло под кирпичами. Он думал о том, как теперь надо жить».

Повесть много дает каждому из нас. Тем, кто озабочен у нас униженным положением женщин, она помогает понять, что должен сделать, что должен изменить в себе мужчина, чтобы положить конец дискриминации женщин. Тем, кто занят поисками путей возрождения боевого духа рабочего класса, она подсказывает, что политическое самосознание возрастает там и тогда, где и когда усиливается угнетение. Для тех, кто думает, будто реформы могут привести к реальным переменам в обществе, она показывает безобразное жирное подбрюшье нашей страны, взращенное на крови, поте и слезах не только сохранившихся еще в мире колоний, но и нашей собственной бедноты.

Суровая, волнующая проза Хэнсона не существует вне этих широких обобщений — напротив, она служит их выражением. Взять, например, яркий отрывок о *долларе с изображением статуи Свободы, который Сет нашел в первый день работы.* Этот отрывок — яростное, гневное обличение «американской мечты».

«Когда отдирал полку от стены, перед глазами, будто гнилушка во тьме запутавшись в слоях дранки, сверкнул первозданным блеском серебряный доллар: безмятежный лик статуи Свободы в обрамлении лучей ярко блестел здесь, в самом темном углу, на самой грязной стене, где дранка вся обуглилась, истлела».

«За такой доллар можно кое-что выручить,— подумал Сет. — Старые деньги всегда в цене». Но только он дотронулся до монеты, как отделились серебристые чешуйки, посыпалась черная пыль; чешуйки упали на пол, а пылью припорошило кончики пальцев, и Сет почувствовал, как они горят, словно в них проникло что-то едкое; он потер пальцы о рубашку, чтоб перестали гореть. И где-то внутри застрял немой вопрос, заметался, пытаясь вырваться наружу».

Нам нужно больше таких книг, и мы должны распространять их всеми доступными нам способами. Они помогают людям понять, какую тяжелую борьбу приходится вести тем, кто обитает в самом чреве монстра,— борьбу тяжелую, но славную. Мы не одиноки в этой борьбе. Как великое искусство является всеобщим достоянием, так и великая борьба близка и понятна всем народам на земле.

ДЖОН КРОФОРД

Перевод с английского М. МАРКОВОЙ

Р. К. НАРАЙАН

Бог и уличный сапожник

РАССКАЗ

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

У него, кажется, вообще не было ничего своего. Он сидел на ничьей земле между улицей и оградой храма. И тень ему дарила ветка маргозового дерева, которая свисала из-за стены и целый день осыпала его мелкими желтоватыми цветками.

«Только на головы богов изливаются благодатные дожди живых цветов»,— подумал хиппи, разглядывавший его со ступеней храма, где расположился еще накануне вечером. Кто он был, неважно, самая суть «хиппизма» как раз и состоит в утрате индивидуальности и всяких географических корней. Он мог быть из Беркли, или из Внешней Монголии, или откуда угодно. Если ты до глаз зарастаешь космами, это служит тебе вполне надежной маской; если ты живешь, не имея крыши над головой, с утра до ночи палимый солнечными лучами, то приобретаешь некий универсальный цвет кожи, не поддающийся определению ни по расам, ни по сословиям и обеспечивающий тебе беспрепятственный проход через государственные границы. А если ты вдобавок одет в полотняное дхоти и обыкновенную майку и непринужденно садишься на землю прямо там, где стоишь, твои одежды в конце концов, естественно, буреют, как у всякого достопочтенного отшельника и аскета — саньяси. И когда ты достиг такой степени универсальности, нет смысла интересоваться, кто ты и что ты. Надо принимать тебя таким, каков ты есть: просто дышащая воздухом единица, и все. Именно так и отнесся к хиппи уличный сапожник, когда тот встал перед ним и попросил пришить оторвавшийся кожаный ремешок на сандалии.

Подняв голову, сапожник сказал себе: «С такими спутанными волосами до плеч он похож на бога Шиву, только кобры на шее недостает».

На всякий случай перед лицом такой святости он почтительно припал на минуту к земле. И подумал: «Этот человек шагает пешком от самых Гималаев, жилища Шивы, свидетельство тому — его латаные-перелатаные сандалии» Сапожник снял их с ног заказчика и стал внимательно рассматривать. А для хиппи расстелил на земле бумагу, обрывок афиши со стены храма, и сказал так:

© R. K. Narayan, 1982.

РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ НАРАЙАН — RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (род в 1906 г.)

Индийский писатель. Автор многих романов повестей, рассказов. Р. К. Нарайан — член Литературной академии Индии ему присуждена Национальная премия. В «Иностранной литературе» публиковались романы «Святой Раджу» (1960, № 6, 7) «Людоед в Мальгуди» (1964, № 2), «Продавец сладостей» (1969, № 1, 2), автобиографическая книга «Мои дни» (1978, № 10), рассказы (1965, № 8, 1972, № 8) Рассказ «Бог и уличный сапожник» взят из книги «Дни Мальгуди» («Malgudi Days». New York, The Viking Press 1982)

— Стань, пожалуйста, вот на эту бумагу, тут немного грязновато.

Афиш у него всегда имелось в избытке. Эта стена была у всех на виду, она выходила на перекресток двух улиц, одна из которых вела на магистральное шоссе. На перекрестке всегда было большое уличное движение, и расклейщики афиш боролись за каждый квадратный дюйм на стене. С вечера придет один, щедро помажет густым клеем и налепит объявление о новом кинофильме, о бесплатной лекции в парке или о новом кандидате на выборах, и даже с портретом. Под покровом ночи появятся другие и наклеят свои афиши поверх предыдущих. А наутро со всеми афишами, невзирая на содержание, разделывался местный осел — подойдет к стене, оборвет зубами полосы бумаги и стоит жует: видно, ему нравился вкус клея. Сапожник тоже, приходя по утрам, прежде чем расположиться на обычном месте, сдирал себе две-три афиши и находил им самое разное применение. Заворачивал в бумагу пищу, когда покупал что-нибудь съестное в угловой лавочке под тростниковой крышей; расстилал бумагу, точно красный ковер, под ноги заказчикам, если надо было, чтобы они немного подождали, пока он починит их обувь; и даже спал, подложив под себя бумагу, когда становилось слишком жарко. Хиппи, понаблюдав за ним, восхитился: «Он ничего не требует и все имеет». Хотелось бы ему обладать таким же спокойствием и довольством, как этот сапожник.

Накануне он сидел на ступенях храма вместе с нищими протягивавшими руки за подаянием. Среди них были люди здоровые, как он сам, были и калеки, слепцы, слабоумные; но все, даже голодные, держались с завидным спокойствием, почти небрежно. В вечернюю пору, когда молящиеся проходили через врата храма, нищим бросали в чашки медные монеты, и в чью чашку какая монета упадет, было делом случая. У нищих существовало неписаное правило — не оспаривать друг у друга удачу, а если монета, брошенная слепцу, упадет мимо чашки, поднять и отдать ему. Хиппи, в совершенстве постигший искусство не выделяться, сумел раствориться в их толпе. В тот вечер священнослужитель был настроен благожелательно и роздал им сладкий рис — остатки от подношений богам. Ужин оказался вполне сытным, хиппи запил его водой из уличной колонки и улегся спать на ступенях храма.

Утром он увидел, как пришел сапожник с рогожным мешком на плече и расположился под сенью маргозовой ветки. Это было очень красиво: залитая солнцем зеленая листва, нависшая над серой оградой храма. И такой покой царил здесь. Никого не раздражали пыль, шум и толчея беспорядочного уличного движения, пешеходы и велосипедисты, с опасностью для жизни прокладывавшие себе дорогу под боком у легковых машин, грузовиков и мотороллеров которые отчаянно рвались вперед, взбивая пыль, шаркая шинами, гудя в клаксоны и скрежеща тормозами, словно какие-то допотопные чудовища в погоне друг за другом. Случалось, прохожий, отхаркавшись, плевал прямо на мостовую или мочился у ограды на глазах у всех — никто не обращал на это внимания, не выражал недовольства. Хиппи был поражен таким полным всеприятием жизни как она есть.

Опустив голову, сапожник работал — полосовал ножичком кусок кожи, протыкал шилом отверстия и протягивал в них вощеную дратву, шов ложился за швом, словно по волшебству, белесая нить взблескивала появляясь на коже, как маленькая молния. Рядом стояла жестяная миска с водой, сапожник размачивал в ней непослушные полоски кожи, размягчал, а потом еще колотил чугунным пестиком, и кожа становилась как тряпочка. Когда работы не было, сапожник откидывался к стене и провожал глазами каждую пару обуви, сразу определяя по виду состояние всех штрипок, ремешков и пряжек, которые проходили мимо. Пальцы у него, если не сжимали сапож-

ный инструмент, должно быть, так и чесались без дела и постоянно вострили нехитрые орудия о край тротуара. Видя, как тот поглощен работой, хиппи подумал, что, наверное, помимо заработка сапожнику еще просто доставляет мистическую радость мять в руках кожу и кромсать ее железом. Для него, кажется, даже пища была на втором плане. Раз в день сделает знак мальчишке из лавки напротив, чтобы принес ему чашку чаю или булочку, и больше о еде не вспоминает. А если долго нет никакой работы, откинется к стене, устремит взгляд на верхушки деревьев и отключится от всего. И, как видно, вполне доволен: ни сожалений, ни желаний нельзя прочесть на этом лице. Он не зазывал к себе заказчиков криками и не отказывался от работы, если к нему обращались. Не торговался о цене, получив в руки порванную обувку, а внимательно ее рассматривал, расстилал под ноги заказчику афишу, пришивал ремешок или подбивал каблук и ждал, чтобы ему заплатили. Тут требовалось терпение: пока это они откроют кошелек, достанут деньги. Если плата оказывалась уж чересчур скупа, сапожник просто поднимал глаза на заказчика и сидел, держа на ладони монету. Иногда ему набавляли немного, а иногда, не говоря ни слова, поворачивались и уходили.

Сапожник зашивал сандалии, а хиппи уселся на кусок афиши. Он обратил внимание, что сидит прямо на размалеванной физиономии известной кинодивы. Это его позабавило. Собственно, ему вовсе незачем было подстилать под себя бумагу, но, видимо, так здесь было принято, иначе сапожник мог обидеться. А вообще-то хиппи давно привык сидеть на голой земле; есть даже надежда, что со временем он достигнет совершенства и сможет сидеть себе преспокойно на доске, утыканной гвоздями, сохраняя безмятежное выражение лица. Возможно, что именно к этому и приведут его поиски истины. Во время своих странствий он видел в Бенаресе йогов, которые сидели на гвоздях, погруженные в самосозерцание. А в Гайе один кающийся грешник ходил с длинной спицей, проткнутой сквозь обе щеки, она, конечно, мешала двигать языком, но тому безразлично — он все равно хранил обет молчания. В Аллахабаде во время праздника Кумбха Мела хиппи видел миллионные толпы молящихся и свершающих омовение в том месте, где сливаются воды Джамны и Ганги. В этой толпе находился один садху, с которым был взрослый тигр, он утверждал, что это — его давно умерший брат в новом воплощении; были там люди с ядовитыми кобрами в руках, кобры свисали и болтались, точно веревки. Одни там пожирали пламя, другие глотали шпаги, жевали стекло и кактусы. Йоги в каталептическом состоянии по многу суток сидели на площадках для кремации, не двигались, не ели, не пили, не обращали внимания на полыхающие вокруг погребальные костры. А в Непале один человек махнул рукой и прямо из воздуха извлек серебряную статуэтку четырехрукой богини, он подарил ее хиппи, она и сейчас бережно хранится у него в рюкзаке. Всякий раз хиппи сначала приходил в восторг, мечтал обучиться у этих чудотворцев их секретам, и те соглашались все ему открыть за такую скромную плату, как один катыщек опиума. Но потом он себя спрашивал: «А много ли я этим достигну? Та же прогулка по Луне, только не такая дорогостоящая». Он не находил, что искал.

На дорогах, в деревнях и на рисовых полях он видел мужчин и женщин, которые занимались своим делом с полным самозабвением,— лица напряженные, сосредоточенные, спокойные. Вполне возможно, что они что-то такое постигли, чему можно бы поучиться. Он ездил на поездах, брел пешком, просился в попутные грузовики и запряженные быками телеги. Зачем? Он и сам с полной ясностью не представлял себе.

Ему хотелось бы поговорить с сапожником. Он вытащил пачку биди — дешевых сигарет, пользующихся такой любовью у простого

народа. (Фабричная сигарета — это продукт цивилизации, она создает преграды, а биди, четыре штуки за пайсу, помогает устанавливать контакты.) Сапожник не сразу решился принять угощение, но хиппи сказал: «Бери, не стесняйся, хороший сорт, с попугаем на обложке, вот попробуй...» И выудил спички со дна рюкзака. Они покурили молча, пряный лиственный дымок струился, извиваясь у них над головами. Из-за угла на перекресток выкатывались авторикши и велосипедисты. Прошел, толкая перед собой тележку, продавец мороженого, гудя в резиновый гудок для привлечения покупателей — детей, которые с минуты на минуту должны были высыпать из дверей школы. Желая как-то завязать разговор, хиппи сказал:

— На тебя сыплется цветочный дождь,— и кивнул на желтоватые цветки, летевшие с дерева за оградой.

Сапожник оглянулся через плечо, стряхнул лепестки со своей одежды и почистил ладонью тюрбан, который хоть и вылинял, но все-таки надежно защищал от солнца и дождя и придавал его облику даже какое-то величие. Хиппи повторил пространнее:

— Ты благословен, раз на тебя целыми днями сыплется цветочный дождь.

Сапожник поднял на него глаза и ответил:

— Разве я могу есть эти цветы? Или отнести домои и отдать моей старухе, чтобы положила варить в кухонный горшок? Наслаждаться цветами на сытый желудок — это другое дело. Боги на небесах могут себе позволить подобное удовольствие, но оно не для таких, как я.

— Ты веруешь в Бога? — спросил хиппи.

Сапожник удивился. О чем тут спрашивать? Может быть, таинственный заказчик испытывает его? Надо ответить ему поосмотрительнее. Сапожник кивнул в сторону храма и недоуменно воздел кверху руку.

— Просто Он нас иногда не замечает. Оно и понятно. Представляешь, сколько у Него забот? — И сам задумался, воображая Бога, которого отвлекают и тянут в разные стороны тысячи назойливых молитв. Потом добавил: — Взять, к примеру, нашего набольшего начальника — председателя городской палаты, может он принять всех желающих и каждого выслушать и выполнить каждую просьбу? Ну а если до смертного начальника так трудно добраться, до Бога и подавно. Ему о чем только не приходится думать...— Он обвел руками небесный свод от горизонта до горизонта. Хиппи сразу исполнился сознанием грандиозности Божьего замысла и безмерности Его чертогов. А сапожник продолжал:

— Ему даже спать нельзя. Пандит в нашем храме рассказывал, что боги ни на миг не смыкают вежды. Оно и понятно. Он мигнет, а за это время сколько всего дурного может случиться. Планеты собьются с пути и налетят одна на другую, небеса начнут изрыгать на землю серное пламя, а то, глядишь, демоны вырвутся на свободу и пожрут род человеческий. Вот ужас-то какой! — Хиппи содрогнулся перед видением бед, которые могут стрястись за то мгновение, пока божество мигнет одним глазом. А сапожник заключил так:— Я воссылаю к Богу молитвы каждый день и каждый час. Глядишь, Он немного освободится и тогда меня услышит. А покуда приходится терпеть.

— А что, что терпеть? — с жадным любопытством спросил хиппи.

— Земное существование. Я ведь молю Его забрать меня отсюда. Но еще настанет и мой час. Непременно настанет.

— Как? — удивился хиппи.— Разве ты не рад, что живешь на свете?

— Я тебя не понимаю,— ответил сапожник и, заметив непорядок

в обуви прохожего, крикнул: — Эй! У тебя пряжка отрывается! Слышишь? Остановись, кому говорю!

Ноги, принадлежавшие студенту, замешкались было, но все-таки прошли мимо. Сапожник презрительно всплеснул руками.

— Вон! Видел, до чего молодежь дошла? Им горя мало. Расточительство, говорю тебе. Пряжка отвалится, не успеет он и до дому дойти. И тогда он скинет эти сандалии и купит новую пару.— Сапожник вздохнул и продолжал: — Да, странные обычаи у нынешней молодежи. Ему бы стоило пять пайс, и мог бы проносить еще целый год.— Он указал на несколько пар сандалий, расставленных в ряд на куске мешковины.— Это все я подобрал на улице, такие же вот парнишки повыбрасывали. Бывает, тут возле школы их полно валяется. Нет чтобы домой отнести, лень им или они считают, что стыдно нести сандалию в руках. Тут не все парные, бывают и разного цвета, но я их подрезаю и окрашиваю одинаково, и получаются пары.— Сапожник с гордостью показывал произведения своего искусства.— Если набраться терпения, то рано или поздно Бог непременно пришлет покупателя, кого-нибудь, кто понимает свою выгоду. А я сколько ни выручу за них, все ладно.

— И кто же их у тебя покупает?

— Да мало ли. Обычно когда строительство идет, кто должен стоять на бетоне, старается все же ноги обуть. А мне надо так ли эдак ли, а заработать в день самое малое пять рупий, чтобы купить муки или риса по дороге домой. У меня дома два рта голодных. Какие времена пошли, а? Не хватает денег два раза поесть. Даже листья бетеля идут теперь по два за пайсу, а бывало, продавали двадцать. Моя жена не может без этого, ей лучше не есть, чем не жевать бетель. Бог карает нас в этой жизни. Верно, в прошлом рождении я был процентщиком, пил соки из бедных, или же лавочником, вот которые спекулируют рисом, наживаются на голодных,— и теперь, покуда не расплачусь за все, Бог не отпустит меня отсюда. Приходится быть терпеливым.

— А кем бы ты хотел быть в следующем рождении?

Сапожнику опять подумалось: уж не Бог ли его собеседник или, может быть, посланец Божий? Выслушав вопрос, он тщательно обдумал ответ и сказал так:

— Я не хочу снова родиться. Меня могут отправить в ад, а я в ад не хочу.

Он объяснил, как представляет себе тот свет: там восседает всемогущий счетовод и подбивает баланс на каждого человека.

— Что же ты такого сделал? — спросил хиппи.

У сапожника снова мелькнуло подозрение: а вдруг это его допрашивает Бог?

— Когда пьешь, то бывает, и не помнишь, что творишь,— ответил он.— Теперь-то руки-ноги мои слабы, но в молодые годы могло статься, что человек даже поджег ночью хижину соседа, в которой спали дети. Ссора до чего не может довести. Сосед присвоил мои деньги, угрожал моей жене, и она потеряла глаз в потасовке, когда я побил ее из подозрения. В то время у нас деньги все же водились, да и на рупию продавали целых три бутылки пальмового вина. У меня и сын был, после его смерти я стал другим человеком. Теперь мы воспитываем его ребенка.

— Я не хочу задавать вопросов,— сказал хиппи.— Я тоже поджигал, испепелял целые деревни, пролетая над домами, и губил людей, которых не знал и не видел.

Сапожник с изумлением поднял на него глаза.

— Как? Когда? Где?

Хиппи ответил:

— В другой жизни, в другом рождении. Как ты думаешь, что меня ждет в будущем?

Сапожник пробормотал:

— Если бы ты мог подождать, пока придет священнослужитель этого храма... Он мудрец, он бы нам разъяснил...

Хиппи продолжал:

— Ты хоть был сердит на того, чью хижину сжег. А я даже не знал тех, чьи дома уничтожал. Я и не видел их.

— Тогда почему? Зачем? — Но, поняв, что собеседник не склонен отвечать, сапожник только вздохнул: — Будь сейчас старые времена, мы бы пошли с тобой вместе куда-нибудь, выпили и закусили.

— В другой раз,— проговорил хиппи и встал. Он сунул ноги в сандалии.— Я приду еще,— сказал он, хотя понятия не имел, куда направит путь и где будет ночевать в следующую ночь Он отдал за работу двадцать пять пайс, как договорились. А потом вытащил из рюкзака и протянул сапожнику серебряную статуэтку.— На-ка, вот еще тебе...

Сапожник осмотрел статуэтку и воскликнул:

— О, это же богиня Дурга, она бы хранила тебя в пути. Ты что же, украл ее?

Хиппи удовлетворенно подумал, что, значит, на добропорядочного человека он уже совсем не похож. Он ответил:

— Может быть, украл тот, кто мне ее подарил.

— Оставь ее себе, она будет тебя охранять,— сказал сапожник, возвращая серебряную фигурку И когда хиппи ушел, он подумал, глядя ему вслед: «Вот ведь как, даже боги крадут, если что плохо лежит».

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

Тот кегельбан над Тибром

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

Перед нами труд выдающегося режиссера, человека, который сыграл и продолжает играть огромную, неоценимую роль в современном кинематографическом искусстве.

Очень сложно подыскать слова для определения жанра этого труда. Здесь и дневниковая запись, и короткое — всего в несколько строчек — наблюдение, и небольшая новелла, и маленькое, но емкое эссе. Поражает щедрость изобразительной палитры художника, обилие наблюдений, остающихся загадкой даже после того, как они высказаны; сюжетов, которые могли бы лечь в основу десятка фильмов, но так и остались на бумаге.

Антониони часто снимает фильмы по своим собственным сценариям, и это сочетание двух в общем-то разных профессий — литератора и кинорежиссера — придает особый характер его прозе. Прежде всего она отражает незаурядную индивидуальность автора. В этих заметках мы открываем для себя его взгляд на мир, его мироощущение: обретя жизнь на пленке, они становятся фактом, имя которому — кинематограф Антониони. Автор таких удивительных картин, как «Блоу-ап», «Затмение», «Забриски-Пойнт», пытается взглядом художника проникнуть в психологические отношения, связывающие людей, постичь тончайшие нюансы этих отношений.

В одной из своих новелл Антониони пишет: «Мне всегда хотелось сделать фильм о потоке чувств, который один человек может передать другому и который этот другой проносит в себе... через годы».

Есть у прозы Антониони еще одно качество: она — свидетельство скромности, присущей истинному художнику, в ней отчетливо ощущается творческая одержимость режиссера, его неудовлетворенность сделанным и неизбывная тяга к новому — к новым планам, к новым открытиям. Литературные наброски Антониони завораживают нас необычными поворотами сюжета и темы, но похоже, что сам он не дорожит своими оригинальными наблюдениями и открытиями, бросая тот или иной сюжет, ту или

© 1983, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ — MICHELANGELO ANTONIONI (род. в 1912 г.) Итальянский кинорежиссер, литератор художник М Антониони удостоен призов многих международных кинофестивалей Его первый художественный фильм «Хроника одной любви» вышел в 1950 г Широкую известность принесли Антониони фильмы «Крик» (на советском экране шел под названием «Отчаяние»), «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» («ИЛ», 1967, № 3), «Крупным планом», «Забриски-Поинт» («ИЛ», 1972, № 2), «Профессия: репортер».
Книга «Тот кегельбан над Тибром» вышла в Турине в 1983 г. («Quel bowling sul Tevere Torino, Einaudi, 1983).

иную ситуацию в самый захватывающий момент. Антониони меньше всего озабочен острой интригой и огромное значение придает жизненному факту. Его необычайно волнует история факта, его рождение, закономерное и неожиданное, и вообще — факт как повод для игры воображения. Вот почему, мне кажется, вымысел режиссера и писателя Антониони и обретает покоряющую нас жизненную достоверность.

Отсюда же и его интерес к невидимой стороне отношений между людьми. Даже беря самые банальные человеческие связи и отношения, он умеет показать их неожиданный взрыв и находит для этого такую же взрывную форму, вытекающую из его тончайших психологических наблюдений. Пафос (быть может и неосознанный) этих литературных опытов Антониони — в непримиримой борьбе со стереотипом не только в конечном результате, но и в самом процессе творчества. Отрицая стереотип и банальность, Антониони ищет новое не во внешнем, событийном ряду, не в придумывании сногсшибательной интриги, а, повторяю, во внутренней, психологической жизни людей, часто зависящих друг от друга больше, чем им самим бы хотелось...

Борьба со стереотипом в области человеческих отношений мне представляется самой интересной чертой, самым увлекательным моментом в книге Антониони. Эта же особенность Антониони как художника с особой силой проявляется в его фильмах. Многие из его набросков и заметок имеют непосредственное отношение к фильмам, известным всему миру; некоторые, хочется верить, еще найдут свое воплощение в его новых картинах, а некоторые просто останутся в нашей памяти как пример блестящей художественной прозы Антониони. Мы как бы заглядываем в духовную лабораторию и кинорежиссера и писателя одновременно. И не можем не оценить пронзительную искренность художника, который столь доверительно делится с нами своими чувствами, замыслами, наблюдениями и самыми интимными ходами своего незаурядного воображения. Мы видим, как резко отличаются эти заметки Антониони от размышлений о кинематографе и о своей профессии другого выдающегося итальянского режиссера, Федерико Феллини, стихия которого — свобода воображения, раскованность фантазии, импровизация[1]. Два крупных современных художника идут в творчестве каждый своим путем. Но после того, как мы заглянули в литературную лабораторию Антониони, нам стало ясно, что его творческий путь ведет в кино через литературу — и не только потому, что он чаще всего сам бывает автором своих сценариев, а потому еще, что весь строй его режиссерского мышления рождается из литературы.

Как важно, как интересно иногда заглянуть в творческую лабораторию художника и открыть для себя тот импульс, который им движет и оказывается порой таким неожиданным, таким непредсказуемым. Я вспоминаю эпизод из записок А. И. Куприна. Он не имеет отношения к Антониони, но, по-моему, уместен здесь как пример неожиданности и парадоксальности возникновения импульса к творчеству. Я имею в виду воспоминания Куприна о его встрече с больным Чеховым в Ялте. В дом Чеховых явилась одна почтенная дама, которую Чехов знал как отъявленную графоманку и не очень хотел видеть, тем более что был нездоров. Но по мягкости характера своего он все же ее принял. Тяжелое свидание тянулось несколько часов, а когда непрошеная гостья ушла, писатель как-то очень горько сказал сестре: «Зачем ты ее ко мне пустила?» Встревоженные этой историей, в тягостном настроении все разошлись спать, но окно кабинета А. П. Чехова, видел Куприн, светилось всю ночь. А утром, после завтрака, Антон Павлович прочел один из самых смешных своих рассказов. Он назывался «Драма». Неприятный житейский факт в воображении писателя вдруг обернулся такой смешной, комедийной стороной, что буквально потряс всех парадоксальностью обратного импульса, приведшего к столь неожиданному творческому результату.

Я вспомнил этот случай, чтобы показать, как важно выявление творческого импульса для постижения индивидуальности, личности художника.

Огромную, я бы сказал — даже таинственную роль Антониони в своем творчестве отводит природе. У него пейзаж — не просто аккомпанемент событиям. Это некая сила, часто враждебная человеку, иногда равнодушная и даже зловещая в своей красоте равнодушия. Самые страшные события происходят на фоне прекрасной природы, проявления которой бывают у него порой гипертрофированы. В новелле «Горизонт событий» трагическая гибель людей в авиационной катастрофе занимает не больше места, чем описание неба, грозовых туч и даже космоса. Человеку не дано постичь природу, ему не справиться с этим... Мне кажется, что слепая природа и общество, в котором живет художник, для него часто идентичны.

Неожиданный зигзаг в отношениях героев иногда гармонирует с окружающим, иногда резко контрастирует с ним, но всегда крупно подчеркнут у Антониони изменением цвета, света, шумов. Вокруг людей создается какая-то особая атмосфера, разреженная, что ли, в которой с особой остротой ощущаются неожиданные для зрителя или читателя повороты событий, душевные перемены, взрывы, падения. И, повторяю, неожиданности эти лежат не в сюжетных ходах, не в «закрученной» интриге, а в тех движениях души, которые художник улавливает с удивительной точностью и передает с удивительной правдивостью.

Связь литературных новелл и эссе с фильмами у Антониони почти никогда не бывает прямой: он не склонен к декларациям. Но в одной из новелл он твердо заявляет, что не любит в кинематографе откровенной жестокости. И тут я вспомнил картину Антониони «Профессия: репортер», где центральное событие — убийство — показано через отраженный мир. Убийство готовится, назревает, и вдруг — какая-то глухая стена во дворе, вдоль стены бежит дворняга, сидит какой-то старик, раскуриваю-

[1] Книгу Ф. Феллини «Делать фильм» см. в «ИЛ» № 9—11 за 1981 г.

щий трубку, проходит случайный человек, не играющий никакой роли в сюжете. И все это показывается достаточно долго и подробно. А напряжение фильма во время этого эпизода все нарастает. После него мы возвращаемся в комнату, где только что совершилась трагедия, и видим результат убийства. Главная сцена фильма построена с удивительным мастерством, но это понимаешь уже потом, по окончании фильма.

В книге Антониони можно обнаружить корни таких режиссерских решений. Режиссер, став литератором, как бы вместе с нами размышляет над «природой вещей», не поучая, не резонируя, а щедро и по-дружески раскрывая перед нами «запасники» своей творческой лаборатории. Думаю, что прочитать это произведение Антониони будет интересно не только профессионалам, писателям или режиссерам, но каждому, кто по-настоящему интересуется искусством и стремится проникнуть в суть творческого процесса.

ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ

Если бы даже совсем оставались мне неизвестны
Первоначала вещей, и тогда по небесным явленьям,
Как и по многим другим, я дерзнул бы считать достоверным,
Что не для нас и отнюдь не божественной создана волей
Эта природа вещей: столь много в ней всяких пороков

Лукреций. «О природе вещей», кн. V, 195—199[1]

Горизонт событий

Несколько лет тому назад, ноябрьским утром, я пролетал над советской Средней Азией. Глядя на безбрежную пустыню, простиравшуюся на востоке до самого Аральского моря, белесого и неподвижного, я думал о «Воздушном змее» — фильме, который мы хотели снимать в этих местах весной. Сказка, совершенно неведомый мне мир, потому, наверное, он меня и привлек. И вот, когда я раздумывал над этой сказкой и уже видел, как она послушно накладывается на проплывающий внизу пейзаж, мысли вдруг унесли меня далеко-далеко. Так всегда. Стоит мне приняться за какой-нибудь фильм, как в голову приходит совсем другое.

Идея этой другой картины связана с одним моим полетом над Италией — в маленьком самолете в ненастный день. Огромные тучи, дождь, ветер. Ветер тугой и непрерывный, такой же серый, как тучи, стремительно проносящейся за иллюминатором. Самолет резко встряхивает, швыряет то вверх, то вниз. К опасности тоже можно привыкнуть — нужно лишь немного терпения. Вдруг тучи внезапно замирают, ощущение такое, будто самолет падает. А его, оказывается, наоборот, подбросило вверх, туда, где только что полыхнула молния. Раньше интенсивность серого цвета определялась плотностью облаков, а теперь — разрывающими их вспышками молний.

Мы проходим через пять гроз. После приземления я узнаю, что во время четвертой разбился какой-то туристский самолет. Погибли все. А было на борту шесть пассажиров и пилот.

Предприниматель в области химического производства и его жена.

В свое время он даже окончил химический факультет, но почти все перезабыл. Женился по любви, или, как он сам говорил: «Ошибся по любви». «Ты только представь, что было бы,— поддразнивал он жену,— если бы у нас появились дети, такие же чужие нам, как мы с тобой — друг другу». Перед отъездом они поссорились. Муж ушел, хлопнув дверью. В комнате стало тихо. И в этой тишине жена с ужасом подумала, что на протяжении всей ссоры она бессознательно копировала его движения.

Писатель. Прошел курс быстрого чтения. Двести строк в минуту. А вот писал страшно медленно. Без конца исправлял и перечитывал написанное. Перечитывал и уже опубликованные свои книги — каждый раз с новой надеждой, но с неизменным разочарованием ставил их обратно в шкаф. Он преклонялся перед реальной действительностью, однако в процессе творчества всякое сходство между реальностью и ее литературным отображением у него утрачивалось. И потому он занимался им все реже. А вот чтение так и осталось его страстью. Когда разразился энергетический кризис, он читал вечерами у окна, при свете уличных фонарей. В полночь каждый

[1] Перевод с латинского Ф. А. Петровского. М., Академия наук СССР, 1958 *(Здесь и далее прим. перев.)*

второй фонарь гасили. Его фонарь был как раз из тех — вторых, и чтение приходилось прекращать. С предпринимателем и его женой он познакомился, уже будучи известным. И сразу же послал жене предпринимателя один из своих романов. После того они больше не виделись, и она ни разу не дала о себе знать, не позвонила. Он был удивлен и польщен, когда его пригласили в путешествие: уж не она ли об этом позаботилась? Но в аэропорту с первого же взгляда он понял, что ошибся и что к роману она даже не прикоснулась. Чтобы смягчить горечь обиды, он замаскировал ее некоторой развязностью. Но надолго его не хватило. Поднимаясь по трапу в самолет, он заметил в ее сумке роман другого писателя. Он счел это такой бестактностью, что решил занять место в хвосте самолета, подальше от нее. К тому же, подумал он, сидеть в хвосте безопаснее.

Любовница писателя. Помешана на своей фигуре и проблеме смерти. Недавно она написала одному известному французскому биологу и попросила объяснить ей tout court [1], что такое смерть. «Смерть — это одно из статистических допущений,— ответил биолог.— С уважением и проч...» «Не похоже, чтобы такой ответ пошел ей на пользу»,— подумал писатель. Лично его эта проблема совершенно не интересовала. И он сказал ей, что о таких вещах лучше вообще не думать. Она же, кладя в сумку свою записную книжку, окинула его презрительным взглядом: слишком просто — рассуждать о смерти только для того, чтобы советовать поменьше о ней думать. Разговор этот произошел, когда они направлялись из дому в аэропорт. На первой странице ее блокнота было написано: «Прошу переслать...», а дальше шли адрес и имя владелицы. Блокнот ведь может потеряться. Его-то как раз и нашли — целым и сохранным — среди красного клевера, с этим никому теперь не нужным и старательно выведенным печатными буквами адресом.

Сорокалетний экс-депутат парламента. Вызванный в качестве свидетеля по какому-то делу, он за несколько часов до отлета прямо с чемоданом отправился в суд. Судили одного молодого человека, убившего из ревности свою жену. Молодой человек утверждал, будто жена призналась ему, что имеет любовника и любовник этот — бывший депутат. Депутат все отрицал. Обвиняемого приговорили к двадцати шести годам тюремного заключения. Самому ему тоже двадцать шесть, значит, из тюрьмы он выйдет в пятьдесят два.

Услышав приговор, бывший депутат ощутил прилив жалости и острое чувство вины. Но потом вспомнил об убитой женщине, расчувствовался и перенес эту жалость на нее. Он был мягок по натуре. И всегда сохранял самые лучшие воспоминания о женщинах, отвергнувших его.

Дама средних лет, незамужняя, с привлекательной внешностью. Только что она возвратилась с ростовской (СССР) ярмарки, где купила себе двухлетку буденновской породы. Выложила сто восемьдесят тысяч долларов. Накануне путешествия с друзьями некстати напомнившая о себе гипертония вынудила ее обратиться к врачу. Врач прописал какое-то слабительное. Слабительное? «Как ни странно,— объяснил врач,— но даже вполне банальное слабительное может привести нас в состояние умиротворения, расслабленности и спокойной медитации, укротить нашу привычную агрессивность». Удивительное дело — заверение врача принесло ей желанный покой еще до приема слабительного. Но, рассказывая об этом по телефону бывшему депутату, она из-за одной его фразы почувствовала, как кровяное давление у нее снова начинает повышаться. «Положитесь на науку,— посоветовал он,— хорошо бы вам завтра не быть агрессивной: я хочу сделать вам одно предложение». Какое? — едва не воскликнула она взволнованно. Но удержалась и ничего не спросила. Опустив руку с зажатой в ней трубкой, она слушала на другом конце провода его голос: алло, алло, алло..

Пилот. Человек со сложным характером, вечно сомневающийся, вечно настороженный. Едва проснувшись, он уже испытывает недовольство самим собой. Когда

[1] Здесь: в двух словах *(франц.)*.

прислуга приносит ему газеты, он яростно набрасывается на них и прочитывает от первой до последней строчки. Потом звонит кому-нибудь, чтобы обсудить прочитанное. Если собеседник с ним не согласен, осыпает его оскорблениями. Когда же с ним соглашаются, чувствует себя опустошенным.

В день отлета он, как ни странно, спокоен. Разговаривает по телефону с женщиной. После разговора отправляется в аэропорт.

Обратить внимание на то, как он бодро здоровается с какой-то дамой в трауре.

Катастрофа произошла на высоте 1742 метров над уровнем моря. Море виднеется вдали, в проеме между темными скалистыми горами, но пастухи, бредущие по своим тропам, редко останавливаются, чтобы посмотреть на него. А если и останавливаются, то поближе к закату, потому что закат как бы подводит черту под их трудовыми днями. Все они живут на расстоянии ружейного выстрела от места, где упал самолет. Пастухов здесь *сотни две или три — точно никто не считал*. И еще пара карабинеров да священник.

Когда священник прибывает к месту происшествия, по-прежнему дует сильный ветер. Один из полицейских уже на месте, но не знает, что делать. Не знает и священник. За отсутствием на плато врача ему самому приходится лечить раненых и больных во всей округе. Но сейчас тут одни лишь обезображенные до неузнаваемости и разметанные по траве останки. «Что ж, позаботимся хотя бы о душах»,— думает священник. И начинает молиться. Приходят из деревни и другие — надо же посмотреть. Бесплатное зрелище смерти притягивает. Но здесь и смотреть не на что — обгоревший остов самолета, какие-то ошметки человеческих тел, взрытая земля — пилот, очевидно, пытался посадить машину на поле. Поглядев и перекинувшись парой фраз — люди в этих краях молчаливые,— все уходят. Священник тоже куда-то исчезает. *Полицейский остается один.*

Этого паренька, как и сегодняшние грозы, занесло сюда с севера. Он тоже охотно ушел бы, если бы не смутное чувство долга и не этот промытый, свежий ветер, такой родной и облегчающий тяготы службы.

Катастрофа произвела на него глубокое и смутное впечатление.

Смутное, потому что у него нет никаких данных. Сколько людей погибло? Кто они? А главное, где они? Поблизости от остова самолета нет почти ничего, ясно, что машина взорвалась, едва прикоснувшись к земле, и всех, кто там находился, разбросало силой взрыва в разные стороны. Но и дальше, в радиусе примерно шестидесяти метров, тоже вроде бы ничего не видно. Может, кроме пилота, в самолете никого не было? Но это предположение сразу же отпадает. Обследуя местность, полицейский вдруг замечает что-то яркое, клочки женского платья. А рядом, в кустике красного клевера, виднеется маленькая записная книжка. Он берет ее в руки, читает надпись, сделанную печатными буквами. Листает странички. Вот помеченная тем же числом и несколько раз подчеркнутая фраза: «В котором часу?» Слова бегут через страничку наискосок, почерк нервный, уж не кроется ли за этим какое-то мрачное предчувствие?

Но подобная мысль вряд ли приходит в голову полицейскому. Большее впечатление на него производит то, что у одного из погибших есть теперь имя, и притом женское. Перед его мысленным взором проходит ряд женских лиц, которые он как бы примеряет к этому имени одно за другим. На каком-то из них, по-видимому заимствованном из иллюстрированного журнала, полицейский останавливается и тем самым кладет конец веренице портретов.

Заканчиваются и его поиски. Погибших все равно не найти — одни куски, мешанина из человеческой плоти. Вот только два пальца в конце луга, в той стороне, где море... Два пальца на обрывке кисти удивительно чистой мужской руки продолжают сжимать белую пластмассовую кофейную ложечку. Они чуть согнуты и держат ложечку так, как ее обычно держат, что-нибудь помешивая. Но вместо чашки под ними лужица крови, словно в данной ситуации мешать ложечкой кровь естественнее, логичнее, чем кофе. И эта «логичность» композиции, ее обыденность леденят душу. Полицейский отводит глаза от земли и смотрит на лес.

Плато окружено лесами — ярко-зелеными во все времена года. Зеленый цвет, лишь слегка смягченный коричневатым оттенком стволов и чернотой теней, буйствует всюду, не распространяясь лишь на седловину, за которой виднеется море,— в этом месте краски переменчивы. Здесь зелень может быть и нежной, и крикливо-

яркой или мрачной, как сейчас, например. В общем, картина перед нами такая: в небе убегающие тучи, а на земле — разбившийся самолет и смерть. Страшное место. Крошечный кусочек безымянной земли, на котором продолжается бесконечная игра людям понять ее не дано

Теперь их уже двое. Второй появился вблизи неожиданно и стоит там, где начинается лес. Они разного возраста, разной культуры, разного воспитания. Первый — в форме карабинера, второй — в штатском.

В кадре (снятом, возможно, сверху, под небольшим углом) первый стоит слева, почти спиной к зрителю, второй — справа, почти анфас. Оба неподвижны, погружены в свои мысли. Они глядят на одни и те же навсегда успокоившиеся и такие грустные вещи, и у обоих в голове мелькает одна и та же мысль, хотя формулируют они ее поразному: почему события обернулись для этих людей именно таким образом? Все видят смерть одинаковой. Но тождество это длится ровно столько, сколько сам взгляд: от первого же жеста оно разрушается. Заметив, что он больше не один, полицейский подходит к незнакомцу и спрашивает: «Вы не родственник?» — «Нет»,— отвечает тот. В его голосе звучит такая твердость, что полицейский не знает, что сказать еще. Так бывает, когда он разговаривает с начальством, слова которого всегда исчерпывающи. Впрочем, что тут скажешь? И вообще, что ему делать? Начальству он сообщил, пусть оно и решает. Ему только приказали, в случае если родственники вдруг явятся раньше, не подпускать их к останкам и не позволять ничего трогать, чтобы не затруднять расследование. Но этот человек подобных намерений вроде бы не выказывает. Ходит себе взад-вперед и смотрит. Смотреть не запрещено.

То, что это были люди богатые, он может заключить по оказавшимся чуть ли не у самого леса остаткам сумки: крокодиловая кожа мелкого рисунка на замшевой подкладке, тусклая медная пряжка... и еще эти два пальца мужской руки, как они сжимают ложечку, какие на них ухоженные ногти. Глаз у полицейского уже наметанный, детали говорят ему о многом. Когда-то один дворник научил его отличать мусор из бедняцких кварталов от мусора из кварталов аристократических. Серебряные обертки от шоколадных конфет, кожура ананаса, увядшие гортензии, этикетки от минеральной воды «Санджемини» и от французского коньяка, капустные листья... в мусоре бедняков ничего этого не найдешь. У бедняков капустные листья идут в пищу.

Кем были эти богатые люди, он сможет узнать лишь завтра, когда сюда понаедут следователи, родственники, журналисты, просто любопытные.

Пока еще не время оказывать должное внимание фактической стороне дела. Для меня, повторяю, это лишь первые наброски, и на данном этапе мне нужно уяснить самому себе, о чем, собственно, я собираюсь рассказать. Такой подход к теме может показаться эпистемологическим, но ведь суть вещей затемняется не только в физике (из-за принципа относительности и непостоянства квантов), а в повседневной жизни тоже. Перед нами неизвестность. Не зря математики, привыкшие все называть своими именами, обозначают ее буквой X. X — это неизвестное. Поскольку я стараюсь определить X фильма, о котором сейчас рассказываю, мне следует сосредоточиться на мыслях человека, явившегося туда последним. Эти мысли приходят к нему в момент, когда, устав думать о мертвых, он начинает размышлять о живых, о полицейском, о себе самом, обо всех, кто собрался на плато.

По служебным делам этому человеку довелось последнее время часто встречаться с физиками, астрономами, астрофизиками, космологами. Он слышал рассуждения о галактических приливах, об абсолютных величинах, солнечном ветре, пульсарах, квазарах, абсолютной множественности, космической радиации, межзвездной пыли и, конечно же, о черных дырах. Обо всех этих невидимых нашему глазу вещах, которые искривляют пространство и сжимают время, об обрывках первичной материи, замкнутых энергетическим полем, из которого не может вырваться ни одно тело, пока его скорость не превзойдет недостижимую скорость света. Но больше всего его поразило определение этого поля, этого неодолимого предела: «горизонт событий» [1].

Его потрясла мысль, что одним и тем же термином определяются и события космического масштаба, часто недоступные наблюдению, хотя и укладывающиеся в основную систему физических гипотез, и события совершенно иного порядка, такие, напри-

[1] Горизонт событий — замкнутая поверхность, ограничивающая область вокруг черной дыры, в пределах которой силы гравитации столь велики, что никакие сигналы не могут выйти из-под этой поверхности и достичь далекого наблюдателя.

мер, как стечение обстоятельств, в силу которых все эти люди — и живые и мертвые — оказались именно здесь, а не в другом месте. Пастухи, привлеченные зрелищем чужого горя. Карабинеры, доставленные из города сержантом, чтобы придать какую-то видимость порядка происходящему. Пара журналистов, присланных посмотреть, не оказалось ли среди погибших какой-нибудь персоны, заслуживающей внимания прессы. И еще ему странно, что горизонтом именуется не только кривая, образуемая этим лесом, горами и морем, но и линия, отделяющая наш мир от гравитационного поля черной дыры, как бы вычлененной из всего остального мира. И что она может быть вовсе даже не дырой и не черной, а огненным сгустком величиной с атом.

Поразительные вещи читал он об этом. И теперь не без иронии вспоминает о них, сопоставляя с происходящим. Вот и пассажиры из разбившегося самолета оказались пленниками пространства, очерченного горизонтом их маленьких событий, и соскользнули навстречу смерти. Кто-то сказал, что астрономия — это история расширяющихся горизонтов. Но горизонт человеческой жизни остается неизменным.

Поглощенный этими мыслями, он не заметил, как подошли журналисты. Они не знают, кто он и зачем явился сюда, и хотели бы задать ему несколько вопросов. Задавайте, говорит он, вновь призывая себе на помощь иронию. Ему кажется, что в данный момент это единственный способ справиться с волнением. Освещение ему тоже помогает. Набухшие тучи отбрасывают мрачную тень на спектакль, разыгрывающийся перед его глазами. «Какая банальная постановка»,— думает он. Продолжая полусерьезно отвечать на вопросы, он обводит глазами все вокруг, потом смотрит вверх, на тучи. За тучи.

На высоте семи-восьми тысяч метров небо всегда чистое. Потом голубизна кончается, начинается синева, которая делается все гуще и гуще. А на высоте двух сотен километров небо уже черное. Звезды, галактики, туманности, радиогалактики, удаленные от нас на миллиарды световых лет, газ и звездная пыль заполняют его почти полностью. И все это с бешеной скоростью несется от нас прочь. Впрочем, не только от нас, поскольку действие центробежных сил носит изотропный характер. Если это движение продолжится до бесконечности, значит, и вселенная бесконечна, открыта. Если же наступит момент, когда оно прекратится и изменит направление, можно будет сказать, что она замкнута, что у нее есть свои границы. То есть что и у вселенной есть свой горизонт событий. С той особенностью, что он — последний, что он — горизонт горизонтов, за которым нет уже никаких других событий, ничего больше нет.

Кто-то сказал: если человеку дано выйти за рамки того, что он способен постичь, зачем же тогда небо?

Антарктида

Льды Антарктиды смещаются, приближаясь к нам со скоростью три миллиметра в год. Подсчитать, когда они доберутся до нас. Предугадать в фильме, что из этого выйдет.

Молчание

Сначала диалог. Короткий. Из него становится очевидным полный крах отношений, который оба скрывали годами.

Привычное смирение, привычная боль. Но теперь, когда чисто случайно они затронули то, что накопилось в душе, женщина хочет разобраться во всем до конца.

— Согласись, что пора поставить точку. Тогда все прояснится, и мы будем знать, что делать дальше. Главное — знать, чего мы хотим. Разве не так? Ну скажи, разве не так?

Мужчина молча кивает. Замолкает и она. Теперь, когда все ясно, теперь, когда они искренни, им больше нечего сказать друг другу.

Это история о супругах, которым нечего больше сказать друг другу. Зафиксировать хоть раз не диалоги, а вот это молчание. Эти невысказанные слова. Показать, что молчание — это тоже слова, но с противоположным знаком.

Тело, слепленное из грязи

Из книг, которые я дал кому-то почитать и которые мне не вернули, одну мне особенно хотелось бы получить обратно. Своей белой обложкой и черным заголовком она напоминала могильную плиту. Сходство усугублялось еще и самим заголовком, звучавшим, как античный эпиграф: «Мои услады». Это был дневник одной монахини — затворницы из ордена кармелиток, американки. Проблемы аскетизма меня совершенно не интересуют. Чего не могу сказать об иррациональном. Думаю, что один только разум объяснить реальную действительность не в состоянии. Так же, как он не в состоянии объяснить явление затворничества.

Я сумел уговорить одного влиятельного священника помочь мне проникнуть в монастырь затворниц под видом каменщика. Провести несколько дней в этих стенах, проникнуться атмосферой, в которой жили женщины, отрешившиеся от мира,— первое, что, по-моему, было мне необходимо.

Священник согласился и даже сам подыскал подходящее место — маленький монастырь в одном из городов нашего севера. Однако он был не согласен с расхожим представлением, будто монахини — это женщины, отрешившиеся от мира. Ему, человеку культурному, дилемма была очевидна: с одной стороны, все, что придает смысл нашему существованию, с другой — отрицание всего, что имеет какой-то смысл. И еще — глубокое презрение к нашим ценностям, нашим делам, нашим чувствам.

Монастыри затворниц, слышал я (и от моего священника, и от других),— это сообщества, главное для которых молитва, самопожертвование и любовь. Чтобы найти в этом триединстве ответ на вопрос о практической пользе их существования, необходимо постичь истинное значение самих терминов: молитва, самопожертвование, любовь. Сестры-затворницы как бы собирают моления мирян и превращают их в тему своей беседы с богом. Казалось бы, можно привести тысячу примеров полнейшей бесполезности жизни в условиях добровольной сегрегации и иллюзорности усилий, направленных на спасение мира и в то же время предполагающих полнейший отказ от этого самого мира. Однако с точки зрения религии полезность чего-либо измеряется не нашими представлениями о реальной действительности, о том, что полезно, а что нет. Какой ответ я могу получить у этих монахинь, если они добровольно дали обет не отвечать ни на какие вопросы?

Постичь их жизнь трудно не из-за строгости монастырского устава и не из-за того, как они этот устав блюдут. Трудность эту создаем мы сами, не пытаясь проникнуть в тайну их бытия, их обета.

В моих рассуждениях нет ничего нового, но я и не собираюсь углубляться в данную тему. Люди более авторитетные уже сделали это, и вообще подобная дискуссия могла бы завести весьма далеко. В Индию или еще дальше. Когда святая Тереза, являющаяся основательницей ордена кармелиток в том виде, в каком он практически сохранился с XVI века, рассказывает, что во время молитвенного экстаза ей кажется, будто тело расстается с душой, утрачивает свое естественное тепло и постепенно цепенеет, она, в сущности, говорит о том экстатическом состоянии, в которое погружаются индийские аскеты во время своих медитации. В общем похоже, что у этих восточных религий та же цель, что и у европейского мистицизма. Полный отказ от себя и слияние с богом. Психология, как замечает Юнг, таких проблем перед собой не ставит. Прекрасно. Не помню, кто сказал, что безумие сугубо индивидуально. А если безумны все, значит, все здоровы. Что ж, допустим. Меня-то главным образом интересовал чисто внешний, я бы даже сказал — визуальный аспект затворничества и, следовательно, устав ордена с его ригоризмом, доходящим до абсурда

Культа страданий и унижения, характеризовавшего жизнь затворниц в давние времена, теперь уже нет. Ни одна монахиня не станет больше погружать лицо в жидкий навоз или просить сестер, чтобы они протерли ей язык половой тряпкой. Затворничество тоже подвластно веяниям времени, и монахини теперь чувствуют себя такими же женщинами, как и все прочие. Я спросил об этом у одной из них. Она ответила: «Конечно, мы обыкновенные женщины. Девственницы, жены, матери — женщины, давшие обет... Дело ведь не только в плоти, но и в духе. Обычная мать физически производит на свет своего ребенка, а мать духовная, если она д е й с т в и т е л ь н о т а к о в а, дарит ему другой свет, никогда не меркнущий, божественный. Я знаю, для тебя все это пустые слова, но ты заблуждаешься. Существует чистая любовь, ничего не требующая для себя и направленная лишь на благо других. Непорочность и есть такая любовь».

Но некоторые очень суровые правила все же сохранились, несмотря на веяния времени. Например, ночные молитвы и великий пост перед пасхой. И если какая-нибудь монахиня испытывает потребность в самобичевании или хочет носить власяницу, ей это позволено. На основании того, что я читал и в чем убедился сам, посетив четырнадцать монастырей, где живут затворницы, у меня создалось впечатление, что даже к того рода дружеским отношениям, которые святая Тереза именовала «жалостями», если они не выходят за известные рамки, теперь относятся терпимо.

В прошлом веке тех, кто нарушал эти границы и, скажем, впадал в грех отступничества, сажали в карцер. Сегодня карцеров нет. В специальной литературе о таких случаях упоминается, но все они восходят лишь к 1500—1700 гг.

Системы наказаний больше не существует. Когда монахиня совершает ошибку, настоятельница старается образумить ее наставлениями, а если сестра упорствует в своей ошибке, настоятельница будет молиться за нее. И только. Иными словами, уповают в основном на любовь и милосердие. Этимология этого слова такова: miseris cor dare[1].

И вот еще какое правило сохранилось до сих пор — ни у одной из затворниц ни в одежде, ни в постельном белье не должно быть ничего цветного. И никаких личных вещей. Если мать настоятельница заметит, что та или иная сестра дорожит какой-нибудь вещью, она постарается отвлечь ее внимание от любимого предмета. В прежние времена монахиням запрещалось прикасаться — даже с самыми невинными помыслами — друг к другу или заходить в чужую келью. Устав требовал, чтобы каждая затворница пребывала в одиночестве. Нельзя было также грешить разговорами о том, чем кормили в трапезной. В одном из монастырей я приподнял салфетку, которой была прикрыта тарелка какой-то монахини, и увидел помидор, кусочек хлеба, ломтик лимона и яблоко. Этот монастырь славился суровостью устава, и одной из заповедей там было молчание: мысленную молитву предпочитали устной — даже голос не должен был звучать. Желать можно только страданий или смерти — так учила святая Тереза.

Это пространное предисловие мне понадобилось для обоснования одного эпизода, который описан в дневнике и с которого я хотел бы начать фильм. Обдумывая свою работу, я добавил немного своих красок, но сохранил аутентичность истории.

До сих пор удивляюсь, как это я мог увлечься такой темой. Наверное, на меня произвела очень сильное впечатление фраза, заключающая дневниковую запись. В сознании протагониста она образует просвет, позволяющий разглядеть глубины, из которых к нам поднимается не ощущение вечности, как полагают некоторые, а вполне земной образ. Сад, окруженный высоченной стеной, никому здесь не нужные цветы, бледные монахини, нередко больные, хотя и преисполненные радости, которую приносит вера в любовь господню.

А над ними — синее небо и солнце
Какая чудовищная насмешка

Ночь перед рождеством. Дождливая и наполненная запахами. Понятие «запах» некинематографично, но я убежден, что средствами кино можно передать и его.

В тот вечер солнце садится за скопившиеся на горизонте вполне невинные с виду облака. Но вскоре начинается дождь — косым пунктиром на фоне стен. Запах исходит от мокрой штукатурки и от асфальта.

По лестнице солидного дома спускается мужчина. Пересекает вестибюль, открывает дверь. Но не выходит. Стоит и смотрит на улицу, на небо. Он молод — лет тридцати с небольшим — и доволен прошедшим днем, полным жизни, бодрящим. Это был день воображаемых телеграмм, как сказал бы Фицджеральд. Даже шаги, раздавшиеся у него за спиной, воспринимаются как событие. Он оборачивается. Какая-то девушка улыбкой показывает, что ей надо пройти. Молодой человек отступает. Девушка выходит на тротуар и удаляется. Свободный плащ скрывает ее фигуру. Но нетрудно догадаться, что сложена она хорошо. Девушка удаляется широким, ровным шагом, беззвучно, как в немом кино. Когда она проходила мимо молодого человека, тот попытался перехватить ее взгляд, но безуспешно. Нельзя сказать, что она старалась не смотреть на него. Просто ее взгляд был обращен в другую сторону.

---

[1] Буквально: отдать сердце страждущим *(лат.)*.

С такой же простотой и естественностью она ведет себя и тогда, когда молодой человек догоняет ее,— не ускоряет шага, не выказывает никакого раздражения. Даже когда он, зайдя сбоку, пытается с ней заговорить. Если бы она сочла его поведение назойливым, одного ее взгляда было бы достаточно, чтобы он это понял. Но взгляда не последовало. Вот что любопытно: она вообще на него не смотрит. Словно ей не хочется прочесть по его лицу, что у него нет дурных намерений. Даже в этом не нуждается странная девушка. Впечатление такое, будто вся она излучает покой, граничащий с безразличием и передающийся от нее всему вокруг — воздуху, улице. Молодой человек уже не обращает внимания ни на дождь, ни на запахи. Между ними завязывается диалог. Такой же спокойный. На вопрос: «Куда вы идете?» она отвечает: «К мессе». «Который час?»—«Скоро полночь. Поторопимся?» Словно само собой разумеется, что молодой человек должен сопровождать ее.

В церкви народу не так уж много, но все равно там царит необычное оживление. В ожидании мессы люди переговариваются, смеются, издалека приветствуют знакомых, тянутся друг к другу. Бегают дети, ворчат старухи, снуют бронзовые от горного солнца лыжники. Звуковая дорожка — приглушенный гомон и несколько всплесков высоких нот, от которых может подпрыгнуть игла звукозаписывающего аппарата.

Девушка находит в сторонке свободную скамейку. Движением руки и коротким взглядом дает понять, что хочет остаться одна, и опускается на колени. В этом положении она остается на протяжении всей мессы.

Молодой человек в церковь не ходит. Да и вообще, не такой уж он верующий. Наблюдая за этой застывшей в молитве фигурой, он ждет, когда она пошевельнется. Ну оглянись. Малейший признак интереса был бы ему очень приятен. Но и его нет. Потеряв надежду, молодой человек отвлекается. Молящиеся, отправляющий службу священник, обветшалое и претенциозное убранство церкви, лишенные модуляций голоса хористов. И вдруг — тишина. Когда священник воздевает руки с облаткой и чашей, молодому человеку даже в голову не приходит опустить глаза. Разве облатку и чашу поднимают не для того, чтобы верующие благоговейно их созерцали? Так почему же на них не следует смотреть? Но не эти предметы завладевают его вниманием, а девушка, по-прежнему неподвижная. Ему начинает казаться, что сейчас она стала еще неподвижнее. И непостижимей. Какая-то пустая оболочка. Остался плащ, а тело исчезло. Тело слеплено из грязи — так сказано у святой Терезы. Может, она задерживает дыхание? Так долго? Он тоже пробует. Полминуты, минуту, полторы минуты. Больше не получается. Она мертва.

Но вид девушки, пребывающей в столь долгой прострации, разбередил его. Он чувствует, как кровь начинает пульсировать в венах. Такое с ним уже бывало, когда приходилось иметь дело с девушками, подзарядившимися наркотиками: то же стремление слиться с ними, отождествиться в них и через это слияние испытать странное удовлетворение от того, что ты существуешь. Своего рода блаженство без страсти, но необычайно сильное.

Воспоминания отвлекли его, а девушка тем временем исчезла. Скамья пуста. Молодой человек вскакивает, выходит из церкви. Кругом толпится народ, все очень оживлены, все спешат, всем хочется поскорее сесть за стол. Теперь бессмысленно ее искать. От тревоги, отчаяния теснит грудь. Он готов кусать себе локти. Что за дурак — вот так упустить ее. Даже имени не узнал. Зато знает, где она живет. И он бежит туда.

Девушку он видит в тот момент, когда она сворачивает за угол. Второй раз за эту ночь он догоняет ее, и она смеется. Глаза у нее блестят, словно она только что приняла «дозу».

— Я домой,— говорит она, шагая спокойно, не торопясь. Молодой человек идет с ней рядом и чувствует себя счастливым. Скажи ему кто-нибудь, что эта девушка создана не для объятий, он рассмеялся бы ему в лицо.

Обратный путь очень короток. Вот уже и подъезд. Девушка останавливается и поднимает взгляд, наконец-то она тоже смотрит ему прямо в глаза. Только теперь он замечает, какое у нее выразительное, чувственное лицо. Ему кажется, что никогда еще он не испытывал такого желания обладать женщиной. Но к желанию примешивается еще что-то необычное, нежность, уважительность. Просто смешно, думает он. Когда же он спрашивает: «Могу ли я увидеть тебя завтра?»— в его голосе слышится неуверенность, и он ничего не может с этим поделать.

Прежде чем ответить, она продолжает несколько мгновений улыбаться. А когда отвечает, ее голос звучит совершенно спокойно:

— Завтра я ухожу в монастырь затворниц.

Какое потрясающее начало фильма.

Но на этом он для меня и кончается.

Драка

Читая Борхеса, я натолкнулся у него на описание (литературное) стычки между мусульманами и индусами, в которую оказался замешанным герой повести. Драка была колоссальная — в потасовке, пишет Борхес, участвовали три тысячи человек.

Мне припоминается другое сообщение (подлинное) о том, что произошло в последнюю ночь 1963 года в Риме. Дрались человек сто, и никто так и не узнал из-за чего.

Поскольку о религиозном фанатизме здесь и речи быть не может, причина носила, очевидно, совершенно иной характер и была случайной и банальной. Я понимаю, что, когда в драке участвует столько народу установить, кто с кем дерется и из-за чего, конечно, трудно. Главная причина распадается на множество других, определяющихся событиями ничтожно малого масштаба.

Я как бы сам вижу этих распаленных людей, которые колотят друг друга почем зря, не зная даже за что. Ими движет какая-то скрытая ярость, не нуждающаяся в определении.

Фильм кончается рассветом в Риме — грязном и пустынном.

К границе

В те времена я спал очень мало, привык укладываться в постель с первыми признаками едва забрезжившего утра. Ложиться спать на рассвете хорошо хотя бы потому, что день проводишь приятно — во сне. Разве не это главное, когда отдыхаешь?

Я приехал в Мерано, чтобы прийти в себя после окончания фильма «Процесс над Марией Тарновской», сценарий которого мы написали вместе с Лукино Висконти. Четыре месяца изматывающей работы в гостиничном номере, где Лукино держал нас — Гуидо Пьовене, Антонио Пьетранджели и меня — под замком. В Мерано я завел себе троих приятелей, с которыми и отдыхал, потому что с ними можно было ни о чем не думать. Молоденькая девушка из Удине, по имени Сандра, двадцатичетырехлетняя немка, которую все звали Гретой, хотя имя у нее было другое, и американский капитан лет тридцати шести... Между нами не было почти ничего общего, но то, что нас сближало,— необходимость придумывать, как провести вечер, и полное отупение, до которого мы доходили глубокой ночью,— в то время значило для нас много.

То, о чем я сейчас расскажу, произошло как раз в один из таких вечеров. История эта осталась в моей памяти, как остается фильм, из тех, что я всегда хотел, но не мог сделать: здесь важен не механизм событий, а механизм мгновений, помогающих угадать скрытую пружину этих событий. Так цветы выдают скрытую напряженность дерева. Я рассказываю эту историю потому, что за событиями того вечера следили невидимые глаза. Короче, речь идет о несостоявшейся трагедии. Персонажи, место действия, его атмосфера иной раз бывают убедительнее, чем сама трагедия, моменты, предшествующие ей и следующие за ней (когда действие прекращается, а слово замолкает). Трагический акт как таковой ставит меня в затруднительное положение. Я нахожу его аморальным, непристойным, ненужным. Ему никогда не следовало бы происходить при свидетелях. И в реальной действительности, и в фантазии он не для меня.

Сидя вчетвером в джипе, мы направляемся к границе. Джип мчится на большой скорости. Вечер. Свет фар скользит по домам, по деревянным балконам, уставленным горшками с геранью, время от времени выхватывает из темноты блеснувший крест.

Большие участки дороги каменисты и утопают в пыли. Там, где асфальт разбит, на поверхность выступают камни, сухой ветер поднимает пыль, и она оседает нам на голову. Капитан ведет машину молча. Мы трое наблюдаем за игрой теней, порождаемой светом фар. Недавнее веселье улетучилось, потонуло в странном молчании — может, потому, что мы приближаемся к границе, а границы всегда требуют известного к себе уважения, заставляют настораживаться, особенно ночью.

Только когда капитан притормаживает машину у какого-то стоящего на отшибе дома, мы стряхиваем с себя оцепенение. Входная дверь открыта, внутри все залито ярким светом.

— Gasthaus? [1] — спрашивает капитан.

— Gasthaus, ja,— отвечает мужчина, стоящий у входа. Он молод и белобрыс. Очень молод. Даже не зная языка, на котором он говорит, я чувствую в его ответе нотки фальши. Он отвечает, пересиливая себя, разговаривать с нами ему явно не хочется.

Грета спрыгивает с подножки. Тело у нее худощавое, гибкое. Можно подумать, что она много времени тратит на гимнастику или танцы. Уже назавтра после нашего знакомства мне казалось, что я знаю о ней все. Я ошибался.

Ошибался и тогда, когда наши отношения стали более близкими. Наверное, я и сейчас ошибаюсь, описывая ее вот такой.

Я вижу, как она переглядывается с белобрысым парнем, озирается по сторонам.

Неподалеку видны другие дома, но ни в одном из них нет света. Грета смотрит на них, как бы прислушиваясь. На пороге, позади парня, появляется еще один мужчина — постарше, с висячими усами, толстый, огромный, с лицом, покрытым навсегда приставшим загаром. Он смотрит на капитана, явно намеревающегося войти, но не отступает ни на сантиметр.

— Позвольте,— говорит капитан.

У него сильный американский акцент, голос твердый. Но те двое продолжают стоять, не двигаясь. Капитан удивленно смотрит на них. Его способность всему удивляться в какой-то мере сокращает дистанцию, с которой он, американец, привык смотреть на всех нас. Вперед выступает Грета и что-то говорит по-немецки. Оба незнакомца освобождают проход.

Едва войдя в дом, Сандра без всякой причины начинает смеяться, заглядывать во все углы. Она ходит, покачивая бедрами, как девчонка, которой хочется обратить на себя внимание, но эти ее повадки только раздражают. Белобрысый возникает перед ней и нетерпеливо направляет девушку в небольшой зал, куда уже успел пройти капитан. Я слышу, как он громко говорит:

— Кушать...

Чувствую, что он хочет произнести это веселым голосом, но эффект получается совсем иной. Грета, например, сразу посерьезнела. Веселость ей совсем не идет. Когда лицо у нее серьезное, она очень красива. А серьезной Грета бывает часто. Она как-то сосредоточивается, замыкается в себе или, наоборот, выходит из себя, в общем, отстраняется, и тогда начинает казаться, что она не с тобой, а с кем-то другим, невидимым... Когда мы встретились впервые, в руках у нее был букет цветов, и она тотчас протянула его мне. Я не знал, куда девать цветы, и сказал ей об этом. И еще я заметил, что горные цветы совсем не пахнут.

— Цветами надо любоваться, а не нюхать их,— ответила она и отвела взгляд. Тут как раз и нашел на нее один из таких моментов, о которых я уже говорил.

Сегодня, когда я это пишу, мне припоминается, что́ я тогда подумал, наблюдая за ней. Вот он, сюжет для фильма. Он возник из предчувствия, что Грету я больше не увижу, но что так или иначе она останется в моих воспоминаниях на всю жизнь.

Я понимаю, что тема эта недостаточно кинематографична, и все-таки мне всегда хотелось сделать фильм о потоке чувств, который один человек может передать другому и который этот другой проносит в себе вот так, через годы. Он подхватил этот поток, приспособился к нему, то есть позволил ему стать частью своей личной жизни, а потом, с течением времени, зачеркнул. Вот уж абсурд: никто не пытается удержать чувства, мы расшвыриваем их, а сами постепенно превращаемся в производное всех тех встреч, которые у нас были в жизни. Только сомножители этого производного утрачены.

[1] Гостиница? *(нем.)*

Стены небольшого зала, где мы разместились, обшиты деревом, столы и стулья тоже деревянные, массивные, печь облицована керамической плиткой, понизу тянется лавка, а наверху устроена лежанка. Обстановка настолько традиционная, что хочется уйти: гирольский стиль годится только для тирольцев. А вот капитан, похоже, чувствует себя здесь как дома. Заказывает сосиски, ветчину, шпиг, пиво, темный тминный хлеб. Белобрысый записывает заказ и исчезает. Я подхожу к Грете, а она, полуобернувшись ко мне, объясняет:

— Это дом Андреа Хофера. Ты знаешь, кто такой Андреа Хофер?

Я знаю. Это тирольский патриот, расстрелянный в Мантуе по доносу. Знаю я и то, что доносчика звали Шраффл и что владелец этой гостиницы тоже Шраффл. Мне неизвестно только, является ли толстяк хозяин наследником того печально известного Шраффла. Однако у него вид человека, стыдящегося своего имени; кажется, что печать этого стыда лежит даже на стенах гостиницы.

Дом хорошо сохранился. Внутренняя деревянная обшивка удачно сочетается со светлыми наружными стенами. На подоконниках неизменные горшки с геранью, крыша с крутым скатом — черная, и ее чернота сливается с чернотой неба.

В дверях вновь появляется белобрысый. Грета идет ему навстречу и обменивается с ним парой коротких фраз. Парень выходит, Грета следует за ним, а я — за ней. Он подводит нас к какой-то двери и открывает ее. Мы попадаем в темную комнату. Щелкает выключатель. В углу комнаты со знаменем в руке стоит Андреа Хофер. Это статуя в натуральную величину из раскрашенного дерева, до того отполированная и гладкая, что кажется восковой, и потому впечатление такое, будто перед нами Андреа Хофер собственной персоной. На стенах выцветшие гравюры: Хофер выступает с речью, Хофер на тайной сходке, Хофер перед взводом наполеоновских солдат — в синей форме и с длиннющими винтовками — в тесном дворике казармы, напоминающей La Grande Illusion. (Одного залпа оказалось недостаточно, чтобы убить этого человека: в него стреляли двадцать раз, так что Хофер, наконец, не выдержал и крикнул: «Как же плохо вы целитесь!») В комнате есть еще стол, а на нем — книга, в которой расписываются посетители.

Грета протягивает мне ручку одним из самых своих непринужденных жестов и не замечает, что я кладу ее на место, так и не расписавшись. Таков мой личный протест против белобрысого, относящегося к нам с нескрываемым недоверием.

Между тем белобрысый торопливо направляется к двери. Но прежде чем он успевает ее закрыть, я замечаю, как мимо проходят двое мужчин с набитыми рюкзаками за спиной, а за ними третий — без рюкзака. И если по одежде и загорелому лицу ясно, что перед нами житель гор, то бледные лица первых двоих выдают в них горожан. В прямоугольнике окна видно, как они проходят под висящей у входа лампой, на минуту останавливаются, а потом исчезают в темноте. За спиной я ощущаю присутствие Хофера со знаменем в руке. Грета стоит рядом со мной. Я угадываю в ней то же чувство напряженного спокойствия, какое испытываю и сам. Не из любопытства, а просто чтобы нарушить молчание, спрашиваю:

— Контрабанда?

Парень даже не думает отвечать, в глазах его сквозит презрение. Этот его насмешливый и такой вызывающе-наглый взгляд совершенно невыносим, и я говорю Грете:

— Послушай, скажи своему соотечественнику, что капитан — американец, и ему совершенно наплевать на то, что делается в этом заведении, и что я тоже...

Она прерывает меня:

— Он прекрасно понимает по-итальянски.

— Тем лучше.

Я хотел еще сказать, что мне тоже наплевать на все эти незаконные делишки, но пусть даст мне посмотреть, только посмотреть, а если потом он будет настолько любезен и растолкует некоторые вещи, я буду лишь благодарен. В Мерано я слышал о контрабандной торговле и о людях, старающихся не связываться ни с другими людьми, ни с законом. Но не сказал ничего. Даже разговаривать с этим типом расхотелось.

Снаружи кто-то толкает закрытую дверь, белобрысый открывает ее. Входит Сандра.

— Этой хибаре, наверное, сто лет,— говорит она, и в ее голосе звучит нетерпение,— но неужели мы должны прождать еще столько же, пока нас накормят? Я есть хочу.— На лице Греты появляется наконец улыбка, и мы все вместе направляемся

в зал. На одном из столов между тем уже появилось пиво. Капитан наполняет кружки, торжественно поднимает свою и вдруг роняет ее на стол. Кружка не разбивается, но пиво расплескивается во все стороны. Капитан смотрит на нас счастливыми глазами, словно только этого он и ждал: теперь-то и начнется веселье. Но ничего не начинается. Сандра хватает салфетку и принимается все вытирать. Она несколько раз проводит обнаженной рукой перед Гретой, и та одним из своих очень естественных жестов гладит ее руку: безотчетный жест — изящный и в то же время чувственный, и в этой чувственности угадывается необыкновенная нежность, вроде той, что связывает трех женщин в поразительном фильме Бергмана, который у нас шел под названием «Бал неблагодарных». Жест настолько сдержанный, что остается незавершенным. Впрочем, на это и времени нет: не знаю, какое таинственное предчувствие заставляет Грету отнять свою руку буквально за долю секунды до того, как снаружи до нашего стола доносятся какие-то звуки, от которых начинают звенеть бутылки и кружки, а мы все вздрагиваем. Рев автомобиля, а может, даже нескольких автомобилей, голос, или несколько голосов, и крики. Что кричат — не знаю, но в голосах чувствуется какой-то странный эмоциональный накал.

Капитан оборачивается, чтобы посмотреть в окно. Похоже, он ждет продолжения. Но звуки проплыли мимо, растаяли, и вновь наступила тишина — такая, какой она и должна быть. Тишина, наполненная такими легкими шумами, как поскрипывание дерева, тиканье часов. Я тоже смотрю в черный проем окна, но почему-то нет ощущения, что его чернота — часть этой ночи в горах, совершенной и неподвижной, как сами горы, вечной и торжественной. Кажется, эта темень окутала землю для того, чтобы скрыть бог весть какие дела, жесты, слова, мысли, которых нам не полагается видеть, не дано постичь.

— Как называется это место? — спрашивает капитан.

— Сан-Леонардо,— отвечает Грета.

— Моего дядю тоже зовут Леонардо,— говорит Сандра.

Грета, выгнув шею, откидывает голову назад и о чем-то спрашивает парня, стоящего у нее за спиной. Белобрысый вяло отвечает, а она переводит его слова (интересно, почему он не говорит по-итальянски, раз уж он знает язык?).

— В тридцати километрах отсюда — граница.

— В тридцати километрах...— повторяю я и прикидываю в уме, что для пешехода это многовато. Словно прочитав мои мысли, Грета поясняет, что контрабандисты, прежде чем пересечь границу, делают привалы. Никакого контроля здесь нет. Сандра суматошно машет руками.

— Уфф... ну зачем?..— говорит она и затихает.

Все взгляды обращены на нее.

— *...зачем все эти разговоры? Принесут нам когда-нибудь ветчину или нет?*

Через несколько минут пиво и два больших блюда с ветчиной, шпигом и тминным хлебом уже стоят посреди стола. Пиво крепкое, ударяет в голову. Сандра закрывает глаза, делает глоток и прижимает руку к груди, словно сдерживая икоту.

— Какое оно красивое... с этой пеной...

Опустив пальцы в кружку, она набирает немного пены, подносит ее к губам и с гримасой отвращения втягивает в себя

— ...но мне не нравится.

— А вино тебе нравится? — спрашивает капитан. Ему пришла в голову идея смешать пиво с вином. Он смеется, изо всех сил стараясь показать, что никогда еще в жизни так не веселился. Однако весело только ему. Подняв бокал, он смотрит на свет, как быстро поднимаются пузырьки — признак того, что вино натуральное. Мы все ждем, что он сейчас выпустит из рук и бокал, но капитан опустошает его одним духом, причмокивает губами и, оглядев всех нас с улыбкой, относящейся не к вину, а к следующей банальной фразе, говорит:

— Вот это жизнь, ребята.

И всем ясно: имеется в виду не вино, а то, что мы сидим вот так, все вместе за этим столом и нам хорошо, а те, другие, бродят где-то по горам...

Тишина сгущается еще больше и длится дольше.

— О чем ты думаешь?

Это голос Греты «за кадром». Я оборачиваюсь.

— Грета,— начинаю я тихонько,— послушай. Сегодня вечером мы здесь — ста-

тисты. А главные действующие лица — они.— Я указываю на входную дверь.— Почему бы нам с тобой не возобновить наш разговор?

— Какой разговор?

— А тот, что начался в джипе.

Я намекаю на то, что ее нога прижималась тогда к моей. Она, надо сказать, вовсе не прижимала ее, просто я чувствовал исходившее от нее ласковое тепло.

— Да мы ни разу и рта там не раскрыли.

Она улыбается, ожидая, что́ я скажу еще. Но я принимаюсь разглядывать печь, голубые узоры на изразцах: на стыках они обрываются, а потом, словно перепрыгнув через границу, продолжаются на следующей плитке. Вдруг мне приходит в голову, что я тоже занимаюсь контрабандой. Разве не контрабанда — выражать Грете чувство, которого у меня к ней нет? С другой стороны, разве не этим мы занимаемся ежедневно на протяжении всей своей жизни, стараясь сделать наши чувства годными на любой случай?

Опять скрипит, закрываясь, дверь. Белобрысый парень убрался к чертовой матери. С лестницы доносится шум шагов: лестница деревянная, и шаги получаются гулкими. Прислушавшись к ним, капитан кричит:

— Open the door! Откройте дверь!

Но дверь остается закрытой. Капитан вскакивает из-за стола. Я бы сказал, что делает он это неохотно, словно вскакивать вот так — не в его характере. Через секунду он уже в прихожей и сталкивается с толстяком, который раздраженным жестом показывает, чтобы он убрался обратно. С ловкостью, какой никто от него и не ожидал, капитан отталкивает толстяка и загораживает выход, выказывая решимость не сдвинуться с места ни на шаг,— так он поражен зрелищем, открывшимся его взору. По лестнице спускается женщина. На ней зеленый платок, темные брюки, подбитые гвоздями башмаки. В ее бледном лице чувствуется напряженность.

— А это еще кто? — спрашивает капитан.

Оба австрийца делают вид, будто они не слышат вопроса. Капитан, сунув руки в карманы, отставляет одну ногу, принимая позу человека, намеревающегося ждать долго. Дело не в том, что ему не отвечают, да он и не ждет ответа. Но что-то изменилось, появление нового действующего лица произвело определенное впечатление.

Женщина остановилась на последней ступеньке. Ясно, что ей хочется поскорее уйти и что этот полупьяный человек, загораживающий дверь,— препятствие, которое надо преодолеть, но как это сделать, она не знает. Женщина не испугана. Судя по всему, она считает, что ситуация в общем-то не так уж серьезна. Но может осложниться. Вот почему она колеблется. По-видимому, капитану больше всего не нравится снисходительный взгляд, которым она его награждает, и он, мобилизовав весь свой savoir vivre[1] и отвесив глубокий поклон, произносит:

— Eine Dame zum Plaisir[2].

Фраза эта в устах такого человека, как он, звучит пошло, и непонятно, что заставляет его на протяжении нескольких секунд стоять, согнувшись пополам,— почтение к даме, глупое шутовство или чувство стыда. Как бы там ни было, но поза эта неудобна: долго так не простоишь. Мы с Гретой переглядываемся. По-видимому, кому-то из нас или Сандре, появившейся на пороге зала, следует прийти к нему на помощь. Но мы все трое продолжаем стоять как вкопанные. Сандра, должно быть, чего-то опасается, чего-то недопонимает, а мы с Гретой, даже сами себе в том не признаваясь, как раз и хотим, чтобы капитан упал: тогда женщина сможет выйти.

Тут, сообразив, что его игра проиграна, капитан меняет тактику. Как это бывает с людьми, привыкшими пить, он выпрямляется и, вполне овладев собой, поворачивается ко мне и подмигивает, едва заметно кивнув в сторону женщины. Иными словами, он вроде бы призывает меня в союзники, вынуждая вместе с ним выпутываться из этой неприятной ситуации.

Итак, прежде всего — женщина. Странно, как же я раньше не заметил, до чего она красива. Может, ее взгляд, эти придающие такую выразительность ее лицу бледные тени под глазами или стройный стан заставляют меня пересмотреть свое отношение к ней? Одного только я никак не пойму: почему она терпит вызывающее поведение капитана. Впрочем, вообще не поймешь, что у нее на уме. По тому, как она смотрит на нас, я, кажется, начинаю догадываться, что все силы, которым она бро-

---

[1] Здесь: запас светских манер *(франц.)*.

[2] Здесь: мое почтение, мадам *(искаж. нем.)*.

сила вызов в этот вечер, сейчас воплотились в нас. Мы — это порядок, мы — это закон, конформизм и так далее и тому подобное, вплоть до власти. Или просто нахальные приставалы. Ее же появление для нас — неожиданность, этакое развлечение. Только она и может, как говорится, придать смысл нашей вечеринке. И потому мы не должны отпускать ее. Конечно же, именно эту мысль хотел внушить мне капитан своим подмигиванием.

Грета делает шаг вперед и останавливается у меня за спиной. Я чувствую на себе ее взгляд, и этот взгляд побуждает меня к действиям. Грета немка и смотрит на меня по-немецки, пронизывая насквозь, буравя взглядом мой затылок. Я беру капитана под руку и подталкиваю его к залу. Он стал послушным, теперь можно доверить его Сандре. Повернувшись, я замечаю, что женщина разговаривает с Гретой. Меня удивляет, что голос у нее такой бесцветный — словно она старается как можно меньше обращать на себя внимания. Между ними происходит короткий и неожиданно конфиденциальный диалог. На прощание они даже пожимают друг другу руки, как давние подруги.

Когда женщина уходит, мы вновь усаживаемся за стол. Но теперь все уже не так. Мы сами уже не те, что были прежде. У ветчины, шпига, вина другой вкус. Я спрашиваю у Греты, о чем она говорила с той женщиной.

— У нее неприятности,— отвечает Грета серьезно. Какое же у нее лицо, никогда не устаю на него смотреть. Вообще она вся создана для того, чтобы на нее смотрели. Одна мысль, что она может сдвинуться с места, то есть исчезнуть из моего поля зрения, для меня невыносима. Вот почему я вздрагиваю, когда она (прошло уже, наверное, с полчаса) поднимается и говорит:

— Поехали отсюда.

Мы расплачиваемся и уходим. Тот, что с усами, провожает нас до дверей и останавливается рядом с белобрысым, который тоже вышел и стоит с таким видом, будто и не уходил. Капитан окидывает их вызывающим взглядом.

— What's the matter?..[1] — начинает он.

Но мы заталкиваем его в джип, и я сажусь за руль. Оба австрийца стоят неподвижно и молча смотрят на нас. Они не двигаются с места даже тогда, когда я, вывернув руль, вывожу машину на дорогу. Я уверен, что они продолжают стоять и смотреть до тех пор, пока скользящий по стволам деревьев свет наших фар не исчезает совсем.

То, что свет фар, падая в темноте на стволы деревьев, оставляет на них след, я заметил однажды, когда, направив фары на какой-то дуб, вышел из машины и посмотрел. Кора дерева кишела муравьями, сновавшими туда-сюда с обычным для них бессмысленным проворством. Лишь на месте, освещенном фарами, муравьев не было. Они обходили его по периметру так, что ни один не попал на светлое пятно. Муравьи продолжали огибать это место и тогда, когда я погасил фары и света не стало. Наверное, только для меня, а не для них.

Проехав пару километров, мы останавливаемся. Капитан увидел усыпанные плодами яблони на верху откоса, который тянется вдоль дороги, и ему захотелось яблок. Мы молча начинаем карабкаться по склону, но нам так и не удается подняться до сада, который отделяют от нас густые заросли лиственницы. Мы добираемся до поляны. Как раз в этот момент выглядывает луна, и трава в ее свете опять становится зеленой. Кило синьки синее, чем полкило, некогда говорил Гоген. А здесь природа тоннами разлила зелень. Мы пересекаем поляну — теперь уже просто из потребности двигаться вперед, куда-то дойти. И попадаем в густые, с виду совершенно непроходимые заросли. Некоторое время мы идем вдоль чащобы, пока не оказываемся на прогалине, с которой начинается тропа. Сворачиваем на нее. Для глухой лесной тропы она слишком прямая, слишком правильная, неумолимая, как и вся эта масса деревьев, глядящих на нас равнодушно, даже враждебно. Сквозь ветви пробивается лунный свет: его пятна чередуются с пятнами тени, и мы ступаем по ним, почему-то стараясь не шуметь.

Вскоре капитан и Сандра сходят с тропы, сказав, что яблоки надо искать на другой стороне. Уговорившись встретиться с ними у джипа, мы с Гретой продолжаем идти вперед.

[1] В чем дело?.. *(англ.)*

Где-то далеко стреляют, эхо выстрелов разносится по долине, и в душу закрадывается тревога. Именно тревога, а не страх. К нам эти выстрелы не имеют никакого отношения. Если бы у меня была винтовка, я бы тоже стрелял, чтобы включиться в таинственную круговерть этой ночи. Вдруг Грета берет меня за руку и показывает куда-то сквозь листву. Подходим ближе. У края другой поляны, поменьше, виднеются две фигуры, залитые лунным светом: мужчина и женщина. Я вообще предпочитаю ночному свету дневной — ослепительный солнечный свет свету луны, каким бы впечатляющим он ни был. Но иногда луна светит так, что не придает освещаемой сцене идиллического оттенка. То, что происходит в лесу, могло бы напомнить мне сцену в парке из фильма «Блоу-ап», если бы время не поменяло события местами: пока «Блоу-ап» еще нет и в помине. И вообще, там у меня будет безлунная ночь, подсвеченная лишь неоновой рекламой. Здесь же над нами огромный золотой диск. Кажется, будто он не поднимается, а специально опустился, чтобы осветить то, что должно сейчас произойти.

Такой же ночью, как эта, во время последней войны в одном городке, в Абруццах, убили немца. Я прятался на чердаке с двумя друзьями и смотрел через щель вниз, на площадь. Одни убегали, другие, наоборот, бежали к дому, в котором это случилось. Не знаю, что́ бы я отдал за возможность выйти на улицу. Мы просидели на чердаке взаперти целый месяц, скрываясь от депортации, и по ночам я почти не спал. Смотрел на луну и все пытался понять, чем она меня так отталкивает. Есть в лунном свете что-то мертвенное, что-то томительно-тревожное. Мы знаем, что поверхность этого небесного тела белесая, меловая и на близком расстоянии производит удручающее впечатление. Мы знаем также, что луна светит не своим, а отраженным светом И то, что мы видим,— отражение ее невыносимой унылости. Между нами и остальным миром появляется завеса голубоватой дымки, подчеркивающая контрасты. Черное становится еще чернее, а белое и вся гамма пастельных тонов приобретают одинаковый землисто-белесый оттенок. Наши лица утрачивают свою материальность, а предметы, которые днем кажутся живыми, настолько они изменчивы, застывают в мучительной неподвижности.

Какая-то непонятная алхимия действует на человека. В ту ночь в Абруццах она, наверное, околдовала его и толкнула на убийство: до чего же мало было нужно, чтобы он потерял голову от ревности,— всего какие-то попытки совратить его девушку. Может, и немец и девушка тоже были околдованы. Когда тот человек вошел в комнату, они обнимались. Свой автомат немец прислонил к стене. Человек схватил автомат, догнал немца уже на лестнице и выпустил очередь ему в голову. Тело убитого катилось по лестнице до самой двери. А за дверью виднелась площадь, освещенная *погребальным факелом* (Шарль Фурье), *который зовется у нас луной.*

Женщина, стоящая на поляне,— та самая, которую пытался задержать капитан. Мужчина незнакомый. Он строен и, судя по жестикуляции, уверен в себе. До нас доносятся их едва различимые голоса: сначала ее, потом, после паузы,— его. Мужчину и женщину разделяют метров тридцать, но они говорят тем «театральным шепотом», который позволяет им слышать друг друга так, словно они стоят рядом. Фразы чередуются без накладок, с безукоризненной ритмичностью. Я спрашиваю у Греты, схватывает ли она смысл их разговора.

— Только отдельные слова. Очень уж тихо они говорят.

Спустя мгновение я различаю какой-то новый звук, выбивающийся из ритма: вроде бы кто-то всхлипывает Перевожу глаза на Грету: да, это она. Плачет. Второй раз за этот вечер ее реакция опережает то, что должно случиться секундой позже. Раздается выстрел. Ближе, чем те, прежние, но я не могу с уверенностью утверждать, что стрелял мужчина. Этот выстрел, прогремев, тоже затихает в долине, молчание гор хоронит и его.

Женщина исчезла А мужчина остался, но сразу же покидает свое место. Он затрачивает очень много времени, чтобы пересечь поляну, потом так же долго смотрит с противоположной стороны туда, где была женщина, где, быть может, она лежит и сейчас — бездыханная. А потом на лес, на то место в лесу, где женщина могла скрыться. В мозгу у меня проносятся оба этих предположения. Поскольку я что-то подозреваю, надо хотя бы попытаться догнать незнакомца, побежать за ним. Почему я не сделал этого? Почему я остался на месте и продолжал смотреть на по-

ляну даже тогда, когда мужчина уже исчез и смотреть, собственно, было уже не на что?

Я помню, как в моем мозгу, словно молния, блеснула мысль: не было на свете такой причины, из-за которой мы должны были находиться в том месте и в тот момент. Мы — два никому не нужных свидетеля. В душе я протестую против происшедшего, но с места не двигаюсь.

Потом я обнимаю Грету за талию, движимый единственным желанием утешить ее (но в чем?), и веду к джипу. Остальные уже в машине. Сандра уписывает яблоко, словно сейчас утро. Капитан поскучнел, взгляд у него ленивый, глаза словно листья на ветру (где я вычитал эту фразу?). Мы возвращаемся. Колено Греты снова касается моей ноги, и это прикосновение исполнено такого нежного участия, что мне уже не хочется возвращаться домой. Я делаю разворот и веду машину в противоположном направлении. Дорога идет под гору, и мы катим с выключенным мотором. И с выключенными фарами.

Мы скользим по смутно белеющей в темноте дороге в сторону границы, слышно лишь, как в тишине под колесами шуршит гравий.

Четверо в море

Трое мужчин, полуживых от усталости, голода и жажды, добрались до Кофс-Харбора на юге Австралии. Шесть дней они дрейфовали на моторной яхте «Ирэн», не имея ни питьевой воды, ни продовольствия. По их рассказам получалось, что, когда проплывали мимо бухты Стефенс, у яхты вдруг отказали моторы и сильный ветер погнал яхту в открытое море. В довершение всего они попали в шторм и целую ночь находились буквально на волоске от смерти. Утро 29 апреля 1969 года застало дрейфующий экипаж «Ирэн» в восьмидесяти милях от берега. Вода была белой и блестела, словно натянутое нейлоновое полотнище. Трое обессилевших людей спали в кубрике.

Вдруг один из них проснулся от каких-то непонятных звуков, доносившихся с мостика. Казалось, будто что-то волокут по палубе. Затем, с той стороны, где был люк, донесся грохот, после чего наступила тишина. Проснувшийся встал, добрался до трапа, попытался приподнять крышку люка, но она была чем-то придавлена снаружи. Тогда он разбудил своих товарищей, и все вместе с невероятными усилиями сумели ее слегка приподнять. Над люком на фоне неба вырисовывалась фигура хозяина яхты. В руках у него был лом. Размахивая этим оружием, он загнал их обратно вниз и накрепко задраил крышку. Когда же через несколько часов этим троим удалось снова ее взломать и выбраться на палубу, хозяина на яхте не было, он исчез.

Спасенные, среди которых был семидесятилетний Чарльз Ньюлин, рассказали также, что их нанял в десятичасовое плавание хозяин яхты — господин Джеймс Тауэрс, богатый пятидесятилетний делец из Сиднея. В газетной заметке, содержание которой я передал вам вкратце, дважды высказывается предположение, что Тауэрс, внезапно потеряв рассудок, бросился в море. Я лично в это не верю.

Прежде всего я не верю в россказни о голоде и жажде. Никто и никогда не отправляется даже на короткую морскую прогулку, не имея неприкосновенного запаса продовольствия и воды или хотя бы сигнальных ракет. Тауэрс мог все это выбросить за борт, и тогда предположение о его безумии нашло бы еще одно подтверждение. Но единственными свидетелями этого безумия могли быть голько его матросы. И единственный случай увидеть все своими глазами представился им в тот момент, когда, приоткрыв люк, они оказались лицом к лицу с этим бесноватым, державшим в руках лом. Не могли ли они в эти считанные секунды принять за безумие то, что было проявлением обыкновенной ярости?

К тому же я не верю, что в нормальный экипаж мог входить семидесятилетний старик. Если Тауэрс нанял его, значит, были для этого какие-то причины, не связанные с плаванием.

И я не представляю себе, чтобы эти трое, какими бы неопытными они ни были, не смогли если не починить мотор, то хотя бы подать сигнал бедствия. Эту часть Тихого океана, именуемую Тасмановым морем, постоянно бороздят торговые суда,

направляющиеся в Индийский океан: уж какое-нибудь из них приняло бы их SOS и пришло на выручку.

Наконец, я не верю, что владелец такого судна, маневренного, быстроходного, имеющего шестнадцать метров в длину и рассчитанного на плавание в открытом океане, человек, который проводит на этом судне самые лучшие часы своей жизни и любит море, решив покончить счеты с жизнью, избрал бы для этого подобный способ. Такой человек знает, что есть в смерти на воде момент, когда весь мир приобретает цвет волны, заливающей тебе лицо и забивающей дыхание. И знает, что в последнее мгновение море будет ему ненавистно. Нет, не с этим чувством захотел бы умереть такой человек.

Тайна, однако, осталась неразгаданной. Может, так даже лучше. Любое объяснение было бы менее интересным, чем сама тайна. И все же история эта несколько лет продолжала будоражить мое воображение. В свое время я был неравнодушен к Конраду. Когда я прочитал об истории с «Ирэн», именно эта конрадовская тема — открытое море, люди, ожесточенные или утомленные жизнью, но все еще глядящие на нее чистыми глазами,— показалась мне заманчивой. Настолько, что захотелось сделать такой фильм. В честь Конрада, что ли. В тот момент я был в Сингапуре, кого-то там ждал. Ожидание — дело привычное для режиссера. Я написал в «Сидней морнинг геральд» и попросил сообщить, нет ли у них каких-либо новых сведений об этом случае, и если нет, то не могут ли они разузнать что-нибудь еще. Ответ из газеты заканчивался словами: «...К сожалению, мы не имеем возможности удовлетворить вашу просьбу хотя бы потому, что у нас нет средств для проведения подобных расследований. Австралийское представительство в Сингапуре, вероятно, может связать вас с каким-нибудь частным агентом».

Но я связался с одним своим знакомым, австралийцем, и спустя несколько месяцев получил от него письмо. Оно было далеко не обнадеживающим, но все же полезным, хотя бы потому, что к нему прилагалась фотография трех оставшихся в живых членов экипажа, раскопанная в архиве какого-то кофского фотоагентства.

И вот к какому выводу я пришел, прочитав письмо и проделав физиогномический анализ снимка.

Джеймс Тауэрс — человек уважаемый, упорный в труде и честно ведущий свои дела. Все имеющиеся о нем сведения в этом смысле однозначны. Беспечная молодость, безмятежная с точки зрения буржуазных канонов зрелость. Богат, но, похоже, не так уж рад этому. Семьи у него нет, а есть некое мистическое представление о ней. Этого мало, если учесть избыток физических сил. Его страсть — море. А яхта — своеобразные подмостки для демонстрации мужества.

Общепризнано, что вопрос о смысле жизни человек ставит перед собой, когда в жизни этой что-то не ладится Но так бывает не всегда. Бывает, что человек задается этим вопросом, даже когда у него все идет как нельзя лучше, а он вдруг начинает ощущать нехватку трудностей, требующих преодоления. У Тауэрса тот самый случай. Однажды утром он просыпается и чувствует, что весь окружающий мир окончательно выдохся. Закис. Ни на что больше не способен. И тотчас же его охватывает неодолимое желание уйти в море. Случаю угодно, чтобы как раз накануне он рассчитал троих матросов — весь экипаж своей яхты И именно эта помеха поднимает его настроение. Он спешит в порт, но не обращается, как обычно, к услугам местного агентства по найму. Там ему могут предложить людей, у которых и бумаги в порядке, и опыта предостаточно. Нет, он сам обходит портовые притоны и останавливает свой выбор на трех типах, похожих на кого угодно, только не на матросов.

Конрад был прав: люди делятся на матросов и нематросов. Но прав он был семьдесят лет тому назад. Сегодня все не так ясно, и при подборе экипажа руководствуются не столько заботами о профессиональных качествах матросов, сколько соображениями экономического порядка. И не в поисках чего-то конкретного бродил Тауэрс по притонам Сиднея. Наоборот, он хотел хотя бы один день отдохнуть от всяких правил, от респектабельности. Просто ему показалось, что именно эта троица бездельников, их бесшабашность — как раз то, что ему сейчас требуется.

Разглядывая фотографию, я прихожу к выводу, что самый рослый и самый старший из экипажа держал обоих своих дружков в полном повиновении. Сразу видно: тип прожженный, хитрый, но не в общепринятом значении слова. У этого человека такой вульгарно-презрительный и в то же время благородный вид, словно

за плечами у него — груз веков. Должно быть, из разорившихся. Этакий аристократ-неудачник.

У матроса, стоящего в центре, сардоническое выражение лица, свойственное людям, которые откровенно радуются тому, что им удалось выйти целыми и невредимыми из бог весть каких передряг, и еще — бойким типам, готовым на какие угодно дела и выдумки. В группе он самый сильный и охотно выполняет любую тяжелую работу, даже бессмысленную. Третий в полном подчинении у первых двоих, он бы просто умер, если бы не мог им прислуживать. Три человека, поистине способных на все, даже на то, чтобы трястись от страха, но не от страха смерти, поскольку мысли о смерти им и в голову не приходят.

Спустя час они уже плывут по зеленым, прохладным, пенящимся волнам. Утро проходит незаметно. Такое утро Тауэрсу внове. Разговоры, поведение, жесты, словечки матросов не имеют ничего общего с тем, к чему он привык. Возможность приобрести новый опыт кажется ему еще одной из удач, которыми продолжает одаривать его фортуна. А трое матросов проводят время, занимаясь вещами, не имеющими ничего общего не только с морем, но и со здравым смыслом Еще во время погрузки, сообразив, с кем свела их судьба, матросы вдруг передумали и потребовали, чтобы Тауэрс повысил им плату, и намного. Такой мелкий шантаж вызвал у него лишь улыбку. Уж слишком хозяину яхты не терпелось выйти в море именно с этой троицей, чтобы он стал упираться. Сам того не подозревая, он действовал в соответствии с правилом Сэмюела Смайлза, произведения которого читал и перечитывал во время своих морских путешествий Конрад: «Кто всегда имел дело только с воспитанными или серьезными людьми, тот людей либо совсем не знает, либо знает наполовину». Действительно, Тауэрсу кажется, что заряд аморальности и низости, который он получает от этих товарищей по путешествию, так велик, а зловоние, издаваемое этой троицей, так удачно смешивается со здоровым морским воздухом, что он начинает чувствовать себя взбодренным, просветленным.

Но Тауэрс недооценил силу человеческой подлости и глупости. И с той и с другой ему приходится столкнуться во время шторма, который разыгрывается к вечеру. Спокойное небо с отдельными тучами у самого горизонта за каких-нибудь полчаса потемнело и продолжает темнеть с каждым порывом ветра. Нетрудно представить себе, какая ждет их ночь. Тауэрс выкрикивает команды, но их никто не выполняет, и они тонут в реве урагана. Судно с заглохшими моторами — мертвая вещь, оно полностью во власти волн. Остается только бросить плавучие якоря, которые придают яхте остойчивость и позволяют ей держаться носом к волне. Но одному человеку эта работа не под силу. А остальным даже в голову не приходит помочь ему. Эти три типа сейчас не только не экипаж, а вообще уже не люди. Они не могут держаться на ногах и цепляются за любую неподвижную снасть — леера, чалки, битенги. Они не испытывают страха — в том смысле, какой обычно вкладывается в это слово. Кровяное давление у них не повышается. Просто их бесит шторм, он им мешает. Единственное, что они умеют,— отвечать на команды грубостями и оскорблениями. Вопреки всякой логике, эти типы хотят даже расправиться с человеком, пытающимся их спасти. И вот тут они обнаруживают и глупость свою и подлость. Однако добраться до него им не удается. Ярость, подогреваемая чувством бессилия, неспособностью поймать хозяина, сливается с атавистической ненавистью к сильному, а владелец судна становится в их глазах символом человеческой несправедливости.

Когда наступает рассвет, «Ирэн» — уже просто труп, плавающий на поверхности остекленевшего и обессилевшего моря.

Именно в этот момент зловещего затишья Тауэрс, должно быть, осознал абсурдность затеянного им предприятия и интуитивно почувствовал, какая опасность ему грозит. Прежде всего надо пойти на нос и закрыть люк, чтобы экипаж не выбрался наверх. Затем он поднимается на мостик и проверяет, работает ли штурвал. Работает. Осмотрев моторы, он убеждается, что повреждена проводка. Подручными средствами тут не обойтись. А вот радиотелефон в приличном состоянии. Проверяя его, Тауэрс слышит внизу какую-то возню. Вооружившись ломом, он подходит к люку в тот самый момент, когда матросы пытаются выбраться на палубу С помощью лома он загоняет их обратно и задраивает крышку как можно крепче. Затем возвращается к радиотелефону. На починку уходит целый час. Закончив работу, он отрывает взгляд от аппарата и устремляет его в море. Глядя на море, наслаждаясь его запахом, он

отдыхает. В этот момент ему кажется, что и море смотрит на него и даже что-то нашептывает. Но нет. Шепот идет с носа яхты. Матросам снова удалось взломать крышку люка, и они выползают на палубу. Тауэрс, крадучись и не выпуская из рук лома, огибает мостик и прячется. Он не боится ни моря, ни бурь, ни молний, ни шквалов. А вот людей боится. Эти типы, не раздумывая, могут бросить его на съедение акулам, а потом будут рассказывать, что он бесследно исчез. Они завладеют его судном, используют его для каких-нибудь своих контрабандных делишек и пустят ко дну. За последних четыре года в Тихом океане исчезло две тысячи прогулочных яхт.

Между тем трое матросов направляются на камбуз. Кажется невероятным, как это они его не видят Однако не видят Идут они медленно, но не столько от усталости, сколько от напряжения. И Тауэрсу без особого труда удается сохранять необходимую дистанцию Из камбуза троица переходит в кают-компанию и покидает ее только с наступлением вечера, чтобы расположиться в хозяйских каютах. Теперь Тауэрс может юркнуть в носовую часть куда остальным возвращаться уже незачем. Через несколько часов он выходит оттуда, чтобы запастись водой и провизией из холодильника, освободившееся место он заполняет соответствующим количеством других продуктов. Он-то знает, где их можно взять.

В каюту, как и в последующие ночи, он возвращается только на рассвете. Спит днем. В последние предрассветные минуты на него наваливается невыносимая тоска. Для судна, которое всецело принадлежало ему, где он чувствовал себя больше на своем месте, чем в собственном доме, он стал чужаком. Каким-то безбилетным пассажиром. С этой ролью он никак не может примириться Еще и потому, что смутно чувствует: те, трое, узурпировавшие его место, какое-то право на судно все же имеют, хотя бы потому, что являются его временными хозяевами, управляют им. Но больше всего его удивляет, что это обстоятельство вызывает у него новое, непривычное чувство — сомнение. Сомнение, чуть ли не страх перед будущим.

Иногда его будит шум, производимый матросами наверху. Он слышит говор, смех, даже беготню. Однажды утром, побуждаемый любопытством, Тауэрс приподнимает крышку люка и видит, как они раскидывают на палубе подушки и укладываются спать на солнышке. Судя по всему, они абсолютно спокойны. Словно все происходящее вне яхты их совершенно не касается Как и его присутствие Ведь они его даже искать не стали. Почему они его не искали? Ответа он не находит, и всякий раз этот вопрос, возникнув, оставляет по себе привкус злой ревности.

Время от времени Тауэрс отмечает внезапные смещения корпуса, слишком резкую перемену курса — признак того, что кто-то неумело орудует штурвалом в поисках подходящего течения. Похоже, однако, что эти маневры, для него всегда самые важные, для них имеют второстепенное значение.

Берег — метрах в двухстах Яхта набрела на нужное течение и отдалась в его власть. Когда она находилась в нескольких милях от побережья, с какого-то рыболовного судна ее заметили и взяли на буксир. Через иллюминатор своей каюты Тауэрс следит за швартовкой Солнце близится к закату. Его слабый и неверный свет равнодушно заливает незнакомый порт. Грязный причал на отшибе.

И вот, глядя на этот чуждый ему пейзаж. Тауэрс начинает, кажется, понимать одну вещь. В своей жизни он придавал всему слишком большое значение. И вместо того, чтобы принимать удачу с насмешливой улыбкой — тогда можно было бы наслаждаться ею полнее,— он оставался чертовски серьезным. Только сейчас, когда он смотрит на кучку зевак, собравшихся на молу вокруг трех спасенных матросов, и наблюдает за тем, как они наслаждаются своим, без сомнения, единственным в жизни моментом славы на лице у него наконец появляется эта улыбка.

На берег он сходит уже ночью. Пристань пустынна. В конце мола светится вывеска какого-то мотеля Он идет туда, останавливается перед небольшой дверью из стекла и алюминия Сквозь стекла видны убогий вестибюль, стойка и кресло, в котором кто-то сидит Его матросы, скорее всего, остановились именно здесь и сейчас спят как убитые. Тауэрс разглядывает вестибюль, стойку портье, телефон на стойке. Он мог бы позвонить к себе домой чтобы за ним прислали машину, или попросить, чтобы портье раздобыл ему машину здесь, или, наконец, взять у него расписание поездов, самолетов Но ничего этого он делать не хочет. Даже спать не хочет А вот переступить порог этого мотеля хочет Действительно, почему бы не продлить еще на одну ночь совместное житье с той троицей? Тауэрс улыбается, представляя себе, какие у них будут физиономии, когда завтра они его увидят. Но он все не решается

протянуть руку к звонку. Из-за вечного своего упрямого нежелания подчиняться обстоятельствам он продолжает стоять и вглядываться в ночной полумрак вестибюля, в этот голубоватый неоновый свет, несущий в себе так много недосказанного.

Там, где нет домов

Равнинный пейзаж в устье реки По. Маленький городок, состоящий из приземистых разноцветных домов. Одна из улиц кончается, а тротуар — нет. Никаких домов по сторонам не видно, только тротуар тянется в сторону плотины.

У обочины тротуара по вечерам всегда стоит пустой грузовичок, словно хозяин его живет там, где нет домов.

Тот кегельбан над Тибром

Несколько лет тому назад я случайно оказался в Риме и не знал, чем себя занять. Когда я не знаю, чем заняться, то обычно начинаю смотреть. В этом деле тоже есть своя техника, вернее, много разных технических приемов. У меня есть мой собственный. Опыт показал, что, когда интуиция сулит что-то интересное, она обычно не обманывает. Не знаю уж почему. Вот Витгенштейн знал.

Итак, оказавшись в Риме, я сидел в машине на набережной Тибра в том месте, где она граничит с Олимпийской деревней. Искал там что-то утраченное (вообще я довольно много времени провожу в поисках). Подняв глаза, я увидел человека, выходившего из здания кегельбана. В том, как он подошел к своей машине, как помедлил, прежде чем открыть дверцу, как затем сел, было для меня что-то необычное. И я решил понаблюдать за ним. Дальше я расскажу, что я нафантазировал себе об этом человеке.

Из кегельбана на набережной выходит мужчина. Он уже не молод. Прямые волосы спадают ему на лоб, и время от времени он откидывает их назад. Мужчина здоров, это видно по цвету его лица: такой цвет бывает не от загара, а от нормальной работы внутренних органов, как бы омытых свежим, чистым воздухом. Внешний вид этого человека имеет очень большое значение. То, что должно вскоре случиться, случится исключительно благодаря... нет, не благодаря, а из-за доверия и симпатии, которые он внушает.

Мужчина садится в машину, включает зажигание, но уезжать не спешит. Его солидный, дорогой автомобиль покрыт грязью и пылью.

Взгляд мужчины обращен вниз, на педаль, словно он прислушивается к работе мотора. В действительности же он разглядывает носок своего правого ботинка, на котором виднеются царапина и пятнышко красной краски. Точка и черточка. В зависимости от того, как он поворачивает ногу, «композиция» эта смотрится то как черточка под точкой, то как точка под черточкой. Первый вариант его, как видно, устраивает больше, ибо, оставив ногу именно в таком положении, он нажимает ею на педаль акселератора. Какое-то время он едет по набережной, затем притормаживает у поворота в аллею, пропускает машину, идущую сзади, а сам сворачивает и, нырнув в темно-зеленую тень аллеи, подъезжает к Олимпийской деревне.

Стоит один из тех удивительных последних дней зимы, не солнечных, но ясных, когда все вокруг просматривается до мелочей. Мужчина останавливает машину у пустыря, за ним виднеется длинное приземистое здание, по обе стороны которого растут каштаны с кривыми стволами. Он выходит из машины. В воздухе пахнет чистотой, и он вдыхает его, смакуя. Не потому, что ему хочется наполнить этим чистым воздухом легкие: соображения гигиенического порядка здесь ни при чем. Его поражает мысль, что место это могло бы показаться таким мирным, если бы не разлитое во всем ощущение давящей инертности, мертвенности. Фасад низкого строения весь облупился, трубы почернели, трава, деревья и те как бы словно смирились со своей неухоженностью.

На пустыре играют двое ребятишек. Мальчик и девочка. Незнакомец смотрит на них рассеянным взглядом. Вернее, смотрит, когда они, играя, попадают в его поле зрения. И в эти моменты взгляд его становится очень напряженным. Дети носятся взад-

вперед, падают, поднимаются, смеются, кричат. Одно из таких неуклюжих падений вызывает у него улыбку. Возможно, это даже и не улыбка, но детям кажется, что он улыбается — столько симпатии во всем его облике. Они, очевидно, думают, что этот человек тоже хочет поиграть, со взрослыми такое часто бывает, и подходят поближе, чтобы вовлечь его в свою игру. Но что-то их останавливает: возможно, его взгляд.

Если бы кто-нибудь спросил, предположим, у мальчика (как это сделают позднее), что именно смутило его в этом взгляде, ребенок вряд ли смог бы подыскать нужные слова. Взгляд незнакомца не был двусмысленным. Отнюдь. Он был мягким, полным любви, но любви такой горячей, какой мальчик никогда не видел даже в глазах собственных родителей. Поэтому дети и не решаются сделать несколько последних шагов, отделяющих их от незнакомца. Постояв немного и подождав, они возвращаются к прерванной игре. Девочка уже делает движение в сторону, но в этот момент незнакомец опускает руку в карман, и она из любопытства останавливается. И даже подходит ближе. А мальчик остается там, где стоял. В нем сработала какая-то пружинка, вспыхнула искра внезапного безотчетного недоверия, словно опыт всей его восьмилетней жизни подсказал ему, что́ сейчас произойдет. Мужчина вынимает из кармана револьвер. Девочка улыбаясь протягивает руку к оружию, но прикоснуться к нему не успевает: пуля попадает ей в голову. Тельце девочки опускается на землю как-то необыкновенно замедленно и пластично.

Мальчик продолжает стоять как загипнотизированный. Это длится всего лишь мгновение. Мужчина выпускает вторую пулю, и мальчик падает в густую траву рядом с девочкой.

Мужчина опускает револьвер в карман и, кинув печальный взгляд на два тельца, направляется к своей машине. Садится, включает мотор, уезжает. Не спеша.

В одном из окон низкого строения показывается женщина. Она смотрит на пустырь, но видит только медленно удаляющуюся дорогую заляпанную грязью машину. Чистым, еще молодым голосом женщина зовет: «Ольга!.. Диего!..» Детей, скрытых густой травой, из окна не видно. Мальчик чуть заметно пошевелился. Женщина снова зовет: «Ольга!.. Диего!.. Да отзовитесь хотя бы!»

Я знаю, рассказ следовало бы на этом закончить, оставить читателя под впечатлением спокойного, зовущего голоса женщины. Но чувствую, что должен дать какое-то объяснение.

Все, о чем я рассказал,— лишь зародыш фильма, его литературная основа. От нее с помощью техники, о которой я говорил вначале, нетрудно перейти к более основательной конструкции и, таким образом, ответить на все интересующие читателя вопросы: почему этот человек совершил убийство, какое у него прошлое, что будет дальше и так далее.

На мой родной город Феррару зимой, бывает, опускается такой густой туман, что ничего не видно даже на расстоянии одного метра: нечто подобное произошло и с моим воображением. Оно вдруг заплутало в тумане. Попытаюсь все же хоть ощупью набрести на какие-нибудь надежные ориентиры. Прежде всего — побудительная причина. Почему этот человек совершил убийство? Я мог бы и не отвечать на такой вопрос, сказать, что он бессмыслен, но уже одним этим придал бы ему какой-то смысл. В общем, если бы мне надо было снять фильм, я бы такого вопроса себе не задал, потому что фильм говорит о себе сам, по ходу действия сам давая ответы. В данном случае — через образ мужчины, через его психологию, невроз или безумие.

Но поскольку моему наброску суждено остаться лишь на этих страницах, я могу попытаться дать приблизительное и краткое объяснение этических мотивов происшедшего. Мужчина убивает, ибо не хочет допустить, чтобы эти два невинных существа жили жизнью, которую он считает ничтожной, жалкой, недостойной человека. Таким образом, его действия — своего рода акт любви, а также веры во что-то иное. Эта сколь угодно парадоксальная идея тогда показалась мне не лишенной своего таинственного смысла, своей внутренней силы. И, глядя на свою историю сегодняшними глазами, я вижу, что если таинственности в ней поубавилось, то силы этой стало, пожалуй, больше.

И еще один ориентир. Человек этот возвращается к своей повседневной жизни, словно ничего не произошло и, я бы сказал, с чистой совестью. Расследование по этому делу так или иначе постоянно затрагивает его, он же и пальцем не собирается пошевельнуть, чтобы уйти от правосудия. Следователи доходят до самого порога его дома, открывают его дверь, смотрят ему в лицо, но не узнают его. Они не могут его узнать. Ведь его преступление так хорошо вписывается в окружающий его социальный кон-

текст, иными словами, оно выглядит таким нормальным среди множества самых жестоких преступлений, что путем исследования его аномальной побудительной причины до истины докопаться практически невозможно.

Остальное — в тумане. Я уже к нему привык. И к тому, что окружает наши выдумки, и к феррарскому. Здесь, в Ферраре, зимой, когда опускался туман, мне нравилось бродить по улицам. Только тогда и можно было вообразить, что находишься где-то совсем в другом месте.

Трагическая охота

13 декабря 1975 года сорок два человека отплыли к острову Ява, чтобы поохотиться на крокодилов. Двадцать восемь мужчин, четырнадцать женщин. Наняли две большие лодки, запаслись всем необходимым, двинулись вверх по какой-то реке.

Когда они прибыли на место — это была обширная заводь у подножия высоченной зловещей скалы,— крокодилы опрокинули лодки и съели всех охотников. Вместе с припасами.

Первые дни весны

Когда я слушаю, как гудят телеграфные провода в поле, мне кажется, что этот звук сообщает пейзажу беспокойство — чувствуется в нем какое-то нетерпение. Особенно в первые дни весны, когда прислушиваешься ко всему чаще, чем обычно.

Я пытаюсь представить себе, как это нетерпение передается людям, крестьянским семьям, например. Неправда, что крестьяне — народ терпеливый. И еще я думаю о том, как встречаются бегущие по этим проводам телеграммы, обо всех историях, которые они в себе несут. И о звуковой дорожке, построенной на этом жужжании...

Report about myself [1]

Я редко вспоминаю о своей молодости. И мне никогда не приходило в голову сделать фильм, как-то связанный с теми годами. Один только раз память возвратила меня к тем и, пожалуй даже, к еще более ранним временам. Сюжет назывался: «Веселые девушки 1924 года». Он действительно восходил к годам детства — довольно бесцветного периода моей жизни, если не считать того обстоятельства, что в нарушение всех норм буржуазного декорума — в те времена ревностно соблюдавшегося — я предпочитал выбирать себе дружков из пролетарских семей, а не из таких буржуазных, как наша. Возможно, я бессознательно тянулся к простонародным корням моих родителей, буржуа-самоучек, так сказать.

И еще был один случай — пару лет тому назад и не в том городе, где я живу сейчас. Я проходил мимо цветочного магазина и уже собрался было туда зайти — нужно было послать кому-то цветы,— как человек, шедший впереди метрах примерно в десяти от меня, вдруг остановился и поднял правую руку, на что-то указывая. Я тоже остановился, но, проследив взглядом линию от его пальца и дальше, ничего достойного внимания не увидел. Не было в том месте ни деревьев, ни опор высоковольтных линий, встречающихся на городских окраинах, ни телеграфных столбов, ни дорожных щитов, ни куч мусора, так же как машин, трамваев, пешеходов. Ничего. Эта точка находилась где-то в пустом — пустее не бывает — проеме между двумя зданиями. Странная вещь: было совершенно не похоже, что здесь только начинается окраина. Казалось, дальше, кроме пустоты, уже ничего нет.

На что же, черт побери, указывает этот человек?

Ему лет пятьдесят, он высок, широкоплеч и вот торчит, широко расставив ноги, в очень решительной позе, а его фуражка как-то еще больше подчеркивает грозную непреклонность жеста. Может, это больной, сбежавший из психиатрической лечебницы? Такое здесь случается. Или какой-нибудь псих, которого выпустили из сумасшедшего дома в порядке эксперимента (и вот теперь он из одного сумасшедшего дома попал в другой). А может, он просто показывает на что-то, видимое только ему, и жест этот

[1] Название, сам не знаю почему, сразу написалось у меня по-английски. На итальянском это могло быть так: «Отчет о себе самом». Плохо. Или: «Рассказ о себе». Смутно. Пусть остается как есть. *(Прим. автора.)*

получился у него самопроизвольно, без участия мозга? Ведь никто толком не знает, как работает человеческий мозг, как происходящие в нем химические реакции влияют на наше поведение.

Здание, возвышающееся слева, невысокое и старое —ему не меньше сотни лет. Его грязная белая штукатурка в лучах открыточно-красивых закатов становится розовой.

Мы часто думали,
Что в солнечных лучах, бегущих
средь закатных облаков,
Виднелось дерево, но все
было не так.

(Это из Мак-Лиша)

В тот день в солнечных лучах виднелся старый дом.

В доме — магазин, один на все здание, по-видимому, бакалейная лавка. Стена вокруг двери и витрины на ширину примерно одного метра свежевыкрашена молочно-белой краской, так что дверь, витрина и часть выкрашенной стены образуют квадрат — белый на белом, как у Малевича.

Какая-то женщина, выйдя из лавки, оставляет дверь открытой. Покачавшись немного, дверь замирает под таким углом, что в ее стеклах отражается тот мужчина, и теперь его указующий перст находит наконец свой «объект». Им оказываюсь я. Во мне поднимается смутное раздражение, словно незнакомец осознанно тычет пальцем в меня, а не в дверь, стекло которой, отразив этот жест, придает ему иное направление. Раздражение наводит меня на новую мысль. Почему меня вдруг заинтересовал какой-то незнакомый человек, по совершенно непонятной причине ведущий себя так нелепо? Мне даже хочется подойти и потянуть его за руку или направить на него (как в «Arroseur arrosé»)[1] струю воды из шланга, с помощью которого мальчик-рассыльный поливает сейчас тротуар перед лавкой. И я действительно делаю шаг в его сторону. Но существуют способы, позволяющие подавлять извращенные желания. Один из них состоит в том, чтобы не позволять намерению превратиться в действие. И я прибегаю к нему. Только почему-то никак не могу оторвать глаз от мужчины. Все окружающее фокусируется для меня в его фигуре. Может, он приходит сюда ежедневно в одно и то же время и обличающе тычет пальцем в... ну, не знаю, в белый свет, то есть в пустоту, разверзшуюся там, за проемом? Но теперь у этой сцены появился некий новый смысл: выходит, обвиняемый — я. Самое интересное, что какое-то смутное чувство вины в глубине души у меня все-таки есть, я чувствую, как оно возникает, словно тень — этакая хичкоковская тень, ставящая под сомнение мою жизнь.

Проходящая мимо девушка спрашивает у меня, который час. Я отвечаю, а она глядит на меня удивленно и даже немного обиженно, словно я виноват, что часы показывают восемь, и, воскликнув «Уже», хлопает себя по лбу и убегает, исчезает. Этот эпизод несколько отвлек меня, и я оглядываюсь на цветочный магазин. В витрине полно цветов (они почему-то кажутся старинными) и узких, веретенообразных старомодных ваз до двух метров высотой — как же я искал их во время съемок «Блоу-ап» для сцены с манекенщицами, но во всем Лондоне не удалось найти ни одной!

Из магазина доносится тихое журчание воды (наверное, там фонтанчик), к нему примешивается аромат цветов. Нет, не аромат, а запах мокрых листьев и уже начавших подгнивать стеблей. Там, внутри, царит атмосфера смерти. Я приближаю лицо к витрине — так в церквах разглядывают через стекло гробы со святыми мощами. Зрелище столь же отталкивающее. Передо мной древние, усохшие и бескровные старички, сидящие в зеленых плетеных креслицах и беседующие между собой. Их голоса — то самое журчание фонтана.

Еще раньше я заметил на пластмассовом крючке у двери небольшую карточку и подумал, что на ней указаны часы работы магазина, теперь же я вижу текст объявления «Ветераны четвертого призыва приглашаются на приятную встречу в городской ресторан в воскресенье 18 сего месяца Всех родившихся в 1882 году просим собраться у Бертини, в цветочном магазине на виа дель Конвенто, не позднее 12 сего месяца».

---

[1] «Политый поливальщик» *(франц.)*— один из первых фильмов братьев Люмьер.

За неделю до этого я возвратился из Парижа, где Ролан Барт рассказывал мне одну вещь, пожалуй встревожившую меня, вызвавшую смутное чувство ментальной клаустрофобии — непонятной безысходности. Из канцелярии Collège de France, где он читал свои замечательные лекции, ему прислали список всех профессоров этого учебного заведения с указанием даты их выхода на пенсию. Одному из них, совсем еще молодому, предстояло выйти на пенсию в 2006 году.

— Впервые двухтысячный год стал как бы фактом и моей жизни,— заметил Барт, и в его голосе прозвучала не только свойственная ему ирония, но и грусть, которую он тотчас попытался подавить, как чувство, в данной ситуации неуместное.

Не знаю почему, этот эпизод пришел мне на память, когда я стоял перед цветочным магазином. Я еще раз взглянул на объявление о встрече ветеранов и вдруг почувствовал себя зажатым между этими временными рамками: 1882 и 2006. Вот тогда я и вспомнил о своей молодости, и у меня возникло страстное желание сделать фильм о ней, о себе, тогдашнем, от которого я все эти годы отворачивался,— грубо и, пожалуй, неразумно.

(Окончание следует)

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА

Советский переводчик с итальянского языка. В ее переводе печатались книги Э. Петри «Рим, 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», М. Джакоббе «Дневник молодой учительницы», Де Сантиса «Пока ты не стал солдатом» Ф Феллини «Делать фильм», сценарий Ф Феллини и Т. Гуэрры «И плывет корабль» («ИЛ», 1984, № 9), а также рассказы А. Моравиа, М. Антониони, Л. Малербы и др.

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

Сонеты темной любви

Вступление и перевод с испанского А. ГЕЛЕСКУЛА

Этим стихам, увидевшим свет весной прошлого года,— полвека. Несколько листков, исписанных карандашом,— видимо, и все, что осталось от целой книги. «Сто сонетов,— говорил о ней Гарсиа Лорка с озорной гордостью.— Сто сонетов! Почти как у Шекспира». Эти одиннадцать сохранились в семейном архиве, над которым сейчас работают испанские филологи.

«Сонеты темной любви» (таким запомнили название друзья Лорки — поэты Сернуда и Алейсандре) записаны на почтовых бланках валенсианской гостиницы. В Валенсию Лорка приезжал в начале ноября 1935 г. с театральной труппой. В последние годы жизнь его стала кочевой. Зимний театральный сезон (триумфальные премьеры его пьес) сменялся летним — странствиями по Испании, во главе студенческого театра «Баррака». Этот молодой, бродячий, нищий театр оказался настолько свежим и нужным, что фалангистская печать поспешила объявить его преступным.

Казалось, поэт отдал себя театру целиком и бесповоротно. Но в последнем, посмертно изданном интервью он сам признается, как властно не отпускают его стихи: «Иногда это бывает совсем некстати. Пока шла премьера «Доньи Роситы», я сидел у себя в номере и заканчивал книгу сонетов». Премьера этой драмы Лорки состоялась в Барселоне 12 декабря 1935 г. Но о ста сонетах он увлеченно говорил еще весной.

До этого Лорка, в общем, не тяготел к сонетной форме. За долгие годы им написано восемь сонетов, из них он опубликовал пять. И это всё — до той книги, которую он завершил (или завершал) тревожной зимой 1935 г.

Напомним, что этот последний предвоенный год был для Испании годом борьбы и поляризации сил — годом профашистского правления Лерруса — Хиля Роблеса и объединения левых сил в Народный фронт. Буквально в первых числах этого года правая газета «Дебате» аттестовала Лорку как писателя безнравственного, безбожного, неприемлемого и в довершение — «безответственного, как все бездельники». Выпад не случайный. Подпись Гарсиа Лорки стоит первой под манифестом в защиту жертв нацизма и — снова первой — под манифестом «Интеллигенция — с Народным фронтом». В ноябре 1935 г. Лорка подписывает «Антифашистский манифест испанской интеллигенции» — в том же ноябре, которым датированы его сонеты.

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА — FEDERICO GARCÍA LORCA (1898—1936)

Испанский поэт, драматург и музыкант. Расстрелян франкистами в селении Виснар близ Гранады. Его произведения неоднократно переводились на русский язык — «Избранное» (Гослитиздат, 1944), «Театр» («Искусство», 1957), «Лирика» («Художественная литература», 1965), «Избранные произведения» в 2-х томах («Художественная литература», 1975) и др. В серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Л. Осповата «Гарсиа Лорка» («Молодая гвардия», 1965). Переводы стихов Гарсиа Лорки и статьи о нем публиковались в «Иностранной литературе» (1956, № 8; 1966, № 9; 1978, № 12; 1982, № 4).

Сонеты, переводы которых мы публикуем, впервые были напечатаны в газете «АБС» 17 марта 1984 г. («ABC», Sabado cultural).

«Книга сонетов,— говорит Лорка весной следующего года,— это возврат к уставу после долгой, солнечной прогулки по ритмическому и рифмическому приволью. В Испании этот военный поход начала молодежь». Не только она — первым вернулся к сонету, еще в конце 20-х годов, Антонио Мачадо. А молодежь, о которой говорил Лорка, это прежде всего Мигель Эрнандес, поэт редкой силы, который отдал сонету пять лет своей горькой и яростной молодости.

Такая перемена вкуса необъяснима однозначно. Возможно, грозное время крепило в поэтах внутреннюю дисциплину. И возможно, у Лорки были свои причины, которые привели его к сонетной форме. Еще в молодости он писал другу: «Лишь сонет, сколько бы ни называли его холодной склянкой, способен сохранить чувство навеки».

Как ни странно, у этого удивительного лирика почти не было «стихов о любви». Признания передоверены десяткам лирических и драматических героев; сам же поэт, подобно режиссеру, не появлялся на сцене. Это было сознательное, еще в молодости принятое решение. В одном из ранних писем Лорка жалуется: «Я страдаю, когда вижу в стихе свое отражение. Кажусь себе огромным сизым комаром над омутом чувства». С годами он лишь утверждается в своем решении: «Непрерывно следить, чтобы твои обстоятельства не проникли в стих, иначе он сыграет с тобой скверную шутку и сокровенное выставит напоказ» (из письма 1928 г.). Этот обаятельный юношеский максимализм заставляет невольно вспомнить Достоевского: «— Господин Кармазинов,— раздался вдруг один юный свежий голос из глубины зала...— Господин Кармазинов, если б я имел счастие так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения...»

К счастью, над художником стихийной силы не властны и собственные обеты. В том же 28-м году Лорка пишет другу: «Моя поэзия расправляет крылья для крутого взлета. Думаю, очень личного». А в интервью 1931 г.— констатация: «Поэзия моя переменилась. Драматизм насыщен лирикой».

В испанской поэзии лирика веками и порой безраздельно принадлежала народной песне и литературному сонету. Это и были освященные временем формы исповеди, тот дозволенный язык, на котором можно выговориться, не поступаясь гордостью. И в общем, неудивительно, что Лорка обратился к сонетной форме, для испанцев исконной и естественной. Но и здесь сказалась его черта, которую сам он называл застенчивостью: видимо, в первоначальный замысел книги входила обязательная стилизация — патина Золотого века должна была смягчить все слишком личное. Сила чувства смела этот замысел, и стилизация осталась лишь в нарочитой старомодности пространных заглавий.

Насколько можно судить по сохранившимся стихам, «Сонеты темной любви» — самая личная книга Лорки, вольный всплеск радости и горя. Но непривычная откровенность не должна обманывать. Это не лирический дневник, и в сонетах угадывается драматургия всей книги, намеченная уже в названии. Любовь у Лорки темна тем, что неразумна и по сути сверхлична — неодолимая и роковая стихия, она обрекает бороться и жертвовать. Но эта трудная любовь темна не только потому, что таит опасность. Она сама таится от опасности, и в ее темном облике — оттенок обреченности. Подлинный и чистый голос жизни, она будит и настораживает все, что противостоит жизни.

Лорка говорил: «Поэт должен следовать тому зову, что рождают в его сердце три могучих голоса: голос смерти со всеми его оттенками, голос любви и голос искусства». По-испански внимательный к смерти, поэт был особенно чуток к ее насильственному облику — убийству. Трудное время обострило эту чуткую непримиримость: насилие, черная нить лоркианской поэзии, сквозит и в сонетах о любви, пронизывая их тревогой, близкой к отчаянию. Как-то не представляется, чтобы драматизм в утраченных стихах разрешался мажорно; видимо, «Сонеты» были внутренне близки той книге, что им предшествовала. Эту книгу любви, одиночества и горьких предчувствий — «Диван Тамарита» — Лорка завершил в 1931 г., а через пять лет собирался издать в Гранадском университете — и не успел. Набор был рассыпан, но рукопись уцелела.

При жизни Лорки его медлительность и беспечность в отношении публикаций скорее забавляла, чем беспокоила. По-своему он был беспечен: нередко дарил только что написанные стихи, не заботясь об их судьбе,— и с подарком порой обращались еще беззаботней. Но его «издательская» беспечность серьезна, за ней — вечная творческая неуспокоенность: «Боюсь публиковать. Стоит мне даже напечатать стихи на машинке, как тут же нахожу в них изъяны» (1933).

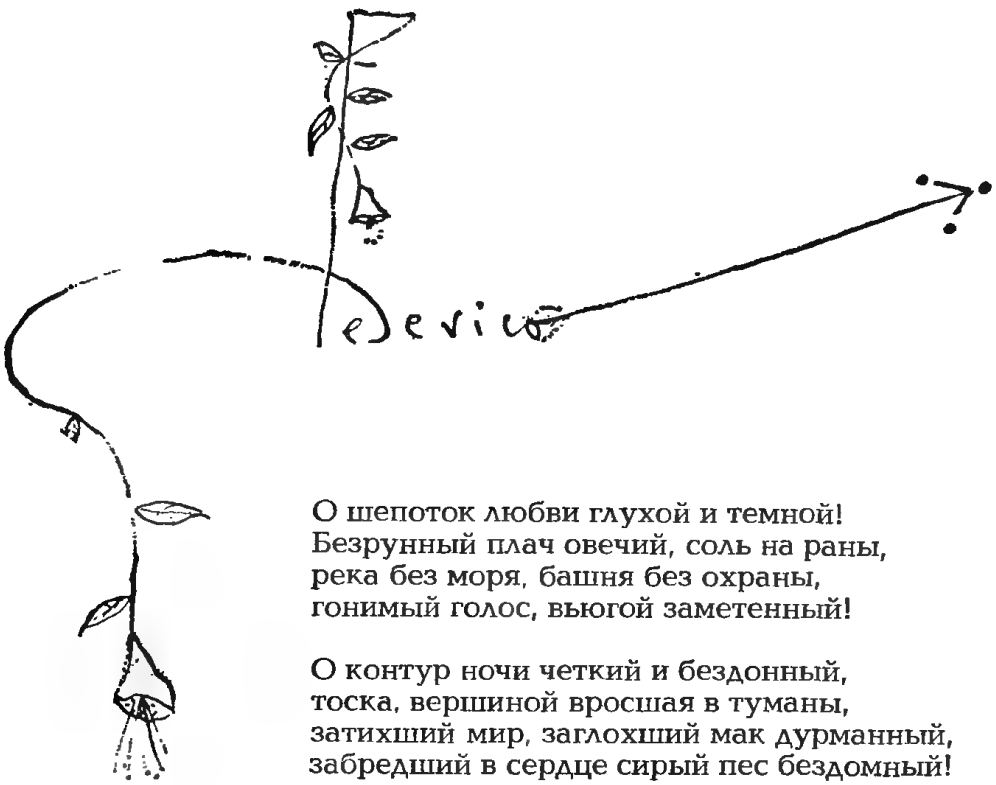
И нерасчетливость и строгость Лорки — от избытка сил. Предлагаемые в нашей подборке интервью позволяют ощутить внутренний ритм последних лет его жизни. Они взяты вразплох у рабочего места — во время гастролей, на ходу, на репетиции, в краткие минуты передышки. Эти моментальные фотографии сохранили облик поэта в движении. И наверное, первое ощущение от них — это полнота жизни, ее упругая пульсация. Трагический поэт, сосредоточенный на смерти, Гарсиа Лорка мог бы, кажется, жить не уставая — бесконечно долго, «полной, доброй, веселой, молодой жизнью». Он и сам ощущал в себе эту переполненность и неизжитую щедрость детства («моего затянувшегося детства»). «Да в конце концов я все опубликую,— с веселым раздражением говорит он в интервью 1933 г.— Мое правило: «Поздно, да вовремя». Лишь ребенку жизнь кажется такой бесконечной.

«Поздно, да вовремя» — андалузская поговорка. Это невольное пророчество Лорки почти сбылось. Поздно? Позднее, чем он думал. Две трети созданного уви-

дели свет годы и годы спустя после гибели поэта. Вовремя? Прошло полвека — и каких полвека, а поэзия Лорки первозданно свежа. Всё? Нет, не всё. О размерах утрат можно лишь гадать. Только один пример — в 1933 г. Лорка обещал издать «вещь традиционную, но смелую — вереницу вальсов «Потому что люблю тебя одну». От этой вереницы вальсов уцелели только два.

Была ли завершена книга о темной любви? Каков окончательный облик сонетов? Есть ли надежда найти когда-нибудь новые? Вопросы невеселые, как и ответы. Испанские лорковеды полагают, что рукопись могла храниться у литературного секретаря «Барраки» Рафаэля Родригеса Рапуна. Но сам он погиб на фронте под Бильбао, а его мадридский дом был разбомблен — архив бродячего театра и рукописи, свои и чужие, сгорели.

Да и эти листки, исчерканные порывистым угловатым почерком, в сущности, уцелели чудом. Траурная тень лежит на стихах, и сегодня они читаются иначе, словно навсегда прикипел к ним горький пепел войны. Но чудо в другом. Жизнь, когда она обретает голос, неодолима — и Федерико Гарсиа Лорка по-прежнему страдает, любит, борется. И даже печатает стихи, что в той первой своей жизни делал не слишком охотно.



О шепоток любви глухой и темной!
Безрунный плач овечий, соль на раны,
река без моря, башня без охраны,
гонимый голос, вьюгой заметенный!

О контур ночи четкий и бездонный,
тоска, вершиной вросшая в туманы,
затихший мир, заглохший мак дурманный,
забредший в сердце сирый пес бездомный!

Уйди с дороги, стужи голос жгучий,
не заводи на пустошь вековую,
где в мертвый прах бесплодно плачут тучи!

Не кутай снегом голову живую,
сними мой траур, сжалься и не мучай!
Я только жизнь: люблю — и существую!

Поэт говорит правду

Все выплакать с единственной мольбою —
люби меня и, слез не отирая,
оплачь во тьме, заполненной до края
ножами, соловьями и тобою.

И пусть на сад мой, отданный разбою,
не глянет ни одна душа чужая.
Мне только бы дождаться урожая,
взращенного терпением и болью.

Любовь моя, люби! — да не развяжешь
вовек ты жгучий узел этой жажды
под ветхим солнцем в небе опустелом!

А все, в чем ты любви моей откажешь,
присвоит смерть, которая однажды
сочтется с содрогающимся телом.

Поэт расспрашивает свою любовь о «Зачарованном городе» [1]

В том городе, что вытесали воды
у хвойных гор, тебе не до разлуки?
Повсюду маски, сны, и акведуки,
и траур стен в ожогах непогоды?

Все не смывает лунные разводы
хрустальный щебет ху́карской излуки?
И лишь терновник ловит твои руки,
укрыв полуразрушенные своды?

Не вспоминалась тень моя дорогам
в безмолвный мир, который как изгоя
томит змею, крадущуюся логом?

И не расцвел ли в воздухе нагорья
тебе из сердца посланный залогом
бессмертник моей радости и горя?

[1] «Зачарованный город»— скальный лабиринт, образованный эрозией, вблизи старинного кастильского города Куэнки, в горах, где берут начало реки Хукар и Турия Для андалузца это уже север, горный испанский север, и отсюда «северные» образы сонетов — снега, папоротники, сосны. *(Здесь и далее примечания А. Гелескула).*

Сонет о письме

Любовь до боли, смерть моя живая,
жду весточки — и дни подобны годам.
Забыв себя, стою под небосводом,
забыть тебя пугаясь и желая.

Ветра и камни вечны. Мостовая
бесчувственна к восходам и заходам.
И не пьянит луна морозным медом
глубин души, где темень гробовая.

Но за тебя шел бой когтей и лилий,
звериных смут и неги голубиной,
я выстрадал тебя, и вскрыты жилы.

Так хоть бы письма бред мой утолили,
или верни меня в мои глубины
к потемкам, беспросветным до могилы!

Гонгорианский сонет [1], *в котором поэт шлет своей любви голубя*

Турийский голубь с нежными зрачками
к тебе летит посланцем белоперым,
как дым костра, сгорая на котором
я заклинаю медленное пламя.

Пуховый снег над жаркими крылами,
вскипев, как опушь пены по озерам,
жемчужно стынет инистым узором
в саду, где наши губы отпылали.

Погладь рукою перышко любое —
и снежная мелодия крылато
весь мир запорошит перед тобою.

Так сердце от заката до заката
боится, окольцовано любовью,
не вымолить тебя, моя утрата.

[1] Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627) — крупнейший поэт испанского барокко; Гарсиа Лорка посвятил притягательной для него поэтике Гонгоры работу «Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры» (1926).

Поэт говорит со своей любовью

Я прянул к телефону, словно к манне
небесной среди мертвенного зноя.
Пески дышали южною весною,
цвел папоротник в северном тумане.

Глухой кабины лаковые грани
запели звонкой утренней сосною,
и как венок надежды надо мною
всплыл голос твой, вибрируя в мембране.

Далекий голос, нежный и неверный,
затерянный, затихший дрожью в теле.
Такой далекий, словно из-за гроба.

Затерянный, как раненая серна.
Затихший, как рыдание в метели.
И каждой жилке внятный до озноба!

Сонет о розовой гирлянде

Гирлянду роз! Быстрей! Я умираю.
Сплетай и пой! Сплетай и плачь над нею!
Январь мой ночь от ночи холоднее,
и нет потемкам ни конца ни краю.

Где звездами цветет земля сырая
между твоей любовью и моею,
там первоцветы плачутся кипрею
и круглый год горят не отгорая.

Топчи мой луг, плыви моей излукой
и свежей раны впитывай цветенье.
В медовых бедрах кровь мою баюкай.

Но торопись! В неистовом сплетенье
да изойдем надеждою и мукой!
И времени достанутся лишь тени.

Бессонная ночь

Мы вплыли в ночь — и снова ни уступки,
ответный смех отчаянье встречало.
Твое презренье было величаво,
моя обида — немощней голубки.

Мы выплыли, вдвоем в одной скорлупке.
Прощался с далью плач твой у причала.
И боль моя тебя не облегчала,
комочек сердца, жалостный и хрупкий.

Рассвет соединил нас, и с разгону
нас обдало студеной кровью талой,
разлитой по ночному небосклону.

И солнце окровавленное встало,
и снова жизнь коралловую крону
над мертвым моим сердцем распластала.

Тернистая любовь

Вся мощь огня, бесчувственного к стонам,
весь белый свет, одетый серой тенью,
тоска по небу, миру и мгновенью
и новый вал ударом многотонным.

Кровавый плач — срывающимся тоном,
рука на струнах белого каленья
и одержимость, но без ослепленья,
и сердце в дар — на гнезда скорпионам.

Таков венец любви в жилище смуты,
где снишься наяву бессонной ранью
и сочтены последние минуты,

и, несмотря на все мои старанья,
ты вновь меня ведешь в поля цикуты
крутой дорогой горького познанья.

Сонет о нежной горечи

Мне страшно не вернуться к чудоцветам,
твоим глазам живого изваянья.
Мне страшно вспоминать перед рассветом,
как на щеке цвело твое дыханье.

Мне горько, что безлиственным скелетом,
засохший ствол, истлею в ожиданье,
не утоленным и не отогретым
похоронив червивое страданье.

И если ты мой клад, заклятый роком,
мой тяжкий крест, которого не сдвину,
и если я лишь пес, бегущий рядом,—

не отбирай добытого по крохам
и дай мне замести твою стремнину
своим самозабвенным листопадом.

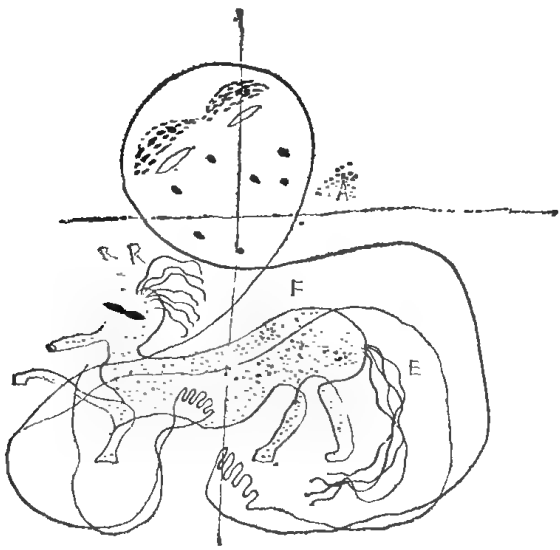
Любовь уснула на груди поэта

Ты знать не можешь, как тебя люблю я, —
ты спишь во мне, спокойно и устало.
Среди змеиных отзвуков металла
тебя я прячу, плача и целуя.

Тела и звезды грудь мою живую
томили предрешенностью финала,
и злоба твои крылья запятнала,
оставив грязь, как метку ножевую.

А по садам орда людей и ружей,
суля разлуку, скачет к изголовью,
зеленогривы огненные кони.

Не просыпайся, жизнь моя, и слушай,
какие скрипки плещут моей кровью!
Далек рассвет, и нет конца погоне!



Федерико Гарсиа Лорка. Автопортрет с конем.

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.)

Советский переводчик. В его переводах публиковались стихи Поля Верлена, Хуана Рамона Хименеса, Федерико Гарсиа Лорки, Сесара Вальехо, Фернандо Пессоа, Адама Мицкевича, Болеслава Лесьмяна и других испанских, французских и польских поэтов.

Четыре интервью [1]

15 декабря 1933 года

— Я впервые ставлю песни — «Паломники», «Четыре мула», «Осеннюю кастильскую песню», а кажется, мог бы заниматься этим всю жизнь.

— *Вы серьезно изучали испанские народные песни?*

— Да, я серьезно занимался песнями, изучал их и просто влюбился в них. Десять лет я постигал наш фольклор не как ученый — как поэт. Поэтому я и счел возможным взяться за то, чего еще никто в Испании не делал: я хочу поставить песню, сделать ее увлекательным спектаклем, как делают в России.

У обеих стран — России и Испании — богатейший фольклор, открывающий удивительные, сходные возможности. Это отличает нас от других народов. Но, к несчастью, в Испании стараниями сарсуэлистов фольклор разворован и обесчещен, почти уничтожен, тем не менее сарсуэла [2] в моде, ее любят. Эти композиторы копируют песню точно так же, как, учась, художник копирует в музее шедевры, а ведь еще Фалья [3] говорил: «Народную песню бессмысленно давать в нотной записи, нужно записывать на пластинку живой голос, иначе песня утратит то, что и составляет ее красоту».

Вы видели, я вникал во все подробности, но главное — следил за ритмом. Иначе нельзя. Песня — живое существо, и очень нежное. Собьешься с ритма и погубишь песню. Очень легко нарушить ее чудесное равновесие, а удержать его трудно — как шарик на острие иглы.

Песни похожи на людей. Они живут, становятся лучше или хуже, иные гибнут, и остается только полустертая, почти непонятная запись. Для нашего спектакля я выбрал три песни. Все три переживают период расцвета. «Паломников» и сейчас можно услышать в Гранаде. Из многочисленных вариантов песни я выбрал два: первую вариацию, с живым, радостным ритмом, я услышал в гранадской долине, вторую, печальную, поют в горах. Наш сценический вариант начинает и кончает первая вариация.

Затем идет «Осенняя кастильская песня», очень красивая и грустная. Ее поют в Бургосе, в ней поэзия той равнины, тех золотых тополей:

Вешним веткам — грозы,
зимним — вьюги,
а влюбленным — слезы
друг о друге [4].

Разве высшая красота не в этом? Что перед ней поэзия... Все мы, те, кто пишет стихи, и те, кто разбирается в поэзии, умолкаем, когда звучат великолепные строки, сложенные народом.

— *А вам не кажется, что это авторская песня?*

— Авторская, конечно, только автор неизвестен. Но вот ведь в чем дело — песня живет. Передается из уст в уста, меняется, становится все лучше и обретает наконец поразительную красоту — вот она, перед нами. Ее до сих пор поют в Бургосе, но только в селеньях, не в городе, городские ее не знают...

«Четыре мула» — очень характерная рождественская колядка, поют ее в Альбайсине [5] и только на рождество, когда стоят холода. Языческая рождественская колядка, почти все народные песни — языческие. Есть и церковные песенки, много неязыческих колыбельных. А это — замечательная языческая колядка, она раскрывает дионисийскую суть андалузского рождества. Песни дарят нам и такие неожиданные открытия. А есть замечательные песни социального плана, очень глубокие по чувству. Например, эта:

От ночи и до ночи
работник в поле,
а нашим богатеям
живется в холе.

Или вот эта — здесь бурлит чисто андалузская ярость. Она могла бы стать манифестом, гимном нашего времени.

Перевернись, черепаха,
и угости на здоровье
бедного сдобной лепешкой,
а богатея — коровьей.

---

[1] Публикуются с незначительными сокращениями.

[2] Испанская музыкальная комедия.

[3] Мануэль де Фалья (1876—1946) — испанский композитор, близкий друг Лорки.

[4] Здесь и далее перевод стихов А. Гелескула.

[5] Северо-восточная окраина Гранады, граничащая с Сакро-Монте — пещерным городком цыган.

Те песни, что я ставлю,— другие, в них нет этой желчи.

Надеюсь, спектакль наш понравится. Ведь не только песни сами по себе хороши — хорошо работает труппа Лолы Мембривес. Мне казалось, когда я ставил песни, что рядом со мной мои товарищи, актеры студенческого театра «Барракa», которым я руковожу, так приятно мне было работать. Актеры этой труппы так знают и любят свое дело, что работать с ними — истинное удовольствие, особенно когда ставишь спектакль, о котором можно только мечтать.

Мануэль Фонтанальс сделал изумительные декорации и прелестные костюмы. Вот увидите. Он сумел подчеркнуть красоту человеческого тела, о которой в театре и думать забыли. А ведь спектакль должен быть праздником тела человеческого, все должно играть — от кудрей до ног и, главное, взгляд, зеркало души. Пластика, ритм — о них начисто забыли режиссеры, которые умеют одно: выпустить на сцену двух-трех угрюмых бородачей, таких, что дрожь пробирает от одного их вида. Театр должен вернуться к пластике. Это одна из моих режиссерских задач.

— Вы оставили без изменений текст песен и мелодию?

— Да, я очень бережно отнесся и к стихам и к музыке. Я только распределил текст между действующими лицами и сделал аранжировку.

Газета «Критика» («Crítica»), Буэнос-Айрес.

10 марта 1934 года

— Почти у каждого из людей есть особая разновидность жизни — нечто вроде визитной карточки. Я имею в виду жизнь, открытую постороннему взору, ею человек может отрекомендоваться: «Вот я какой», и это примут к сведению: «Раз говорит, значит, так и есть». Но почти у каждого есть и другая жизнь — сумрачная, потаенная, мучительная, сатанинская жизнь — ее скрывают, как постыдный грех. А сколько их, сколотивших состояние этой чудодейственной фразой. Стоит лишь прошептать в самое ухо: «Или я получу столько-то, или все узнают...» Вот чем держится та потаенная жизнь.

— Расскажите о своей жизни.

— О моей жизни? Разве жизнь прожита? А те годы, что прожил, еще не взрослые, для меня они — дети. Детство до сих пор живет во мне. Никак с ним не расстанусь. Рассказывать о своей жизни — значит говорить о том, что было, а я стал бы говорить о том, что есть. Воспоминания детства, вплоть до самых ранних, для меня и сейчас трепетное настоящее.

Вот что я вам расскажу. Я этого никогда никому не рассказывал, потому что это мое, и только мое, настолько мое, что я никогда не задумывался, что это значит.

В детстве я ощущал себя единым с природой. Как все дети, я думал, что все вокруг — всякая вещь, стол, стул, дерево, камень — живые. Я разговаривал с ними, любил их. Возле нашего дома росли тополя. Как-то вечером я вдруг услышал, что они поют. Шелест тополиных листьев, колеблемых ветром, показался мне музыкой. И с тех пор я часами слушал их песню и пел — вторил ей... Но вдруг однажды замер, изумленный. Кто-то звал меня по имени, по слогам: «Фе-де-ри-ко...» Я оглянулся — никого. Я вслушался и понял. Это ветер раскачивал ветви старого тополя, и мерный горестный шелест я принял за свое имя.

Я люблю землю. Все мои чувства уходят корнями в землю. У моих самых ранних детских воспоминаний вкус земли. Земля, поле очень много значат для меня. Твари земные, животные, крестьяне — я сильнее чувствую их, чем многие. До сих пор во мне живо то детское восприятие. Это любовь к земле разбудила во мне художника. Расскажу вкратце.

Шел 1906 год. Землю в наших краях издревле вспахивали деревянным плугом, который берет лишь самый верхний слой. Так вот, именно в том году некоторые наши земледельцы обзавелись новыми плугами фирмы «Бравант» — название врезалось мне в память,— которые на Всемирной выставке в Париже в 1900 году были отмечены медалью. Мне тогда все было интересно — я любил смотреть, как глубоко уходит в землю наш новый плуг, как огромный стальной лемех взрезает землю, а из нее, как кровь, сочатся корни. Как-то плуг замер, наткнувшись на что-то твердое, но в ту же секунду одолел препятствие и вывернул на поверхность обломок римской мозаичной плиты. На нем была надпись, уже не помню какая, но почему-то на память мне приходят пастушеские имена — Дафнис и Хлоя.

Да, земля пробудила во мне художника. У этих имен — Дафнис и Хлоя — вкус земли и любви. Мои ранние детские впечатления связаны с землей, с сельским трудом. Психоаналитик нашел бы у меня аграрный комплекс.

Если бы не эта любовь к земле, я не написал бы «Кровавую свадьбу». И никогда не взялся бы за последнюю мою трагедию — «Йерму». Земля для меня не-

разделима с бедностью, а бедность я люблю больше всего на свете. Не нищету, измызганную и алчную, а бедность — благородную, трогательную, простую, как черный хлеб...

Я не выношу стариков. Это не ненависть. И не страх. Они вселяют тревогу. Я не умею говорить с ними. Не знаю, что им сказать. Особенно тем, которые полагают, что раз уж они дожили до старости, значит, разгадали все тайны до единой. Я не принимаю того, что называют жизненным опытом, а им так гордятся старики. Окажись я в их компании, я бы рта не раскрыл. Меня приводят в ужас *эти тусклые, слезящиеся глаза, сжатые губы, отеческие улыбки — я чувствую,* как старики тянут меня за собой в пропасть.

Вот что такое старость — привязь, цепь, на которой бездна смерти держит юность.

Смерть... Все напоминает о ней. Безмолвие, покой, умиротворенность — ее предвестники. Она властвует. Все подчинено ей. Стоит остановиться — и смерть уже наготове. Вот сидят люди, спокойно беседуют, а вы посмотрите на ноги — как неподвижны, как ужасающе неподвижны туфли. Безжизненная, мрачная, онемелая обувь... в эти минуты человек не нуждается в ней, и она мертвеет. Туфли, ноги, когда они неподвижны, мучительно неотличимы от мертвых. Видишь их оцепенение, их трагическую незыблемость, свойственную только ногам, и думаешь: еще каких-нибудь десять, двадцать, сорок лет — и весь ты оцепенеешь, как они. А может, минута. Может быть, час. Смерть — рядом.

Я не могу и на минуту прилечь на постель в туфлях, а теперь, кажется, иначе и не отдыхают. Когда я смотрю на свои ноги, меня охватывает предчувствие смерти. Ноги, когда они лежат — вот так, опираясь на пятки, ступнями вперед, напоминают мне ноги мертвых, которые я видел ребенком. Так они и лежали — недвижные, одна подле другой, в ненадеванных туфлях... Это сама смерть...

Если бы друзья вдруг покинули меня, если бы я почувствовал, что мне завидуют, что меня ненавидят, я не стал бы стремиться к успеху. И пальцем бы не пошевелил. Успех мало что значит для меня, а если и значит, то лишь потому, *что есть друзья, которым это небезразлично. И моих мадридских друзей, и здешних* огорчил бы провал моей пьесы. И я бы мучился из-за того, что они огорчены,— не из-за провала. Это мой долг перед друзьями — завоевать публику. У меня просто нет другого выхода — ведь иначе они потеряют веру в меня, перестанут любить. О тех же, кого я не знаю, равно как и о недоброжелателях, я не думаю, когда работаю...

Что произвело на меня сильное впечатление? Вчера, здесь, в Буэнос-Айресе, в театр пришла старушка и сказала, что хочет меня видеть. Ее провели ко мне. Она добиралась издалека — из предместья, а узнала о моем приезде в Буэнос-Айрес из газет. Я терялся в догадках — что привело ее ко мне? Она бережно развернула что-то, посмотрела на меня, улыбнулась — так улыбаются воспоминанию — и заговорила: «Федерико... Кто бы мог подумать... Федерико...» И вынула из конверта пожелтевшую фотографию младенца. Вот это и произвело на меня самое сильное впечатление!

— Ты знаешь, кто это, Федерико? — спросила она.

— Нет,— ответил я.

— Но ведь это ты! Здесь тебе годик. Я видела тебя, когда ты только родился. Я жила по соседству, а в тот день, когда ты должен был родиться, мы с мужем собирались на праздник, да только на праздник я не попала, потому что меня позвали к вам — пришло время тебе родиться. Я помогала домашним. А здесь тебе годик. Видишь, уголок согнут? Это ты согнул, когда был маленький. Как *посмотрю на этот уголок, так тебя и вспомню...*

Она говорила, а я не знал, что делать. Мне хотелось обнять ее, заплакать, поцеловать портрет, отогнуть уголок... Ведь это я согнул его, когда мне был годик. Вот оно, первое мое деяние — передо мной... во зло оно или во благо? Вот и все. Мне нечего больше добавить...

Газета «Критика» («Crítica»), Буэнос-Айрес.

Перевод с испанского Н. МАЛИНОВСКОЙ

Сентябрь 1935 года

— Расскажите о студенческом театре.

— «Баррака» организована три года назад, вот уже три года мы бродяжим. Все члены труппы — студенты университета, восемь девушек, остальные парни. Нас тридцать человек, включая и шоферов, и осветителей, и механиков. У нас есть автобус для труппы и грузовик для вещей. Так и ездим по Испании, даем спектакли. «Отдыхаем» мы, если можно так выразиться, только в сессию, когда ребята усиленно готовятся к экзаменам. А после экзаменов опять на колеса.

— Что вы ставите?

— Классику, черт возьми! «Баррака» затем и создана!

Старый испанский театр — самая богатая драматургия в мире. А сейчас испанскую сцену заполонила массовая коммерческая продукция да еще огромное количество переводных пьес. Это тяжелое зрелище, и я сказал ребятам: «Никто

не хочет ставить классику, никому она не нужна, так, может быть, мы этим займемся?» Вот мы и занялись.

— Что же вы поставили за три года?

— Не так много. Начали со старины, с самых истоков испанского театра, и фольклорных, и литературных. Взяли эклогу Хуана дель Энсины [1]. Поразительно, что ее прежде не ставили, один-единственный раз она шла в Риме, да и то четыреста лет назад. Затем — сценки Лопе де Руэды [2], кое-что из Жила Висенте [3], интермедии Сервантеса. А еще мы поставили одну из интермедий Кальдерона и его ауто «Жизнь есть сон» (не путать с одноименной драмой, которая мне лично нравится много меньше!). Из Тирсо [4] — самое знаменитое, известнейшее его произведение «Севильский озорник». Из Лопе де Веги всего две драмы: «Рыцарь Ольмедо» и «Овечий источник», который вы сегодня увидите.

— К кому же обращены ваши спектакли?

— Ко всем. Мы играем не в помещении, а на открытом пространстве, на площади — так наш театр борется против всяческой замкнутости, затхлости. Мы смотрим в глаза людям, а не куда-то вдаль. У нас нет ни ограды, ни билетов. Мы приглашаем всех! Заходи кто хочет. И хозяева, и батраки, и кухарки с детишками, и генералы в отставке, и университетские профессора (случается, они специально приезжают к нам на спектакль, покинув библиотеку), и мальчишки, которые играли тут же на площади и подошли поближе — поглазеть. Все спектакли без исключения мы даем бесплатно.

— А как же вы платите актерам?

— Помилуйте, да мы не платим! «Нет у меня ни гроша». Никто здесь не получает денег.

— Прекрасно. А как же вы существуете?

— Сначала нам предоставили государственную дотацию — сто тысяч песет в год на содержание тридцати человек и на декорации, реквизит, костюмы, бензин для автобуса и грузовика и тому подобное. Потом дотацию урезали до пятидесяти тысяч. А новое правительство вообще ее отменило [5].

— И что же вы собираетесь делать?

— Работать. Играть. А там, глядишь, и долги кто-нибудь заплатит. *(Лорка смеется.)*

— Какие роли вы сами играете?

— Да какие там роли! *(Он все еще смеется.)* Я выбираю пьесу, обрабатываю ее для постановки, ставлю, сочиняю музыку, придумываю танцы, репетирую. Меня же публика и знать не знает и даже не видит, если не считать того, что в самом начале я выхожу и объявляю, какой спектакль мы сегодня играем. Ведь программок у нас нет. И афиш тоже.

— А как же публика узнает имена актеров?

— А никак! Актер у нас безымянен. Зритель приходит к нам смотреть пьесу, а не игру такого-то.

— Ну и ну! Платы никакой, славы никакой — что же влечет студентов в ваш театр?

— Они играют — и счастливы. Им нравится жить жизнью персонажа, жить жизнью театра, творить театр. «Театр — это отрава», раз ее пригубишь — и уже не оторвешься, это на всю жизнь, как наваждение, как безумие... В конце концов ребята кое-чему выучиваются и уходят от меня, работают самостоятельно, ищут собственную дорогу. А я набираю другой состав.

— Но вы ведь еще и драматург.

— Да, я написал восемь пьес. Скоро будет премьера одной из них — «Донья Росита, девица, или Язык цветов». Забавная и трогательная история романтической натуры, старой девы. Нечто в духе немого кино, а-ля Франческа Бертини. Мещаночка в страшной бедности говорит по-французски и изображает роковую женщину.

— А! Наш клоун Петролини это определил так: «С голоду помирай, а лопочи по-французски!»

— Вот-вот. Но к «Барраке» это не имеет отношения. «Баррака» ставит только классику.

— Значит, ваши комедии я не увижу, а прочту?

— Да где ж вы их прочтете? Я не печатаю пьес! Пьесы пишут для театра, я и отдаю их в театр. Пьеса живет, пока живет спектакль, не дольше. Разве что

---

[1] Хуан дель Энсина (1469—1529) — поэт, музыкант и драматург. В его пьесах ощутимо влияние балаганного театра.

[2] Лопе де Руэда (между 1505 и 1510 — ок. 1565) — испанский драматург и актер. Разработал жанр короткой пьесы комедийно-бытового характера (пасос).

[3] Жил Висенте (1470 — ок. 1536) — португальский драматург, актер, поэт. Писал по-португальски и по-испански; считается основателем португальского театра.

[4] Тирсо де Молина (Габриэль Тельес, 1571 или ок. 1583—1648) — испанский драматург. Его драма «Севильский озорник, или Каменный гость» — первая театральная разработка легенды о Дон Жуане.

[5] Дотацию урезало пришедшее к власти в ноябре 1933 г. правое правительство Лерруса и отменило год спустя профашистское правительство Лерруса—Хиля Роблеса.

публика будет валом валить, и спектакль продержится долго, тогда пьеса проживет еще одну жизнь, третью, двадцатую, тысячную, но в конце концов все равно умрет. И это прекрасно. Так и должно быть, в этом суть театра: красота рождается и спустя мгновенье гибнет. Это эфемерное искусство, воздушный замок... Приходите сегодня на спектакль. Мы попытаемся оживить Лопе де Вегу. Он стоит того, хотя старичку уже триста годочков.

В этот вечер я еще раз видел Федерико Гарсиа Лорку. Перед началом спектакля он вышел на сцену в синем комбинезоне сказать, как называется пьеса.

Интервью опубликовано посмертно в журнале «Драмма» («Il Dramma»), Турин, 1946 г.

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

Июнь 1936 года

— Поверить нельзя, настолько абсурдно, но тем не менее это чистая правда. Когда меня вызвали в суд [1], я изумился. Я понятия не имел, о чем может идти речь, и сколько ни думал, не находил никакого объяснения. Иду в суд. И что же я слышу? А вот что — не более и не менее: некий сеньор Таррагона, с которым я, естественно, не знаком, подал на меня в суд за «Романс об испанской жандармерии», который восемь лет назад был опубликован в сборнике «Цыганское романсеро». По-видимому, столь долго дремавшие мстительные порывы наконец пробудились — истец возжаждал моей крови. Я, конечно, в подробностях объяснил судье, что происходит в моем романсе, что я думаю об испанской жандармерии, о поэзии, о теории образа, о сюрреализме, о литературе и бог знает о чем еще.

— А судья?

— Судья попался умный и сказал, что полностью удовлетворен. В итоге доблестный защитник Славной Гвардии остался ни с чем.

— Расскажите о вашей работе.

— Не изданы, но готовы к печати шесть моих поэтических книг и вся драматургия. Многие испанские издательства предлагают мне опубликовать «Йерму» и другие вещи, а я все откладываю подготовку рукописи со дня на день... никак не заставлю себя взяться за дело.

«Поэт в Нью-Йорке». Этот сборник написан очень давно. Много раз читал стихи оттуда. В книге будет страниц триста, не меньше. Можно убить, если такой книгой запустить в голову. Сейчас рукопись у машинистки, и, наверное, скоро я представлю экземпляр в издательство. Книга будет иллюстрирована фотографиями и кинокадрами. Тех, кто пускает слюни от одного воспоминания о «Неверной жене», потому что ничего, кроме плоти, не видят в этом романсе, «Поэт в Нью-Йорке» разочарует. Это строгая, сдержанная книга, и социальный план очень важен в ней.

— Какие еще книги готовы?

— Пять поэтических книг. Стихи долго складываются в книгу. «Цыганское романсеро» я опубликовал спустя пять лет. И вот еще что: я пишу, только когда чувствую, что должен писать, а не всякий раз, когда захочется. Иногда это бывает совершенно не ко времени: пока шла премьера «Доньи Роситы», я сидел в гостинице и заканчивал книгу сонетов.

Называются эти пять книг вот как: «Земля и Луна», «Диван Тамарита», «Оды», «Стихотворения в прозе» и «Сюиты» [2] (это вариации на старинные темы, над ними я работал очень долго и с большой любовью).

— А какие пьесы уже закончены или близки к завершению?

— Закончена социальная драма, пока еще без названия: публика из зала и с улицы врывается на сцену, в городе революция, штурмом берут театр...

Еще — андалузская комедия. Действие происходит в гранадской долине, среди действующих лиц есть кантаоры [3]. Тем не менее — я настаиваю на этом — никакой цыганщины!

И еще одна пьеса — «У крови нет голоса» [4]...

Интервью опубликовано посмертно в газете «Мундо графико» («Mundo Grafico»), Мадрид, 24 февраля 1937 г.

Перевод с испанского Н. МАЛИНОВСКОЙ

---

[1] Журналист А. Отеро Секо интервьюировал Лорку за несколько дней до его отъезда в Гранаду и начала военно-фашистского мятежа. А. Отеро Секо застал у Лорки его адвоката, и речь зашла о предъявленном поэту судебном иске.

[2] Из перечисленных Лоркой пяти книг сохранились и были опубликованы после его гибели лишь «Поэт в Нью-Йорке» и «Диван Тамарита». В настоящее время по материалам семейного архива восстановлена третья книга — «Сюиты».

[3] Андалузский народный певец.

[4] Из трех пьес, о которых идет речь, сохранился только первый акт драмы без названия. См. «ИЛ», 1982, № 4.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Кристина Хофленер

РОМАН

Перевод с немецкого Н. БУНИНА

Сорок лет спустя после смерти Стефана Цвейга в западногерманском издательстве «Фишер», публикующем собрание сочинений писателя, вышел в свет его «роман из наследия», второй после «Нетерпения сердца» (1939) цвейговский роман, о существовании которого прежде никто не догадывался. Литературная сенсация? Да, безусловно. Давно уже ни одна немецкоязычная новинка не вызывала столь обширной прессы. В том, что книга заслуживает внимания, критики были едины. Тем более что публикацию окутывал ореол тайны.

В обстоятельном послесловии к книге директор издательства «Фишер» Кнут Бек подробно рассказал историю создания романа, но ни словом не обмолвился о том, как сделана была эта интереснейшая находка. Об этом читателям оставалось только гадать. Зато они узнали, что писать «роман о почтовой барышне» Стефан Цвейг начал в Зальцбурге в начале 30-х годов, и на первых порах работа продвигалась довольно быстро. Однако летом 1931 года в письмах Цвейга появляются фразы: «В середине романа по-прежнему зияет глубокая пропасть, преодолеть которую я не в состоянии». Работа застопорилась, писателя отвлекли новые замыслы, новые идеи, и лишь несколько лет спустя, будучи уже в лондонской эмиграции, Цвейг попробовал преодолеть «пропасть». Впрочем, читатель легко почувствует, где и как распадается роман на две части, отличающиеся друг от друга и стилистикой, и темпом повествования. Некоторая неоднородность романа вызвала споры критиков.

Одни считали, что маститый писатель не публиковал в свое время «историю почтовой барышни» как произведение еще не до конца состоявшееся, другие утверждали, что мастерство Цвейга-стилиста прекрасно чувствуется и здесь. Иные полагали, что роман так и остался фрагментом, искали — и находили отдельные стилистические просчеты. Другие доказывали, что, несмотря на несовершенство отдельных эпизодов, это все-таки роман, цельный и продуманно выстроенный, подчеркивали внутреннюю логику развития характеров, глубокий цвейговский психологизм.

Как бы то ни было, несомненно одно — читателя ожидает не только встреча с новой книгой большого писателя, каким бесспорно был Стефан Цвейг, его ожидает еще и встреча с новым Цвейгом, мастером социального анализа и социального конфликта, резким критиком австрийской действительности в период между двумя мировыми войнами. Ни в одной из других книг писателя конкретная действительность не выступает столь зримо, выпукло, вещественно. Разумеется, индивидуализм героев Цвейга,

---

СТЕФАН ЦВЕЙГ — STEFAN ZWEIG (1881—1942)

Австрийский писатель. Его перу принадлежат психологические новеллы, романизированные биографии, пьесы, очерки, эссе, стихи. Произведения С. Цвейга переведены на русский язык и языки народов СССР. Издавались собрания сочинений: в 12-ти томах с предисловием М. Горького (Л., 1928—1932), в 7-ми томах (М., 1963), в 4-х томах (М., 1984). В разные годы выходили также сборники новелл «Амок», «Смятение чувств», «Письмо незнакомки», роман «Нетерпение сердца», романизированные биографии «Подвиг Магеллана», «Мария Стюарт», «Америго», «Бальзак», сборник исторических миниатюр «Звездные часы человечества» и другие произведения. Роман «Кристина Хофленер» печатается по изданию «Rausch der Verwandlung» © Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1982.

их бунтарство на грани преступления не способ решения социальных проблем. Поэтому писатель как бы обрывает роман на полуслове, предоставляя нам самим угадывать дальнейшую трагическую судьбу героев.

Роман действительно не был закончен Стефаном Цвейгом. Он даже не придумал ему названия. «Rausch der Verwandlung» («Угар преображения») — так назвал его по цитате из текста издатель Кнут Бек. Советский переводчик назвал роман по имени главной героини. Незавершенность не только в отсутствии названия. Затянуты отдельные эпизоды, кое-кого, быть может, разочарует отсутствие развязки. И все же прочитаем роман, не обращая внимания на эти его «случайные черты», тем более что русский переводчик постарался, чтобы он зазвучал именно «по-цвейговски». Эскизу, сделанному большим писателем, конечно же, далеко до его завершенных полотен, но ведь скольким завершенным произведениям далеко до эскиза большого писателя...

Н. Л.

Кто заглядывал в Австрии хотя бы в одну сельскую почтовую контору, может считать, что видел их все, настолько мало они отличаются друг от друга. Обставленные, вернее, унифицированные одними и теми же предметами одного и того же инвентаря времен Франца-Иосифа, они повсюду несут отпечаток одинаково угрюмой казенщины и вплоть до самых захолустных деревушек Тироля, где уже веет дыханием глетчеров, упорно сохраняют характерный для староавстрийских канцелярий запах дешевого табака и бумажной пыли. Они и распланированы везде одинаково: деревянная перегородка со стеклянными окошками разделяет помещение в строго предписанной пропорции на как бы посюсторонний и потусторонний мир, на общедоступную и служебную зоны. Отсутствие стульев для публики и прочих удобств наглядно свидетельствует о том, что государство мало заботит продолжительность пребывания его граждан в общедоступной зоне. Единственным предметом меблировки там обычно служит робко притулившаяся у стены шаткая конторка, обтянутая поверху клеенкой; клеенка эта вся в трещинах и сплошь закапана чернильными слезами, хотя никто не припомнит, чтобы в чернильнице, укрепленной в крышке стола, когда-либо находилось что-нибудь, кроме комковатой загустевшей кашицы; а если рядом, в желобке, случайно найдется ручка, то перо наверняка будет с расщепом и непригодным для письма. Бережливое казначейство экономит не только на удобствах, но и на красоте: с тех пор как Республика убрала портреты Франца-Иосифа, единственным украшением присутственных мест можно считать разве что яркие плакаты, которые с грязных некрашеных стен приглашают посетить давно закрывшиеся выставки, купить лотерейные билеты, а в некоторых забывчивых конторах — даже призывают подписаться на военный заем. Вот такими дешевыми декорациями да еще просьбой не курить, на которую никто не обращает внимания, и ограничивается щедрость государства в почтовых конторах.

Зато отделение по ту сторону служебного барьера выглядит куда более респектабельным. Здесь государство с подобающим ему размахом демонстрирует один за другим символы своего могущества. В дальнем углу стоит железный несгораемый шкаф, и в нем, судя по решеткам на окнах, иногда действительно хранятся весьма значительные суммы. На аппаратном столе словно драгоценность сверкает начищенный латунью телеграфный аппарат, рядом с ним на никелированном лафете дремлет более скромный телефон. Этим двум приборам умышленно выделена как бы почетная резиденция, ибо они, подключенные к медным проводам, связывают отдаленную деревушку с просторами государства. Остальные аксессуары почтового дела вынуждены потесниться: весы и сумки для писем, справочники, папки, тетради, реестровая книга, круглые звякающие банки для почтовых сборов, весы и гирьки, черные, синие, красные и чернильные карандаши, зажимы и скрепки, шпагат, сургуч, губка и пресс-папье, бумажный нож, клей и ножницы — весь многообразный набор инструментов сгрудился в

рискованном беспорядке на краю стола, а ящики до отказа набиты грудами всевозможных бумаг и бланков. На первый взгляд этот ворох вещей расходуется крайне расточительно, однако такое впечатление обманчиво — втайне государство строго учитывает всю свою дешевую утварь поштучно. От исписанного карандаша до порванной марки, от разлохмаченной промокашки до обмылка на рукомойнике, от электролампочки, освещающей контору, до ключа, запирающего ее,— за каждый потребленный или изношенный предмет казенного имущества государство неумолимо требует от своих служащих отчета. Возле чугунной печки висит отпечатанный на машинке, скрепленный официальной печатью и неразборчивой подписью инвентарный список, в котором с арифметической скрупулезностью перечислены наимельчайшие и наиничтожнейшие предметы технического оборудования, предусмотренные для соответствующего почтамта. Ни одна вещь, не упомянутая в описи, не смеет обитать в служебном помещении, и наоборот: каждый предмет, указанный в оной, должен наличествовать и быть в любое время доступным. Так требуют администрация, порядок и законность.

Строго говоря, в этот машинописный реестр следовало бы включить и некое лицо, которое ежедневно в восемь утра поднимает стеклянную створку и приводит в движение весь неодушевленный мир: вскрывает мешки с почтой, штемпелюет письма, выплачивает денежные переводы, выписывает квитанции, взвешивает посылки, делает красным, синим и чернильным карандашом разные пометки и непонятные, загадочные знаки на бумагах, снимает телефонную трубку и крутит катушку аппарата Морзе. Но, вероятно, по тактическим соображениям это некое лицо, которое посетители называют обычно почтовым служащим, или почтмейстером, в инвентарной описи не значится. Его фамилия зарегистрирована в другом отделе почт-дирекции, однако, так же как все прочее, учтено и подлежит ревизии и контролю.

Внутри служебного освященного гербовым орлом помещения никогда не происходит видимых перемен. Вечный закон начала и конца разбивается о казенный барьер; вокруг здания почты на деревьях зеленеет и осыпается листва, растут дети, и умирают старики, рушатся старые дома и поднимаются новые, и одно лишь казенное учреждение наглядно демонстрирует свою ничему не подвластную силу вечной неизменности. Ибо в этой сфере взамен каждой вещи, которая изнашивается или исчезает, портится и ломается, начальство затребует и доставит другой экземпляр точно такого же типа и тем самым явит образец превосходства мира казенного над миром тленным. Содержимое преходяще, форма неизменна. На стене висит календарь. Каждый день отрывается один листок, за неделю — семь, за месяц — тридцать. Тридцать первого декабря, когда календарь кончается, подается заявка на новый — того же формата, такой же печати: год стал новым, календарь остался прежним. На столе лежит бухгалтерская книга со столбиками цифр. Как только столбик слева суммирован, итог переносится направо и счет продолжается, страница за страницей. Заполнена последняя страница, и книга окончена, начинается новая, того же вида, того же объема, ничем не отличающаяся от прежней. Все, что кончается, появляется на следующий день вновь, однообразно, как сама служба; на той же крышке стола неизменно лежат те же предметы, те же стандартные бланки и карандаши, скрепки и формуляры, каждый раз новые и каждый раз все такие же. Ничто не меняется в этом казенном пространстве, ничто не добавляется, без увядания и расцвета здесь властвует одна и та же жизнь, вернее, не прекращается одна и та же смерть. Единственно, что неодинаково в многообразии предметов,— это ритм их износа и обновления, но не их участь. Карандаш существует неделю и заменяется новым, таким же. Почтовая книга живет месяц, электролампочка — три месяца, календарь —

год. Плетеному стулу положено служить три года, прежде чем его заменят, а тому, кто отсиживает на этом стуле всю жизнь,— тридцать или тридцать пять лет; потом на стул сажают новое лицо, однако стул ничем не отличается от своего предшественника.

В почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, обыкновенного села вблизи Кремса, что примерно в двух часах езды по железной дороге от Вены, таким заменяемым предметом оборудования, как «служащий», является в 1926 году лицо женского пола, и поскольку контора числится по категории низших, этому лицу пожалован титул «ассистента почты». Через стекло в перегородке особенно и не разглядишь ее, ну видишь неприметный, но симпатичный девичий профиль, тонковатые губы, бледноватые щеки, сероватые тени под глазами; вечером, когда она включает лампу, бросающую резкий свет, внимательный взгляд уже заметит на лбу и на висках у нее легкие морщинки. И все же вместе с мальвами у окна и охапкой бузины, которую она поставила сегодня в жестяной кувшин, эта девушка — самый свежий объект среди почтамтских принадлежностей Кляйн-Райфлинга, и, как видно, продержится она на службе еще по меньшей мере лет двадцать пять. Еще тысячи и тысячи раз эта женская рука с бледными пальцами поднимет и опустит дребезжащую стеклянную створку. Еще сотни тысяч, а может и миллионы, писем она все тем же угловатым движением бросит на резиновую подушку и сотни тысяч или миллионы раз пристукнет почерненным медным штемпелем, гася марки. Вероятно, это движение ее натренированной руки станет еще более четким, более механическим, более бессознательным. Сотни тысяч писем будут, конечно, разными, но всегда — письмами. И марки разными, но всегда — марками. И дни разными, но каждый день от восьми часов до двенадцати, от двух до шести, и все годы расцвета и увядания — одна и та же служба, одна и та же, одна и та же.

Может быть, в этот тихий летний полдень девушка с пепельными волосами размышляет за стеклянным окошком о том, что ее ждет впереди, а может, просто замечталась. Во всяком случае, ее руки соскользнули с рабочего стола на колени и, сплетя пальцы, отдыхают, узкие, усталые, бледные. В такой ярко-голубой, такой знойный июльский полдень на почте Кляйн-Райфлинга дел не предвидится, утренняя работа окончена, почтальон Хинтерфельнер — вечно жующий табак горбун — уже давно разнес письма, никаких пакетов и образцов товаров с фабрики до вечера не поступит, а писать письма у односельчан теперь нет ни охоты, ни времени. Крестьяне, прикрывшись широкополыми соломенными шляпами, рыхлят виноградники, босоногая детвора, отдыхая от школы, резвится в ручье, мощенная булыжником площадка перед дверью пустует, накаленная полуденным жаром. Хорошо бы сейчас побыть дома, и хорошо, что можно спокойно помечтать. В тени опущенных жалюзи спят на полках и в ящичках карточки и бланки, в золотистом полумраке лениво и вяло поблескивает металлом аппаратура. Тишина, словно густая золотая пыль, легла на все предметы, и лишь между рамами лилипутский оркестр комариных скрипок и шмелиной виолончели играет летний концерт. Единственное, что без устали движется в прохладном помещении,— это маятник деревянных часов, висящих в простенке между окон. Каждую секунду они крохотным глоточком глотают каплю времени, но этот слабый, монотонный шум скорее усыпляет, нежели пробуждает. Так и сидит почтовая ассистентка в своем маленьком уснувшем мирке, охваченная приятной истомой. Собственно, она собиралась вышивать, даже приготовила иголку и ножницы, но вышивка свалилась с колен на пол, а поднять ее нет ни сил, ни желания. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза и почти не дыша, она отдается блаженному чувству оправданного безделья, столь редкому в ее жизни.

И вдруг: та-та! Она вздрагивает. И еще раз металлический стук, тверже, нетерпеливее: та-та-та. Упрямо стучит аппарат Морзе, дре-

безжат часы: телеграмма — редкий гость в Кляйн-Райфлинге — хочет, чтобы ее приняли с уважением. Девушка разом стряхивает с себя сонливость, устремляется к аппаратному столу и хватает ленту. Но, едва разобрав первые слова на бегущей ленте, краснеет до корней волос. Ибо впервые с тех пор, как здесь служит, она видит на ленте свое собственное имя. Телеграмму уже отстучали до конца, она перечитывает ее второй раз, третий, ничего не понимая. Почему? Что? Кто это вздумал слать ей телеграмму из Понтрезины?

«Кристине Хофленер, Кляйн-Райфлинг, Австрия. С радостью ждем тебя, приезжай любой день, только заранее сообщи телеграммой прибытие. Обнимаем Клер — Антони».

Она задумалась: кто такая или кто такой Антони? Может, кто-то из коллег решил подшутить над ней? Но затем она припоминает: мать недавно говорила ей, что этим летом приезжает в Европу тетя, ну правильно, ее же зовут Клара. А Антони, наверное, имя ее мужа, правда, мать всегда называла его Антоном. Да, теперь точно вспомнила: ведь несколько дней назад она сама принесла матери письмо из Шербура, а мать почему-то скрытничала и ничего о содержании письма не сказала. Но ведь телеграмма-то адресована ей, Кристине. Неужели ехать в Понтрезину к тете придется ей самой? Об этом же никогда не было и речи. Она снова разглядывает еще ненаклеенную бумажную ленту, первую телеграмму, полученную здесь лично ею, снова перечитывает в растерянности, с любопытством и недоверием, сбитая с толку странным текстом. Нет, ждать до обеденного перерыва она не в силах. Надо немедленно узнать у матери, что все это значит. Кристина хватает ключ, запирает контору и бежит домой. В спешке она забыла выключить телеграфный аппарат. И вот латунный молоточек стучит и стучит бессловесно в опустевшей комнате по чистой бумажной ленте, возмущенный таким пренебрежением к себе.

Снова и снова убеждаешься: скорость электрического тока потому и невообразима, что она быстрее наших мыслей. Ведь двадцать слов, которые белой бесшумной молнией пронзили душный чад австрийской конторы, были написаны всего лишь несколько минут назад за три земли отсюда, в прохладной синеве глетчеров под лазурно чистым небом Энгадина, и не успели еще высохнуть чернила на бланке отправителя, как смысл и призыв этих слов ударил в смятенное сердце.

А случилось там следующее: маклер Энтони ван Боолен, голландец (много лет назад он осел на Юге Соединенных Штатов, занявшись торговлей хлопком), так вот, Энтони ван Боолен, добродушный, флегматичный и, в сущности, весьма незначительный сам по себе мужчина, только что кончил завтракать на террасе — сплошь стекло и свет — отеля «Палас». Теперь можно увенчать breakfast [1] никотиновой короной — черно-бурой шишковатой «гаваной», из тех, что доставляют с места изготовления специально в воздухонепроницаемых жестяных футлярах. Дабы насладиться первой, вкуснейшей затяжкой с полным удовольствием, как подобает опытному курильщику, этот несколько тучноватый господин водрузил ноги на соседнее соломенное кресло, развернул огромным квадратом бумажный парус «Нью-Йорк геральд» и отчалил в бескрайнее печатное море биржевых курсов. Сидящая напротив его супруга Клер, звавшаяся раньше просто Клара, со скучающим видом отщипывала дольки своего утреннего грейпфрута. По многолетнему опыту знала, что всякая попытка пробить разговором ежеутреннюю газетную стену совершенно безнадежна. Поэтому оказалось весьма кстати, что к ней неожиданно устремился гостиничный бой — забавное существо, коричневая шапочка, румяные щеки — и протянул свежую почту: на подносе лежало одно-единственное письмо.

[1] Завтрак *(англ.)*.

Содержание его, по-видимому, настолько увлекло Клер, что она, забыв о долгом опыте, попыталась оторвать мужа от чтения.

— Энтони, послушай,— сказала она. Газета не шевельнулась.— Энтони, я не хочу тебе мешать, ты только секунду послушай, дело срочное, письмо от Мэри...— Она невольно произнесла имя сестры по-английски.— Мэри пишет, что не сможет приехать, хотя ей очень хотелось бы, но у нее плохо с сердцем, ужасно плохо, врач говорит, что на высоте двух тысяч метров ей не выдержать ни в коем случае. Но если мы не против, вместо нее на две недели приедет Кристина, ну ты знаешь, младшая дочь, блондинка. Ты видел ее на фотографии, еще до войны. Она служит в пост-оффисе и еще ни разу не брала полного отпуска, и если подаст заявление, то ей предоставят сразу же, и она, конечно, будет счастлива после стольких лет «засвидетельствовать свое почтение тебе, дорогая Клара, и уважаемому Антони»— и так далее.

Газета не пошевелилась. Клер пошла на риск:

— Ну как ты думаешь, пригласить ее?.. Бедняжке не повредит глоточек-другой свежего воздуха, да и приличия требуют, в конце концов. Уж раз я оказалась в этих краях, надо же в самом деле познакомиться с дочкой моей сестры, и так всякая связь с родней порвалась. Ты не возражаешь, если я приглашу ее?

Газета чуть зашуршала. Сначала из-за белого края страницы выплыло кольцо сигарного дыма, круглое, с синевой, затем послышался тягучий и равнодушный голос:

— Not at all. Why should I?[1]

Этим лаконичным ответом завершился разговор, предрешивший поворот в чьей-то жизни. Спустя десятилетия была возобновлена родственная связь, ибо, несмотря на почти аристократическое звучание фамилии, частица «ван» была обычной голландской приставкой, и, несмотря на то что супруги беседовали между собой по-английски, Клер ван Боолен была не кем иной, как сестрой Мари Хофленер, и, таким образом, бесспорно приходилась родной теткой почтовой служащей в Кляйн-Райфлинге. Она покинула Австрию более четверти века назад из-за одной темной истории, о которой — наша память всегда очень услужлива — помнила лишь смутно и о которой ее сестра тоже никогда не рассказывала дочерям. В те годы, однако, эта история наделала немало шума и, возможно, привела бы к еще более серьезным последствиям, если бы умные и ловкие люди своевременно не устранили желанный повод для всеобщего любопытства. В те годы упомянутая госпожа Клер ван Боолен была всего-навсего фройляйн Кларой и служила в фешенебельном салоне мод на Кольмаркт простой манекенщицей. Быстроглазая, гибкая девушка, какой она тогда была, произвела потрясающее впечатление на пожилого лесопромышленника, который сопровождал свою жену на примерку. Со всем отчаянием предзакатной вспышки страсти этот богатый и еще довольно хорошо сохранившийся коммерции советник безумно влюбился в нежную и веселую блондинку и ухаживал за ней с необычной даже для его круга щедростью. Вскоре девятнадцатилетняя манекенщица, к великому негодованию своих благонравных родственников, разъезжала в фиакре, облаченная в красивейшие наряды и меха, какие прежде ей дозволялось лишь демонстрировать перед зеркалом придирчивым и взыскательным клиенткам. Чем элегантнее она становилась, тем сильнее нравилась стареющему покровителю, а чем больше она нравилась коммерции советнику, вконец потерявшему голову от нежданной любовной удачи, тем роскошнее он ее наряжал. Спустя несколько недель она до того размягчила своего обожателя, что адвокат, соблюдая полнейшую секретность, заготовил по его поручению бракоразводные документы и обожаемая была уже без пяти минут одной из самых богатых женщин Вены. Но тут оповещенная анонимными письмами, в дело энер-

[1] Ничуть. С чего бы мне возражать? *(англ.)*

гично вмешалась супруга и совершила глупость. Горькая и справедливая обида на то, что после тридцати лет безмятежного брака от нее вдруг решили избавиться, словно от одряхлевшей лошади, довела ее до бешенства; она купила револьвер и нагрянула к неравной парочке во время их любовного свидания на заново обставленной тайной квартире. Без всяких предисловий разгневанная супруга дважды выстрелила в разлучницу; одна пуля прошла мимо, другая задела плечо. Ранение оказалось довольно пустяковым, зато весьма неприятными были сопутствующие явления: набежавшие соседи, крики о помощи из разбитых окон, взломанные двери, обмороки и сцены, врачи, полиция, протокол о происшествии, а впереди, по-видимому, неминуемый судебный процесс и скандал, которого в равной мере боялись все замешанные лица. К счастью, для богатых людей не только в Вене, но и повсюду существуют ловкие адвокаты, понаторевшие в замазывании скандальных дел, и один такой опытнейший мастер, советник юстиции Карплус, сразу же постарался найти, так сказать, противоядие. Он вежливо пригласил Клару к себе в контору. Она явилась очень элегантная, кокетливо подвязав руку, и с любопытством прочитала текст договора, согласно которому она обязуется еще до вызова свидетелей в суд уехать в Америку, где ей, не считая единовременного возмещения за ущерб, в течение пяти лет будет выплачиваться через адвоката по первым числам каждого месяца определенная сумма, при условии, что она будет вести себя тихо. Кларе и без того не хотелось оставаться манекенщицей в Вене после этого скандала, к тому же родители выгнали ее из дома; с невозмутимым видом она перечитала четыре страницы договора, быстро подсчитала всю сумму, найдя ее неожиданно высокой, и на авось потребовала еще тысячу гульденов. Получив согласие, она с легкой усмешкой подписала договор, отправилась за океан и не пожалела о своем решении. Еще в пути она получила немало матримониальных предложений, но окончательный выбор сделала в Нью-Йорке, познакомившись в пансионе со своим ван Бооленом; в ту пору всего лишь мелкий торговый агент одной голландской фирмы, он решил с небольшим капиталом жены, о романтическом происхождении которого никогда и не подозревал, открыть собственное дело на Юге. Спустя три года у них появилось двое детей, через пять лет — дом, а через десять — значительное состояние, которое, как и на любом другом континенте, кроме Европы, где война свирепо уничтожала имущество, за военные годы еще умножилось. Теперь, когда сыновья подросли и энергично взялись за отцовское дело, пожилые родители могли спокойно позволить себе комфортабельную поездку в Европу. И странно, в тот момент, когда из тумана надвинулся плоский берег Нормандии, у Клер внезапно пробудилось забытое ощущение родины. Уже давно ставшая в душе американкой, она от одного только сознания, что эта полоска суши — Европа, почувствовала внезапный прилив тоски по своей юности; ночью ей снились детские кроватки с решеткой, в которых они с сестрой спали, вспомнились тысячи подробностей, и она вдруг устыдилась, что за все годы не написала ни строчки обнищавшей, овдовевшей сестре. Мысль о сестре не давала покоя Кларе, и она тотчас, прямо на пристани, отправила письмо с просьбой приехать, вложив в конверт стодолларовую ассигнацию.

Ну а в данную минуту, когда выяснилось, что вместо матери нужно пригласить дочь, госпоже ван Боолен стоило лишь пошевелить пальцем, как к ней этаким снарядиком в коричневой ливрее и круглой шапочке подлетел бой, уловив на ходу, что требуется, принес телеграфный бланк и умчался с заполненным листком на почтамт.

Спустя несколько минут точки и тире со стучащего аппарата Морзе перескочили на крышу в вибрирующие медные пряди, и быстрее дребезжащих поездов, несказанно быстрее вздымающих пыль автомобилей весть молнией промчалась по тысячекилометровому

проводу. Миг — и перепрыгнула через границу, миг — и через тысячеглавый Форарльберг, карликовый Лихтенштейн, изрезанный долинами Тироль, и вот магически превращенное в искру слово ринулось с ледниковых высот в Дунайскую низину, в Линц, в коммутатор. Передохнув здесь несколько секунд, весть скорее, чем успеваешь произнести само слово «скоро», спорхнула с провода на крыше почты Кляйн-Райфлинга в телеграфный приемник, и тот, вздрогнув, направил ее прямо в сердце, изумленное, полное любопытства и растерянности.

Поворот за угол, вверх по темной скрипучей деревянной лестнице,— и Кристина входит в мансарду убогого крестьянского дома; здесь, в комнате с маленькими оконцами, она живет с матерью. Широкий навес кровли над фронтоном — защита от снега зимой — ревниво заслоняет солнце в дневные часы; лишь под вечер тонкий, уже обессиленный лучик ненадолго проникает к герани на подоконнике. Поэтому в сумрачной мансарде всегда затхло и сыро, пахнет подгнившими стропилами и непросохшими простынями; стародавние запахи въелись в стены, как древесный грибок,— вероятно, в прежние времена эта мансарда была просто чердаком, куда складывали разный хлам. Но в послевоенные годы с их суровой жилищной нуждой запросы у людей становились скромными, и они благодарили судьбу, если вообще представлялась возможность поставить в четырех стенах две кровати, стол и старый сундук. Даже мягкое кожаное кресло, доставшееся по наследству, занимало здесь слишком много места, и его за бесценок продали старьевщику, о чем теперь очень жалеют: всякий раз, когда у старой фрау Хофленер распухают от водянки ноги, ей некуда сесть и приходится лежать в кровати — все время, все время в кровати.

Отекшие, похожие на колоды ноги, угрожающая венозная синева под мягкими бинтами — всем этим уставшая, рано состарившаяся женщина обязана двухлетней работе кастеляншей в военном лазарете, который размещался в нижнем этаже здания без подвала, отчего там было очень сыро. С тех пор ходьба для тучной женщины стала мучением, она не ходит, а еле передвигается с одышкой и при малейшем напряжении или волнении хватается за сердце. Она знает, что долго не проживет. Какое счастье еще, что в этой неразберихе после свержения монархии деверю, имевшему чин гофрата, удалось выхлопотать Кристине место на почте. Пускай и в захолустье, и платят гроши, а все-таки хоть как-то они обеспечены, крыша над головой есть, в комнатенке дышать можно, правда, тесновата она, ну и что, все равно к гробу привыкать надо, там еще теснее.

Постоянно пахнет уксусом и сыростью, хворью и больничной койкой; дверь в крохотную кухню закрывается плохо, и оттуда душной пеленой ползет чад и запах подогретой пищи. Едва Кристина вошла в комнату, как тут же непроизвольным движением распахнула закрытое окно. От этого звука мать со стоном проснулась. Иначе она не может, всегда, прежде чем пошевелиться, она издает стон, подобный скрипу рассохшегося шкафа, когда к нему только приблизишься, еще не дотрагиваясь; так дает о себе знать вещий страх пораженного ревматизмом тела, предчувствующего боль, которую вызывает малейшее движение. Затем старая женщина спросила, поднявшись с кровати:

— Что случилось?

Ее дремлющее сознание уже отметило, что еще не время обеда, еще не пора садиться за стол. Значит, случилось что-то особенное. Дочь протягивает ей телеграмму.

Медленно — ведь каждое движение причиняет боль — морщинистая рука шарит в поисках очков на прикроватной тумбочке; про-

ходит время, пока стекла в металлической оправе не найдены среди аптечных пузырьков и баночек и не водружены на нос. И едва старая женщина успела разобрать написанное, как ее тучное тело вздрогнуло, словно от удара электрического тока, заколыхалось; жадно ловя воздух, она делает шаг, другой и всей своей огромной массой приваливается к Кристине. Горячо обняв испуганную дочь, она дрожит, смеется, пытается что-то сказать, задыхаясь, но не может и наконец, обессилев и прижав руки к сердцу, опускается на стул. Минуту она молчит, глубоко дыша беззубым ртом. А затем из дрожащих губ вырываются невнятные обрывки фраз, она заикается, путает и глотает слова, на ее лице блуждает торжествующая улыбка, но от волнения она запинается еще больше, жестикулирует еще горячее, и по дряблым щекам уже текут слезы. Бессвязный поток слов низвергается на Кристину, которая пришла в полное замешательство. Слава богу, что все так благополучно сложилось, вот теперь ей, никому не нужной, больной старухе, можно спокойно помирать. Вот ради этого она и ездила в прошлом месяце, в июне, к святым местам и молилась только об одном: чтобы Клара, сестрица, приехала раньше, чем она, Мари, помрет, чтобы позаботилась о ее доченьке. Ну, теперь она довольна. Вот, вот тут написано — пускай Кристль приезжает к ней в гостиницу, смотри, и на телеграмму потратилась, а две недели назад даже сотню долларов прислала, да, золотое у нее сердце, у Клары, и всегда она была такой доброй и милой. А этой сотни хватит, наверное, не только на дорогу, но и чтобы разодеться, как княгиня, прежде чем явишься к тете на шикарный курорт. Да, там у доченьки глаза разбегутся, уж там она увидит, как привольно живется людям знатным, с деньгами. Впервые она сама хоть поживет как человек, и, видит бог, она это честно заслужила. Ну что она до сих пор видела в жизни — ничего, только работа, служба и всякие хлопоты, а вдобавок еще забота о никчемной, больной, унылой старухе, которой давно пора в могилу и поскорее, чего уж тут. Из-за нее да из-за войны проклятой у Кристль вся молодость испорчена, как подумаешь, что лучшие годы пропали, сердце разрывается. Ну да теперь она найдет свое счастье. Только пусть ведет себя поучтивее с дядей и тетей, всегда учтиво и скромно, и пусть не робеет перед тетей Кларой, у нее золотое сердце, добрая душа, она непременно поможет родной племяннице выбраться из этой глуши, из вонючей деревни, а ей, старой, все равно помирать. И если тетя под конец предложит ехать с ними пусть непременно уезжает, ничего тут хорошего не осталось, и страна гибнет, и люди дурные, а о ней, старухе, беспокоиться нечего. Место в богадельне всегда найдется, да и сколько она еще протянет?.. Ах, теперь она может спокойно умереть, теперь все хорошо.

Закутанная в шали поверх сорочек и нижних юбок, старая, расплывшаяся женщина, пошатываясь, топает слоновьими ногами взад-вперед по комнате так, что трещат половицы. Она непрерывно жестикулирует и всхлипывает, то и дело утирая глаза большим красным носовым платком; затем, выдохшись от столь бурных проявлений чувств, постанывая, садится, сморкается, собираясь с силами для очередного монолога. И вновь ей приходит на ум что-то еще, и она говорит, и говорит, и стонет, и всхлипывает, и радуется нежданной удаче. И вдруг, в минуту изнеможения, замечает, что Кристина, которой предназначены все эти восторги, стоит бледная, смущенная, взгляд ее выражает удивление и даже замешательство, и она совершенно не знает что сказать. Старой женщине досадно. Собравшись с силами, она еще раз поднимается со стула, подходит к дочери, хватает ее за плечи, крепко целует прижимает к себе, тормошит, словно хочет разбудить ее, вывести из оцепенения.

— Ну чего ты молчишь? Кого же это касается, как не тебя, что с тобой, глупышка? Стоишь будто истукан и ничего не говоришь, ни

словечка, а ведь такое счастье выпало! Радуйся же! Ну почему ты не радуешься?

Служебный устав строжайше запрещает почтовому персоналу надолго покидать контору в рабочее время, и даже самая веская личная причина бессильна перед главным законом казенного мира: сначала служба, потом человек, сначала буква, потом смысл. Так что после небольшого перерыва служащая почты Кляйн-Райфлинга вновь сидит за окошком, исполняя свои обязанности. Никто ее за это время не спрашивал. Как и четверть часа назад, бумаги разложены на покинутом столе, молчит, поблескивая латунью в полумраке, выключенный телеграфный аппарат, который недавно так ее взбудоражил. Слава богу, никто не заходил, никаких упущений нет. С чистой совестью можно теперь спокойно поразмышлять о внезапной новости, слетевшей сюда с проводов; ведь от замешательства Кристина еще не успела понять, приятная это новость или нет. Постепенно ее мысли приходят в порядок. Итак, она поедет, впервые уедет от матери, на две недели, а может и больше, к чужим людям, нет, к тете Кларе, маминой сестре, в шикарный отель. Надо взять отпуск, заслуженный отпуск, после многих лет хоть раз по-настоящему отдохнуть, поглядеть на мир, увидеть что-нибудь новое, иную жизнь. Она думает, думает. В сущности, весть хорошая, и мать права, что радуется, вполне права. Честно говоря, это лучшая новость, которая пришла к ним за долгие-долгие годы. Впервые бросить опостылевшую службу, побыть на свободе, увидеть новые лица, другой мир, разве это не подарок, буквально свалившийся с неба? Но тут в ее ушах снова раздается удивленный, испуганный, почти гневный голос матери: «Ну почему ты не радуешься?»

Мать права, и в самом деле, почему я не радуюсь? Почему во мне ничто не шевельнулось, не дрогнуло, почему это не захватило меня, не потрясло? Она прислушивается к себе, но тщетно: внутренний голос не дает желанного ответа; свалившийся с неба сюрприз по-прежнему вызывает у нее лишь чувство смущения и непонятного испуга. Странно, думает она, почему я не рада? Сотни раз, когда я вынимала из почтового мешка видовые открытки и, сортируя их, рассматривала — серые норвежские фиорды, бульвары Парижа, залив Сорренто, каменные пирамиды Нью-Йорка,— разве не вздыхала я при этом?.. Когда? Когда же и я увижу что-нибудь? О чем я мечтала в долгие, пустые утренние часы, как не о том, чтобы когда-нибудь вырваться из этой клетки, забыть бессмысленную поденщину, это изнурительное состязание со временем. Хоть когда-нибудь отдохнуть, использовать для себя время все целиком, а не по клочкам, по крохам, когда и ухватиться не за что. Хоть когда-нибудь не слышать по утрам звон будильника, этого злодея, погонщика, который принуждает вставать, одеваться, топить печь, идти за молоком, за хлебом, разогревать еду, затем тащиться в контору и как заведенной штемпелевать конверты, писать, звонить по телефону, а потом опять домой — к гладильной доске, к кухонной плите, варить, стирать, штопать, ухаживать за больной и, наконец, смертельно усталой проваливаться в сон. Тысячу раз я мечтала об этом, сто тысяч раз, здесь, за этим же столом, в этой затхлой клетке, и вот теперь, когда мне выпала наконец такая удача — поездка, свобода, а я — права мать права,— а я не радуюсь. Почему? Потому что не готова?

Бессильно опустив плечи и уставившись невидящим взглядом в голую казенную стену, она ждет и ждет, не шевельнется ли наконец в ней запоздалая радость. Невольно затаив дыхание, она, словно беременная, вслушивается в себя.

Но никакого отклика не слышно, безмолвно и пусто, как в лесу без птичьих голосов; и она, которой от роду всего двадцать восемь лет, с усилием пытается вспомнить, что значит вообще — радовать-

ся, и с ужасом обнаруживает: она не помнит, что это такое — вроде как иностранный язык, который учил в детстве, потом забыл и помнишь только, что когда-то знал его. Когда же я в последний раз радовалась? — задумывается она, опустив голову; лоб ее пересекают две маленькие морщинки. И постепенно в памяти, словно в потускневшем зеркале, выплывает тонконогая белокурая девочка в короткой ситцевой юбке, беззаботно размахивающая школьным портфелем... А вот парк в венском предместье: вокруг нее вихрем носятся десяток девчонок — играют в пятнашки. Каждый бросок мяча сопровождается пронзительным визгом и взрывами хохота, и ей вспоминается, как легко, как свободно тогда смеялось, будто смешинки таились наготове в горле, совсем близко, они все время щекотали где-то под кожей, бродили и толкались в крови; достаточно было лишь встряхнуть их, и смех неудержимо выплескивался из горла, слишком неудержимо. Порой в школе приходилось хвататься за парту и прикусывать губу, чтобы на уроке французского языка не прыснуть, услыхав какое-нибудь потешное слово или глупую шутку. Любого пустяка — запинки учителя, гримасы перед зеркалом, кошки, забавно изогнувшей хвост, офицера, взглянувшего на тебя на улице,— малейшей несуразицы было довольно, чтобы переполнявший тебя смех взорвался от первой же искры. Она всегда была с тобой, эта шаловливая беззаботность, и даже во сне улыбка запечатлевала свою радостную арабеску на детских губах.

И вдруг все почернело и погасло, как притушенный фитиль. 1914 год, первое августа. Днем она была в купальне; как светлый проблеск, вспоминается ей, когда она разделась в кабине, собственное нагое тело — стройное, гибкое шестнадцатилетнее тело, с наметившимися округлостями, белое, разгоряченное, пышущее здоровьем. С каким наслаждением она охладилась в воде, плескалась, плавала и носилась с подружками наперегонки по скрипучим доскам настила — до сих пор в ее ушах стоит смех и визг девчонок. Потом она заторопилась домой, скорее, скорее, ну конечно, она опять опаздывает, а ведь обещала матери, что придет вовремя и поможет уложить вещи,— через два дня они переезжают в Кампталь, на дачу. Прыгая через две ступеньки, она взбежала по лестнице и открыла дверь. Но странно: едва она, запыхавшись, вошла в комнату, как отец с матерью оборвали на полуслове разговор и сделали вид, будто не замечают дочери. Отец, чей непривычно громкий голос она только что слышала, с подозрительным усердием утыкается в газету, а мать — видно, что плакала,— нервно комкает в руке платочек и поспешно отходит к окну. Что случилось? Поссорились? Нет, не похоже: отец вдруг поворачивается к матери и — Кристина никогда не видела его таким ласковым — нежно кладет руку на вздрагивающее плечо. Но мать не оглядывается, от этого молчаливого прикосновения ее плечи дрожат еще сильнее. Что случилось? Родители словно забыли о ней, ни один даже не посмотрел на дочь. И сейчас, спустя двенадцать лет, Кристина помнит, как она тогда перепугалась. Может, они на нее сердятся? Может, она все-таки в чем-то провинилась? Испуганная — в каждом подростке всегда сидит чувство страха и вины,— она уходит на кухню; там кухарка Божена объясняет ей, что Геза, офицерский денщик, живущий по соседству, сказал — а уж ему ли не знать? — что приказ отдан и теперь проклятым сербам устроят хорошую мясорубку. Стало быть, и Отто, как лейтенанта запаса, возьмут, и мужа ее сестры, обоих заберут, вот почему отец с матерью так расстроены. И правда, на следующее утро ее брат Отто неожиданно появляется в сизой егерской форме, с офицерским шарфом и с золотым темляком на сабле. Обычно он, сверхштатный учитель гимназии, носит черный, плохо почищенный сюртук; бледный, худой, долговязый парень с короткой стрижкой ежиком и мягким рыжеватым пушком на щеках всегда выглядел доволь-

но потешно в солидном черном одеянии. Но сейчас, с энергично сжатыми губами, в плотно облегающем военном мундире, он кажется сестре каким-то новым, совсем другим. С наивным девчоночьим восхищением оглядев брата, она всплескивает руками: «Черт возьми, какой ты шикарный!» И мать, никогда не поднимавшая на дочь руку, толкает ее так, что она больно ударяется локтем о шкаф. «И тебе не стыдно, бессовестная?» Но эта вспышка гнева не облегчила затаенную боль, и мать тут же, разрыдавшись, с криками отчаяния бросается к сыну; молодой человек пытается сохранить мужское достоинство, вертит шеей и что-то говорит о родине, о долге. Отец отвернулся, он не может глядеть на это, и Отто, побледнев и стиснув зубы, чуть ли не силой высвобождается из неистовых материнских объятий. Затем он торопливо целует мать в щеки, на ходу жмет руку отцу и проскальзывает мимо Кристины, буркнув ей «пока». И с лестницы уже доносится звон его сабли. Пополудни приходит прощаться муж сестры, чиновник магистрата и фельдфебель тыловых частей; зная, что ему опасность не грозит, он беспечно разглагольствует о войне, словно о какой-то забаве, рассказывает в утешение анекдоты и уходит. Но оба они оставляют дома две тени: жену брата, беременную на четвертом месяце, и сестру с маленьким ребенком. Теперь обе женщины каждый вечер садятся с ними за стол, и всякий раз Кристине кажется, будто лампа горит все тусклей и тусклей. Стоит Кристине ненароком сказать что-нибудь веселое, как на нее устремляются строгие взоры, и даже потом, в постели, она казнит себя за то, что она такая плохая, несерьезная, совсем еще ребенок. Невольно она становится молчаливой. Смех в доме вымер, жутким стал сон в его стенах. Только ночами, случайно проснувшись, она слышит иногда за стеной тихий, неумолчный шорох, будто там падают призрачные капли: это мать, потерявшая сон, часами стоит на коленях перед освещенной иконой богоматери и молится за сына.

Наступил 1915 год, ей семнадцать. Родители постарели на целый десяток лет. Отец — словно какая-то хворь подтачивает его изнутри — ходит сморщенный, пожелтевший, сгорбленный из комнаты в комнату, и все знают: он очень встревожен состоянием дел. Ведь уже шестьдесят лет, начиная с деда, во всей империи не было никого, кто умел так выделывать рога серны и так искусно набивать чучела лесной дичи как Бонифаций Хофленер и сын. Он препарировал охотничьи трофеи по заказам Эстергази, Шварценбергов, даже эрцгерцогов для их замков, усердно трудясь с четырьмя-пятью подмастерьями с утра до поздней ночи, и работа была аккуратная, читая. Теперь же, в это кровавое время, когда стреляют только в людей, дверной звонок в лавку молчит неделями, а сноха еще лежит после родов, и внучек болен, и на все нужны деньги. Все больше и больше горбится неразговорчивый мастер, пока однажды не надламывается совсем — когда приходит письмо с берегов Изонцо, впервые написанное рукой не сына, а его командира, и уже ясно: геройская смерть во главе роты, сохранят память и т. д. Все тише становится в доме; мать больше не молится, лампадка перед иконой богоматери потухла, мать забыла подлить масла.

1916 год, ей восемнадцать. Дома теперь неустанно твердят: слишком дорого. Мать, отец, сестра, невестка с утра до вечера подсчитывают, во что обходится убогая повседневная жизнь, вкладывая в эти подсчеты все свои заботы и тревоги. Слишком дорого мясо, слишком дорого масло, слишком дорога пара обуви; Кристина даже дышать почти не осмеливается из опасения, что это слишком дорого. Самые необходимые для жизни вещи, разбежавшись словно в панике, забились в норы спекулянтов и вымогателей, и приходится их

искать — клянчить хлеб, торговаться с зеленщицей из-за горстки овощей, ездить в деревню за яйцами, везти на ручной тележке уголь с вокзала; изо дня в день в этой охоте состязаются тысячи мерзнущих и голодающих женщин, и с каждым днем добыча все скуднее. А у отца больной желудок, ему нужна особая, легкая пища. С тех пор как отец снял вывеску «Бонифаций Хофленер» и продал лавку, он ни с кем не говорит; прижмет только иногда руки к животу и постанывает, если уверен, что никто его не слышит. Вообще-то следовало бы позвать врача. Но «слишком дорого», говорит отец, продолжая тайком корчиться от боли.

1917 год, ей девятнадцать. На второй день нового года похоронили отца; денег на сберегательной книжке как раз хватило на то, чтобы перекрасить в черное одежду. Жизнь дорожает с каждым днем, две комнаты они уже сдали беженцам из Бродов, но денег все равно не хватает, все равно, хоть надрывайся не покладая рук от зари до зари. Наконец деверю удалось выхлопотать для матери место кастелянши в Корнойбургском лазарете, а ее, Кристину, устроить пишбарышней в канцелярию. Если бы только не вставать на рассвете, не тащиться в такую даль, не мерзнуть утром и вечером в нетопленном вагоне. Потом делать уборку, штопать, чинить, шить, стирать, пока не отупеешь, и без единой мысли, без единого желания проваливаешься в тяжелый сон, от которого лучше не пробуждаться.

1918 год, ей двадцать. Все еще война, все еще ни одного свободного, беспечного дня, все еще нет времени поглядеться в зеркало, выйти на минутку в переулок. Мать жалуется, что у нее начали отекать ноги из-за работы в сыром помещении, но у Кристины почти не остается сил на сочувствие. Она уже слишком давно живет бок о бок с недугами; что-то в ней притупилось с тех пор, как она ежедневно печатает на машинке от семидесяти до восьмидесяти справок о страшных увечьях. Тяжело ковыляя на костылях — левая нога размножена,— к ней в канцелярию иногда заходит маленький лейтенант из Баната с золотистыми, как пшеница на его родине, волосами, с нерешительным, еще детским лицом, на котором, однако, запечатлелись следы перенесенного ужаса. Тоскуя по дому, он рассказывает на старошвабском диалекте о своем селе, о собаке, о лошадях, бедный потерянный белокурый ребенок. Однажды вечером они целовались на парковой скамейке, два-три вялых поцелуя, скорее сострадание, чем любовь; потом он сказал, что хочет жениться на ней, как только кончится война. С усталой улыбкой Кристина пропустила его слова мимо ушей; о том, что война когда-нибудь кончится, она и думать не осмеливается.

1919 год, ей двадцать один. Действительно, война окончилась, но не нужда. Раньше она прикрывалась лавинами распоряжений, коварно таилась под бумажными пирамидами свежеотпечатанных банкнотов и облигаций военных займов. Теперь она выползла, со впалыми глазами, ощерив рот, голодная, нахальная, и пожирает последние отбросы военных клоак. Как из снеговой тучи сыплются единицы с нулями, сотни тысяч, миллионы. но каждая снежинка, каждая тысяча тает на горячей ладони. Пока ты спишь, деньги тают; пока переобуваешь порванные туфли на деревянных каблуках, чтобы сбегать в магазин, деньги уже обесценились; все время куда-нибудь бежишь, и всегда оказывается, что уже поздно. Жизнь превратилась в математику, сложение, умножение, какой-то бешеный круговорот цифр и чисел, и этот смерч засасывает последние вещицы в свою ненасытную пасть: золотую брошь с груди матери, обручальное кольцо с пальца, камчатную скатерть. Но сколько ни кидай, все напрасно, не спасает и то, что до глубокой ночи вяжешь шерстяные свитера и что все комнаты сдаешь жильцам, а самим приходится спать в кухне вдвоем. Только сон — вот единственное, что еще можно себе позволить, единственное, что не стоит ни гроша; в поздний

час вытянуть на матраце свое загнанное, похудевшее, все еще дев ственное тело и на шесть-семь часов забыть об этом апокалипсиче ском времени.

Потом 1920—1921 годы. Ей двадцать два, двадцать три. Расцве молодости, так ведь это называется. Но ей никто об этом не гово рит, а сама она не знает. С утра до вечера лишь одна мысль — ка свести концы с концами, когда денег все меньше и меньше? Чу точку, правда, полегчало: дядя еще раз помог, самолично навести своего приятеля (компаньона по карточной игре), служившего в почт дирекции, и выклянчил у него для Кристины вакансию в почтово конторе Кляйн-Райфлинга, захолустного виноградарского села; вакан сия не ахти какая, но все же с правом на постоянную должност после кандидатского срока, хоть что-то надежное. На одного чело века скудного жалованья хватило бы, но, поскольку в доме у зят для матери места нет, Кристина вынуждена взять ее к себе и вс делить на двоих. По-прежнему каждый день начинается с экономи и кончается подсчетами. На счету каждая спичка, каждое кофейно зернышко, каждая щепотка муки. Но все-таки дышать можно и мож но существовать.

Затем 1922, 1923, 1924 годы — ей двадцать четыре, двадцать пять двадцать шесть. Все еще молодая? Или уже стареешь? У глаз по степенно наметились морщинки, иной раз устают ноги, весной поче му-то болит голова. Но жизнь все-таки идет вперед, и живется по лучше. Держишь деньги в руках и чувствуешь какие они опят твердые и круглые, у нее постоянная работа «почтовой ассистент ки», да и зять каждый месяц присылает матери два-три банкнота Теперь самое время попытаться снова быть молодой, не сразу, поти хоньку; мать даже требует, чтобы она выходила, развлекалась. И конце концов заставляет ее записаться на уроки танцев в соседне селе. Ритмические движения эти даются ей нелегко, слишком ул глубоко вошла в ее плоть и кровь усталость, суставы ее будто за коченели, и музыке не удается их отогреть. Она тщательно разучи вает танцевальные па, но это не увлекает ее, не захватывает по настоящему, и впервые она смутно догадывается: слишком поздно война растоптала, оборвала ее молодость. Сломалась какая-то пру жинка внутри, и мужчины, вероятно, тоже это чувствуют: ни оди всерьез за ней не ухаживает, хотя ее нежный белокурый профил кажется чуть ли не аристократическим на фоне краснощеких круг лолицых деревенских девиц. Зато послевоенная поросль ведет себ иначе, эти семнадцати-восемнадцатилетние не ждут смиренно и тер пеливо пока кто-нибудь соизволит их выбрать. Они считают, что имеют право на удовольствие, и требуют его с таким пылом, словно хотят не только насладиться своей молодостью, но и погулять еще за тех молодых, сотни тысяч которых убиты и погребены. С неки испугом подмечает двадцатишестилетняя девушка, как самоуверен но и требовательно держатся эти юные представительницы нового поколения какие у них знающие и дерзкие глаза, как вызывающе они покачивают бедрами как хихикают в ответ на недвусмысленны прикосновения парней и как, не смущаясь подруг, каждая по пути домой заворачивает с мужчиной в лесок. Кристине это противно Усталой старухой сломленной жизнью и бесполезной, чувствует она себя среди этой жадной и грубой послевоенной поросли; она не хо чет, да и не способна состязаться с ними. Она вообще больше не хо чет никакой борьбы, никаких усилий! Лишь бы спокойно дышать молча предаваться грезам исполнять свою службу, поливать цветы под окном, ни к чему не стремиться, ничего не желать. Только ни чего больше не требовать, ничего нового ничего волнующего; даже для радости у нее, двадцатишестилетней, обокраденной войной на десяток лет молодости, нет больше ни духа, ни сил.

С невольным вздохом облегчения Кристина отрешается от вос

поминаний. Даже мысли о всех бедах и горестях, что она перенесла в юные годы, и те утомляют ее. Бессмысленна вся эта материнская затея! Зачем куда-то ехать, к какой-то тетке, которой она не знает, к людям, с которыми у нее нет ничего общего. О господи, но что же делать, если матери так хочется, если ей это доставляет радость, противиться не стоит, да и к чему? Я так устала, так устала! Примирившись с судьбой, Кристина достает из верхнего ящика стола лист бумаги, аккуратно сгибает его пополам и, подложив транспарант, принимается писать заявление в венскую почт-дирекцию с просьбой, чтобы ей предоставили полагающийся по закону отпуск — притом срочно в связи с семейными обстоятельствами — и прислали кого-нибудь взамен к началу следующей недели; пишет ровным, четким почерком, выводя красивые буквы с волосяной линией и нажимом. Второе письмо в Вену сестре: просьба получить для нее швейцарскую визу, одолжить небольшой чемодан и приехать сюда, чтобы договориться, как быть с матерью. В последующие дни Кристина не торопясь, тщательно готовится к поездке, без каких-либо ожиданий, не испытывая ни радости, ни интереса, словно все это относится не к самой ее жизни, а к тому единственному, чем она живет,— службе и долгу.

Вся неделя прошла в сборах. Вечерами шили, штопали, чистили и обновляли старое; вдобавок сестра вместо того, чтобы купить что-нибудь на присланные доллары («Лучше приберечь их»,— посоветовала эта робкая мещаночка), одолжила кое-что из собственного гардероба: ярко-желтое дорожное пальто, зеленую кофту, эмалевую брошь, которую мать купила в Венеции во время свадебного путешествия, и небольшой плетеный чемодан. Этого вполне хватит, полагает сестра, в горах не щеголяют нарядами, а в крайнем случае если Кристине что понадобится, то уж лучше купить на месте. Наконец наступил день отъезда. Плоский плетеный чемодан несет собственноручно Франц Фукталер, школьный учитель из соседнего села, он не хочет отказать себе в этой дружеской услуге. Небольшого роста, тщедушный и голубоглазый, робко поглядывающий из-за очков, он пришел к Хофленерам сразу же после той телеграммы, чтобы предложить свою помощь; в Кляйн-Райфлинге они единственные, с кем он водит дружбу. Его жена больше года лежит в казенной туберкулезной лечебнице «Алланд», признанная всеми врачами безнадежной; двух их детей взяли к себе иногородние родственники. Почти каждый вечер он сидит дома, один в двух вымерших комнатах, и тихо предается своему увлечению, занимаясь милыми его сердцу поделками. Он составляет гербарии, четко и красиво надписывая шрифтом рондо названия засушенных цветов, красной тушью — латинские, черной — немецкие; собственноручно переплетает свои любимые, кирпичного цвета, брошюры издательства «Реклам» в картонные обложки с пестрым узором, а на корешке, тончайшим чертежным пером, с микроскопической точностью вырисовывает печатные буквы. В более поздний час, когда соседи уже спят, он берет скрипку и по переписанным от руки нотам — не очень умело, но весьма старательно — играет, обычно Шуберта и Мендельсона. Или же из взятых в библиотеке книг выписывает на четвертушках тонкой зерненой бумаги наиболее понравившиеся ему стихи и мысли; когда этих белых листков набирается сотня, он сшивает их в очередной альбом с глянцевой обложкой и яркой табличкой на переплете. Словно арабский переписчик Корана, он предпочитает мягкие закругления, чередование тонких, спокойных линий и толстых, с энергичным нажимом, чтобы безмолвным шрифтом оживить и сделать зримой эту невысказанную радость и душевное напряжение, какие он испытывал во время чтения. Для этого тихого, скромного существа, обитающего в предоставленной ему общиной квартире (без садика под окнами), для такого человека книги —

все равно что цветы в доме, и он высаживает их на полках яркими рядами, лелея каждую книгу, словно старый садовник, бережно прикасаясь к ней худыми бледными пальцами, как к хрупкой драгоценности. Школьный учитель никогда не посещает деревенского трактира; пива и табачного дыма он страшится, как набожные люди — зла, и спешит, нахмурившись, поскорее миновать злачное место, едва заслышав доносящиеся оттуда брань и пьяные крики. Единственные люди, кого он навещает на досуге с тех пор, как слегла его жена,— это Хофленеры. Он часто заходит к ним после ужина просто поболтать или — что им особенно нравится — читает вслух книги, охотнее всего из «Полевых цветов» Адальберта Штифтера, их соотечественника, и от волнения его суховатый голос становится мелодичным. Застенчивый и несколько скучноватый, он незаметно для себя воодушевляется всякий раз, когда, подняв глаза от книги, смотрит на склоненную белокурую голову внимающей девушки; он чувствует, что его здесь понимают. Мать замечает, что происходит с учителем, и догадывается, что взгляд, который он бросает на ее дочь, станет иным, более смелым, когда свершится неминуемая судьба его супруги. Кристина же спокойна и молчит: она давно отвыкла думать о себе.

Учитель несет чемодан на правом, чуть опущенном плече, не обращая внимания на смех встречных мальчишек. Груз не столь уж тяжкий, но тем не менее носильщику приходится пыхтеть, чтобы поспевать за Кристиной, нетерпеливо и стремительно шагающей впереди; она не ожидала, что прощание окажется таким тягостным. Несмотря на категорический запрет врача, мать трижды спускалась вслед за ней по лестнице, словно гонимая необъяснимым страхом, все никак не могла расстаться с дочерью, и трижды Кристине пришлось втаскивать грузную, плачущую навзрыд старую женщину обратно наверх, хотя времени уже оставалось в обрез. А потом, как с ней часто бывало в последние недели, мать вдруг на полуслове-полувсхлипе начала задыхаться, и ее уложили в постель. В таком состоянии ее покинула Кристина и сейчас, крайне озабоченная, казнила себя: такой возбужденной мать еще никогда не была. Не дай бог, с ней что-нибудь случится, а меня тут нет... Вдруг ей что-нибудь понадобится ночью, а сестра приедет из Вены только на воскресенье. Правда, девушка из пекарни свято обещала, что вечерами посидит у нас, но надеяться на нее нельзя — на танцульки она сбежит и от собственной матери... Нет, не надо уезжать, зря поддалась на уговоры. Путешествия — это для тех, у кого дома нет больных, не для нас... если уж ехать, то недалеко, чтобы в любой момент успеть вернуться. Да и что мне даст эта поездка? Ну какая радость, если я все время буду тревожиться, каждую минуту думать, не нужно ли ей чего и что ночью никого с ней нет, а хозяева внизу звонка не слышат или не хотят слышать. Не любят они нас, будь их воля, давно бы выселили... На сменщицу из Линца тоже мало надежды; когда попросила ее, чтобы заглядывала к матери на минутку в обед и вечером, она ответила «ладно», причем ответила так холодно, сухо, что и не знаешь, зайдет она или нет... Может, все-таки телеграфировать тете отказ? Ну что ей в самом деле от того, приеду я или нет, ведь это только мать вообразила, что им до нас есть дело... Иначе хоть изредка писали бы из Америки или тогда, в тяжелое время, прислали бы посылку с продовольствием, как делали многие... Сколько их прошло на почте через мои руки, но ни одной — маме от родной сестры... Нет, зря я послушалась, по мне, так лучше отказаться, пока не поздно. Не знаю почему, но страшно что-то. Так не хочется ехать, так не хочется.

Невысокий светловолосый робкий человек, стараясь не отставать от Кристины, то и дело переводит дух и успокаивает ее. Пусть она не тревожится, он сам — это он твердо обещает — будет каждый день навещать ее матушку. Уж кто-кто, а она заслужила наконец право на

отпуск, ведь сколько лет работала, ни разу не отдыхая. Если бы она поступилась своим долгом — вот тогда он первый отсоветовал бы ей это делать: нет, пусть она не беспокоится, он каждый день будет посылать ей весточку, каждый день. Торопясь, тяжело дыша, он говорит все, что приходит на ум, чтобы ее успокоить, и в самом деле — эти настоятельные уговоры приносят ей облегчение. Кристина не вслушивается в его слова, но чувствует: на этого человека можно положиться.

На станции уже дан сигнал о прибытии поезда, скромный провожатый смущенно прокашливается. Кристина заметила, что он давно переступает с ноги на ногу, видно, хочет что-то сказать, но не смеет. Наконец он нерешительно вынимает из нагрудного кармана нечто белое, сложенное гармошкой и с извинениями протягивает ей. Нет, это, разумеется, не подарок, всего лишь небольшой знак внимания, возможно ей пригодится. С удивлением она развертывает продолговатую бумажную полоску. Это маршрутная карта ее поездки от Линца до Понтрезины: все названия гор, рек и городов вдоль железной дороги выписаны микроскопическими буквами черной тушью, горы заштрихованы реже или гуще, соответственно высоте, которая обозначена крохотными цифрами, нити рек прорисованы синим карандашом, кружки городов — красным; расстояния между городами проставлены в отдельной таблице внизу справа — точно так же, как на больших школьных картах Географического института; сельский учитель скопировал все любовно, с усердием, испытывая радость от приятного занятия. Кристина невольно зарделась. Видя, что подарок понравился ей, скромный человек приободрился. Он извлек еще одну карту, прямоугольный листок с золотой каемкой: эта карта Энгадина, калькированная с большой военно-топографической карты Швейцарии со всеми дорогами и тропинками, включая малейшие подробности, а в центре красным кружочком особо выделено здание. Это, поясняет он, отель, где она будет жить, взято из старого «бедекера»; таким образом она сможет сама ориентироваться на прогулках, не опасаясь сбиться с дороги. Кристина взволнованно благодарит его. Наверное, этот трогательный человек, держа от нее свой замысел в секрете, выписал из библиотеки в Линце или в Вене необходимые пособия, а потом целыми вечерами прилежно чертил и раскрашивал карты сто раз очиненными карандашами и специально купленным пером единственно ради того, чтобы сделать ей этот подарок, сочетающий приятное с полезным и доступный его средствам. Ее не начатое еще путешествие он заранее продумал и проследовал километр за километром; днем и ночью он, наверное, думал о том, что ее ждет, сопровождая ее мысленно на всем пути. Благодарно протягивая сейчас руку этому человеку, растерявшемуся от собственной храбрости, Кристина словно впервые видит его глаза за стеклами очков — голубые, добрые, ясные, как у ребенка; но вот эта ясная голубизна, пока она смотрит на него, становится вдруг темнее и глубже от охватившего его волнения. И у нее внезапно пробуждается чувство тепла, которое она еще ни разу не испытывала в его присутствии, чувство симпатии и доверия, которого никогда прежде не питала ни к одному мужчине. Какое-то неясное до сих пор ощущение окончательно созревает у нее в эту минуту; Кристина дольше и сердечнее, чем когда-либо, пожимает ему руку. Он чувствует перемену в ее настроении, у него начинает горячо стучать в висках, перехватывает дыхание, он смущается, подыскивая нужные слова. Но тут, пыхтя, словно огромный рассерженный зверь, подкатывает черный паровоз; волна воздуха, которую он гонит перед собой, чуть не вырывает листок из ее руки. Всего одна минута времени. Кристина поспешно входит в вагон, из окна она видит уже только машущий белый платок, который вскоре исчезает в дымной дали. Затем она остается одна, впервые за много лет одна.

Весь вечер Кристина, устало прислонившись к деревянной стенк купе, созерцает за исполосованными дождем оконными стекла хмурый ландшафт под пасмурным небом. Сначала в сумерках ещ смутно мелькали, будто вспугнутые зверьки, городишки и села, пото все смешалось и растаяло в тумане. Кроме нее, в купе вагона третьег класса никого, и она позволила себе вытянуть на скамье ноги, тольк теперь почувствовав, до чего устала. Она пробует собраться с мыс лями, но монотонный стук колес и покачивание вагона мешают сосре доточиться; все плотнее затуманивает сознание, отгоняя боль в вис ках, парализующая мгла дремоты, то отупляющее вагонное забытье когда, одурев, лежишь как в черном угольном мешке, а мешок трясу и трясут. В пространстве движется ее неподвижное тело, под ним внизу, шумят, мчатся, словно подгоняемые бичом, колеса, а над ее запрокинутой головой течет время, безмолвно, неуловимо, беспре дельно. Усталость Кристины настолько полно растворилась в этом стремительном черном потоке, что она перепугалась, когда утром внезапно с грохотом раздвинулась дверь и в купе шагнул широко плечий усатый мужчина строгого вида. Прошло несколько мгновений и Кристина, очнувшись от сна, сообразила, что этот человек в форме не намерен причинить ей зло, арестовать и увести, он хочет лиш ознакомиться с ее паспортом, который она и вытаскивает одереве невшими пальцами из сумочки. Жандарм сверяет вклеенную фото карточку с встревоженным лицом ее владелицы. Кристину охваты вает дрожь, еще с войны в ней сидит нелепый и тем не менее не истребимый страх нарушить какое-нибудь одно из сотен тысяч по становлений: ведь всегда можно оказаться нарушителем какого-либо закона. Но жандарм любезно возвращает ей паспорт и, небрежно откозыряв, закрывает за собой дверь — на этот раз осторожнее, чем открывал. Теперь можно было бы и снова улечься, но пережитая тревога спугнула сон. Кристина подошла к окну. И — оторопела. За холодными как лед стеклами, где только что (когда она спала, вре мя как бы остановилось) до самого горизонта серой волной текла в туман глинистая равнина, из земли вздыбились каменными громада ми горы, никогда не виданные ею гигантские образования; перед ее восхищенно-испуганным взглядом вознеслись невообразимо величе ственные Альпы. И в эту самую минуту первый луч солнца, про бившись с востока над седловиной, засверкал миллионами бликов на леднике самой высокой вершины, и этот ничем не замутненный, ослепительно белый свет так резко ударил в глаза, что Кристина невольно зажмурилась. Но эта мгновенная резь в глазах заставила ее окончательно проснуться. Рывок — и оконная рама, чтобы при близить чудо, со стуком опускается вниз, и тут же в раскрытый от изумления рот врывается свежий морозный, колючий, напоенный пряным снежным ароматом воздух, заполняя легкие: никогда еще она не дышала так глубоко и чисто. Невольно она разводит руки, чтобы этот первый, поспешный, обжигающий глоток проник еще глубже, и вот уже всей грудью чувствует, как от морозного вдоха по жилам — чудесно, чудесно! — разливается блаженное тепло. И только сейчас, освеженная она принимается рассматривать все по порядку, слева, справа; ее оттаявший взгляд радостно ощупывает каждый гранитный склон с ледяными бордюрами, от нижнего до самого верхнего обнаруживая все новые подробности — водопад, низвергающийся в долину белопенными сальто-мортале, изящные, как бы придавленные скалами домики, приютившиеся в расщелинах, словно птичьи гнезда орла, гордо парящего над высочайшей вер шиной, и надо всем этим царит божественно чистая, шелестящая синева излучающая такую силу и радость о какой Кристина и не подозревала. Впервые в жизни убежавшая из своего тесного мирка, она не отрывает глаз от невероятного зрелища, от этих словно вы росших за ночь каменных башен. Тысячелетия, должно быть, стоят

они здесь, эти исполинские твердыни Создателя, и незыблемо простоят, быть может, еще миллионы и миллиарды лет, а она, Кристина, если б не случайная эта поездка, могла умереть, истлеть и обратиться в прах, даже не догадываясь, что на свете есть такое великолепие. Ничего этого она никогда не видела да и вряд ли мечтала увидеть, ее жизнь текла стороной: бессмысленное прозябание на клочке пространства шириной в вытянутую руку — шаг туда, шаг обратно, меж тем как на расстоянии всего лишь одной ночи, одного дня начинается многообразнейшая беспредельность. И внезапно в ее доныне бездеятельное, равнодушное сознание впервые проникает догадка о чем-то упущенном. В такие мгновения у человека все в душе переворачивается от ощущения могучей силы странствий, которая одним взмахом срывает с него твердую скорлупу привычного и забрасывает обнаженное плодоносное ядро в стихию безудержных превращений.

Прижавшись раскрасневшейся щекой к оконной раме, Кристина целиком отдалась этому впервые охватившему ее чувству и с жадным любопытством смотрит и смотрит во все глаза. Ни единой мыслью не оглядывается она назад. Забыты мать, служба, деревня, забыта лежащая в сумочке любовно нарисованная карта, на которой она могла бы прочесть название каждой вершины и каждого горного ручья, опрометью несущегося в долину, забыто собственное вчерашнее «я». Только бы впитать все до последней капли, только бы не упустить ничего из беспрестанно меняющейся величественной панорамы, запечатлеть каждый ее кадр и пить, пить, не отрывая губ, морозный воздух, крепкий и пряный, как можжевеловка, этот волшебный горный воздух, от которого сердце бьется звонче и решительней! Четыре часа Кристина, не отходя ни на минутку, смотрит в окно, настолько увлеченная, что забыла о времени, и, когда поезд остановился и кондуктор на незнакомом диалекте, но все же внятно объявил название станции, где она должна сходить, у нее в испуге замерло сердце.

Боже мой,— сделав над собой усилие, Кристина очнулась от сладостных грез,— уже приехала и ничего не успела придумать: ни как поздороваться с тетей, ни что сказать ей при встрече. Она поспешно хватает чемодан, зонтик — только бы ничего не забыть! — и устремляется вслед за выходящими пассажирами. Носильщики в разноцветных фуражках, выстроившиеся к приходу поезда строго, по-военному, в два ряда, тут же разлетелись, с охотничьим азартом ловя прибывших; отовсюду слышатся шумные приветствия, выкрикивают названия отелей. Но Кристину никто не встречает. Она растерянно оглядывается вокруг, от волнения у нее сдавило горло, она высматривает, ищет. Но тщетно. Никого. Всех встречают, все знают, куда им идти, только она не знает, одна она. Приехавшие уже толпятся у гостиничных автобусов, пестрой вереницей стоящих в ожидании, словно готовая к стрельбе батарея; перрон почти опустел. И по-прежнему никого: о ней забыли. Тетя не пришла; может быть, уехала или заболела, и ей, Кристине, телеграфировали, что поездка отменяется, а телеграмма, увы, запоздала. Господи, хоть бы хватило денег на обратную дорогу! Собравшись с духом, она все же решается подойти к служителю, у которого на околыше фуражки золотится надпись «Отель Палас», и слабым голоском спрашивает, не живут ли у них супруги ван Боолен. «Как же, как же»,— гортанно отвечает важный краснолобый швейцарец, ну да, конечно ему поручено встретить барышню на вокзале. Пусть она даст ему квитанцию на багаж, а сама пока садится в автобус. Кристина покраснела. Только сейчас она заметила, и это ее больно задело, как выдает ее бедность зажатый в руке нищенский плетеный чемоданчик на фоне новеньких, будто с витрины, гигантских кофров, сверкающих металлической оковкой и неприступно возвышающихся среди пестрых кубиков из

ценной юфти, чистой лайки, крокодиловой и змеиной кожи, ожидающих погрузки. Она вмиг почувствовала, как бросается в глаза дистанция между другими пассажирами и ею. Ее охватило смущение. Надо что-нибудь соврать — быстро решает она.

— Остальной багаж придет потом.

— Ну что ж, тогда можно ехать,— заявляет (слава богу, без всякого удивления или презрения) величественная ливрея и распахивает дверцу автобуса.

Стоит человеку чего-нибудь устыдиться, как это неощутимо откладывается даже в самом отдаленном уголке сознания, затрагивая каждый нерв; и любое беглое упоминание, всякая случайная мысль заставляют однажды устыдившегося снова претерпевать пережитую муку. От этого первого толчка Кристина утратила свою непосредственность. Она неуверенно ступает в сумрачный салон автобуса и тотчас невольно отшатывается, увидев, что она здесь не одна. Но пути назад уже нет. Ей придется пройти через этот благоухающий духами и терпкой юфтью полумрак, мимо неохотно убираемых ног, чтобы добраться к задним местам. Опустив глаза, втянув голову в плечи как от озноба, совершенно оробев, она движется по проходу и от растерянности бормочет «здрасьте» каждой паре ног, которые минует, словно этой учтивостью просит извинить ее присутствие. Однако никто ей не отвечает. Либо осмотр, проведенный шестнадцатью парами глаз, окончился неблагоприятно для Кристины, либо пассажиры — румынские аристократы, бойко болтающие на скверном французском,— и вовсе не обратили внимания на жалкое существо, робкой тенью проскользнувшее в дальний угол. Пристроив чемодан на коленях — поставить его на свободное место она не отважилась,— Кристина пригнулась, чтобы укрыться от возможных насмешливых взглядов; всю дорогу она ни разу не осмеливается поднять глаза, смотрит только в пол, только на то, что ниже сидений. Но роскошная обувь женщин тотчас напоминает ей о ее собственных неуклюжих туфлях. Оторопело взирает она на стройные женские ноги, надменно скрещенные под распахнутыми горностаевыми манто, на пестрые мужские носки гольф и этот «нижний» этаж богатства вызывает у нее озноб: как ей быть среди такого невиданного шика? На что ни взглянет — новые мучения. Вот наискосок от нее девушка лет семнадцати держит на коленях пушистую китайскую болонку, та лениво потягивается, повизгивая; попона на собачонке оторочена мехом и украшена вышитой монограммой, а полудетская почесывающая шерстку рука сверкает бриллиантом и розовым маникюром. Стоящие в углу клюшки для гольфа и те выглядят нарядно в новеньких чехлах из гладкой кожи кремового цвета, а у каждого из небрежно брошенных зонтиков своя неповторимая экстравагантная ручка — Кристина непроизвольным жестом прикрывает ручку своего зонтика, сделанную из дешевого тусклого рога... Только бы никто не взглянул на нее, только бы никто не заметил, что она сейчас переживает, что́ впервые в жизни увидела! Все ниже склоняет голову несчастная все незаметнее ей хочется стать, и всякий раз когда вблизи раздается смех, по спине у нее бегут мурашки. Но она боится поднять глаза и удостовериться, в самом ли деле этот смех относится к ней.

Но вот мучительным минутам приходит конец — под колесами хрустит мелкий гравий, автобус подруливает к отелю. На звук клаксона, резкого, как вокзальный колокол, к машине сбегается пестрый отряд сезонных носильщиков и боев. За ними, более церемонно — положение обязывает,— в черном сюртуке и с геометрически ровным пробором появляется главный администратор. Первой из автобуса выпрыгивает болонка и, приземлившись, отряхивается; не прерывая громкой болтовни, одна за другой выходят дамы; они спускаются, высоко подобрав манто над спортивно-мускулистыми икрами

и оставляя за собой почти одуряющие волны благоуханий. Хотя бы из приличия мужчинам следовало пропустить вперед робко приподнявшуюся девушку, но либо они правильно определили ее происхождение, либо просто не замечают ее; во всяком случае, господа выходят, не оглядываясь на нее, и направляются к администратору. Кристина в растерянности остается сидеть с плетеным чемоданчиком, который стал ей теперь ненавистен. Пусть они все отойдут подальше, думает она, это отвлечет от меня внимание. Но медлит она слишком долго, и когда наконец ступает на подножку, господин в сюртуке уже удаляется с румынами, бои деловито несут следом ручной багаж, сезонники громыхают на крыше автобуса тяжелыми кофрами, и никто из них к ней не подбегает. Никто не обращает на нее внимания. Очевидно, ее приняли за служанку, думает она, испытывая чувство крайнего унижения, ну в лучшем случае за горничную одной из тех дам, ведь носильщики снуют мимо нее с полным равнодушием, будто она такая же, как и они. Терпение ее наконец иссякает, и, собравшись с последними силами, она проталкивается в холл к дежурному администратору.

Дежурный администратор в разгар сезона... Разве осмелишься заговорить с ним, этим капитаном огромного роскошного корабля, царственно возвышающимся за своей конторкой и непоколебимо держащим свой курс сквозь шторм вопросов. Десятка полтора приезжих ждут решения этого Всемогущего, который одной рукой что-то записывает, другой сжимает телефонную трубку, направо и налево дает справки, по его знаку — кивком или взглядом — бои разлетаются во все стороны; это универсальный человек-машина с постоянно натянутыми нервами-канатами; если перед его величеством стоят в ожидании даже особы полноправные — что же говорить о неопытном, застенчивом новичке? Столь недоступным кажется Кристине этот повелитель столпотворения, что она почтительно отступает в нишу, решив переждать, пока уляжется суматоха. Но постылый чемодан все сильнее оттягивает руку. Тщетно оглядывается Кристина вокруг в поисках скамейки, куда можно бы его поставить. В этот момент ей показалось — наверное, вообразила от волнения, что сидящие неподалеку в креслах люди бросают на нее иронические взгляды, перешептываются и смеются; еще мгновение — и она выронила бы ставшую непосильной ношу, так ослабели вдруг у нее пальцы. Но именно в эту критическую минуту к ней решительным шагом подходит искусственно белокурая, искусственно моложавая, очень элегантная дама, пристально разглядывает ее профиль, а затем спрашивает:

— Это ты, Кристина?

И когда племянница скорее выдохнула, чем произнесла «да», тетя легонько взяла ее за плечи и чмокнула в щеку, обдав тепловатым запахом пудры. Кристина, с радостью почувствовав наконец после отчаянного одиночества что-то близкое, родное, кинулась в едва намеченные объятия столь бурно, что тетя, восприняв этот порыв как проявление родственной нежности, была весьма тронута. Она погладила вздрагивающие плечи:

— О, я ужасно рада, что ты приехала, Энтони и я, мы оба очень рады.— И, взяв ее за руку:— Идем, тебе, конечно, надо привести себя в порядок, ведь ваши дороги в Австрии, наверное, жутко некомфортабельны. Спокойно собирайся — только не слишком долго. К ленчу уже бил гонг, а Энтони не любит ждать, это его слабость. We have all prepared... Ах да, мы все подготовили, портье сейчас даст ключ от твоего номера. И быстренько, ладно? Никаких шикарных туалетов, к обеду здесь каждый одевается как хочет.

По мановению тетиной руки ливрейный бой мигом подхватывает чемодан, зонтик и бежит за ключом. Бесшумный лифт поднимает Кристину на третий этаж. В середине коридора бой отпирает

дверь и, сдернув с головы круглую шапочку, отступает в сторону. Значит, это ее комната. Кристина входит. И уже на пороге отшатывается, словно ошиблась дверью. Ибо при всем желании сельская почтарка из Кляйн-Райфлинга, привыкшая видеть вокруг себя одну лишь убогость, не способна так быстро переключиться и поверить, будто эта комната предназначена ей, эта роскошно просторная, изумительно светлая, оклеенная яркими обоями комната, куда через распахнутые настежь двери балкона, словно через хрустальный шлюз, низвергаются каскады света. Неукротимый светопад заливает все помещение, каждый предмет напоен лучащейся стихией. Полированная мебель сверкает своими гранями, будто хрусталь, на латуни и стекле весело искрятся солнечные блики, даже ковер с тканым цветами выглядит настоящей живой лужайкой. Не комната, а сияющее райское утро; ослепленная, ошеломленная этим пиршеством света, Кристина невольно ждет, пока успокоится заколотившееся сердце, а потом с некоторым угрызением совести быстро притворяет дверь. Сначала было изумление: возможно ли такое вообще — столько блеска, великолепия! И вторая мысль, давно и неразрывно связанная с несбыточными ее желаниями: сколько это должно стоить, как же много денег, как ужасно много денег! Наверное, один-единственный день стоит здесь больше, чем она зарабатывает за неделю — да нет, за месяц! Смущенно — ну кто же осмелится чувствовать себя здесь как дома — Кристина, оглянувшись, осторожно ступает на дорогой ковер одной ногой, другой. Потом благоговейно и все же со жгучим любопытством принимается обследовать все достопримечательности. Сначала она бережно ощупывает постель: неужели здесь действительно можно будет спать, в такой свежайшей, прохладной белизне? А пуховое одеяло — легкое, нежное, с вышитыми шелком цветами, ну как пушинка на ладони; нажимаешь пальцем, и вспыхивает лампа, окрашивая угол в теплый розовый цвет. Открытие за открытием: умывальник — белая сверкающая раковина с никелированными кранами, кресла — мягкие и до того глубокие, что с трудом выбираешься из их податливой топи, полированная мебель из ценного дерева так гармонирует с весенней зеленью обоев, а на столе, встречая гостью, горят четыре разноцветные гвоздики в высокой узкой вазе — ну чем не красочный приветственный туш хрустальной трубы! Волшебная, немыслимая роскошь! И все это будет у нее перед глазами, всем она будет пользоваться, обладать день, неделю, две недели; предвкушая наслаждение, Кристина, как робкая влюбленная, крадется от предмета к предмету, пытливо ощупывает их один за другим и то и дело изумляется, пока вдруг, точно наступив на змею, в ужасе не отскакивает и чуть не падает. Случилось же следующее: она совершенно машинально распахнула огромный стенной шкаф, не ожидая, что к внутренней стороне дверцы прикреплено большое зеркало,— и тут, словно игрушечный чертик с красным языком, выпрыгнувший из шкатулки, на нее глянуло во весь рост изображение, в котором она с ужасом увидела жестокую реальность — самое себя, то единственное, что было неприличным в этой фешенебельной обстановке. Ярко-желтое растопыренное дорожное пальто, помятая соломенная шляпа над растерянным лицом — это зрелище потрясло ее до глубины души. Вон отсюда, пройдоха! Не марай приличный дом! Марш на свое место,— казалось, прикрикнуло на нее зеркало. В самом деле, думает Кристина удрученно, ну как я могу себе позволить жить в такой комнате, в таком отеле? Срамить тетю! Никаких шикарных туалетов, сказала она! Будто они у меня есть! Нет, не пойду вниз, останусь здесь. Лучше уеду обратно. Но куда же спрятаться, как я успею исчезнуть? Ведь тетя сразу хватится меня и будет возмущена. Невольно стремясь удалиться от зеркала, Кристина выходит на балкон. Судорожно сжав перила, она смотрит вниз. Броситься бы — и всему конец...

Но тут снизу раздается еще один боевой удар гонга. Боже мой! Ведь в холле ее ждут дядя с тетей, спохватывается Кристина, а она тут мешкает. И не умылась еще, и даже не сняла ненавистное пальто, приобретенное сестрой на распродаже. Она лихорадочно раскрывает чемодан, чтобы достать туалетные принадлежности, завернутые в кусок прорезиненной ткани. Но когда она выкладывает на чистую хрустальную полочку грубое мыло, царапающую деревянную щеточку и другие предметы, купленные явно по самой дешевой цене, ей кажется, что она вновь демонстрирует все свое мещанское убожество перед чьим-то язвительно-высокомерным взором. Что подумает горничная, увидев это,— наверняка с издевкой разболтает своим товаркам о ниценке; те расскажут другим, сразу весь отель узнает, и ей придется каждый день проходить мимо них, каждый день, потупив глаза и слыша шушуканье за спиной. Нет, здесь тетя ничем не поможет, этого не скроешь, это распространится повсюду. На каждом шагу какая-нибудь прореха да откроется, и ее платье и обувь только еще больше обнажат всем-всем ее убожество. Да, но надо торопиться, тетя ждет, а дядя, сказала она, ждать не любит. Господи, что делать? Что же надеть? Первая мысль — зеленую блузку из искусственного шелка, которую ей одолжила сестра, но то, что еще вчера, в Кляйн-Райфлинге, она считала украшением своего гардероба, теперь кажется ей ужасно безвкусным и вульгарным. Лучше уж простую белую, она неприметнее, и захватить цветы из вазы: если держать их перед блузой, то, может, яркий букет отвлечет на себя внимание. Потом, пряча глаза и едва дыша от страха, что ее разглядывают, Кристина торопливо сбегает по лестнице в холл, обгоняя других,— в лице ее ни кровинки, голова болит и кружится, и такое чувство, будто она наяву летит в пропасть.

•

Спустившись в холл, она замечает тетю. Странно, что это с девчонкой? — думает та, направляясь к племяннице. То идет, то скачет, от людей шарахается, стесняется, что ли? Нервная, видать, штучка; да, надо было заранее о ней разузнать! Господи, а теперь встала как дурочка у входа, может, она близорукая или еще что-нибудь не в порядке?

— Ну что с тобой, детка? Ты совсем бледная. Тебе нездоровится?

— Нет, нет,— лепечет Кристина все еще в растерянности. Ужас сколько тут народу в холле, а вот та дама в черном с лорнетом, как она сюда уставилась! Наверное, разглядывает ее смехотворные, неуклюжие туфли.

— Пойдем, пойдем, детка,— зовет тетя и берет ее под руку, даже не подозревая, какую услугу, какую огромную услугу оказывает запуганной племяннице. Ведь тем самым Кристина хоть на полшага отступает наконец-то в спасительную тень, под крыло, в укрытие: тетя по крайней мере с одного боку заслоняет ее своим телом, своим туалетом, своим видом. Благодаря провожатой Кристине удается довольно спокойно пересечь ресторанный зал и подойти к столику, где их ждет флегматичный, грузный дядя Энтони; он поднимается, его обвислые щеки растягиваются в добродушной улыбке, типично голландские светлые глаза с красноватыми веками приветливо смотрят на племянницу, и он протягивает ей тяжелую, натруженную лапу. Радость его вызвана главным образом тем, что не надо больше дожидаться их, сидя за накрытым столом,— как всякий голландец, он любит поесть, обильно и с комфортом. Помех в этом деле он не терпел и со вчерашнего дня втайне опасался, что встретит эдакую несносную светскую бездельницу, которая своей болтовней и расспросами испортит ему трапезу. Но, глядя сейчас на новоявленную племянницу, бледную, застенчивую и привлекательную в своем сму-

щении, он успокаивается и сразу заключает, что с ней можно легко поладить.

— Первым делом поешь, а уж потом поговорим,— ласково и дружески подбадривает он ее.

Эта худенькая робкая девушка, не осмеливающаяся поднять глаза, радует его, она совсем не похожа на тех бойких девиц за океаном, которых он не переваривает, потому что они вечно заводят граммофон и так вызывающе вихляются, как никогда не позволит себе ни одна женщина из его старой Голландии. Невольно покряхтывая, он склоняется над столом и собственноручно наливает ей вино, а затем делает знак официанту, чтобы подавал обед.

У официанта жесткие крахмальные манжеты и такое же натянутое, чопорное лицо; о господи, ну что за экстравагантные блюда он подает, какие-то странные, невиданные закуски: охлажденные на льду маслины, пестрые салаты, серебристые рыбы, горы артишоков, непостижимые кремы, нежнейший паштет из гусиной печенки и розовые ломтики семги — все такое изысканное, тонкое, должно таять во рту. Но вот каким из дюжины положенных приборов есть эти неведомые деликатесы? Маленькой или круглой ложкой, изящным ножичком или широким ножом? Чем их резать и брать, чтобы не обнаружить перед этим платным наблюдателем и опытными соседями, что ты впервые в жизни попала в столь шикарный ресторан? Как избежать хотя бы грубых оплошностей? Стараясь выиграть время, Кристина медленно развертывает салфетку и при этом искоса следит из-под опущенных век за тетиными руками, чтобы подражать каждому ее движению. Однако вместе с тем ей приходится выслушивать дружеские вопросы дяди, и выслушивать очень внимательно, так как его речь на смешанном голландско-немецком вдобавок обильно уснащена английскими оборотами; она вынуждена напрячь все силы, чтобы не только выдерживать сражение на два фронта, но и преодолевать чувство неполноценности, слыша позади неумолкающее шушуканье и воображая, что соседи бросают на нее ехидные или жалостливые взгляды. Страшась обнаружить свою убогость и неопытность перед дядей и тетей, перед официантом, перед любым сидящим в зале и в то же время стараясь выглядеть беспечной, даже веселой, Кристина была напряжена до предела, так что эти полчаса за обедом показались ей вечностью. До десерта она кое-как продержалась; наконец, тетя, не догадываясь об истинной причине, заметила ее смущение:

— Ты выглядишь усталой, детка. Впрочем, неудивительно, если всю ночь едешь в этих дрянных европейских вагонах. Ничего, не смущайся, приляжешь на часок, поспишь, а потом двинемся. Спешить нам некуда, Энтони тоже всегда отдыхает после обеда.— Поднявшись, она берет племянницу под руку.— Идем, я тебя провожу. Полежишь, встанешь бодрой, и тогда мы хорошенько прогуляемся.

Кристина глубоко вздыхает, признательная тете. Спрятаться на час за закрытой дверью — значит выиграть целый час.

— Ну, как она тебе понравилась? — спрашивает, едва войдя в номер, тетя своего Энтони, который уже на ходу расстегивает пиджак и жилетку.

— Очень мила,— зевает дородный супруг,— милое венское лицо... Передай-ка мне подушку... В самом деле очень мила и скромна. Только — I think so at least [1] — я нахожу, что она бедновато одета... ну... не знаю, как это выразить... у нас такого вот уже давно нет... и если ты решишь представить ее здесь Кинсли и другим как нашу племянницу, ей следовало бы, пожалуй, одеться более презентабельно... Не могла бы ты выручить ее своим гардеробом?

— Видишь, у меня уже ключ в руке.— Госпожа ван Боолен улы-

[1] По крайней мере мне так кажется *(англ.)*.

бается.— Я сама перепугалась, когда увидела ее среди приехавших, еще там, во дворе... да, зрелище весьма компрометирующее. А ведь ты не видел ее пальто — яичный желток, великолепный экземпляр, специально для лавки индейских диковинок... Бедняжка, если б она знала, какой провинциальный у нее наряд, ах, господи, откуда ж ей это знать... ведь все они там, в Австрии, совершенно down [1] из-за этой проклятой войны, ты же сам слышал, что она рассказывала,— дальше трех миль за Вену еще ни разу не выезжала, никогда не бывала среди людей... Poor thing [2], сразу видно, что ей здесь не по себе, ходит совсем запуганная... Ладно, так и быть, обряжу ее как полагается, привезла я сюда достаточно, а чего не хватит, куплю в английской лавке; никто ничего не заметит, да и почему бы ей не поблаженствовать разок недельку-другую, бедняжечке.

И пока утомленный супруг погружается на оттоманке в дрему, она производит смотр двух больших кофров, возвышающихся в прихожей, словно кариатиды, чуть не до потолка. За две недели в Париже госпожа ван Боолен отдала должное не только музеям, но в немалой мере и дамским портным: в ее руках шелестит крепдешин, шелк, батист, она вытаскивает одну за другой дюжину блузок и платьев, щупает, прикидывает на свет и на вес, пересчитывает, вешает обратно; ее пальцы обстоятельно, но не без удовольствия прогуливаются по переливчатым и черным, нежным и плотным тканям и платьям, прежде чем она решается, что уступить Кристине. Наконец на кресле вырастает радужный пенистый холмик из тонких платьев, чулок и белья; весь этот почти невесомый груз она поднимает одной рукой и несет в номер к племяннице. Тихонько отворив дверь, тетя входит, однако в первый момент ей кажется, что комната пуста. Окно распахнуто, в креслах никого, за письменным столом тоже; она собирается положить вещи на стул, как вдруг обнаруживает Кристину спящей на кушетке. С непривычки и от смущения девушка пила вино торопливо, а дядя, добродушно посмеиваясь, подливал и подливал ей в бокал, и вот голова у нее странно отяжелела. Кристина было присела на кушетку, чтобы подумать, поразмышлять обо всем, но вскоре сонливость мягко склонила ее к подушкам, и она незаметно уснула.

Вид спящего человека, его беспомощность всегда производят либо трогательное, либо забавное впечатление. Тетя была растрогана, когда на цыпочках приблизилась к племяннице. Во сне Кристина стеснительно прикрыла руками грудь, как бы защищаясь от чего-то; этот жест и по-детски, словно в испуге, полуоткрытый рот невольно вызывают сочувствие; брови тоже чуть приподняты, будто ей снится что-то тревожное.

Тетю вдруг озаряет догадка: она и во сне боится, даже во сне. До чего же бледные у нее губы, и цвет лица какой нездоровый, а ведь совсем еще молодая и спит как ребенок... Наверное, от плохого питания, рано пришлось самой зарабатывать, намыкалась, измоталась, совсем изнуренная, а девочке и двадцати восьми еще нет. Poor chap![3] Что-то вроде стыда внезапно просыпается в добросердечной женщине, пока она смотрит на племянницу, и не подозревающую, что ее тайны разгаданы. В самом деле, такая усталая, несчастная, замученная, а мы, ну просто срам, давно надо было им помочь. Мы же занимаемся там всяческой благотворительностью, устраиваем сотни charity teas[4], жертвуем на рождественские подарки, сами не зная для кого, а тут собственная сестра, родная кровь, и о ней все эти годы даже не вспомнили, когда несколько сотен долларов могли бы совершить чудо. Конечно, они могли бы и написать, напомнить

---

[1] Разорены *(англ.)*.
[2] Бедняжечка *(англ.)*.
[3] Бедняжка! *(англ.)*
[4] Благотворительное чаепитие *(англ.)*.

о себе — вечно у этих бедняков дурацкая гордость, не хотят попросить! Слава богу, что хоть теперь еще можно поддержать эту бледную, робкую девушку, доставить ей немного радости. Сама не понимая почему, тетя со все большим умилением вглядывается в мечтательный облик спящей — то ли она увидела в нем свое собственное отражение, всплывшее в зеркале детства, то ли вдруг вспомнила давнюю фотографию матери, которая в тонкой позолоченной рамке висела над ее детской кроватью? Или воскресло чувство одиночества, которое она испытала тогда в нью-йоркском пансионе,— во всяком случае, стареющая женщина внезапно ощутила прилив нежности. И ласково погладила белокурые волосы племянницы.

Кристина мгновенно просыпается. Уход за больной матерью приучил ее вскакивать от малейшего прикосновения.

— Уже так поздно? — лепечет она виновато.

Извечный страх опоздать, присущий всем служащим, сопровождает ее во сне уже многие годы и просыпается вместе с первым звонком будильника. Первый взгляд на часы — всегда вопрос: «Я не опоздаю?» И первое чувство после утреннего пробуждения — неизменно страх провиниться в чем-нибудь на службе.

— Деточка, зачем же так пугаться? — успокаивающе говорит тетя.— Здесь времени столько, что не знаешь, куда его девать. Не волнуйся, отдохни, если еще чувствуешь себя усталой, ей-богу, я не хотела тебя беспокоить, вот только принесла несколько платьев, посмотри, может, какое и понравится, наденешь. Я их притащила из Парижа такую уйму, что чемодан не закрывается, ну и подумала: лучше ты вместо меня поносишь парочку-другую.

Кристина чувствует, как краска заливает ей лицо и шею. Значит, они все-таки это поняли сразу, с первого взгляда, она их срамит своей бедностью... наверное, оба, и дядя и тетя, стыдятся ее. Но как деликатно тетя хочет помочь ей, как маскирует она подачку, стараясь не обидеть ее.

— Ну как я смогу носить твои платья, тетя?— запинаясь, говорит Кристина.— Ведь они слишком дороги для меня.

— Чепуха, они наверняка будут тебе больше к лицу, чем мне. Энтони и так уже ворчит, что я одеваюсь слишком молодо. Ему хотелось бы, чтоб я выглядела как его двоюродные бабушки в Гандаме: плотный черный шелк, застегнуты от пяток до жабо, как истинные протестантки, а на макушке белый крахмальный чепчик. На тебе эти тряпки ему понравятся в тысячу раз больше. Ну, давай примерь, какое ты выберешь сегодня на вечер?

И одним взмахом — в ней неожиданно проснулась давно забытая сноровка манекенщицы — она выхватывает легчайшее платье и прикладывает к своей фигуре. Цвета слоновой кости, с пестрой японской каймой оно светится по-весеннему рядом с другим платьем, где алые остроконечные язычки пламени трепещут на черном как ночь шелке. Третье — болотного оттенка с серебряными прожилками по краям, и все три кажутся Кристине столь прекрасными, что она и мысли не допускает пожелать их или обладать ими. Такие роскошные и тонкие вещи даже надеть страшно: все время будешь бояться — вдруг порвешь по неопытности. А как ходить, двигаться в этом облачке, сотканном из цвета и света? Ведь носить эти платья надо сперва научиться.

И все-таки ни одна женщина не может устоять перед этими сокровищами. Ноздри ее возбужденно трепещут, рука начинает странно дрожать, пальцам хочется нежно погладить ткань, и лишь с трудом она сдерживает себя. Тете по давнишнему опыту знакомо это вожделение во взгляде, это почти сладострастное волнение, которое охватывает всех женщин при виде роскоши; она невольно улыбается, заметив внезапно вспыхнувшие огоньки в глазах робкой блондинки; от одного платья к другому блуждают они беспокойно, нере-

шительно, и Опытность знает, какое платье выберет Неискушенность, и знает, что, выбрав, будет с раскаянием взирать на другие. Из самых добрых побуждений тетя с удовольствием подливает масла в огонь:

— Спешить некуда, я оставляю тебе все три, сегодня выберешь сама по вкусу, а завтра попробуешь остальные. Чулки и белье я тоже захватила... теперь тебе не хватает чего-нибудь такого свеженького, бодренького, что чуточку подкрасит твои бледные щечки. Если не возражаешь, пойдем-ка прямо сейчас в stores[1] и купим все, что тебе понадобится в Энгадине.

— Но, тетя,— лепечет вконец потрясенная Кристина,— мне неудобно... нельзя же, чтобы ты столько на меня тратила. И номер этот слишком дорогой, ну в самом деле, мне бы вполне подошла простенькая комната.

Тетя лишь улыбается, не сводя с нее глаз.

— А потом, детка,— заявляет она властно,— сходим к нашей парикмахерше, она тебя мало-мальски причешет. Космы вроде твоих у нас носят только индейцы. Сама увидишь, сразу легче будет держать голову, когда грива перестанет болтаться на затылке. Нет, нет, не спорь, я в этом лучше разбираюсь, положись на меня и не волнуйся. Времени у нас масса, Энтони сейчас торчит за послеобеденным покером. Вечерком приподнесем тебя ему как с иголочки. Ну, собирайся, детка, пошли.

В большом магазине спортивных товаров коробки одна за другой снуют со стеллажей на прилавок: выбран свитер с рисунком в шашечку, замшевый пояс, подчеркивающий талию, пара крепких рыжеватых ботинок, остро пахнущих свежевыделанной кожей, шапочка, пестрые, туго облегающие носки-гольф и всякая мелочь; примеривая в кабине обнову, Кристина, словно грязную коросту, сдирает с себя ненавистную кофту и тайком прячет эту привезенную улику нужды в картонную коробку. Удивительное облегчение охватывает ее по мере того, как исчезают в картонках опротивевшие вещи, будто вместе с ними навеки переходит туда же и ее страх. В другом магазине добавляются еще вечерние туфли, легкая шелковая шаль и тому подобные чарующие предметы; с изумлением Кристина наблюдает, словно чудо, никогда не виданный ею способ делать покупки, то есть покупать, не спрашивая о цене, не испытывая постоянного страха перед «слишком дорого». Выбираешь товар, говоришь «да» не задумываясь, не тревожась, и вот пакеты перевязаны, и таинственные рассыльные доставят их тебе домой. Не успеваешь выразить желание, как оно уже исполнено: жутко все это, но в то же время упоительно легко и красиво. Кристина отдается во власть чудес, прекратив всякое сопротивление и предоставив тете полную свободу действий; она лишь застенчиво отворачивается, когда тетя вынимает из сумочки банкноты, и старается пропускать мимо ушей, не слышать цены,— ведь это так много, так немыслимо много то, что на нее тратят: за годы она не израсходовала столько, сколько здесь за полчаса. Когда они вышли из магазина, она, уже не сдерживаясь, в порыве благодарности трепетно прижимается к тете и целует ее руку.

Тетя с улыбкой смотрит на ее трогательное смущение:

— Ну, теперь займемся скальпом! Я отведу тебя к парикмахерше, а сама тем временем нанесу визит друзьям, оставлю им карточку. Через час ты будешь как с витрины, и я зайду за тобой. Увидишь, что она из тебя сотворит, ты уже сейчас выглядишь совсем иначе. Потом отправимся гулять, а вечером будем вовсю развлекаться.

Сердце у Кристины взволнованно стучит, но она послушно (ведь тетя желает ей добра!) входит в комнату, облицованную кафелем и сверкающую зеркалами, здесь теплый сладковатый воздух пахнет

[1] Лавки, магазины *(англ.)*.

цветочным мылом и распыленными эссенциями, а рядом, словно ветер в горном ущелье, завывает какой-то электрический аппарат. Парикмахерша, проворная курносая француженка, выслушивает всевозможные инструкции, в которых Кристина ничего не понимает, да и не пытается понять. Ее захлестнуло ранее неведомое желание безвольно отдаться любым неожиданностям — пусть с ней делают все что хотят. Тетя исчезает, а она, откинувшись в удобном операционном кресле, закрыв глаза, погружается в наркоз блаженства; щелкает машинка, Кристина ощущает ее стальной холодок на затылке, слышит непонятную болтовню бойкой мастерицы, вдыхает слегка дурманящие благовония и охотно подставляет шею и волосы чужим искусным пальцам и струям сладкой эссенции. Только не открывать глаза, думает она. А то вдруг окажется, что все неправда. Только не спрашивать. Только насладиться этим праздничным чувством, разок отдохнуть, не обслуживать других, а самой быть обслуженной. Разок посидеть сложа руки, ожидая удовольствия и вкушая его, ощутить в полной мере то редкое состояние беспомощности, когда о тебе заботятся, ухаживают за тобой, то странное физическое чувство, какого она не испытывала уже годы, нет, десятки лет. Зажмурившись в тепловатом душистом тумане, Кристина вспоминает, когда это случилось с ней в последний раз: детство, она в постели, больна, несколько дней у нее был жар, но сейчас прошел, мать приносит ей белое сладкое миндальное молоко, возле кровати сидят отец и брат, все такие добрые, заботливые, ласковые. Канарейка у окна насвистывает какую-то озорную мелодию, в постели мягко, тепло, в школу ходить не надо, на одеяло ей положили игрушки, но играть лень: лучше блаженствовать, закрыв глаза, и ничего не делать, вволю наслаждаться бездельем и приятным сознанием, что за тобой ухаживают. Двадцать лет она не вспоминала об этом изумительном ощущении расслабленности, пережитом в детстве, и вот теперь вдруг снова его почувствовала — кожей, когда висков коснулось теплое, влажное дуновение. Время от времени шустрая мамзель задает вопросы вроде: «Желаете покороче?» А она отвечает лишь: «Как вам угодно» — и нарочно смотрит мимо поднесенного ей зеркала. Нет, только бы не нарушить это божественное состояние, когда ни за что не отвечаешь, когда тебе не надо совершать какие-то действия и что-то желать и за тебя действуют и желают другие, хотя было бы заманчиво хоть раз, впервые в жизни, кому-то приказать, что-то потребовать, распорядиться о том или ином.

Аромат из граненого флакона растекается по ее волосам, лезвие бритвы нежными прикосновениями чуть щекочет кожу, голове вдруг становится необычайно легко, а затылку как-то непривычно прохладно. Собственно, Кристине уже не терпится взглянуть в зеркало, однако она сдерживается — ведь с закрытыми глазами можно еще продлить этот упоительный полусон. Между тем к ней неслышно подсаживается этаким добрым гномом вторая мастерица и, пока первая колдует над прической, начинает делать маникюр. Кристина, уже почти не удивляясь, послушно поддается и этому и также не препятствует, когда после слов: «Vous êtes un peu pâle, mademoiselle»[1] старательная парикмахерша всевозможными помадами и карандашами подкрашивает ей губы, подрисовывает покруче брови и подрумянивает щеки. Все это она замечает, но в то же время не воспринимает, пребывая в расслабленной самоотрешенности и едва сознавая, происходит ли все это с нею самой или же с каким-то совсем другим, совершенно новым «я», происходит не наяву, а в сновидении,— она ощущает замешательство и легкий страх, что эти чары внезапно разрушатся.

Наконец появляется тетя.

— Отлично,— изрекает она со знанием дела.

[1] Вы немножко бледны, мадемуазель *(франц.)*.

По ее просьбе заворачивают несколько баночек, карандашей и флаконов, затем она предлагает племяннице немного прогуляться. Поднявшись, Кристина не отваживается взглянуть в зеркало, она ощущает лишь необычную легкость в затылке; и вот теперь, идя по улице и время от времени украдкой посматривая на свою гладкую юбку, на веселые пестрые гольфы, на блестящие элегантные ботинки, она чувствует, как увереннее становится ее походка. Нежно прижавшись к тете, она слушает ее пояснения и удивляется всему вокруг: поразителен ландшафт с яркой зеленью и панорамным строем горных вершин, гостиницы, эти твердыни роскоши, нагло вознесшиеся по склонам, и дорогие магазины с соблазнительными витринами — меха, драгоценности, часы, антиквариат,— все это странно и чужеродно рядом с царственным одиночеством гигантского ледника. Удивительны и лошади в красивой упряжи, собаки, люди, похожие своей яркой одеждой на альпийские цветы. Атмосфера солнечной беззаботности, мир без труда, без нужды, мир, о каком она и не подозревала. Тетя перечисляет ей названия вершин, отелей, фамилии именитых приезжих, встречающихся по пути; Кристина почтительно внимает, с благоговением взирает на них, и ее собственное присутствие здесь все больше кажется ей чудом. Она удивляется, что может гулять здесь, что это дозволено, и все больше сомневается: неужели это происходит наяву? Наконец тетя бросает взгляд на часы:

— Пора домой. Надо успеть переодеться. До ужина остался всего час. А единственное, что может рассердить Энтони,— это опоздание...

Когда Кристина, вернувшись в гостиницу, открыла дверь номера, то все здесь было уже окрашено мягкими предвечерними тонами, в рано наступивших сумерках предметы выглядели неопределенными и расплывчатыми. Лишь четкий прямоугольник неба за распахнутой балконной дверью еще хранил яркую, густую, ослепительную голубизну, а в помещении все цветные пятна стали блекнуть по краям и смешиваться с бархатистыми тенями. Кристина выходит на балкон, навстречу бескрайнему ландшафту, и завороженно следит за быстро меняющейся игрой красок. Первыми теряют свою сияющую белизну облака и постепенно начинают алеть все больше и больше, словно их, столь надменно безучастных, очень взволновал все ускоряющийся закат светила. Потом, внезапно, из горных круч поднимаются тени, которые днем поодиночке хоронились за деревьями; и вот сейчас они, будто осмелев, соединяются толпами, взмывают черной завесой из впадин ввысь, и в изумленную душу закрадывается тревога: не захлестнет ли эта мгла и сами вершины, опустошив и затмив весь гигантский кругозор,— легким морозцем уже потянуло из долин, и дуновение это усиливается. Но вдруг вершины озаряются каким-то новым светом, более холодным и блеклым, и глядь — в еще не померкшей лазури уже появилась луна. Круглым фонарем она повисла высоко над ложбиной между двумя самыми высокими горами, и все, что еще минуту назад было живописной картиной с ее многоцветьем, начинает превращаться в силуэтное изображение, в контуры черно-белого рисунка с крохотными, смутно мерцающими звездами.

В полном самозабвении Кристина не сводит завороженного взгляда с этой гигантской сцены, где беспрерывно сменяются декорации. Подобно тому как человек, чей слух привык лишь к нежным звукам скрипки и флейты, чувствует себя почти оглушенным, услышав впервые бурное тутти целого оркестра, так и ее чувства затрепетали при виде этого величественного красочного спектакля, неожиданно показанного природой. Вцепившись руками в перила, она смотрит и смотрит, не отрывая глаз. Никогда в жизни она не глядела так пристально на какой-нибудь пейзаж, никогда еще с такой полнотой не отдавалась созерцанию, не погружалась целиком в собственные переживания. Вся

ее жизненная сила словно сконцентрировалась как в фокусе в двух изумленных зрачках и устремилась, позабыв о себе и о времени, навстречу природе. Но, к счастью, в этом доме, где все предусмотрено, существует и страж времени, безжалостный гонг, который трижды в день напоминает постояльцам об их обязанности насладиться роскошью. При первом раскатистом ударе меди Кристина вздрагивает. Ведь тетя строго-настрого велела не опаздывать, скорей-скорей одеться к ужину!

Какое же из новых платьев надеть? Все они такие чудесные, лежат рядышком на кровати и чуть светятся, словно крылья стрекозы; очень соблазнительно блестит в тени темное, но Кристина решает, что скромнее будет — цвета слоновой кости. Она осторожно, с робостью берет его в руки и любуется. Не тяжелее носового платка или перчатки. Быстро стягивает с себя свитер, снимает грузные ботинки, толстые спортивные носки, долой все громоздкое, тяжеловесное, ей не терпится ощутить неизведанную легкость. Как все нежно, как мягко и невесомо. Одно лишь прикосновение к новому дорогому белью вызывает дивное ощущение. Пальцы ее дрожат, она поспешно снимает старое, грубое полотняное белье, и по коже ласковой теплой пеной струится новая мягкая ткань. Кристина невольно протягивает руку к выключателю, чтобы зажечь свет и оглядеть себя, но в последнее мгновение опускает ее: лучше продлить удовольствие еще минутой-другой ожидания. Кто знает, может быть, эта изумительно легкая ткань кажется нежной как пух только в темноте, а в ярком, резком освещении ее чары исчезнут? Так, теперь, после белья и чулок, платье. Бережно — ведь оно принадлежит тете — Кристина подставляет себя ниспадающей шелковой волне, прохладной, сверкающей, которая сама стекает по плечам, покорно облегая тело, это платье совершенно неощутимо, оно как ветер, как уста воздуха, нежно скользящие по коже. Но хватит медлить, терять время на предвкушение, быстрее одевайся и тогда уж полюбуешься собой! Теперь туфли; поправь, пройдись; слава богу, все! И наконец — даже сердце замерло — остается бросить первый взгляд в зеркало.

Рука поворачивает выключатель, и лампа вспыхивает. С этой вспышкой померкшая было комната опять расцвела, опять появились яркие обои, блестящая мебель и весь новый фешенебельный мир. Кристине и любопытно и боязно, она еще не решается встать перед зеркалом так вот сразу и лишь сбоку заглядывает в красноречивое стекло, в уголке которого отражается полоска пейзажа за балконом и кусочек комнаты. Для настоящей репетиции пока не хватает мужества. Не будет ли она выглядеть еще смешнее, чем в своем прежнем, тоже одолженном платье, не бросится ли в глаза и другим, и ей самой скрытый обман? Она медленно, бочком, бочком подступает к зеркалу, как будто скромностью можно перехитрить и одурачить неумолимого судью. Зеркало уже перед ней, но глаза ее по-прежнему опущены, она никак не отваживается на последний решительный взгляд. Тут снизу доносится второй удар гонга: медлить больше нельзя! Внезапно решившись, она делает глубокий вдох, как перед прыжком в воду, затем поднимает глаза. И, подняв, вздрагивает в испуге, она действительно так пугается неожиданного зрелища, что невольно отступает на шаг. Да кто же это? Кто эта стройная элегантная дама, которая, чуть изогнувшись назад, полуоткрыв рот и распахнув глаза, смотрит на нее с неподдельным изумлением? Неужели это она сама? Быть не может! Она не произносит этого вслух, но именно эти слова непроизвольно хотели слететь с ее губ. И удивительно: там, в зеркале, губы шевельнулись.

У Кристины дух захватило. Никогда еще, даже в мечтах, она не представляла себя такой прекрасной, такой юной, такой нарядной; ведь у нее теперь совсем другие губы — красные, четко очерченные, другие брови — тонкие, изогнутые, шея, которая вдруг открылась

свету под взметнувшейся золотой шапкой волос, и кожа в блестящем обрамлении платья совсем другая. Все ближе и ближе подступает Кристина, чтобы опознать себя в этой картинке, и хотя понимает, что в зеркале она, тем не менее не осмеливается признать это другое «я» настоящим и прочным, ее не оставляет страх, что стоит ей приблизиться еще на дюйм, сделать резкое движение, как блаженное видение растает. Нет, не может быть, думает она. Нельзя измениться до такой степени. Ведь если бы так было на самом деле, значит, тогда я... Она не решается мысленно договорить. Но тут изображение в зеркале начинает улыбаться, отгадывая это слово, чуть заметная вначале улыбка становится шире, шире. Вот уже из холодного стекла совершенно открыто и гордо смеются глаза, и мягкие красные губы, кажется, весело признаются: «Да, я красивая».

До чего же это увлекательно — вот так смотреть на себя, удивляться, что-то в себе открывать, любоваться собой, разглядывать с неведомым доныне чувством восхищения свое тело, впервые замечать, как вольно дышащая грудь упруго и красиво колышется под шелком, какие стройные и в то же время мягкие линии обретают формы в красках, как легко и свободно выступают обнаженные плечи в этом платье. Интересно, а как выглядит новое стройное тело в движении? Она медленно-медленно поворачивается боком, не спуская глаз с зеркала: и снова ее взгляд встречается с гордым, довольным взглядом отраженного двойника. Это придает ей смелости. *Теперь быстро три шага назад: что ж, в движении все тоже красиво.* Теперь можно отважиться и на пируэт; она кружится волчком, разлетаются короткие юбки, и зеркало снова улыбается: «Отлично! Какая ты стройная, ловкая!» Больше всего ей хочется сейчас танцевать, в каждом суставе звенит музыка. Поспешно отойдя в глубину комнаты, она шагает навстречу зеркалу, и оно улыбается, улыбается ее глазами; собственное отражение со всех сторон испытывает, искушает ее, льстит ей, и чувство восхищения собой никак не насытится этим новым обольстительным «я» в красивом одеянии, юным, преображенным, которое с неизменной улыбкой выходит ей навстречу из зеркальной глубины. Ей очень хочется обнять это существо, новую себя; Кристина прижимается лбом к стеклу, зрачки в зрачки — живые в отраженные, вот-вот горячие губы коснутся в поцелуе холодного стекла, и ее «сестра» расплывется в затуманившемся от дыхания зеркале. Продолжая чудесную игру в открытия, она делает новые движения, принимает новые позы, чтобы увидеть себя в новых преображениях. Тут снизу доносится третий удар гонга. Кристина вздрагивает: господи, ведь я заставляю тетю ждать, она уже наверняка сердится. Быстренько пальто — вечернее, легкое, пестрое, опушенное дорогим мехом. Затем, прежде чем выключить свет, жадный прощальный взгляд в щедрое зеркало — последний, самый последний. Снова сияют отраженные глаза, снова полно блаженства отраженное лицо! «Отлично, отлично»,— улыбается ей зеркало. Чуть ли не бегом она устремляется по коридору к номеру тети, шелковое платье приятно обвевает ее прохладой. Она летит, как на волне, словно подхваченная счастливым ветром; с детских лет она не ощущала себя такой легкой, такой окрыленной: хмель преображения начал действовать.

— Превосходно, сидит как влитое,— говорит тетя.— Да, что значит молодость, колдовства почти не требуется! Когда платье должно скрывать, вместо того чтобы показывать, только тогда портному приходится трудно. Нет, кроме шуток: сидит как влитое, тебя прямо не узнать, вот сейчас и видно, какая у тебя хорошая фигура. Только постарайся держать голову выше, легче, а то ты всегда — уж не обижайся на меня — ходишь как-то неуверенно, согнувшись, жмешься, словно кошка под дождем. Тебе надо учиться ходить по-амери-

кански: легко, свободно, лбом вперед, как корабль против ветра. Господи, мне бы твои годы!

Кристина покраснела. Значит, она в самом деле не выглядит смешно, не похожа на деревенщину.

Тетя продолжает осмотр, ее придирчивый взгляд одобрительно скользит по всей фигуре:

— Замечательно! Только вот сюда, на шею, надо какое-нибудь украшение.— Она порылась в шкатулке.— На, надень этот жемчуг! Да не бойся, глупышка, он не настоящий. Настоящий остался там, в сейфе... зачем брать его в Европу для ваших карманников.

Знобко и чуждо жемчужины скользнули по обнаженной шее. Тетя отступает на шаг и, окинув взглядом «модель», заключает:

— Великолепно. Тебе идет все. Наряжать тебя должно быть для мужчины сплошным удовольствием. Ладно, пошли! Заставлять Энтони ждать больше нельзя. Ну и разинет он рот!

Они вместе спускаются по лестнице. У Кристины странное ощущение: ей кажется, что в новом платье она выглядит обнаженной, и что она не идет, а парит — так ей легко, и что ступеньки будто сами, одна за другой, быстро всплывают ей навстречу. На второй лестничной площадке они сталкиваются с пожилым господином в смокинге, его гладкие седые волосы разделены кинжальным пробором. Почтительно поздоровавшись, он останавливается, чтобы пропустить дам, и во время этой мимолетной встречи Кристина чувствует на себе какой-то необычный взгляд, в котором и мужское восхищение, и чуть ли не благоговение. Ее щеки запылали; впервые в жизни с ней здоровается знатный человек, да еще с таким уважением и признанием ее достоинства.

— Генерал Элкинс, ты, наверное, слышала это имя в войну, председатель Географического общества в Лондоне,— поясняет тетя.— Знаменитый человек, в мирное время путешествовал по Тибету, сделал там большие открытия, я познакомлю тебя с ним, это высший класс, принят при дворе.

Кристина радостно вспыхивает. Такой благородный человек, объездивший полмира, и сразу увидел в ней не безбилетную зрительницу, переодевшуюся знатной дамой и достойную презрения, нет, он поклонился ей как аристократке, как женщине своего круга. Только теперь она почувствовала себя равноправной.

И тут же новое подтверждение. Не успевают они подойти к столу, как дядя с изумлением восклицает:

— О, вот это сюрприз. Нет, это же надо, как ты принарядилась! Чертовски здорово, о, пардон, я хотел сказать: ты замечательно выглядишь.

Снова Кристину пронизывает теплая дрожь, и она, покраснев от удовольствия, пробует отшутиться:

— Дядя, ты, я вижу, собираешься одарить меня и комплиментами?

— Еще как!— смеется тот и неожиданно для самого себя приосанивается. Сморщенная на груди рубашка расправляется, дядюшкиной флегматичности как не бывало, его глазки с красноватыми веками, утонувшие в жирных щеках, загораются любопытством, в них даже чуть ли не мелькают искорки желания. Он испытывает явное удовольствие при виде внезапно похорошевшей девушки и становится необычно оживленным и разговорчивым; рассыпаясь в восторженных комплиментах ее внешности и показывая себя знатоком предмета, он проявляет несколько повышенный интерес к деталям, так что тетя вынуждена прервать его.

— Не кружи девчонке голову,— смеется она,— молодые сделают это лучше тебя и тактичнее.

Тем временем приблизились официанты; словно причетники у алтаря, они почтительно стоят возле стола в ожидании знака. Стран-

но, почему я их так боялась днем, думает Кристина, это же скромные, вежливые и удивительно тихие люди, которым, кажется, только и надо, чтобы их совсем не замечали. Теперь она ест не стесняясь, робость пропала, после долгой дороги голод дает о себе знать. Немыслимо вкусны маленькие пирожки с трюфелями, и жаркое, окруженное грядками овощей, и пенистый мусс, и нежное желе, которые всякий раз заботливо подают ей на тарелку серебряной лопаточкой; ей не надо ни о чем беспокоиться, ни о чем думать, и, собственно, она уже ничему не удивляется. Здесь вообще все удивительно, и самое удивительное, что она вправе здесь находиться, здесь, в этом сверкающем зале, где полно народу и все же нет шума, где такие нарядные и, наверное, очень знатные люди, она, которая... нет, нет, не думать об этом, не думать, забыть, пока она здесь... Но больше всего ей по вкусу вино. Должно быть, его делают из золотистых, благословенных южным солнцем ягод в дальних, счастливых и добрых странах; янтарем светится оно в тонком хрустальном бокале и каким нежным прохладно-скользящим шариком должно перекатываться во рту? В раздумье Кристина сначала отваживается на робкий глоток, но дядя, воодушевленный радостным видом племянницы, провозглашает новые и новые приветственные тосты, и она, поддавшись соблазну, осушает бокал за бокалом.

И независимо от ее воли и сознания язычок ее начал болтать. Тут же, словно пенистая струя шампанского из откупоренной бутылки, брызнул легкий, игривый смех; она сама поражена, как беззаботно и весело то заливается смехом, то болтает, в ней будто разжались тиски страха, сжимавшие сердце. Да и к чему здесь страх? Ведь они такие добрые, тетя с дядей, и эти нарядные, элегантные люди вокруг *все такие учтивые, хорошие, какой чудесный мир, как прекрасна* жизнь.

Дядя с бодрым видом привольно восседает напротив; развеселившаяся племянница чертовски забавляет его... Эх, вернуть бы молодые годы, мечтает он, и обнять такую вот задорную бесовку, да покрепче. Он чувствует себя в приподнятом настроении, освеженным, воодушевленным, чуть ли не удалым молодцом; обыкновенно флегматичный и ворчливый, он, тряхнув стариной, вспоминает всевозможные шутки и смешные истории, порой даже пикантные; ему инстинктивно хочется разжечь огонь, возле которого так приятно погреть старые кости. Он, как кот, урчит от удовольствия, в пиджаке жарко, лицо подозрительно раскраснелось, он вдруг сделался *похожим на Бобового короля на картине Йорданса, с пунцовыми от* наслаждения и вина щеками. Снова и снова он пьет за племянницу и уже собирается заказать шампанское, но тут смеющийся страж, тетя, останавливает его руку и напоминает о предписании врача.

Тем временем в соседнем зале поднялся ритмичный шум: зазвенела, загудела, забарабанила и заквакала, словно взбесившиеся органные мехи, танцевальная музыка. Мистер Энтони, положив свой бразильский «початок» в пепельницу, подмигивает:

— Ну? По глазам вижу — плясать хочется.

— Только с тобой, дядя! — задорно отвечает плутовка (господи, уж не захмелела ли я?). И опять хохочет; в горле у нее застряла какая-то смешинка, которая при каждом слове побуждает заливаться веселой звонкой трелью.

— Не зарекайся! — ворчит дядя.— Здесь есть чертовски крепкие ребята, такие, что трое, вместе взятые, моложе меня и танцуют в семь раз лучше, чем я, старая перечница. Ну ладно, на твою ответственность: если не робеешь, давай пошли.

Со старомодной галантностью он предлагает ей руку, Кристина берет кавалера под локоть и, хохоча, болтая, изгибаясь от смеха, шествует рядом; за ними, подтрунивая, следует тетя, музыка гремит, зал *полон света и красок, люди вокруг смотрят приветливо, с любопыт-*

ством, официанты спешно отодвигают какой-то столик, все здесь мило, весело, радушно, и не надо особой смелости, чтобы кинуться в пестрый водоворот. Дядя Энтони в самом деле не мастер танцевать, под жилетом при каждом шаге колышется солидное брюшко, и ведет партнершу седовласый дородный господин нерешительно и неуклюже. Вместо него зато ведет музыка — дробная, с резкими синкопами, зажигательная, вихревая, сатанинская музыка. Каждый удар тарелок пробирает до костей, но зато как чудесно размягчают суставы тут же вступающие скрипки; у четко отбиваемого ритма мертвая хватка, он встряхивает, разминает, топчет и порабощает. Чертовски хорошо играют они, да и сами напоминают бесов, эти смуглые аргентинцы в коричневых с золотыми пуговицами курточках — ливрейные бесы, посаженные на цепь, и все вместе, и каждый: вон тот, худой, сверкающий очками, так усердно клохчет, икает и булькает на своем саксофоне, будто хочет насосаться из него допьяна, а курчавый толстяк левее, пожалуй, еще фанатичнее рубит, словно наобум, по клавишам с хорошо отрепетированным восторгом, в то время как его сосед, оскалив рот до ушей, с непостижимой свирепостью избивает литавру, тарелки и что-то еще. Они как ужаленные беспрестанно ерзают и дергаются на табуретках, будто их трясет электрическим током, с обезьяньими ужимками и нарочитой яростью они истязают свои инструменты. Однако адская громыхальня работает, как точнейшая машина; это утрированное подражание неграм, жесты, ухмылки, визги, ухватки, хлесткие выкрики и шутки,— все до мельчайших деталей разучено по нотам и отрепетировано перед зеркалом, наигранная ярость исполнена безупречно. Кажется, длинноногие, узкобедрые, бледно-напудренные женщины тоже понимают это, так как их явно не возбуждает и не захватывает эта притворная пылкость, повторяющаяся ежевечерне. С накрепко приклеенной улыбкой и беспокойными красными коготками, они непринужденно чувствуют себя в руках партнеров; равнодушно глядя прямо перед собой, они, кажется, думают о чем-то ином, а возможно, и ни о чем. И лишь она одна, посторонняя, новенькая, изумленная, вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать своего возбуждения, гасить свой взгляд, ибо кровь все больше и больше волнуется от коварно щекочущей, дерзко захватывающей, цинично страстной музыки. И когда взвинченный ритм резко обрывается, сменившись оглушительной тишиной, Кристина облегченно вздыхает, словно избежала опасности.

Дядя тяжело отдувается, наконец-то можно вытереть пот со лба и отдышаться. Гордый собой, он торжественно ведет Кристину обратно к столику, где их ждет сюрприз: тетя заказала для обоих охлажденный на льду шербет. Еще минуту назад у Кристины мелькнула мысль — не желание, а только мысль: хорошо бы сейчас глотнуть чего-нибудь холодного, смочить горло и остудить кровь, и вот, она не успела даже попросить об этом, как им уже подали запотевшие серебряные чашки; сказочный мир, где любое желание исполняется прежде, чем его выскажешь; ну как тут не быть счастливой!

Она с наслаждением всасывает жгуче-холодный, нежно-пряный шербет, словно впитывает в себя через тонкую соломинку все соки и всю сладость жизни. Сердце ее бьется радостными толчками, руки жаждут кого-нибудь приласкать, глаза невольно блуждают вокруг, стремясь поделиться хоть частичкой горячей благодарности, переполняющей душу. Тут ее взгляд падает на дядю; добрый старик сидит откинувшись на мягком стуле, он все еще не пришел в себя, никак не отдышится, то и дело вытирает платком бисеринки пота. Он так отчаянно старался доставить ей радость, старался, пожалуй, свыше своих сил; Кристина признательно и ласково — она просто не может иначе — поглаживает его тяжелую, твердую, морщинистую руку, лежащую на спинке стула. Дядя сразу же улыбается и опять принимает бодрый вид. Ему понятно, что́ означает этот порывистый жест

молодого, робкого, только начавшего пробуждаться существа; с отеческим добродушием он испытывает удовольствие, видя ее благодарный взгляд. Но все-таки несправедливо не поблагодарить также тетю, а не его одного, ведь именно тете, ее ласковому покровительству Кристина обязана всем: и тем, что она здесь, и шикарными нарядами, и блаженным чувством уверенности в этой роскошной дурманящей среде. И Кристина, взяв за руки обоих, сияющими глазами смотрит в сверкающий зал, как ребенок у рождественской елки.

Но вот снова звучит музыка, теперь она глуше, нежнее, мягче, словно тянется шлейф из черного блестящего шелка — танго. Дядя делает беспомощное лицо, он вынужден извиниться, но его шестидесятисемилетние ноги не выдержат этого извивающегося танца.

— Ну что вы, дядя, мне в тысячу раз приятнее посидеть с вами,— говорит она совершенно искренне, продолжая ласково держать руки обоих.

Ей так хорошо в этом тесном кругу родных сердец, под защитой которых она чувствует себя в полной безопасности. Но тут она замечает, что, затенив стол, ей кто-то кланяется: высокий, широкоплечий блондин, гладко выбритое загорелое мужественное лицо над белоснежной кольчугой смокинга. Щелкнув на прусский манер каблуками, он учтиво обращается на чистейшем северогерманском к тете за позволением.

— Охотно разрешаю,— улыбается тетя, гордая столь быстрым успехом своей протеже.

Смутившись, Кристина с легкой дрожью в коленях поднимается. То, что из множества красивых нарядных женщин этот элегантный незнакомец выбрал ее, застало ее врасплох, словно внезапный удар молоточка по сердцу. Она глубоко вздыхает и кладет дрожащую руку на плечо знатного господина. С первого же шага она чувствует, как легко и вместе с тем властно ведет ее этот безупречный партнер. Надо лишь податливо уступать едва ощутимому нажиму, и ее тело гибко вторит его движениям, надо лишь послушно отдаваться знойному, манящему ритму, и нога сама, словно по волшебству, делает правильный шаг. Так она никогда не танцевала, и ей самой удивительно, как это у нее легко получается. Будто ее тело вдруг сделалось каким-то другим под этим другим платьем, будто она научилась этим льнущим движениям в каком-то забытом сне,— с такой совершенной легкостью подчиняется она чужой воле. Упоительная уверенность внезапно овладевает ею; голова запрокинута, словно опирается на невидимую воздушную подушку, глаза полузакрыты, груди нежно колышутся под шелком; полностью отрешенная, не принадлежащая более самой себе, Кристина с изумлением чувствует, будто у нее появились крылья и она порхает по залу. Время от времени, когда она, отвлекшись от этого ощущения невесомости и как бы вынырнув из подхватившей ее волны, поднимает взгляд к близкому чужому лицу, ей кажется, что в его суровых зрачках мелькает довольная одобрительная улыбка, и тогда ее пальцы еще доверчивее пожимают чужую руку. Где-то в глубине ее существа зашевелилась смутная, почти сладострастная тревога: что, если этот незнакомец с высокомерным, жестким лицом внезапно рванет ее к себе и заключит в объятия, будет ли она в силах оказать сопротивление? А может, уступит и прильнет покорно, как вот сейчас — в танце? И независимо от ее воли это полусознательное сладостное ощущение расслабляюще растекается по рукам и ногам. Кое-кто из сидящих вокруг уже обращает внимание на эту идеальную пару, и Кристину снова охватывает восторженное чувство — ведь на нее устремлены восхищенные взгляды. Все увереннее и гибче танцует она, чутко внимая воле партнера. Их дыхание и движения сливаются воедино, она впервые испытывает чисто физическое удовольствие оттого, что так ловко владеет своим телом.

После танца партнер — он представился инженером из Гладба-

ха — учтиво провожает ее к столику. Едва он отпускает ее руку, тепло недолгого прикосновения улетучивается, и Кристина почему-то сразу чувствует себя слабее и неувереннее, словно разомкнувшийся контакт отключил приток новой силы, наполнявшей ее до этого. Так и не разобравшись в своих ощущениях, она садится и смотрит на радостного дядю с чуть усталой, но счастливой улыбкой; в первые мгновения она даже не замечает, что за столиком появился третий человек: генерал Элкинс. Вот он встает и почтительно кланяется ей. Он, собственно, пришел, чтобы просить тетю представить его этой charming girl [1]. Генерал стоит перед ней подтянутый, серьезный, склонив голову, словно перед знатной дамой,— Кристина, оробев, пытается овладеть собой. Господи, ну о чем говорить с таким жутко важным и знаменитым человеком, чье фото, как рассказывала тетя, было во всех газетах и которого даже показывали в кино? Однако генерал Элкинс сам выручает ее, извиняясь за свое слабое знание немецкого языка. Правда, он учился в Гейдельберге, но, как ему ни грустно признаться в подобных цифрах, это было более сорока лет назад, и пусть уж такая замечательная танцорка проявит к нему снисхождение, если он позволит себе пригласить ее на следующий танец — в бедре у него торчит осколок снаряда, еще с Ипра,— но, в конце концов, в этом мире можно ладить, только будучи снисходительным.

От смущения Кристина утратила дар речи, лишь через некоторое время, когда начала медленно и осторожно танцевать, она сама удивилась тому, как непринужденно вдруг завязала разговор. Что это со мной, взволнованно думает она, я это или не я? Почему вдруг все получается так легко, свободно, а раньше — еще учитель танцев говорил — была неуклюжая, точно деревянная, но теперь же скорее я его веду, чем он меня. Да и разговор идет сам собой, может, я не такая уж дура, ведь как любезно он меня слушает, а человек-то знаменитый. Неужели я так переменилась оттого, что на мне другое платье, что здесь другая обстановка, или все это уже во мне сидело, только я вела себя чересчур боязливо, робко? Мать всегда мне об этом говорила. А может, ничуть и не трудно быть такой, может, и жизнь гораздо легче, чем я думала, надо лишь набраться смелости, ощущать только себя, и ничего другого, тогда и силы придут, словно с неба.

После танца генерал Элкинс степенным шагом прохаживается с ней по залу. Кристина гордо шествует, опираясь на его руку, уверенно глядя перед собой и ощущая, что и осанка у нее становится величественной, и сама она делается моложе и красивее. Кристина откровенно признается генералу, что она здесь впервые и совсем еще не видела Энгадина, Малои, Зильс-Марии; кажется, это признание не разочаровывает генерала, а скорее радует: не согласится ли она в таком случае поехать с ним завтра утром в Малою — на его автомобиле.

— О, с удовольствием! — выдыхает она, оробев от неожиданного счастья и внимания, и благодарно, чуть ли не по-приятельски — откуда вдруг взялась смелость? — пожимает знатному господину руку. Кристина чувствует, что больше и больше осваивается в этом зале, который еще утром казался ей таким враждебным, все просто наперебой стараются доставить ей радость; она также замечает, что временно собравшиеся здесь люди ведут себя как на дружеской встрече, полной взаимного доверия, чего она не видела там, в своем узком мирке, где каждый завидует маслу на чужом куске хлеба или кольцу на руке. С восторгом она сообщает дяде и тете о любезном приглашении генерала, однако на разговоры ей времени не дают. Через весь зал к ней спешит тот инженер-немец и снова зовет танцевать; он знакомит ее затем с каким-то врачом-французом, дядя — со своим приятелем-американцем, ей представляют еще несколько

[1] Очаровательной девушке *(англ.)*.

лиц, фамилий которых она от волнения не разобрала: за десять лет она не видела вокруг себя столько элегантных, вежливых, доброжелательных людей, сколько за эти два часа. Ее зовут танцевать, предлагают сигареты и ликер, приглашают на вылазки в горы и поездки по окрестностям, каждому, видимо, не терпится познакомиться с ней, и каждый очаровывает ее своей любезностью, которая здесь, судя по всему, сама собой разумеется.

— Ты произвела фурор, детка,— шепчет ей тетя, гордясь сумятохой, которую вызвала ее протеже, и лишь с трудом подавленный зевок дяди напоминает обеим, что пожилой человек уже утомился. Он, правда, бодрится, отрицая явные признаки усталости, но в конце концов уступает:

— Да, нам лучше, пожалуй, как следует отдохнуть. Не все сразу, понемножку. Завтра тоже будет день, и we will make a good job of it [1].

Кристина оглядывает напоследок волшебный зал, освещенный канделябрами со свечеобразными лампами, дрожащий от музыки и движений; она чувствует себя обновленной и освеженной, как после купания, и каждая жилка в ней радостно пульсирует. Она берет усталого дядю под локоть и вдруг, повинуясь неожиданному порыву, наклоняется и целует морщинистую руку.

И вот она у себя в комнате, одна, взбудораженная, смущенная и сбитая с толку внезапно обступившей ее тишиной: сейчас только она ощутила, как горит кожа под платьем. Закрытое помещение слишком тесно для нее, разгоряченной и возбужденной. Толчок, дверь на балкон распахивается, и хлынувшая волна снежной прохлады остужает обнаженные плечи. Дыхание успокаивается, становится ровным. Кристина выходит на балкон и блаженно замирает, теплый живой комочек перед неимоверной пустотой простора, бренное сердце маленькое, затерянное, бьется под гигантским ночным небосводом. Здесь тоже тишина, но неизмеримо более могучая, первозданная, нежели та, что в рукотворных четырех стенах, она не подавляет, а несет покой и умиротворение. Еще недавно алевшие горы безмолвно скрываются в собственной тени, будто притаившиеся огромные черные кошки с фосфоресцирующими снежными глазами, и совершенно недвижим воздух в опаловом свете почти полной луны. Смятой желтой жемчужиной плывет она среди алмазной россыпи звезд, в ее бледном холодном свете лишь смутно проступают под вуалью облаков очертания долины. Никогда еще Кристина не видела ничего столь могущественного, исподволь захватывающего до глубины души, как этот замерший в безмолвии пейзаж; все ее возбуждение незаметно уходит в эту бездонную тишину, и Кристина страстно вслушивается, вслушивается и вслушивается в нее, чтобы полностью в ней раствориться. Как вдруг, словно откуда-то из вселенной, в застывший воздух влетает бронзовый метеор — внизу в долине раздается гулкий удар церковных часов, а скалистые кручи слева и справа, очнувшись, бросают звенящий мяч обратно. Кристина испуганно вздрагивает. Еще раз по туманному морю прокатывается бронзовый звон, еще и еще. Затаив дыхание, она считает удары: девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Полночь! Неужели? Только полночь? Стало быть, всего двенадцать часов, как она сюда приехала, робкая, смущенная, растерянная, жалкое и убогое существо, неужели только один день, да нет — полдня? И вот сейчас, после всего, что ее изумило и потрясло, она впервые задумывается о том, из какой же непостижимо тонкой и гибкой материи соткана наша душа, если уже одно-единственное переживание может расширить ее до бесконечности и она способна объять в своем крохотном пространстве целое мироздание.

(Продолжение следует)

[1] Мы придумаем что-нибудь занятное *(англ.)*.

Заметки писателя

САВВА ДАНГУЛОВ

В ДОМЕ НА ПЯТНИЦКОЙ

Пятницкая, 41 — редакционный дом «Иностранной литературы». Июль 1985 года — дата тридцатилетия журнала. Все эти годы двери редакционного дома, как и сам журнал, были открыты писателям земного шара — хотим думать, многим писателям, определившим литературный атлас планеты.

Об этих встречах наш рассказ. Автор — один из тех, кто начинал журнал. В публикуемых этюдах использованы записи, сбереженные тетрадями прошлых лет. Как увидит читатель, есть своя закономерность в том, что память автора обращена к писательским именам, которые имела возможность представить «Иностранная литература».

Пристли

Они отпустили машину, как только та въехала в пределы живописной Пятницкой, и пошли в редакцию пешком. Прохожие, идущие им навстречу, невольно останавливались и провожали их взглядом, в котором была пристальность. Действительно, в облике англичан было нечто такое, что могло обратить внимание. Такое впечатление, что наши гости явились из того века. Ноябрь в Москве был теплым, и Пристли мог снять демисезонное пальто, предусмотрительно подбитое подстежкой, и остаться в твидовом костюме, по всему дорожном, не очень мнущемся, с сорочкой, грубо разлинованной синей полосой и украшенной под подбородком темно-бордовой бабочкой, крупной, какие носят разве только в театре. Миссис Джакетта Пристли была в костюме строгого покроя, из-под которого выглядывала ярко-белая блуза, чей распушенный воротник охватывал шею на манер жабо. Нельзя сказать, что на старомодной Пятницкой чета Пристли выглядела необычно, но она заметно обращала внимание — в их костюмах была броскость, как могло показаться,— дань многолетним связям четы с миром театра.

Впрочем, тут необходима существенная оговорка: с театром был связан Джон Бойнтон Пристли, связан прочно. Наш зритель помнит его остросюжетную пьесу «Опасный поворот», державшуюся на московской сцене много лет. Известны были и другие его пьесы: «Время и семья Конвей», «Визит инспектора»... Написанные по классическим законам жанра, они были хороши искусно разработанной интригой и смотрелись с интересом. У нас известны романы Пристли, такие как «Дневной свет в субботу», «Трое в новых костюмах» и «Затемнение в Гретли», в которых была сделана попытка показать Великобританию в годы второй мировой войны, но романистика Пристли заметно уступала его драматургии. Впрочем, это признавал и сам Пристли — он полагал себя прежде всего драматургом. Но рядом с ним была миссис Пристли — его друг и супруга, человек, работающий в иной, чем Пристли, сфере и, как могло показаться, по-своему обогащающий писателя. Миссис Джакетта Пристли — человек немалого литературного таланта, она — археолог, автор книг, в которых первоприрода земли соотнеслась с первосутью вселенной, в частности, солнцем — впрочем, мы еще будем иметь возможность вернуться к своеобразному творчеству миссис Пристли и во время беседы,

ДАНГУЛОВ САВВА АРТЕМЬЕВИЧ (род в 1912 г.)

Советский прозаик, драматург, публицист. Автор романов «Дипломаты» (1966), «Кузнецкий мост» (кн. 1—3, 1971—1979), «Заутреня в Рапалло» (1980), «Государева почта» (1983), повести в рассказах «Тропа» (1960), книг повестей и рассказов «Учитель словесности» (1974), «Новый посол» (1985), книги поисков «Пятнадцать дорог на Эгль» (1975), пьес «Признание» (1970), «Неподсудный Горчаков» (1973), книги литературных портретов «Художники» (1981).

которая нас ожидала на Пятницкой, и позже, в гостях у семьи Пристли, в их доме у площади Пикадилли в Лондоне. Итак, чета Пристли прошла добрую половину Пятницкой и остановилась у скромной вывески «Иностранной литературы».

На встрече с Пристли был представлен мир литераторов, посвятивших себя английской словесности. По всему, интересы английских гостей обнимали немалый круг проблем английского искусства — очевидно, некоторых из этих проблем призвана была коснуться предстоящая беседа. Как мы могли заметить, спасительный компромисс не в правилах Пристли, наоборот, острая постановка вопроса в натуре нашего гостя. Поэтому можно было ожидать, что разговор о современном английском искусстве обретет отнюдь не миролюбивые тона. Речь зашла о нашумевших в свое время в Англии «сердитых» молодых прозаиках, и Пристли не утаил иронии

— Нет слов, все они хорошо начали! — воскликнул Пристли.— Но потом достоинства их вещей... улетучились! Да, представьте, взяли и улетучились! Это произошло столь внезапно, что потребовалось время, чтобы разобраться: что же случилось? Не без труда я установил, что авторы эти все отрицают, ни во что не верят, а когда нет веры, нет подлинного гнева. Иначе говоря, произведение построено только на отрицании. Ну, разумеется, это противно здравому смыслу, и признать это успехом писателя, даже потенциально способного нельзя...

Образовавшаяся пауза была заполнена мгновенно. Вопрос: мнение Пристли о современной английской поэзии — разумеется, интерес к поэзии обнаружил поэт-переводчик.

— Я читаю мало стихов,— признался гость.— Элиот — единственный, кого я помню. Но что можно сказать о человеке, который бросил родную страну и поселился в другой, однако вознамерившись остаться поэтом? Я человек справедливый и готов признать: элиотова поэма «Бесплодная земля» захватила умы и пользовалась успехом Вместе с тем у меня тут свой взгляд, который могут разделить не все. Убежден, что человек должен жить на земле, которая его породила, тогда его силы обнаружатся в полной мере. Если же он переселился в другую страну, отдал себя иному гражданству и пошел так далеко, что, как это было с Элиотом, принял даже иную веру, он не убережет данных, которыми одарил его бог. Во всяком случае, он перестает быть выразителем духа нации, которая вызвала его к жизни. На новой земле он не сможет возразить, когда надо возразить. Он обречен хвалить все, что его окружает, а это, согласитесь, худо.

Только сейчас я приметил, как Пристли скосил глаза на жену. Он точно обратился за участием, возможно даже за советом. Он будто хотел спросить: «А ты как думаешь?» И не просто хотел спросить, но и склонял к совету: «Мне все-таки кажется, что можно было ответить и так, а по тебе это не слишком ли непримиримо?»

— Элиот не один! Я знаю поэта, у которого такая же судьба! Став американским гражданином, он поставил себя в положение, которое его обязывает к восхвалению Америки. Да, у него, как я понимаю, нет иного выхода! Скажи он обратное, он рискует услышать: зачем ты сюда приехал?

— Что можно сказать о сфере, которая ближе вам, чем поэзия,— мы имеем в виду драматургию?

И вновь Пристли обратил взгляд на жену — по тому, как она замкнулась в своем молчании, опустив глаза, можно было подумать, что ее взгляд на Элиота мог быть и другим.

— Итак, современная английская драматургия? — повторяет Пристли вопрос.—Бытует мнение: работая сегодня, художник должен сказать все, что может сказать сегодня,— завтра к нему придет и новая тема, и новый материал... Иначе говоря, сев за письменный стол сегодня, ты должен так выложиться, будто бы завтрашнего дня и не будет... Есть такое мнение, но я-то, откровенно говоря, склонен принять другую точку зрения. Мне кажется, художник должен постоянно думать о дне завтрашнем. К сожалению, мой взгляд разделяют не все. Вот, например, Шейла Делани, написавшая хорошую пьесу «Вкус меда». В этой пьесе она выложила все, что было у нее за душой: и проблема отношений белых и черных, и нерешенные вопросы быта, и, конечно, любовь, и многое другое. Иначе говоря, она сказала все, что сказал незадолго до нее Теннесси Уильямс, тоже выложившись так, что осталось выскрести донышко И вот два драматурга, пьесы которых приняты публикой, в сущности сделали достоянием публики все, что накопили в жизни. Надо писать вторую пьесу, а писать не о чем!.. Я — старый драматург, и я сразу узрел их просчеты. К тому же недостаток содержания повлек другие недостатки — гамма красок этих авторов не богата, их драматургический инструмент однообразен...

Он взглянул на жену и нахмурился. Да не корила ли она его за слишком строгое отношение к Делани и Уильямсу? Впрочем, он засек это ее настроение вовремя — это было видно из следующей его фразы.

— С успехом у нас идут пьесы Уэскера! — едва ли не воскликнул наш гость.— Он написал порядочно и все его пьесы подолгу не сходят со сцены. Его последняя пьеса «Жареный картофель ко всем блюдам» просто хороша...— Он взглянул на жену едва ли не укоризненно.— Согласись, единственно, что можно ему поставить в упрек, это то, что он не совсем удачно выбрал тему... Пьеса о летчиках, его ли это стихия?

Миссис Пристли улыбнулась, как можно было приметить — снисходительно, и точно рукой сняла все сомнения мужа — казалось, он ждал только нового вопроса, чтобы критический пафос в его речи возобладал вновь. И этот вопрос не заставил себя ждать.

— Если мы заговорили о драматургии, может быть, в самый раз перебросить мост к театру?

— Хочу сразу сказать: у меня вызывает немалую тревогу положение в нашем театре! — произнес Пристли, и первая фраза словно задала тон всей реплике.— Особен-

но меня беспокоит то, что происходит с молодыми актерами. Только подумайте: после дебюта они превращаются в «звезд» и останавливаются в своем развитии!.. Это противно самой сути хорошего актера. Естествен вопрос: как возникает актер, как складывается его школа? Актер, если даже он подает надежды, должен пройти серьезную студийную подготовку, не думать о славе и успехе, упорно работать, имея единственную задачу — развитие таланта. Иначе говоря, у актера должны быть прочные основы, достаточно прочные, чтобы держать его работу на театре, требующую и ума, и таланта, и опыта, и мастерства, и, конечно, великой работоспособности. А у нас? Если актер в современной пьесе пользуется успехом и становится «звездой», остальное для него не обязательно. Актеру некогда думать о том, чтобы стать хорошим актером: у него кроме театра есть еще радио и телевидение, у него — кино и концерты... Ничто человеческое актеру, естественно, не чуждо, он соблазняется славой и деньгами, он убеждает себя и других, что достиг того предела, когда актеры уже не учатся... Надо обладать немалым характером, чтобы взглянуть на положение дел трезво...

Он посмотрел на жену и, кажется, впервые увидел в ее глазах нечто похожее на одобрение — по всему, его взгляд на английский театр не отличался от того, что думала об этом театре она.

— В Великобритании любят театр — это находит свое выражение в создании новых театров, которые подпирает талантливая молодость.— Он умолк, задумавшись — Это внушает надежду, а надежда — это всегда хорошо.

Встреча шла к концу, и я спросил наших гостей, знакомы ли они с антологией советского рассказа, которую подготовил и издал у них Чарльз Сноу?

Пристли оживился — видно, его отношение к антологии было добрым.

— Как же — читал! Много хороших рассказов. Но у меня есть одно возражение — выскажу его в надежде, что вы не обидетесь... Вот смысл того, что я хотел сказать: как мне кажется, у авторов рассказов злободневность подчас вытесняет общечеловеческую тему... Это, на мой взгляд, может нанести ущерб восприятию книги зарубежным читателем. Впрочем, это мое мнение, и с ним не все из вас, наверное, согласятся. Вижу опасность, которая угрожает литературе: двигаясь к эре господства техники, литература может отдать себя ее власти, а это значит, что материальная культура возьмет в плен духовную,— на мой взгляд, это не принесет пользы литературе... А как думаете вы?

Мы простились, не предполагая, что встреча эта будет иметь своеобразное продолжение, а продолжение было необходимо — последняя реплика Пристли казалась интересной, хотя, быть может, и требовала возражения.

И вот начало лондонского лета, нежаркого, богатого дождями, которые, впрочем, как это бывает здесь в это время года, скоротечны. Зелень лондонских парков кажется густой и влажной, темной от обилия влаги.

Едва ли не на второй день пребывания в английской столице звоню Пристли.

— Ну как же, наша русская поездка жива в памяти,— произносит миссис Пристли и передает трубку мужу.

— Да что там говорить?— замечает он.— Приезжайте к ленчу, хотя бы завтра, часам к одиннадцати... Наш дом очень приметен: писательская хоромина близ Пикадилли!.. Он один такой, этот дом ...Да, Элбани-хаус, Элбани-хаус... Пристанище Байрона и Диккенса?.. Да, так говорят...

И вот массив трехэтажного особняка через дорогу от большого книжного магазина, где я был накануне, действительно в двух шагах от площади Пикадилли.

Окна выходят во двор, затененный зеленью, но в квартире светло. Хозяина вызвали к телефону. Пока он ведет сложные переговоры, как мне кажется, с кем-то из своих издателей, миссис Пристли старается занять гостя. Решаюсь спросить хозяйку дома о ее книгах — этот вопрос припас еще на Пятницкой. На столе возникает стопа книг

— Наверное, первопричиной всех этих работ является моя археология,— говорит миссис Пристли.— Однако, отталкиваясь от археологии, я хотела обратиться к обобщениям, которые бы затрагивали такие сферы человеческих знаний, как история, философия, физика, естественные науки, физиология, наконец. Быть может, их существо точнее всего отразили названия: «Земля», «Земля и солнце», «Земля и человек».

Как можно подумать, книги миссис Пристли интересны читателю самим спектром наук, которые они затрагивают. Такое впечатление, что автор заново пересмотрел представления о системе, в центре которой не Солнце, а Земля, при этом небесные тела прикреплены именно к Земле и вокруг нее вращаются.

Хозяин закончил переговоры и присоединяется к нам. Кажется, он спрашивает: «А на чем мы остановились там, на Пятницкой? Не об антологии ли советского рассказа, которую выпустил Сноу, шла речь? Так я все-таки придерживаюсь мнения: если сосредоточить слишком большое внимание на теме сегодняшнего дня, пострадает общечеловеческая тема... Вы не согласны?»

Ну вот, спор, который не состоялся на Пятницкой, очевидно, должен произойти в Элбани-хаус.

— А разве тема, которую вы зовете темой сегодняшнего дня, противостоит общечеловеческому началу? Нет ведь? Очевидно, все зависит от таланта писателя, все во власти таланта...

— Но в антологии Сноу есть такие рассказы?— не сдается Пристли.

— Думаю, что есть, как есть они в нашей литературе...

Сейчас я смотрю во двор, куда обращены окна квартиры и где много зелени, но она заметно отодвинута от окна — это дает возможность заполнить комнату светом; он тем ярче, что усилен крахмальной белизной скатерти, которой сейчас застлан стол. Крахмальная скатерть в отблесках неяркого здешнего солнца делает объемным то, что стоит на столе: ветчину, прослоенную розоватым жиром,— его срезы, казалось,

мраморны; масло чистейшей желтизны, прозрачный желатин джема, хрупкую булочку — все свежести первозданной.

— Не было бы войны, обратились бы вы к жанру маленького романа? — спрашиваю я нашего хозяина — кажется, этот вопрос писателю не задавали прежде.

— Мне трудно ответить утвердительно,— говорит Пристли.— Настоящего романиста вы узнаете по тому, как он разрешает в своем произведении проблему времени. Да, время, его поток для романиста — главное! Можно сказать, что умение романиста постичь в романе именно проблему времени и есть в конечном счете искусство романиста... Пример? Толстой, конечно! Он владел этим искусством в совершенстве. Его повествование, как вы могли заметить, течет, как река! И обретает он это достоинство непроизвольно, он не думает об этом. Если к этой задаче романист подступился загодя, усилия его обречены... Короче: романистом надо родиться! Примеры у всех на виду: Толстой, Теккерей, Достоевский...

— Вы построили эту концепцию, чтобы убедить нас с мадам Пристли: легче родиться драматургом, чем романистом? — В моей фразе была улыбка — да иначе ее и нельзя было произнести.

— Пожалуй,— тут же реагировал Пристли.— Одним словом, те, кто не считает себя романистами, пишут всего лишь сцены, а это, как можно понять, не роман. К тому же драматург это делает заданно, а романист интуитивно — в этом разница, как мне кажется, принципиальная... Итак, я отвечаю на ваш вопрос: маленький роман? Конечно, он возник у меня с войной, но он учитывал мои особенности — именно поэтому мне с руки был именно такой роман...

— Я помню, что на Пятницкой зашел разговор о различиях между английской и американской литературой...

— Ну, что тут сказать? — откликается Пристли.— Это разные литературы! Надо понимать: разные... Мнение, что у этих литератур один язык,— недоразумение. Дело даже не в разноречии словарного запаса — значение многих слов различно. Но вот что характерно: в отношениях между одной литературой и другой был своеобразный водораздел, кардинально изменивший положение. Этот водораздел — примерно девятьсот двадцать пятый год. Запомните: двадцать пятый год! До него английская литература влияла на американскую, после — все пошло наоборот. В целом я считаю, что американский роман сильнее английского, хотя у меня свое мнение насчет некоторых явлений американской литературы, признанных установившимися... Я, например, не считаю, что Эрнест Хемингуэй явился открытием для англичан и многое им сказал. Для французов, быть может, он и был открытием, но не для нас... Надо не забывать, что у английской литературы большое прошлое: у нее литературная история и она прочнее стоит на своих принципах, сдвинуть ее с этих принципов трудно... Поэтому в своих отношениях с американской литературой она трудно идет на компромиссы.

— В какой мере вам удалось приступить к реализации замысла, о котором вы говорили в Москве: человек и время...

— Не теряю надежды реализовать,— отозвался Пристли, как мне показалось, воодушевленно.— Проблема времени всегда меня интересовала. Я, кажется, рассказывал, что это будет не совсем обычная книга по жанру — нет, не беллетристика, ни в коем случае не беллетристика!.. Тон будет задавать история, отношения человека и времени в первобытном обществе, далее на всех этапах истории, разумеется, в точном соответствии с событиями, которые данному периоду сопутствовали, и, наконец, раздумия о времени в связи с будущим. Конечно, в текст книги должны вторгнуться открытия, которыми был ознаменован наш век,— расщепление атома, постижение структуры материи, космос — это даст возможность сказать о воздействии будущего на настоящее. Могу сказать, что это трудная книга, ее трудно писать...

— Мне показалось, что проблема времени своеобразно преломилась и в ваших книгах, миссис Пристли, не так ли? — спросил я хозяйку дома, которая отступила в комнату рядом, занятая приготовлением кофе.

— Да, пожалуй, но только время у меня обратилось не столько в будущее, сколько в прошлое,— подала она голос, все еще находясь в соседней комнате.— Я хотела показать в той же своей «Земле», как на протяжении истории, в процессе освоения человеком земли, росло его сознание, а вместе с тем обогащался интеллект. Мне хотелось, чтобы моя мысль и мои выводы были зримыми, поэтому своеобразным соавтором книги стал наш великолепный художник Генри Мур — его рисунки помогли постичь мысль, как можно понять, не совсем элементарную.

Я готовился задать Пристли последний вопрос.

— Сейчас, когда после вашей поездки в Советский Союз прошло столько времени, как вам видится эта поездка, все ее грани, все повороты?

Пристли улыбается:

— Значит, все повороты? Ну что ж, готов ответить... Коли поеду к вам еще раз, сделаю так, чтобы не надо было посещать столько мест, вставать до восхода солнца, паковать чемоданы, спешить в аэропорт... Но это мелочи. Главное: общее впечатление, несомненно, очень хорошее. То, что сделано за эти годы, поражает масштабами. Вот, например, Ташкент Большой и красивый город, очень современный. Люди разных национальностей живут здесь, как мне показалось, в согласии. Город включил в свои границы и старые районы. Признаться, они мне понравились не меньше нового города. И еще: сохранены национальные черты Если же говорить о новом городе, то мне особенно пришелся по душе дух братства, характерный для Ташкента, люди живут мирно, не заметно расовой неприязни. Я знаю из опыта: ничто не дает такого верного представления о настроениях в стране, как облик города, заполненного народом,— я видел праздничную демонстрацию, и она мне сказала многое. Что мне не понравилось? Буду откровенен и скажу с той прямотой, с какой говорил обо всем прочем. Не понравился военный

парад — единственная речь была произнесена военным, а солдаты маршировали, глядя на генералов. Это было единственное, что я не принял в вашей стране. У меня сложилось впечатление, что жизнь становится все лучше. У людей есть деньги, хотя товаров в магазинах могло бы быть больше. Я говорю о Ташкенте, но мог бы сказать это и о Тбилиси, где мы тоже были с Джакеттой...

— Меня поразил размах творчества, который можно наблюдать в строительстве, науке, книгоиздании,— подхватила хозяйка дома.— Мне импонировала масштабность ваших замыслов — я это почувствовала, в частности, в археологии.

Хозяева ведут меня через непросторный дворик. Прежде чем проститься, оглядываю солидное обиталище супругов Пристли — в линиях Элбани-хаус есть лондонская основательность — престижный дом.

Но у Пристли вид Элбани-хаус вызывает иные ассоциации.

— На театре говорят: «Финал делает впечатление» Когда большая часть жизни прожита, невольно думаешь о финале... Каким он будет? Всегда ловил себя на мысли: последняя книга мне давалась труднее предыдущей, но такой трудной, как нынешняя, у меня еще не было .. Где тут причина: в *многосложности* замысла или в мере взыскательности?

Поставив вопрос, Пристли полагал, что уже дал ответ. Но какой ответ? Если последняя книга давалась труднее предыдущей, можно допустить, что ответ — в мере взыскательности. Можно допустить, оглянувшись на жизнь Пристли,— большего, наверно, не мог сказать и сам писатель.

Сароян

Все произошло так, как происходило не однажды прежде: сегодня в четыре у нас на Пятницкой будет Сароян

Разом вспомнился Акоп Салахян. Он сказал мне накануне: «Будет Сароян — пригласи меня, пожалуйста,— ничего добрее ты для меня не сделаешь».

Позвонил Акопу:

— Будь к четырем на Пятницкой — придет Сароян!..

Акоп сказал мне, что, как ему кажется, нынешняя поездка Сарояна в Армению будет обстоятельной и он хотел бы оказаться в Ереване вместе с мастером — одаренный критик, Салахян вынашивал замысел книги писательских портретов, в которой свое место должен был занять американский художник. *Мне казалось, что Акоп мог* быть интересен Сарояну не меньше, чем Сароян Акопу,— ниже я попытаюсь это доказать.

И вот четыре, Сарояна еще нет, но Акоп, разумеется, уже у нас — зарылся в дальние сумерки кабинета, только глаза поблескивают. Пока мы ждем, прислушиваясь к шагам в коридоре, у каждого из нас в сознании прокручивается жизнь Сарояна, один кадр за другим. Нельзя сказать, чтобы эти кадры возникали в нашем воображении последовательно, но в них, как в цветном сне, есть зримость красок и их объемность. Я вдруг вижу отца Уильяма — он был духовником армянской общины маленького калифорнийского городка, в котором родился писатель. Готов представить, как отец Арменак идет в церковь и его черный клобук удерживается в перспективе улицы, поднимающейся в гору. Но странное дело, когда кончалось лето, отец Арменак вдруг снимал рясу и, переодевшись в брезентовую робу батрака, уходил из города. Оказывается, денег, которые мог заработать *проповедник, недоставало, чтобы прокормить* семью, и на осенние месяцы священник становился батраком. Жизнь Арменака Сарояна пресеклась неожиданно: он умер, когда Уильяму было два года, и стало ясно, что минувшее время было для семьи не самым трудным. Кирпичная ограда приюта, подъем и отбой по звуку колокольчика, печальная вереница детей, одетых в униформу, которая делала их на одно лицо. А потом конец приютской неволи и начало неволи иной, у истоков которой теперь стоял родной город: мальчик, разносящий пакеты, переписчик бумаг, переносчик тяжестей, солдат, несущий караульную службу, и, наконец, литератор, пробующий перо. Да, призванию литератора, наверное, предшествовал процесс в этом случае обязательный: юноша в полной мере постиг, почем фунт лиха... Однако что можно было сказать о характере молодого человека? *Не любил работы*, требующей усидчивости, не любил, чтобы день его был регламентирован, не любил, чтобы им повелевали... Что он любил? Дать волю свободной стихии воображения, а может быть, и юмора. Собственно, этим стихиям Сароян был обязан тому, что его первый рассказ увидел свет. А вслед за ним остальные почти полторы тысячи рассказов — да, мы не ошиблись: за двадцать лет из-под пера Сарояна вышло полторы тысячи рассказов, более десятка пьес и шесть романов, которые, как утверждают знатоки творчества Сарояна, были тоже в своем роде рассказами, но только бóльших, чем обычно, размеров.

Уместен вопрос: что следует считать ключом к творчеству писателя? Сарояновского героя? Но кто он, этот сарояновский герой? Простой человек, добрый и, быть может, чуть-чуть наивный, не чуждый предрассудков, от которых, казалось, не очень-то готов откреститься и сам писатель. Истинная первоприрода этого героя — добро. Да, сарояновский герой — носитель того чистого, *совестливого, что лежит в основе* добра. И как каждый подлинно чистый человек, он, этот герой, в веселье и в печали человечен. Конечно, этот герой — великий утешитель, он утешитель подчас и тогда, когда утешение не равноценно социальной добродетели. И все-таки Сароян — певец добра и доброты, именно поэтому его книги находят такой горячий отклик в сердцах людей. Путь писателя — это путь человека, зовущего людей к утверждению радости. По слову Сарояна, жить нужно «так, чтобы на этом чудесном пути не увеличивать страдания и горести мира, а улыбкой приветствовать его безграничную радость и тайну».

Не знаю, что думал Акоп, но в течение тех нескольких минут, пока мы ждали нашего гостя, мой мысленный взор пытался объять все, что связано было для меня с

именем Сарояна. В коридоре послышались шаги — они были размеренны и тверды,— так ходят люди, которые привыкли ходить по этой земле с неколебимостью и уверенностью хозяев. И вот Сароян появился на пороге кабинета и, приветственно взметнув руку, оглядел сидящих вокруг.

В том, как он здоровается, пристально вглядываясь в глаза, есть желание уже в эту первую минуту представить состав собеседников. Доходит очередь и до Салахяна.

— Армянин? — спрашивает Сароян, задерживая в своей руке руку Акопа.

Тот заметно смешался

— Да, конечно,— подтверждает он.

Гостю пододвигают кресло, которое предусмотрительно поставлено напротив окна,— уже усевшись, он обнаруживает это, что немало его смущает. Но он готов смириться с этим. Сейчас должен быть завязан первый узелок беседы — как показывает опыт, это не просто

— Есть мнение, что ваша Итака — это в какой-то мере земля вашего воображения, не так ли? Сам образ созданного вами мира Итаки вызывает доверие, но это всего лишь образ мечты художника. Он, этот образ Итаки решительно противостоит Америке, когда речь идет о столь кардинальной проблеме, как равенство, социальное, национальное, цвета кожи. Ваша легендарная Итака потому и легендарна, что это не совсем Америка, верно?

Сароян смеется:

— Вы так обстоятельно старались ответить на вопросы, которые поставили мне, что, право, их можно было бы и не задавать,— он продолжает смеяться, смеяться неудержимо, дав понять, что к тому, что он сказал, уже нечего добавить.

— А в какой мере, на ваш взгляд, верно мнение тех американских критиков, которые полагают что ваш стиль напоминает игру, что он настолько раскован, что в самом повествовательном потоке есть силы, уносящие нас прочь от жизненных будней?

Сароян наклонил голову, улыбаясь:

— Кажется, Гёте сказал: «Творцу надо объяснять смысл его создания». Если вы продолжите объяснение, я готов слушать...

Все смеются — он определенно настроен на юмористический лад. По крайней мере то, что было произнесено до сих пор, ему приятно. Свет проникающий в окно, действительно высветлил всего его, высветлил тщательно Волосы нашего гостя забраны назад, открыв сияние лба.

— Что вы ждете от вашей поездки в Армению?

— Что я могу ждать от поездки в страну моих отцов? Быть может, мое отношение к Армении передает посвящение, к которому мне трудно что-либо прибавить: «Английской речи, американской земле и душе Армении».

А между тем разговор обрел логическое продолжение. Сароян заговорил о поездке в Армению, и мой друг обнаружил себя. Короче, Сароян покинул Пятницкую вместе с Акопом, и те несколько дней, которые он пробыл в Москве, они уже не расставались.

Вскоре по просьбе журнала «Дружба народов» я выступил в передаче Ленинградского телевидения — редакцию представлял Акоп. Нам были отданы на телестудии вечерние часы, и весь день мы провели в прогулке по городу. Речь, разумеется, пошла о Сарояне.

Но прежде несколько слов об Акопе. Сын армян, которых османское палачество бросило далеко на север, Акоп прожил свое детство и, пожалуй, юношество в Харькове. Человек яркого литературного таланта, Акоп знание армянского языка и литературы обогатил постижением русского и украинского, как, впрочем, русской и украинской словесности. Тонкий и остро мыслящий критик, он сделал предметом своих литературоведческих и критических поисков именно эти три литературы, обратив на себя внимание великого Аветика Исаакяна, возглавлявшего в ту пору Союз писателей Армении. По желанию почтенного вартапета, Акоп на многие годы стал его помощником и в чем-то советчиком, много сделав, в частности, для упрочения братских связей литературы Армении с другими нашими литературами.

В какой-то мере это обстоятельство предопределило назначение Салахяна одним из редакторов журнала «Дружба народов». Но был еще один талант у этого человека, не столь видимый для тех, кто наблюдал Салахяна со стороны,— человеческий. Он, этот талант, был выражен в собирании писательских сил и оказал услугу журналу, который явился новым домом Акопа.

— С вашей легкой руки мы действительно подружились,— заметил Акоп.— Я старался вызвать его на творческий разговор и, как мог, этот разговор готовил. Однако что явилось ядром беседы и в какой мере она раскрыла мне Сарояна? Речь шла о свободе художника, и Сароян высказал мнение, что писатель не должен себя ставить в условия, которые так или иначе ограничивали бы его свободу. «Я живу от книги к книге,— сказал Сароян.— И мои материальные условия достаточно скромны, но когда я почувствовал, что этим хотят воспользоваться те, чья точка зрения мне чужда, и что этой цели должна служить премия Пулитцера, которую мне присудили, я отказался принять ее, хотя соответствующая сумма как вы догадываетесь, не обременила бы моего бюджета...»

Нам с Акопом повезло: осень в том году выдалась в Ленинграде сухой и ясной. Наш маршрут лег вдоль одного берега Невы, потом другого. Несмотря на то, что день был относительно теплым, от реки тянуло прохладой. Акоп к полдню снял куртку, бросив ее за плечи и оставшись в белой, без галстука сорочке — ярко-белые сорочки были его страстью. Когда прибавляем шагу, смуглость Акопа будто размывается, лицо становится серым. Но мой друг не подает виду — он явно хочет казаться здоровее, чем есть на самом деле. Хотя речь шла о Сарояне, в рассказ Акопа вторгалась личная тема, и это тоже удержала память. Очевидно, по воспоминаниям отца, Акоп рассказал, как бежали из Турции: «Будто при степном пожаре, когда вал огня гонит все живое, стремились на север, имея ориентиром только солнце...» Отец говорил: «До полдня оно было справа, после полдня — слева».

Рассказ вновь возвращался к Сарояну, и Акоп пытался припомнить, какой стезей шли его беседы с писателем. Беседы, как можно было понять, были обращены к тому, что хотел знать Сароян о нашей стране, и Акоп мог припомнить только вопросы. В их беседах все чаще возникала Украина. Сароян спрашивал: «Сильна ли украинская словесность в прозе? А может, все-таки в поэзии?» В ответ на замечание Акопа — «певучий народ» — он просил моего друга напеть украинскую песню и был поражен ее душевным складом, ее сокровенностью. Он вдруг спросил, знают ли украинцы писателей-армян и как они их переводят: прямо с украинского? Он пытался установить: как литературы разных народов общаются друг с другом и имеет ли место момент взаимовлияния, а может, и взаимообогащения... Потом беседа возвращалась к Украине, и Сароян просил Акопа напеть нечто украинское — Акоп, как мог, пел... Знал ли Акоп, и тем более догадывался ли Сароян, что его молодой друг поет украинские песни в последний раз?

Как оказалось, Сароян хранил в памяти посещение «Иностранной литературы» и помнил нашу первую встречу на Пятницкой. Когда же в октябре семьдесят восьмого Сароян вновь появился в Москве и я пригласил его в редакционный дом «Советской литературы», которую в тот момент уже редактировал, писатель охотно дал согласие. Со времени первой нашей встречи минуло лет двенадцать, и прошедшие годы, как я заметил, точно отразил облик нашего гостя. Все так же чист и мощен был лоб, но усов, неожиданно пушистых, которые отпустил к тому времени писатель, коснулась седина — ярко-черный Сароян стал пепельным. Беседа за большим столом редакции простерлась часа на два. Все это время рядом находился фотокорреспондент, известный тем, что вот уже много лет кропает своеобразную фотолетопись писательского союза. Он верно оценил, сколь важно перенести на пленку встречу с Сарояном, и сделал около сотни снимков, при этом дюжину великолепных портретов писателя — сейчас эти фотографии передо мной, как и запись беседы,— все это дает возможность с известной точностью воссоздать атмосферу встречи

Он возносит рюмку с коньяком, остановив ее у глаз,— окно, как в «Иностранной литературе», напротив, и чайный отсвет коньяка коснулся его лица.

— Прожил много лет в Сан-Франциско,— произносит он.— Пожалуй, самые важные для меня годы прошли там. Подумаю и вижу Фриско: холмы, вода, солнце. Нельзя этого забыть! И все-таки самый лучший из всех городов для меня Ереван! Мое сердце — там... Ереван помог мне постичь суть — я говорю о советской, русской дружбе к армянам... Вы поняли меня? Советской, русской...

У него потребность на какой-то миг замкнуться в молчании и добыть нечто такое, что его действительно волнует,— когда мощные усы приходят в движение, нам ясно: он это слово добыл.

— Мои внуки — не чистокровные армяне. В них течет еврейская, ирландская кровь... Но мои дети чтут закон предков-армян — дать ребенку имя отца, деда... И вот моя невестка-ирландка произносит имя моего отца: Арменак!..

Его рука ложится на мощные лемехи усов — они у него в самом деле похожи на лемехи,— надо пережить волнение этой минуты.

— Задумал большую вещь, но не знаю, хватит ли годов? Есть искушение удлинить их, но как это сделать? Мне кажется, что я нашел решение: уехать в Армению, поселиться на берегу Севана, писать... Вот и на этот раз родная земля выручит! Убедил себя: там я проживу дольше...

Он оглядывает каждого из нас — взгляд его пристален. Он точно хочет знать: одобряется ли его решение?

— Была бы моя воля, дал бы совет молодым литераторам: пишите для театра, кино, телевидения!.. Все-таки формы эти современны, и к тому же здесь именно самый короткий путь к зрителю массовому. В Москве гастролирует Драматический театр Армении. Вчера я был на его спектакле. Кто-то имел неосторожность шепнуть об этом зрительному залу. И что бы вы думали? Все цветы полетели в мою сторону!

Он смеется — кажется, что его усы вздуваются.

— Нет, это, наконец, нарушение всех норм: почему на вопросы должен отвечать я? — восклицает он неожиданно.— А нельзя ли сделать... наоборот: я буду задавать вопросы, а отвечать будете вы, согласны?

У нас нет иного выхода как согласиться.

На минуту мы умолкаем, и Сароян спрашивает, вспомнив Акопа Салахяна:

— Небось и в «Иностранную литературу» тогда привели Акопа вы?

— Никуда не денешься — я привел...

Я чувствую, сколь много значит для него все, к чему мы обратились памятью.

— Все могу понять — не могу понять смерти человека Я как-то беспомощен перед нею Вдруг явится беспомощность, какой не было прежде.

Непросто переключиться на иные вопросы, волнующие нашего гостя, но молчание помогает совладать с печалью. Оказывается, он действительно читает «Советскую литературу», притом регулярно, и имеет свое суждение о наших антологиях поэзии и прозы, о номерах, посвященных детской и юношеской литературе, о цикле выпусков, относящихся к классике, и, конечно, о наших изданиях в которых речь идет о многонациональной советской словесности.

— Мне все интересно: Украина и Грузия, Молдавия, Эстония, Казахстан,— произносит он увлеченно — Но особенно воодушевил меня выпуск журнала, в котором вы показали молодые литературы Кавказского Севера, вызванные к жизни революцией. Признаться, я не знал, что полустолетия достаточно, чтобы был исполнен весь строй работ, предшествующих созданию литературы от сотворения букваря до подготовки учителя, готового победить неграмотность. Последнее важно — каждый новый грамотный человек — это уже читатель, а читатель — это литература... Без читателя нет литературы! Согласны?

Очевидно, произнесенное значило для Сарояна больше, чем могло показаться нам вначале, потому что, прощаясь с нами, он

своеобразно трансформировал эту реплику, но ни на йоту не отступил от нее, сделав соответствующую запись в книге почетных гостей журнала.

Вот эта запись — она, конечно, относится к журналу, но несравненно больше к нашим многонациональным литературам, к литературам младописьменным:

«Примите мое глубокое восхищение замечательным журналом «Советская литература», который издается на девяти языках и чтение которого доставляет мне удовольствие с самого своего возникновения в 1948 году.

Волнующ и прекрасен факт появления на свет письменных литератур народов, которые не знали письменности до революции.

Пусть эта прекрасная работа будет продолжена...

Уильям Сароян».

11.X.78.

Мы вышли на улицу, встали рядом, имея позади вывеску журнала — так хотел наш гость. Потом последовало прощальное рукопожатие, и Сароян произнес нечто такое, к чему писателю суждено было еще вернуться.

— Что для меня Россия? — сказал наш гость, оглядев провожающих.— Это, конечно, моя Армения, без которой я не представляю своей жизни, без которой я был бы неизмеримо беднее,— это первое И второе: это собственно Россия, в частности Россия Антона Чехова... Хочу сделать замечание, для меня принципиальное: я познавал эту Россию, постигая Чехова. Не было бы Чехова, все было бы много труднее...

Да, самое примечательное заключается в том, что к словам, сказанным Сарояном о Чехове, ему предстояло еще вернуться Больше того, то, что было обозначено пунктиром, обрело плоть. Редакция готовила чеховский номер, и естественна была просьба к Сарояну сказать свое слово *Письмо Сарояну подписал я, и его ответ* тоже был чуть-чуть личным. Да, несмотря на то, что минул год со времени нашей встречи на Кутузовском, она жила в сознании нашего гостя — свое письмо в редакцию он начал с воспоминаний о ней,— письмо написано в той характерной для Сарояна манере, когда улыбка, сопутствующая автору, сближает, а может, и роднит писателя и читателя.

«У меня много любимых писателей, но не буду же я притворяться и уверять, что сам я не в их числе. Это бы значило, что я плохо стараюсь, а писатель, который плохо старается, не отдается всецело работе, и не писатель вовсе, он или деляга, или ремесленник, или торгаш, или агент по рекламе, или еще нечто, совершенно мне чуждое и непонятное. Став читателем, я вскоре стал и писателем. Как это случилось — целая история, которую хотелось рассказать вам, мои друзья, в память о нашей встрече в Москве, в редакции «Советской литературы», почти год назад

Вспомним, какой искренней какой сердечной была наша встреча, и скажем: «А ведь мы были моложе тогда, не так ли?» Как быстро летит время, а мир приемлет свои новые денные заботы, пытаясь справиться с ними, и как прекрасна взаимоуважительность между народами, сколько мудрости и правоты в доброте, в дружбе, сколь плодотворны и безошибочны для взаимоотношений долг и доверие, честность и юмор... Вы, верно, уже думаете — к чему он все это, скажите на милость? Так вот, сказанное — лишь немногое из того, что я нашел, читая Чехова. А сколько еще можно сказать! Ведь перечитывая сейчас тот самый рассказ, что прочитал когда-то, более полувека назад, впервые, я воспринимаю его так, словно он только что написан, все еще нов и, как тогда, читается мною впервые. Только он, этот рассказ, стал для меня теперь еще лучше, чем когда-либо прежде. Как, каким образом все это произошло? Тут следствие двух причин. Первая — это характер самого писателя, Антона Чехова. Вторая — характер читателя, Уильяма Сарояна. Гуманность и гений Чехова — и изумление, восторг, восхищение Уильяма Сарояна».

Но вот что прелюбопытно: разговор о Чехове, возникший тогда при нашем расставании с Уильямом Сарояном, оказался не праздным: в письме, о котором я говорю, писатель не просто вернулся к Чехову, он как бы призвал его в свидетели, воздав должное тому значительному, что символизировал Чехов, писатель и человек.

«Мои друзья и дорогие мои читатели из «Советской литературы»,— продолжает Сароян.— Чудо великого творения в том и состоит, что оно побуждает читателя быть соучастником творчества... Читатели открывают себя в читаемой книге, и если это действительно великая книга, они обнаруживают в себе то же величие. Кого же еще, как не себя и не все человечество, обретает читатель в книге писателя?.. И вот что произошло на деле после чтения великих писателей — писателей с большим сердцем, как о них говорят, писателей с состраданием, писателей воистину добрых, писателей с юмором, преисполненных света и веры от великого духовного здоровья, хотя бы и слабых, и больных телом, каким был Антон Чехов... Мне стало казаться, что если и есть во мне, в моем характере, в самой моей жизни что-либо действительно значащее, то это писательство, и Антон Чехов «приказал мне» писать. И теперь, что бы я ни начинал, рассказ например, если дело не шло, я откладывал перо и возвращался к чтению, к Антону Чехову, читал несколько страниц — и снова мне становилось ясно, как это надо делать. Что же было в нем такого, что столь неотвратимо влекло меня? Видимо, его собственное присутствие во всем, что он писал. Это был он, человек по имени Антон Чехов ..»

Вот так писал Уильям Сароян. И его письмо, сердечное и мудрое, объясняло нам день нынешний и, конечно же, Чехова...

Пришло сообщение из Сан-Франциско: «Умер Сароян». Резануло острой болью. На память пришли сарояновские слова, произнесенные по поводу смерти Акопа, во время той нашей встречи на Кутузовском проспекте: «Все могу понять — не могу понять смерти человека... Вдруг явится беспомощность, какой не было прежде».

Саррот

Это было в самый разгар полемики о судьбах романа.

В Ленинграде собралась конференция, на которую съехались лучшие наши прозаики. Доминировало мнение: роман будет жить. Вместе с тем на все лады обсуждались тезисы, рожденные нашим ищущим веком: роман архаичен по своей форме, в нем нет лаконизма и темпа современности, его язык безнадежно устарел, роман не отражает всего, что добыло искусство времени, он глух к новшествам кино, телевидения, театра.

Формула, которая бы исчерпывала суть, еще будет обретаться. Очевидно, речь может идти и о романе, скрепленном не столько единым действием и судьбой героев, сколько настроением, о романе, чья живописность определена своеобразной живописностью мозаики, о романе, беглому рисунку которого помогает чередование микроглавок, где есть законченность сюжета и суверенность клейм, о романе, построенном на емкой афористичной строке, о романе, стихия которого не столько зримое восприятие происходящего, сколько воображение... Готов согласиться, что мое определение нуждается в дополнении — мы будем иметь возможность сделать это, обратившись к Натали Саррот.

Приверженцы этого романа собрались в своеобразный круг единомышленников, который принято называть школой.

Во главе школы метр французской прозы — Натали Саррот.

Признаться, мне проза Натали Саррот напоминает Юрия Олешу времен «Зависти», хотя сказать «напоминает»,— наверно, сказать слишком сильно. Олеша конкретнее, его сюжет ощутимее образная система его произведений зримее, само произведение намного заземленнее, но, как, однажды мне сказал Петр Андреевич Павленко, у Олеши есть нечто французское — если он имел в виду словесную вязь, чуть призрачную, то до «школы нового романа» тут недалеко.

И вот все на той же Пятницкой в редакции «Иностранной литературы» неожиданный гость — Натали Саррот.

Кабинет редактора, где обычно происходят наши встречи, набит до отказа. А тут еще сюрприз, не назову его неожиданным, но в нем, как в каждом сюрпризе, когда он становится явью, есть известная внезапность: Натали Саррот говорит по-русски Да, на чистейшем русском языке, почти без акцента.

— Если быть точной, то я Наташа Черняк из Иваново-Вознесенска, а в Париж попала в связи с делом дяди — я говорю об известной в начале века истории нападения на петербургский банк в Фонарном переулке, впрочем, у нас еще будет случай поговорить об этом...

Она это сказала как бы между прочим и каждый из нас воспрял: Петербург, начало века. Фонарный переулок — что-то не совсем ясное, но неординарное замаячило в памяти. Короткая реплика Натали Саррот обещала нечто увлекательное — хотелось дождаться минуты, когда писательница сумеет вернуться к этой теме.

А пока беседа продолжалась; эти первые минуты хороши, чтобы понаблюдать гостью,— то, что можно увидеть в эти минуты, потом не увидишь. Небольшая женщина, радушная, с нерезкими манерами, склонная больше соглашаться, чем возражать, больше слушать, чем говорить, больше наблюдать своих собеседников, выразив любопытство и одновременно не скрыв откровенного согласия, которое вызвал собеседник, согласия, а возможно признательности.

— Если ты утверждаешь новаторство, оно должно быть понятно тем, кому ты его адресуешь. Самое страшное, когда тебе говорят: «Непонятно, решительно непонятно!» В этом горько признаться, но первая моя книга встретила холодный прием, от нее просто отвернулись. Для второй книги нельзя было найти издателя, хотя она открывалась предисловием Жана Поля Сартра. Издатели, словно сговорившись, дали понять мне, что в мои «Тропизмы» здравый смысл лишен возможности проникнуть, что это бессмыслица, больше того, бред. Наверно, и третью мою книгу ждала бы такая же судьба, если бы я не изменила тактику. Не отказываясь от принципов, я решила выступить со своеобразным манифестом, при этом обратиться не только к читателям, но и критикам. Короче, апеллируя ко всем, кто интересуется литературой, я стремилась ответить на вопрос: почему мои произведения обрели нынешнюю форму, почему я пишу так, а не иначе. И вот я почувствовала, что это мое обращение нашло слушателей, что отныне я не была, как прежде, обречена на одиночество — меня слушают... Мне кажется, я не стала писать иначе, но у меня вдруг возник круг читателей, чего прежде не было... Не во всем я оставалась на старых позициях, но не думаю чтобы я шла тут на компромиссы... или тем более уступки. Одним словом, я почувствовала, что стена глухая стала внимать, больше того я даже приметила в ней признаки дара речи... Теперь мне следовало, не жертвуя тем новым, что я хотела нести читателям, развить это новое — я это и сделала... Ну, стройно рассказать о своем творческом методе, я, пожалуй, смогу, если дождусь необходимого настроения — сейчас у меня его нет... Попробую осветить только одну грань того, что принято называть «школой нового романа»: диалог... Да, я говорю о диалоге. Как вы понимаете, он анонимен: имен тех, кто ведет диалог, читатель не знает, ни истинных, ни условных, но собеседники в такой мере зримы, что необходимости в именах нет, читатель видит говорящих, он ощущает их характеры, он может даже предусмотреть линию нарастания конфликта. Я допускаю, что мой собеседник всего лишь присутствует, сомкнув уста, однако все, что он должен сделать, чтобы воздействовать на вас, он сделал — его незримая энергия сообщила вам ту долю активности, какая тут была необходима, вы ведете себя так, будто бы он включился в диалог, больше того, внес ту долю душевного участия, которая нужна, чтобы возникло столкновение мнений, то есть пришли в движение силы, которые действуют, когда друг другу противостоят личности. Но в диалоге есть и иное, что

сообщает ему жизнь, что делает вас его третьим участником. В диалоге есть своя магия, что превращает вас в собеседника, при этом заметно обогащая беседу — речь идет не просто о новых обретениях в красках, интонациях, мыслях, многомернее становится наше представление о характерах.

Натали Саррот понимает: постижение того, что есть «школа нового романа», будет более полным, если теория соотнесена с живой практикой,— тут надо добыть пример, который помог бы сделать ее мысль зримой.

— Не знаю, что я изберу предметом своей новой вещи — быть может, это будет начало жизни, быть может, отрочество, а возможно, пора мужания, впрочем, допускаю, что это будут годы, которые захватят каким-то краем и Россию. Но при всех обстоятельствах я напишу книгу, призванную отразить мою манеру: все, что предстоит увидеть читателю, будет состоять из своеобразных фресок... Нет, не цельная панорама с первым, вторым и третьим планами, не картина с перспективой, с горизонтом и уходящей вдаль дорогой, а фрагменты картины. Мысленно составишь их и можешь не получить картины, у которой есть все компоненты, но если ты, учитывая эти фрагменты, захочешь представить себе картину, то увидишь нечто такое, что под силу только твоей фантазии. В системе этих фрагментов сокрыта немалая сила — недаром их зовут «фрагмент» — луч, озарение, вспышка. Такое впечатление, что во фрагменте спрессован свет и, вырвавшись наружу, он способен высветлить площадь, какую обычному освещению объять трудно...

Гостья умолкла — не иначе пространный экскурс в теорию «нового романа» утомил ее.

Быть может, самый раз попросить ее обратиться памятью к ее русской поре — как ни многосложно детство, в нем должен быть и свет

— Простите, Наталья Ильинична, но что сопутствовало вашему отъезду из России и когда это все-таки было?

Очевидно, вопрос был так внезапен, что Саррот запнулась.

— Вы слыхали об ограблении банка в Фонарном переулке в Петербурге в начале века? — спросила она, перейдя едва ли не на полушепот. — Нет, не уголовниками, а политическими и, разумеется, с политическими целями? Слыхали? Так мой отъезд во Францию был прямо связан с этой историей, хотя мне было тогда, дай бог памяти, семь лет. Впрочем, до того, как попасть во Францию, мы побывали в Швеции, и это тоже имело прямое отношение к делу... Но об этом как-нибудь потом, в свободное от «нового романа» время...

Разговор, казалось бы, закончился, хотя был соблазн узнать больше. Но случилось так, что до новой встречи с Натали Саррот я побывал в Швеции, при этом оказался в гостях в старостокгольмской семье, у которой история нашего века была на памяти. Я был гостем известного в шведской столице дома Карла Брантинга, отца шведской социал-демократии, состоявшего, как известно, в переписке с Лениным — собственноручное письмо Владимира Ильича Карлу Брантингу до сих пор хранится в музее истории рабочего движения Швеции. Карл Брантинг давно умер, но в пору, когда я был в Стокгольме, была жива его дочь Соня Брантинг, в свое время дружившая с нашей Александрой Михайловной Коллонтай — живость характера и свежесть ума были еще при Соне Брантинг.

Дочь Брантинга жила в родительском доме, расположенном в колоритном квартале старого Стокгольма, в доме, как мне показалось, построенном еще в том веке, с маленьким лифтом, застекленным выпуклыми стеклами, точно покрытыми изморозью. Я быстро отыскал дом Брантингов по своеобычному строению старой стокгольмской обсерватории,— оно расположено по противоположную сторону от дома Брантингов, на холме. Меня привел к Брантинг поиск новых материалов о Коллонтай.

Видно, хозяйка для своего возраста была чуть-чуть экстравагантна, в убранстве ее квартиры был некий вызов — комната была сумеречной, и когда дело дошло до писем Александры Михайловны и подаренных ею Соне Брантинг фотографий, то к столу был пододвинут торшер, сделанный в виде уличного фонаря, какими эти фонари были в начале века.

Беседа коснулась русских политических, которые, спасаясь от преследований царя, подчас уходили в Швецию, и Соня Брантинг обратилась к истории, о которой я уже однажды слышал в Москве на Пятницкой. Но теперь этот рассказ был полнее. Да, это знаменитое дело с ограблением банка в Фонарном переулке — полиция нагрянула в самый разгар операции. Кажется, не всем удалось унести ноги. Но дяде Натали Саррот (как мы помним, настоящая фамилия Саррот, как и фамилия дяди,— Черняк) удалось бежать. Ближайшая нейтральная страна — Швеция. Он бежал в Швецию. Но царское правительство потребовало выдачи Черняка. Если бы в составе преступления отсутствовало ограбление банка, такое требование исключалось бы: политические имеют право на убежище. Но тут имело место ограбление, и дело приняло серьезный оборот. Черняк, насколько известно, не отрицал своего участия в операции в Фонарном переулке, но доказывал, что она была предпринята ради дела, которому он посвятил себя,— деньги добывались на революцию. Российское посольство, представлявшее интересы правительства, настаивало на уголовном характере дела. Полемика стала достоянием общественности. Свое слово сказали писатели. Было опубликовано их большое заявление. Заявление было достаточно авторитетным — его подписал Анатоль Франс. В этот момент Черняк получил телеграмму из России, которая заставила его быстро сложить вещи и сесть на корабль, отплывающий в Гавр. По словам Сони Брантинг, ей неизвестна судьба Черняка, но, если верить слухам, она была трагической.

Меня поразило, с какой обстоятельностью Соня Брантинг рассказала эту историю — если учесть, что Брантинг была подругой Александры Михайловны и разница в годах у них не могла быть очень боль-

шой, очевидно, в начале века моей стокгольмской собеседнице было не больше лет двадцати — двадцати пяти — возраст, когда память особенно восприимчива. Так или иначе, а я не думал, что буду иметь возможность проверить рассказ Сони Брантинг и установлю, что в нем нет отклонений от истины, а общая его линия правдива.

Однако правдивость рассказа может установить только человек, которого это прямо касается. И вот сентябрьский Париж шестьдесят шестого года, заметно знойный, недели две не знавший дождя, с парковыми дорожками, устланными хрупким золотом, с лиственной пылью в воздухе, отдающей горчинкой, и большая гостиная в доме Натальи Ильиничны.

Казалось, разговор, начатый на Пятницкой, не прерывался — он просто обрел свое продолжение: я говорю о диалоге Действительно, то, что сказала тогда Натали Саррот о диалоге, несет новое постижение этого понятия. Она этого не говорит, но я-то понимаю: в том, что мы зовем писательским умением, нет ничего многомернее и многосложнее диалога Человек, подающий реплику, не просто учитывает, он откликается словом не просто на слово собеседника, с которым ведет диалог, но на реплику человека, говорящего рядом, на слово прохожего, которое донеслось из окна, на звук трамвая, прошедшего мимо, на посвист птицы, задевшей крылом окно, на удары мяча, в который играют под окном дети. Иначе говоря, диалог отражает многослойность мира. Но Натали Саррот говорит сейчас об ином Она говорит о токах которые излучает в ходе диалога собеседник,— это тот самый пример, когда диалог обращается в исповедь. Без того, чтобы потребовал твой собеседник без того, чтобы он дал понять, что хочет знать больше, чем ты ему сказал, без вопроса с его стороны, наконец, ты вдруг разражаешься исповедью, какая с точки зрения логики элементарной непонятна В самом деле, почему ты ему открылся, какие силы пришли в движение, кто тебя подтолкнул к этому — ты же не можешь сказать, что этот человек тебе ближе, чем все остальные, перед которыми ты не отважился на исповедь? Почему так? Предмет исследования Натали Саррот, как, наверно, предмет поиска, а может и новаторства,— в этом Она как бы обозначила явление в своем сознании и задалась целью найти его первопричину, его корни.

Но разговор принимает неожиданный поворот — в чем призвание искусства, что оно несет людям? Способно ли оно раздвинуть пределы мира данные человеку природой? А коли раздвинуть то и принять в эти пределы нечто такое что могло пройти мимо человека? Наверно, главное достоинство искусства в том, что оно обладает способностью объять неоглядность жизни, создать иллюзию, что мы родились где-то в пору Возрождения, а может быть, в эпоху ранних христиан, а возможно, в те далекие языческие времена, которые мы привыкли обозначать лаконичными «до н. э.». Представьте, что мы не читали книг и наша жизнь — как резинка, которую мы только что растянули,— сократилась до обычных размеров резинки — как это бедно и скучно! Магия книги безбрежна, ее влияние так велико, что мысленному взору не обскакать фантазии. Вот Чехов — влияние, которое он способен оказать на наши души, огромно, хотя он всего лишь дает снимок жизни, оставляя читателю высказать свое мнение по существу поступка.

Саррот говорит о Чехове, а я думаю: в ее натуре, наверно, есть нечто чеховское: его сдержанность, его душевная чистота, его сочувствие человеческой боли. Она все время оглядывается на Чехова, фиксируя внимание на поступках, которые может приметить только она. Наверно, характерно, что, оттолкнувшись от знаменитого «Ich sterbe» — «Я умираю», произнесенного Чеховым в смертную минуту, Натали Саррот написала этюд-исследование, в котором пыталась постичь личность писателя.

И вновь, как некогда на Пятницкой, Натали Саррот заговорила о своем желании написать книгу, поводом к которой могла послужить известная пора ее жизненного пути,— мне казалось, что настал момент спросить ее о событии, предварившем этот путь.

— У этого события был свой финал,— заметила Наталья Ильинична. — Когда царское посольство в Стокгольме выступило с требованием о выдаче дяди, он получил телеграмму из России, и она заставила его покинуть Швецию. Телеграмма была подписана женщиной, которую он любил,— речь шла о свидании где-то в Европе. Как оказалось позже, женщина эта никакой телеграммы не давала — депешу инспирировала царская тайная полиция с целью выманить дядю из Швеции. Когда корабль пришел в Гавр, дядю нашли в каюте мертвым,— очевидно, смерть дяди входила в планы тех, кто направил ему телеграмму, заставив покинуть Швецию...

Натали Саррот удалось осуществить давний замысел — написать книгу и воссоздать кусочек жизни, детство. В этой книге есть несколько строк, перекликающихся с тем, что я только что рассказал,— они относятся к героической поре, с которой начался наш век. «Когда смотрю на этих женщин и мужчин... уже немолодых, немного грустных и усталых я думаю, что, глядя на них, никто бы не догадался, до чего незаурядны эти люди, какие они необыкновенные — революционеры, герои, которые, не дрогнув, шли навстречу самой страшной опасности, противостояли царской полиции, бросали бомбы... Они шагали «по этапу», в кандалах, в далекую Сибирь, их запирали в казематах, приговаривали к повешенью, а они спокойно встречали смерть, готовые, когда окажутся у подножия виселицы... крикнуть в последний раз: «Да здравствует Революция! Да здравствует Свобода!»

И самое последнее. Где-то в феврале 1967 года я получил от Саррот только что выпущенную издательством «Галлимар» ее пьесу «Молчание». Разумеется, мне было дорого лаконичное «На дружескую память», но, пожалуй, не менее дорога подпись: «Наталья Саррот». Да, вот это русское «Наталья» сказало многое мне и, наверно, не меньше тому, кто это написал.

Арагон

Была ранняя осень шестидесятого года, теплая, изредка сопутствуемая грозами с белой молнией и ливнями, обильными и грохочущими.

Не просто было выдержать расписание нашей туристской стайки, но оно соблюдалось: Лувр, музей Родена, выставка шагаловских витражей...

Мне было интересно, как смотрела Париж Маргарита Иосифовна Алигер — в то, по-моему, первое ее посещение французской столицы. В ее взгляде на диво Парижа не было счастливого беспамятства, но пристальность, требующая напряжения ума, была. Только время от времени, вслушиваясь, как самозабвенно лопотала девушка-гид, Маргарита Иосифовна произносила:

— Ничему никогда не завидовала, завидую знанию языка...

Как ни герметичен мирок нашей стайки, путешествующей по Парижу, у здешней молвы бронебойная сила:

— Арагон купил Эльзе мельницу и поселил ее едва ли не рядом с плотиной...

Ну, новость действительно хоть куда — да убережешься ли от нее?

Единственно, кого эта новость не застает врасплох, это Алигер — в ее реплике есть искорка юмора, а в беспечальной искорке, конечно же, самообладание:

— Мельницу показать не обещаю, а новое обиталище Арагонов на рю Гренель, пожалуй, покажу..

Случайно или нет, но едва ли не одновременно с переселением на мельницу Арагоны обосновались в новой квартире на рю Гренель — это в двух шагах от нашего посольства. То обстоятельство, что новое жилище, подобно старой мельнице, аккомпанировало появлению на свет арагоновских стихов об Эльзе, наводит на мысль, что здесь был некий план.

Чтобы утвердиться в этой мысли, не обязательно было прикасаться к стихам Арагона, но свое говорили и эти стихи:

Настанет. Эльза, день и ты услышишь
в нем
Стихи мои из уст, без муки наших дней..

(Перевод М Алигер)

Да, Маргарита Иосифовна пообещала весьма определенно показать новое обиталище Арагонов на рю Гренель — если учесть, что незадолго до этого в Москве вышел томик арагоновских стихов в переводе Алигер, такое посещение было естественным Итак, перспектива встречи с Арагонами в их новом доме прояснилась с достаточной точностью — Маргарита Иосифовна просила меня быть с нею

Помню, городской дворик, действительно через дорогу от посольства, выстланный плоским камнем, и несколько в глубине дворика — вход в квартиру Арагонов, дом был без лифта, с нарядной лестницей, укрытой ковровой дорожкой, в конце каждого марша стояли полукресла, рассчитанные, очевидно, на гостей определенного возраста. И дорожка, и полукресла, и бра над креслами блистали новизной, свидетельствуя, что хозяева поселились здесь отнюдь не в стародавние времена.

Нас встретила Эльза, встретила приветливо и повела к большому итальянскому окну в гостиной, у которого был сервирован кофейный столик.

С видимой властностью Эльза взяла разговор в свои руки. Она полагала, что нейтральной темой, которая должна устроить гостей, будет новая квартира Арагонов, и принялась рассказывать, как труден был переезд. Но хозяйка должна была почувствовать, что интерес гостей обращен к иному. По всему, мы были на рю Гренель, когда там уже получили новое московское издание стихов поэта. Конечно, что-то могла сказать и Эльза, но она сочла себя небеспристрастной — ведь стихи посвящены ей — и ушла в тень, тем более что это было сделать нетрудно — освещенным оставался небольшой кусок паркета, на котором расположился наш столик.

— Полагаю, что я должна оставить эту возможность Арагону — ведь он и говорит и читает по-русски...— Эльза качнула головой, и червонное сияние ее волос, как мне почудилось, незамутненное сединой, встревожилось.— Переводить его всегда трудно...

Деликатная Маргарита Иосифовна не возразила:

— Что трудно, то трудно...

На том и условились; разговор будет продолжен, как только к нему сможет подключиться Арагон.

— Насколько я поняла последний разговор Арагона с Галлимаром,— произнесла Эльза,— возник план издания библиотеки новой русской прозы и поэзии на французском — Арагон передал издательству письмо, в котором поделился некоторыми своими мыслями.

Эльза с заметным воодушевлением говорила о составе имен. Она тут же на память воссоздала этот список, не позабыв спросить, как Москва встретила книги писателей, которых она только что помянула.

— Сегодня мне сказал Арагон: «А все-таки я доконаю Галлимара: наша русская серия увидит свет!»— произнесла Эльза.

Триоле, по всему, любила эту тему, как, впрочем, и Арагон.— я в этом убедился позже: советская книга во Франции. Открытие новых наших имен, встречи с советскими писателями в Париже, грандиозные вечера советской поэзии в самых больших залах Парижа... Надо помнить, хорошо помнить: все это делали Арагоны. Придет время — и мы оценим это сполна. Ах, если бы и сегодня были Арагоны!..

И еще запомнилось: прощаясь, она как бы между прочим ввела нас в свой рабочий кабинет, и вновь нас объяла атмосфера жизни деловой женщины, женщины, умеющей работать в том темпе и с той целесообразностью, какие единственно здесь уместны — в кабинете был изыск и рациональность

Я спросил себя, быть может, в этот день не впервые: в чем суть Триоле, в чем ее истинное призвание? В том, что отыскал в ней Арагон: женщина с золотой короной волос и яркими глазами, какой увидел ее поэт и в честь которой нарек себя вдохновенно «Меджнун Эльзы» — «Одержимый Эльзой», или в том, что померещилось мне только что: писательница, обратившая свою

фантазию и ум к острейшим проблемам современности, и одновременно деловой человек в не меньшей степени, чем писательница? Однако вряд ли тут уместна даже тень категоричности. Убедил себя, что понимание придет со стихами Арагона, посвященными Эльзе. Тут и запев, и стержень мысли, и то сплетение слов, которое способно удержать всевластие понятия — «Меджнун»:

О имя которое произнести не могу
потому что оно на губах у меня замирает
Словно хрупкий хрусталь оно может от
собственной тоненькой ноты разбиться
Оно точно запах костра и ванили оно как
в листве легкокрылая птица
Оно будто липовый цвет ты еще не увидел
его но он ароматом своим тебя уже
ранит
Это имя легчайшей пушинкой дрожит
у тебя на устах
Оно как прозрачный бокал который
разбил ты
и память о нем прикасается к пальцам
как ласка
Оно словно чье-то живое дыханье
в манящих вечерних кустах
Оно где-то рядом и где то в немыслимых
далях звенит как тугая и тонкая леска
Это имя краснеет стыдливо при мысли
что я его выскажу вслух
А мне одного только надо остаться его
отражением вечным
Только пылью шагов его легких только
воспоминаньем привычным
Только тенью неясной в тени его листьев
живых...
. . . . . .
Но если когда-нибудь кто-нибудь
вспомнит о том что на свете я жил
И назовет ее имя которое душу мне так
будоражит,
Пусть тогда в этой милости в малости
этой он мне не откажет
Пусть он мысленно скажет что ею я был
одержим

(Перевод Ваксмахера)

Однажды золотолистой осенью, высвеченной синью марсельского неба, слышал, как эти стихи читали студенты, расположившиеся на парковых скамейках и напрочь отстранившие по этому случаю связки книг, которые они сюда принесли... Слышал, как молодые люди повторяли самозабвенно: «Это имя краснеет стыдливо при мысли, что я его выскажу вслух», и не мог не думать: если женщина подвигла поэта на создание таких стихов, благодарно постичь ее суть

Где-то весной шестьдесят пятого года в особняке на Пятницкой раздался звонок: звонила Эльза — второй день Арагоны в Москве. Смысл звонка: привезла рукопись нового романа. Остановились в гостинице «Москва». Хорошо бы встречу не откладывать Эльза не возражает, если это произойдет завтра в десять утра — узнаю деловой настрой парижской рю Гренель. Говорю, что готов быть у Арагонов, но по давней редакционной привычке решаюсь потревожить редакционный справочный отдел. Без особых усилий устанавливается предмет нашего завтрашнего разговора: роман «Розы в кредит» Роман только что закончен и уже объявлен к публикации Галлимаром.

Впрочем, прежде чем закончить разговор с Эльзой, оговариваю условия завтрашнего визита: прошу разрешения явиться в обществе одного из редакционных аборигенов. Эльза, которая едва ли не наперечет знает моих коллег по Пятницкой, спрашивает, кого я имею в виду. Называю имя Бориса Исааковича Розенцвейга, моего давнего товарища по «Красной Звезде», с некоторого времени возглавившего исполнительную власть в «Иностранной литературе»— он ответственный секретарь. Не знаю, известна ли Эльзе бескомпромиссная ипостась моего товарища, но согласие дается не без раздумий

Звоню Борису Исааковичу и прошу его прийти в редакцию в темно-синем костюме. Костюм из темно-синего, модного до войны бостона — достопримечательность розенцвейговского гардероба: в памятные октябрьские дни сорок первого, когда газета перебралась вместе со своими службами в цокольный этаж Театра Красной Армии, Розенцвейг, демонстрируя самообладание, являлся в редакцию только в этом костюме. Но Розенцвейг даже не спрашивает, по какой причине ему надо надеть костюм — надеть, значит, надеть, остальное выяснится завтра.

Наутро мы звоним Арагонам из вестибюля гостиницы «Москва». Собственно, звоню я, в то время как Борис Исаакович, встав перед неоглядным зеркалом, торопливо расчесывает неширокую опушку волос, окаймивших его великолепную лысину

Разрешение дано, и мы торжественно, нет не вступаем, а вплываем в арагоновские апартаменты.

В условленные десять Арагоны, как, наверно, это было принято у них дома, уже работали. Прежде чем выйти к нам, каждый из них, как могло показаться, должен был оторваться от рукописи.

— Хотите кофе?— Эльза, не ожидая ответа, направилась в дальний угол.

— Если вместе с вами...

— Как ты, Арагоша?

— Готов, готов...

Пока вскипает кофе, мы начинаем ладить беседу.

— Московский университет вручает Арагону знак почетного доктора, и я решилась на поездку в Москву, сообразовав с небольшим делом...— Она смотрит на письменный стол, посреди которого поместилась рукопись — по виду немалая. Сколько в ней?— стараюсь прикинуть я и смотрю на Бориса Исааковича. Восемнадцать листов или все двадцать?

Но мой спутник замкнулся в молчании смятенном — не очень похоже на Розенцвейга, прежде он был храбрее.

— Я тут человек... посторонний!— вдруг произносит Арагон и, обратившись к Эльзе, пытается уточнить:— Правильно я говорю: посторонний, так?

— Посторонний, посторонний, Арагоша,— поддерживает его Эльза, не обронив улыбки.

— Я тут человек посторонний и поэтому беспристрастный... Правильно я говорю: беспристрастный. Эльза?

— Беспристрастный, разумеется, беспристрастный, Арагоша, — поддерживает его Эльза все так же серьезно.

— Вот мое мнение: хороший роман!..— заключает Арагон. — Сегодня — лучший французский роман!..

— Не перехвалил, Арагоша?— смотрит она на него, улыбаясь.

— Нет, не перехвалил...— подтверждает он с той искренностью, которая не остав-

ляет сомнений: никаких преувеличений, все слова на месте — лучший французский роман, нет, не вообще, а именно сегодня.

— Может вас заинтересовать моя рукопись?— в вопросе Эльзы нет недомолвок.

— Да, конечно, вы ее уже не увезете в Париж,— говорю я.

— Спасибо,— смеется она, так щедро она еще не смеялась.

Арагон задумался, казалось, тень печали впервые легла на его лицо.

— По-моему, вы взгрустнули?— спрашиваю я.— Что так? Ведь мы обо всем договорились.

— Это вы обо всем договорились,— кивает он в нашу с Эльзой сторону.— Не я...

— Что вы имеете в виду?

— Завтрашнюю свою речь в университете — никогда не произносил речей в университете...

— Не произносил, так произнесешь — подумаешь...— приходит на помощь Эльза.— Да скажи им все, что на сердце, Арагоша, это у тебя получится...

Она протянула руку и, как мне показалось, коснулась его седин — он просиял, большего счастья для него не было. Сколько им могло быть лет в то московское утро шестьдесят пятого года? Почти по семьдесят, но глаза были полны света.

— Не забудьте про университет,— произнес Арагон, расставаясь с нами.

По-моему, речь в университете не шла у него из головы. Я оглядел хозяев и поймал себя на мысли, которая, впрочем, была для меня не новой: конечно, жизнь дала равные козыри всем, но все-таки тому, что мы зовем красотой, она дала на один козырь больше. Что я хочу сказать? При равных шансах красота уходит последней — казалось, все во власти возраста, возраст едва ли не всесилен, и все-таки красота еще сопротивляется — если она хлопнет дверью, то хлопнет последней. Может, и не подумал бы об этом, но, обернувшись, увидел его и ее — они были необыкновенно хороши в это утро. Наверно, семьдесят или почти семьдесят могут дать повод говорить о возрасте, но, честное слово, два человека, возникших передо мной, начисто отвергли эту возможность — хотелось говорить обо всем, но только не об этом.

Помню, мы вернулись в редакцию, и я спросил Бориса Исааковича, которого поездка к Арагонам чуть-чуть ошеломила, обратив его природную малоречивость едва ли не в немоту:

— Как вам Арагоны?

Мой товарищ задумался — труднее вопроса я не мог ему задать:

— Они, конечно, чуть-чуть строптивы, и это может деформировать наше представление о них, но добры бесконечно... Что называется, друзья на всю жизнь! Нам надо понимать это, но боюсь, что мы это поймем поздно. Нам надо понимать это теперь...

Мудрый Розенцвейг, как мне кажется, еще тогда добрался до истины.

На другой день все обошлось так, как будто несколько раз обкатывалось. Но торжество, о котором говорил Арагон, отпечаталось в памяти речью Романа Самарина, взволнованной и по этой причине почти патетической и, как мне показалось, чуть-чуть смятенной репликой Арагона. В том, как Арагон и Эльза отблагодарили хозяев, было нечто такое, что я отметил для себя накануне: знак университета был встречен с благодарностью, которая была тем более сердечной, что освещалась улыбкой, выражающей добрую волю. Получасом спустя я смотрел, как сосновая аллея, которая так хороша перед университетом, увлекла наших друзей от парадных врат к обрыву над Москвой-рекой, откуда открывается единственный в своем роде вид на столицу. Я не без умиления следил за спокойным шагом гостей, чьи светло-серые костюмы были долго видны на фоне густо-зеленой хвои, и думал о том, что церемония в университете должна была отвлечь их от инерции повседневных дел, которыми, как я заметил, отмечена их жизнь во французской столице. Я еще постигал эту истину, когда раздался звонок Эльзы,— в интонации, с которой были произнесены услышанные мною слова, от университетского торжества не осталось и следа.

— Ну, как... роман? — спросила Эльза.

— Какой... роман? — переспросил я в замешательстве.

— Как... какой? «Розы»!

Меня объяла паника: признаться, единственно, что я успел,— это благополучно доставить роман в редакцию.

— Не понимаю, Эльза Юрьевна! — мог только произнести я,— не понимаю!

— Что же тут непонятного? Редакция успела составить мнение о романе?

— Вы полагаете, Эльза Юрьевна, что минувшей ночи было достаточно, чтобы это мнение составить?

— А как же? — изумилась она.— В том случае, когда я даю рукопись Галлимару вечером, к утру я получаю ответ...

— За Галлимаром нам поспеть трудно, но до вашего отъезда из Москвы мы, пожалуй, ответим.— Как мне показалось, она готова была меня понять.

На том и порешили: Галлимара нам обскакать невозможно, но к отъезду Арагонов из Москвы ответ будет готов.

Борис Исаакович, случайно оказавшийся рядом, смежил веки от удивления:

— Вот это женщина!..

Арагоны... А из памяти не шли марсельские студенты, поющие хвалу любви поэта:

О имя которое произнести не могу
потому что оно на губах у меня замирает
Словно хрупкий хрусталь оно может
от собственной тоненькой ноты разбиться

Последний раз я видел Арагона в шестьдесят восьмом году. Редакционные дела привели меня в «Юманите» к Андре Вюрмсеру, давнему и постоянному автору «Иностранной литературы». Время было более чем грозное — большая парижская пресса жестоко атаковала нашу страну, грозя ей всевозможными карами. Как только что отметил Вюрмсер, когорта газетчиков «Юманите» на атаку отвечала атакой сражаясь храбро,— ей помогали писатели, никогда не порывавшие с коммунистами. Арагон был среди них...

По-моему, Вюрмсер еще продолжал го-

верить, когда распахнулась дверь и на пороге возник Арагон.

— Мне сказали, что вы здесь, и я решил вас повидать...— Арагон подмигнул Вюрмсеру, прося извинения, что умыкает гостя, и, обернувшись к двери, распахнул ее — мы вышли.

Вот так, следуя за Арагоном, я покинул «Юманите», и мы перешли дорогу. По ту сторону улицы был книжный киоск — он до сих пор стоит там. Арагон раскрыл ладонь и высыпал на нее несколько франков. В следующую минуту у меня в руках оказался последний номер журнала «Франция — СССР». Вручая журнал, Арагон раскрыл его на странице, осененной аншлагом: «Париж открывает новых русских поэтов».

— Моя статья,— не без гордости сказал Арагон, и я обратился к мысли, пожалуй, для меня не новой: как много он делает, чтобы советскую литературу узнала Франция.— Мой русский .. родился вместе с французским Эльзы, впрочем, французский Эльзы возник много раньше.— Казалось, он воспользовался статьей в журнале, чтобы развить эту тему: как русский вошел в его сознание.— Эльза поселилась во Франции, когда ей было двадцать три, и, очевидно, тогда же стала пробовать себя во французском, но до поры до времени скрывала...

— Оберегала... независимость?

Он остановился — видно, искал русские слова: он был несвободен в русском.

— Надо сделать так, как сказала бы Эльза, чтобы дороги ..как это? — Он поставил ладони крест-накрест.

— Не пересекались?

— Вот именно!..— воскликнул он и добавил задумчиво:— Мне все время казалось, что ее французский приходит словно перевод с русского, а потом понял... Нет! Очень интересно знать, как у человека рождается новый язык...

— Не стала бы она французской писательницей, не родился бы?

— Нет, это очень интересно, как русский человек у тебя на глазах становится французским писателем, оставаясь русским: все эти годы на нашем письменном столе были новые русские книги... А новая книга — это новое имя...

— Айтматов?

Он засмеялся — ему был приятен писатель, которого я назвал:

— В том, как он описал эту восточную степь, очень как это сказать, древнюю, может быть, даже... архаичную, краски хороши!..— Мы пересекли скверик, желтый песок которого так щедро был напитан водой, что стояли озерца,— Арагон с завидной легкостью перескочил одно озерцо за другим.— Знаете, что я хотел сказать?

— Да?

— Вы думали над таким фактом: Эльза напечатала свой первый роман по-французски, когда ей было сорок два... Только представьте: сорок два! — Мы пересекли сквер и пошли тише.— Согласитесь, что не каждый сможет вот так трансформировать сознание и успеть написать восемь романов по-французски, восемь!..

Он стал припоминать ее романы, написанные по-французски. Вспомнил «Терезу», «Вооруженных призраков», «Инспектора развалин», «Рыжего коня», «Розы в кредит», «Великое никогда», однотомник рассказов, удостоенный премии Гонкуров, когда Эльза выступила под именем Лоран Даниель, переводы на русский и на французский,— кстати, эта взаимосвязь существовала всегда.

— Эльза — это труд? — был мой вопрос.

— Только я знаю: труд! — ответил Арагон.— Радость труда!..

Наблюдая Триоле, я склонялся к иному мнению: деловая женщина. Арагон нашел другое определение: радость труда. Там, где мне представлялась рациональность, он видел подвижничество. Первое, как мне кажется, ниспровергало большое чувство, второе — его оберегало и, пожалуй, возвышало.

Я вернулся к стихам Арагона:

Это имя краснеет стыдливо при мысли
что я его выскажу вслух
А мне одного только надо: остаться его
отражением нечным

Не скажу, что эти стихи я переосмыслил, но новые краски в них открыл мне диалог с Арагоном.

Колдуэлл

Колдуэлл явился на Кузнецкий, где тогда находился Наркоминдел, с просьбой разрешить ему поездку на фронт — шла первая неделя войны. Вместе с ним должна была выехать Маргарет Берк-Уайт, в соавторстве с которой он сделал несколько книг — текст этих книг, по-колдуэлловски точный и зримый, своеобразно был соотнесен с художественными фотографиями Берк-Уайт.

Колдуэлл был молод — тридцать! — рослый, хорошо сложен, крепок в ходьбе, в его лице, пожалуй, самым характерным был подбородок, насеченный неглубокой ложбинкой, сообщающий его лицу если не суровость, то строгость. Помню, что Колдуэлл просил направить его и его спутницу к воротам Смоленска. Возможно, писатель опирался здесь не столько на знание обстановки, сколько на свое постижение русской истории: «Направление главного удара было тут и прежде».

Если не изменяет мне память, решение вопроса о поездке Колдуэлла и его спутницы потребовало некоторого времени, и писатель явился на Кузнецкий вторично, на этот раз вместе с ней. Как стало известно, спутница Колдуэлла не теряла времени даром и все эти дни усиленно снимала Москву, которая жила уже жизнью столицы сражающегося народа. С фотографий Берк-Уайт на нас глядит Москва тех памятных дней: колонны ополченцев, студентки медицинских институтов получают халаты, по площадям столицы идет на рысях конница. Были фотографии, которые, как можно догадаться, составляли предмет особого внимания Берк-Уайт, а возможно, и Колдуэлла. Это была, так сказать, на взгляд американцев, Русь патриархальная, которую по-своему колоритно воссоздала батальная живопись о 1812 годе

Как ни трудно было отыскать эту Россию летом 1941 года, американцы продолжали искать Богомолки в соборных сумерках, беженцы на пыльных трактах, нищие на папертях церквей перебирались из одной фотографии в другую. В ответ на возражение, что не этой России принадлежит решающее слово в борьбе с супостатом, американцы только разводили руками. Казалось, они готовы были согласиться, но просили понять и их: «По ту сторону океана есть читатели, которые в своем восприятии России остановились на 1812 годе, и им надо показать, что эта Россия жива».

А между тем разрешение на поездку Колдуэллу и его спутнице было дано, и американцы выехали к Смоленску. Как ни внезапно было вторжение врага, уже тогда страна собирала свою техническую мощь — танки, самолеты, артиллерию, что, в сущности, и явилось доброй основой русского кулака, обратившего фашистов вспять,— но это странным образом не соответствовало представлению американцев о России, наверно, было не так патриархально, да, пожалуй, не так живописно.

Поэтому, когда вскоре пришла книга Эрскина Колдуэлла и Маргарет Берк-Уайт «На смоленской дороге», состоящая из великолепных фотографий спутницы писателя и лаконичного, но яркого текста самого Колдуэлла, я не удивился, увидев Россию, в которой лишь отдаленно угадывалось страдное лето сорок первого,— из книги выступал красавец священник в парчовой ризе с дорогой панагией на груди, было много стариков, вдохновенно молящихся, с отблесками свечного пламени на лицах, и великолепные (надо отдать должное американской художнице) снимки придорожных часовен, надвратных колоколен, деревянных и каменных церквей, венчающих холмы и высокие берега.

Помню, что это первое знакомство с Эрскином Колдуэллом немало меня озадачило и заинтересовало. Имя его было знакомо нам по некоторым книгам, вышедшим за несколько лет до войны,— велика тут заслуга Ивана Кашкина, знатока американской литературы, много сделавшего, чтобы эта литература стала известна советскому читателю. Труд Кашкина был известен и за океаном — свидетельство тому письма Эрнеста Хемингуэя советскому американисту, которыми сегодня открывается собрание трудов Ивана Александровича.

Все, что теперь я узнал о Колдуэлле, не очень соответствовало моим прежним представлениям о нем. Ведь мы знали его по «Табачной дороге» — впечатление, оставленное правдивой книгой, жило в нас. Колдуэлл назвал свое произведение романом, хотя в романе всего восемь листов. Но вот фокус: такое впечатление, что по размерам своим роман в два раза больше— так он событийно крепок, так уплотнено в нем действие, так он многомерен по характерам и, пожалуй, по языку. Но главное, конечно, в ином. Это остросоциальный роман: писатель нарисовал потрясающе убедительный портрет бедствующей семьи, которую голод заставляет делать нечто такое, что способен заставить сделать только голод... Главный конфликт романа возникает в связи с судьбой двенадцатилетней Перл, которую семья продает в жены. Но Перл отчаянно храбра — она восстает, отказываясь подчиниться и родным и мужу. Наверно, вот здесь эпицентр романа: девочка волей обстоятельств точно прозревает, обнаруживая такую силу ума и воли, которой в этом возрасте в обычных условиях у человека нет. Но прежде чем победить, Перл надо пройти море (море!) нужды, узрев во всей неприглядности тенета человеческого изуверства. Как ни безотрадна картина, которую нарисовал Колдуэлл, хочется отыскать в ней луч света — это, конечно, маленькая колдуэлловская героиня,— хотелось осмыслить до конца прочитанное. Осмыслить и воздать должное социальному видению писателя, его способности распознавать правду жизни, его решимости единоборствовать с теми, кого можно назвать носителями зла.

Конечно, то, что сделал Колдуэлл, увидев сражающуюся Россию, в высшей степени благородно и подсказано сочувствием к народу, попавшему в беду. Речь в данном случае идет об ином, о мере социального понимания событий — казалось, у автора, написавшего «Табачную дорогу», оно должно быть более высоким. Но тут есть, быть может, свое объяснение: социальное видение — это во многом и знание. Америку автор знает значительно лучше России. Уже по одной этой причине степень понимания происходящего на отчей земле и за ее пределами у писателя не одна и та же.

И вот отгремели военные грозы, минуло, дай бог памяти, двадцать лет — и Колдуэлл вновь в Москве. В начале войны было тридцать, сейчас пятьдесят. Рядом с писателем его жена — художница Вирджиния Колдуэлл. Август — и на столе много фруктов. Может, поэтому у миссис Колдуэлл искушение раскрыть тетрадь и взять карандаш. Карандаш отдает глубокой чернью — угольный. Маленькая, заметно смуглая рука Вирджинии Колдуэлл быстра — художница хорошо владеет рисунком. Ваза с крупными грушами, укрытыми гроздьями винограда, которые, не уместившись, свешиваются с вазы, перенесена на тетрадный лист с завидной точностью. Колдуэлл нет-нет да скосит глаза на тетрадный лист, скосит заинтересованно, хотя мнения своего ничем не выражает. Можно подумать, что положение супругов суверенно — каждый занят своим делом. Но возникает и иная мысль: быть может, Вирджиния Колдуэлл вот так своеобразно аккомпанирует беседе мужа, при этом делает это не впервые. Как бы то ни было, это не мешает беседе, которую Колдуэлл ведет, тем более что беседа, по всему, остра и заметно захватила его.

Отчей землей для Колдуэлла стала отчая земля дядюшки Тома — американский Юг: Джорджия, Алабама, Техас, Флорида. Проблема цветной Америки — это проблема Колдуэлла. Едва ли не половина написанного им посвящена ей. «Неужели и после этого у нас в Америке не перестанут линчевать негров!» — сокрушается один из героев Колдуэлла, и в этом вздохе слышится вздох автора. Беседа быстро набирает силу потому, что в са-

мом начале затронута проблема, кардинальная для писателя, по крайней мере для его произведений, написанных в годы, непосредственно следующие за войной. А как теперь?

— Как мы заметили, негритянской проблемы нет в ваших произведениях последних лет, мистер Колдуэлл. Мы не ошибаемся?

Наш гость не ожидал, что слушатели начнут беседу без необходимой в этом случае «экспозиции» — вопрос обнаруживает желание говорить по существу.

— Ну, что я могу сказать? — произносит он и, достав пачку сигарет и зажигалку, принимается раскуривать сигарету — не иначе хочет выгадать драгоценные секунды.— Краски Америки не обнимешь: белые, черные, желтые, оливковые... Их роль во всех сферах жизни растет...— Он, как можно было заметить, начал издалека — если идти от элементарного, легче избежать ошибки.— Но есть оппозиция, особенно сильная на Юге. Она выступает против равенства негров. Речь идет об общественных и государственных институтах, образовании... Страна требует совместного обучения белых и черных — тут есть прогресс, но не везде. Сам я — сторонник предоставления равных прав неграм и белым...

— Насколько нам известно, в Америке есть тенденция распространить требование равных прав на все сферы жизни, в частности на искусство, не так ли? — Этот вопрос, казалось, возник сам собой и, по всему, насторожил нашего собеседника.

— Я думаю, что, если человек талантлив, его талант сумеет пробить себе дорогу,— ответил Колдуэлл.— Я говорю о Киде и Белафонте. Это можно отнести не только к артистам, но и к писателям — Ленгстон Хьюз тому пример. А певцы? Например, Поль Робсон! Надо сказать, что в Америке предрассудки не так сильны в сфере искусства, как в сфере социальной.— Он умолк, раздумывая,— видно, ответ потребовал сил. Отвечая, он спалил сигарету и едва не припек пальцы, однако донес ее до пепельницы и загасил, сплющив о дно.— Если негр — обеспеченный человек то он меньше ощущает на себе эти предрассудки, если же он беден, они дают себя знать больше Средний американец, как я заметил, не является ненавистником негров. Имущественные различия сильнее национальных. Если жизненный уровень всех рас будет повышаться, то есть надежда, что их общественное положение сравняется...

В скобках отметим, что именно это высказывание Эрскина Колдуэлла вызвало возражение присутствующих, при этом журнал счел возможным вынести эти возражения и на свои страницы: в самом деле, талант того же Поля Робсона обнаружил себя столь внушительно не благодаря преодолению расовых предрассудков в Штатах, а вопреки этим предрассудкам. Однако это была частность — в остальном реплика Колдуэлла была очень интересной, выдавая в нем человека, чья мысль о проблеме цветных на американской земле плодотворна.

— Как вы оцениваете дискуссии о судьбе романа? Вам, конечно, известно мнение, что роман якобы должен умереть, при этом, разумеется, вместе с традиционными своими героями?

Колдуэлл вздыхает, возможно даже облегченно. В том, как отвечал он на вопрос о положении негров, незримо присутствовало напряжение, быть может даже неловкость. В США, в отличие от Великобритании, например, насколько нам известно, нет закона, запрещающего подданным империи критиковать за рубежом имперские порядки, тем не менее... Одним словом, нам послышался вздох облегчения.

— Великие романы, написанные великими писателями, останутся навсегда...

Карандаш миссис Колдуэлл, перенесший в тетрадь своеобразную форму нашего окна и нехитрый пейзаж, открывшийся за ним, невольно повис над бумагой: ее глаза, обращенные на мужа, выражали любопытство — проблемы искусства ей ближе остального.

— Да, останутся навсегда,— повторяет Колдуэлл.— Пример — Толстой и его роман «Война и мир». Роман в силу своей природы все время обновляет форму. Скажем, сто лет назад для английского романа был характерен тип романа Диккенса. Сейчас невозможно писать так, как писал Диккенс. Роман несет на себе следы жизни и вместе с нею меняется. Вероятно, что со временем мы придем к такой форме романа, которую сегодня представить трудно...

А разговор продолжал набирать силу, рождая вопросы неожиданные,— это отражали и ответы писателя, они были подчеркнуто логичны, в них почти отсутствовала импровизация.

— Полагаем, что вы правильно поймете нас, мистер Колдуэлл, если мы зададим такой вопрос: чем объясняется различие, которое, на наш взгляд, существует между вашим творчеством тридцатых годов, отразившим многие значительные стороны жизни американского народа, и произведениями, созданными в последнее время?

Все явственнее вмешивается молчание. Видно, беседу трудно сместить в сферу абстрактных истин и виноват в этом Колдуэлл — он ведь социальный писатель. Но молчание все еще владеет сидящими за столом. Похоже, для Колдуэлла вопрос упрятан в серебряную обертку. «Чем объяснить, что из ваших произведений последнего времени ушла социальная тема той глубины и того масштаба, какие им были свойственны в тридцатых годах?» — так или приблизительно так мог прозвучать вопрос, если его освободить от этой серебряной обертки.

Он, конечно, понимает, сколь ответствен для него этот разговор, и остается верен принятой манере: всесильная пауза занимает в его ответах такое же место, как и все остальное. По его словам, он всегда был и будет реалистом, он писал о жизни, которую знал, сам жил ею. Он всего лишь следовал за жизнью, заметьте: следовал за жизнью. «Табачная дорога» появилась в тридцатые годы, в пору деспотии кризиса! Это был роман о том, как человеку спастись от голодной смерти. Прошло двадцать пять лет, и Колдуэлл написал «Гретту» — роман о женщине, свободной от бед,

которые одолевали прежних героев писателя, Колдуэлл считает, что никакого противоречия тут нет. Он и в самом деле всего лишь следовал за жизнью.

— Итак, я взял эти крайности,— заключил Колдуэлл,— чтобы показать, что моим компасом была жизнь, всего лишь жизнь...

Но разговор в редакции все-таки обрел формы полемики, и ничто не могло повести его по иному пути. Однако как возразить писателю, оставшись верным истине, и сберечь интонацию беседы, по всем признакам доверительной?

— Как мы поняли, проблемой проблем для вас и сегодня является жгучая современность Америки. Уместен вопрос: разве положение негров перестало быть такой проблемой?

Однако надо отдать должное Колдуэллу-полемисту: он и тут нашел ответ, при этом по-своему убедительный. Он сказал, что написал два романа о неграх: «Случай в поле» и «Истервиль».

— Это были, по-моему, два лучших романа, которые вообще написаны в Америке о неграх,— парировал он.— Я считал, что исчерпал эту тему, и больше писать на нее не могу...

По всему, беседа минула свой пик, и первой это почувствовала Вирджиния Колдуэлл — быстрым движением смуглой руки она перенесла на бумагу очертания гладиолусов, грациозные стебли которых удерживала стоящая в углу ваза, и тихо закрыла тетрадь. Она все делала тихо и, пожалуй, чуть-чуть церемонно, с едва заметной улыбкой на устах. Не знаю, много ли раз она была свидетельницей столь острого разговора, какой произошел сегодня, но надо отдать ей должное, она сберегла эту свою церемонную малоречивость до конца. Во всяком случае, в том, как по мере обострения диалога он преломлялся на ватмане Вирджинии Колдуэлл в плодах и цветах лета, было жизнелюбие, а значит, и самообладание. Быстрый и твердый удар ее угольного карандаша, видимо, шел за беседой, поспевая сказать главное: «Все идет как нельзя лучше, как нельзя лучше...»

Но у беседы уже обозначился дальний берег — она шла к концу.

— Очевидно, в литературных связях между нашими странами свою роль должны сыграть писательские встречи?

— Я надеюсь, что все больше советских писателей будет приезжать в США, а американских — в Советский Союз. И я хочу, чтобы писатели приезжали не только в Москву и Нью-Йорк, но путешествовали по стране,— говорит Колдуэлл, и голос его окрасило волнение, едва заметное, пожалуй, впервые сегодня.

— Вас широко читают у нас. Что вам говорят беседы с нашими читателями?

— Для меня внимание ваших читателей — большая честь. Очевидно, это говорили и до меня, но готов повторить: ваши читатели — лучшие в мире...

Расставание отмечено радушием. Будто и не было спора. Очевидно, имело значение, что в споре была добрая воля. Но, вернувшись к беседе, хотелось думать: пафос произведений Колдуэлла в большей мере критичен, чем его высказывания, а книги писателя дают более объективную картину социальных метаморфоз Америки, чем диалог с ним. Нет, Колдуэлл не изменил себе. Просто Колдуэлл не мог не воспринять климат Америки, возникший вместе с «холодными» пятидесятыми. Печально, что даже такой большой писатель, как Колдуэлл, должен считаться с этим.

Новая встреча с Колдуэллом произошла четырьмя годами позже — возможно, писатель соотносил свою поездку с предыдущей и приехал осенью,— рядом с ним вновь была Вирджиния Колдуэлл.

Как свидетельствовала всезнающая молва, эти годы Колдуэллы провели в поездках — объездили полмира. Вот и к нам приехали не кратчайшим путем. Казалось, отсвет этих странствий лежит на их лицах — нет, не то что зной экзотического юга осмолил кожу и улыбка стала ярче, живое беспокойство, беспокойство пристрастное отразили лица... Наверно, во все времена так выглядели те, чьей страстью была жажда странствий — припомнился Колдуэлл военной поры, его молодость была в походке и крепкой стати. Но вот что владело мыслью: когда расставались последний раз, была, признаться, тревога — правильно ли поймет американец наши вопросы, не скажутся ли повороты спора, подчас крутые, на наших отношениях? Но нет, все понято правильно, за столом прежний Колдуэлл, непредвзятый, пожалуй даже радушный... Да и беседе сопутствует приязнь — кажется, итальянский карандаш Вирджинии Колдуэлл движется по ватману с той же уверенностью — разве только у стоящих поодаль цветов краски не августа, а октября.

Его память обращена к войне — тут истоки и его отношений с Россией.

— Был момент, когда победа казалась невозможной. Если бы не русские, союзники не выиграли бы войны. Очень хочу проехать по стране, посмотреть, как живут ваши люди. Ах, как бы много я узнал, если бы говорил по-русски! А так вижу, но не слышу, а поэтому вижу не все. Понимаю: между русскими и американцами есть даже некоторое родство — по-моему, похожи, верно ведь?

Итальянский карандаш очертил контур рисунка, висящего на стене,— это Пикассо. Волей художника в наброске лик Гагарина соединился с очертаниями голубя. Рисунок был сделан одной линией и мог бы быть отнесен к тем работам великого мастера, которые обрели значение символа. Для редакции — это реликвия.

— Не полагает ли мистер Колдуэлл, что атмосфера отношений между нашими странами — если сравнить прошлый приезд американских гостей с нынешней порой,— быть может, в большей степени способствует этим ощущениям?

Похоже, последний вопрос встревожил гостя — как это было прежде, несколько крепких затяжек — и огонь его сигареты вспыхнул и погас.

— Мое отношение к русскому народу никогда не менялось,— говорит Колдуэлл и бросает окурок в пепельницу — он точно извиняется за тех, чье отношение к нам подверглось метаморфозам.— Связи между странами — сфера дипломатов. Что же касается меня, то я считаю: народ остает-

ся народом. Многие американцы — люди с большим сердцем, честные люди,— разумеется, чувствовали, что система наших контактов с Советским Союзом в последние годы становится иной. И все-таки простой американец хочет больше знать о русских — немалое число студентов изучает русский язык... Но иногда можно наблюдать вспышки противоположных чувств. Как я заметил, этому сопутствует выступление в конгрессе или сенате политиков. В целях, которые хочется назвать карьеристскими, эти политики идут далеко. Не без желания прослыть смелыми, они кричат: «Не следует доверять русским!» Но даже подобные люди понимают, что Советский Союз — великая держава...

Не надо быть большим знатоком Колдуэлла, чтобы понять, что мы имеем дело с человеком, чью веру в добрую волю нашего народа не могут поколебать ни годы, ни обстоятельства. В добрую волю, а значит, и в преданность идеалам мира.

Но, очевидно, в нашей беседе с Колдуэллом важны и частности: как это было в прошлый раз, потребовалось немного времени, чтобы острые рифы этих частных вопросов дали о себе знать.

За Колдуэллом — знание негритянской проблемы. Говоря об этом, писатель и на сей раз хочет правильно расставить акценты. Он полагает, что процесс уничтожения неравенства в области образования между белыми и черными имеет место в Америке. Если этот процесс будет продолжаться, то все больше негров будет иметь квалифицированную работу. Но это только в сфере образования. Во всех иных сферах, в частности там, где два главных потока населения, может быть, даже смыкаются,— улица, ресторан, театр, то есть там, где жизнь сталкивает черных и белых лицом к лицу,— имеет место неравенство... Итак, лет двадцать назад негры были менее образованны, менее квалифицированны, менее в широком смысле этого слова просвещенны, сейчас положение иное... Если дело пойдет даже нынешними темпами, прогресс будет заметен. Таким образом, медленно, без насилия может быть сделан существенный шаг вперед... Так думает Колдуэлл.

Не принимает ли тут американский гость желаемое за действительное — положение наверняка не столь благополучно. Едва ли не в тот самый момент, когда мы беседовали с Колдуэллом, Белый дом сделал достоянием общественного мнения данные, говорящие сами за себя: уровень безработных среди негров вдвое выше, чем среди белых. В каком веке эти две цифры сравняются и какое значение это может иметь для негра, который сию минуту мерзнет в нетопленных трущобах Гарлема? И вновь мы возвращаемся к мысли, однажды высказанной: у книг Колдуэлла немалые преимущества перед устными свидетельствами писателя — книги воссоздают американскую действительность точнее. К тому же у книги есть своя привилегия: она живет дольше. А это уже серьезно. Наверно, достойно сожаления, что тут два мнения, лучше, если было бы одно...

Разговор возвращается к чисто литературному сюжету. Писатель закончил роман «Последняя ночь лета» и книгу путевых записей «Мои путешествия по всем штатам», которую иллюстрировала Вирджиния Колдуэлл.

— Я делала эти рисунки по его рассказам,— говорит миссис Колдуэлл, глядя на мужа, когда мы покидаем редакцию и выходим на Пятницкую.— Я слушала его и рисовала... Как теперь...

Она поднимает на него глаза, будто ждет согласия. Кажется, он подтвердил сказанное ею, и они продолжают путь. В их неспешной походке, в нерезких жестах, может быть, даже в сомкнутых устах есть тишина, которую они так ценят,— тишина раздумия, чуть-чуть печального.

Где причина этой печали?

Сноу

Из тех наших зарубежных гостей, которые проторили тропу в редакцию «Иностранной литературы», одним из самых колоритных был, конечно, Чарльз Сноу. Одаренный ученый-физик, государственный человек, выдающийся прозаик, задавшийся целью создать цикл романов, рисующих своеобразную человеческую комедию нашего времени,— очень хотелось повидать писателя. Все, что удалось прочесть из написанного Сноу, вызывало в сознании образ человека значительного и в чем-то не совсем обычного. Вопреки традиции, в нем наука и искусство не были антагонистами. Больше того, Сноу был одним из тех немногих писателей, кто гордился своей принадлежностью к миру науки — менее чем в двадцать пять лет магистр, в двадцать пять — доктор наук... Но, заметив, что Сноу призвал в союзники науку, мы сказали бы не все. У Сноу был союзник, не уступающий науке, а ее, пожалуй, превосходящий: Памела Джонсон, жена, друг, сподвижница на литературной стезе. Прозаик, чья серия романов была поиском и в сфере жанра: «Кристина», «Хороший слушатель», сатирическая трилогия — «Невообразимый Скиптон», «Ночь. Молчание. Кто там?», «На улице Корк, рядом с магазином шляп». Как можно было понять, творчество Сноу и творчество Джонсон суверенны, не пересекаясь ни в теме, ни в форме; но взаимообогащение, хотя и было скрыто для внешнего глаза, несомненно, имело место.

И вот чета Сноу в особняке на Пятницкой — Сноу около шестидесяти, Джонсон моложе. Первое впечатление — любящие супруги. Чуть-чуть сдержанные, даже робкие, внимательные друг к другу. Знают, что им тут рады, и очень доброжелательны. Как ни объемен интерес хозяев к современной английской литературе, гости готовы к беседе.

Поводом к ней явился вопрос в какой-то мере стереотипный: над чем работают гости сегодня. Сноу отвечает, попыхивая сигаретой. Не очень-то хочется говорить о работе, когда она не завершена, но его это, кажется, не пугает. Роман обращен к крутому повороту британской истории — середине пятидесятых годов. Новое произведение Сноу воссоздает панораму анг-

лийской политической жизни — правительство, парламент, политические партии, университеты, как центры деятельности ученых, чья жизнь смыкается с коридорами власти. Наверно, сказанного недостаточно, чтобы представить себе будущий роман Сноу, но какие-то черты произведения уловить можно. Впрочем, из сказанного была ясна главная тема беседы: роман. Да, какими путями должен пойти современный роман, в какой мере он будет преемственным, если говорить о традициях жанра, которые создал классический реализм прошлого века, насколько следует воспользоваться поиском, имевшим место уже в нашем веке, и в какой мере есть резон пренебречь тем, что нам оставили классики,— вот круг вопросов, поставленных Сноу при сочувственном внимании Памелы Джонсон — она стимулировала его мысль не только поощрительным взглядом, но и репликами — они были скупы, но в них, как мне показалось, таилась энергия убеждения.

Кроткая Памела Джонсон отважилась произнести по существу этой проблемы нечто такое, что в ее устах звучало воинственно: «Мы ведем борьбу против того, что вы называете формализмом. В английском искусстве и литературе к концу первой мировой войны была опасность ухода в бесплодное эстетство... Вулф научила нас лучше видеть, Джойс — лучше слышать. Мы признаем это и не хотим выплескивать вместе с водой ребенка. Но некоторые писатели, объявившие себя их последователями, уже ничем, кроме формы, не интересовались. Большая часть их книг напоминала прекрасные фигуры без головы. Между тем стиль произведения рождается из его содержания, а не наоборот».

Разговор пододвинулся к своему пику, и наши гости, показавшиеся спервоначала не очень-то храбрыми, выказывали все больше отваги в отстаивании принципов, о которых шла речь.

— То направление в литературе, что принято называть критическим реализмом, и по сегодняшний день — главное в английском романе. Конечно, существуют другие течения, которые нам лично не нравятся, хотя среди их представителей есть талантливые люди и пишут они талантливые книги. Из писателей, которых мы называем представителями «символического романа» (Сноу так и сказал: «Мы называем»; термин этот, разумеется, условен), самый талантливый — Уильям Голдинг.

Свободное русло беседы вбирает все новые мнения. Реплика: если принять термин Сноу «символический роман», надо признать, что этот роман нашел на континенте более благоприятную почву и в большей мере привился, чем, например, на Британских островах,— не так ли? Не без раздумий гости соглашаются. Как они полагают, «символический роман» никогда глубоко не проникал в британскую почву, в то время как, например, в той же Франции он взялся с силой заметной. Англия и в этом страна классических традиций, тут нет для «символического романа» подходящих условий. «К тому же англичане для этого слишком практичны и трезвы». Не без улыбки наши гости говорят о французском «новом романе», отметив, что круг его читателей невелик. «У нас есть книги, которые никто не читает, но о которых много пишут»,— говорит Сноу со снисходительной улыбкой — кажется, что в своей иронии он щадит кого-то.

Однако Сноу явно еще не сказал главного, что хотел сказать в тот день и что логически следовало из всего строя его реплик. Но он готовился сказать это и произнес все в той же спокойно-раздумчивой манере, как бы завершая разговор:

— По-моему, величайший из романистов на земле — это Лев Толстой. Он смотрел на мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал. Вйдение Толстого никогда не было искаженным...

Мне эта формула показалась в высшей степени характерной для Сноу, полагаю, что в ней — принцип эстетики писателя. То обстоятельство, что человек такого интеллекта и такого творческого диапазона, как Сноу, сделал своеобразным девизом своего художнического мироощущения эту формулу, говорит о том, что будущее — за методом, который если не тождествен, то близок образу мышления Сноу.

В дни пребывания в Лондоне я был у супругов Сноу. Чета Сноу принимала меня в городской квартире, расположенной в массивном особняке,— в подъезде наряду с прочими табличками, отливающими хорошо надраенной медью, была и доска, необходимая мне: «Лорд Чарльз Перси Сноу». К торжественной доске у входа в квартиру очень шел бы швейцар в униформе, украшенной золотым шитьем. Но все было много проще: дверь открыла Памела Джонсон, одетая в простенькое домашнее платье, не успевшая снять фартук, в котором она, как мне показалось, дожидаясь гостя, провела последний час на кухне.

Явился Сноу и пригласил в гостиную, в которой уже был накрыт стол к ужину. Но массивная доска у входа в квартиру, слепленная из знатной меди, была виновницей и иного. Казалось, что вот-вот распахнется дверь и лакей вкатит сервировочный столик, на трех полках которого поместится наш ужин. Но ничего похожего не произошло. Первозданная тишина окружала нас, изредка нарушаемая мягкими шагами Чарльза Сноу и Памелы Джонсон — охраняя тишину, хозяева были обуты в туфли, скрадывающие шаг. И будто не было паузы между нашей встречей на Пятницкой и здесь, в белокаменном особняке в теккереевском районе Лондона, Сноу продолжил свою мысль о Толстом. (Помните: «...он смотрел на мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал...») Однако теперь речь шла о Шолохове. Супруги Сноу только что возвратились из поездки в нашу страну, побывав на Дону, в Вешенской,— для поездки к автору «Тихого Дона» были у супругов Сноу свои веские основания.

— То, что я сказал о Толстом, можно распространить на Шолохова, и одно это многое объясняет в родстве, связывающем

авторов «Войны и мира» и «Тихого Дона», как, наверно, и в моей симпатии к Шолохову,— сказал Сноу и улыбнулся: ему было приятно это открытие.

Разговор продолжался, и Сноу осторожно переключил его на иную тему — она волнует писателя не меньше, чем проблема романа. По тому, как осторожно Сноу подступился к этому сюжету, вызвав явное волнение хозяйки дома, можно было предположить, что речь пойдет о предмете значительном.

— Не считаете ли вы, что нашей интеллигенции грозит опасность раскола? — спросил Сноу.

Если бы этот вопрос задал мне не Сноу, я, пожалуй, прежде чем на него ответить, смешался бы, но Сноу сам подтолкнул меня к верному ответу.

— Раскола? — переспросил я тем не менее.— Это как же понять? Физики и лирики?..

Он улыбнулся:

— Можно назвать и так, не будь то так печально...

— Тогда я вас слушаю...

Он готовился ответить на мой вопрос, в то время как хозяйка была занята столом. Я заметил: в лилейной белизне скатерти и салфеток, как и в блеске столового серебра, были чувство красивого и простота.

— Проблема, о которой я хочу говорить, впервые декларирована мною в двадцать пятом году в публичной лекции, прочитанной в Кембридже,— произнес Сноу, наблюдая, как хозяйка накрывает на стол.— Помню первое название лекции: «Две культуры — гуманитарные и точные науки» Смысл того, что я хотел сказать слушателям, можно было сжато изложить в следующих словах: по мере того как прогрессирует знание, углубляется пропасть между гуманитариями и представителями точных наук. Одни не понимают других, не понимают и не хотят понимать. Если все-таки в случае необходимости возникает диалог, это диалог глухих. Настаиваю на мысли, высказанной неоднократно прежде: основы современной науки должны быть освоены писателями как материал для их произведений, как часть нашего умственного опыта. Без этого отражение процессов, происходящих в нашем веке, будет искажено. Но, например, в Великобритании образование так разветвилось, что трудно себе представить, как подобную систему образования можно осуществить. Положение достаточно серьезно, взаимная враждебность имеет тенденцию лишить одну и другую стороны общего языка. Большая часть наших писателей ничего не понимает в науке, и это является косвенным объяснением того, почему их представление о реальной жизни нередко деформировано...

Как видите, я привел разговор к тому, с чего начал... Мысли Сноу, высказанные им в его острых публицистических работах, явились предметом живого спора и в тогдашней нашей прессе. Советская критика отозвалась на этот тезис Сноу достаточно сочувственными репликами, хотя не во всем согласилась с английским писателем. Отметив, что Сноу верно обрисовал коллизию, критика особо подчеркнула, что английский писатель не раскрыл до конца социальные причины конфликта, не утвердил основополагающую для этой проблемы истину: противоречия в обострившихся отношениях мира капитализма. Социальная и этическая атмосфера, которой были окружены эти отношения, не столько препятствовала им, сколько их стимулировала.

Случилось так, что именно в эти дни наше посольство устроило прием, у которого был свой важный повод — в Лондон приехал балет Большого театра, сопутствуемый представительной делегацией деятелей советского искусства, которую возглавляла на правах министра культуры Екатерина Фурцева.

Лучшего повода для общения людей искусства не могло быть — мир театра, мир музыки и живописи, мир литературы собрался в русском доме в Лондоне.

По опыту я знаю, что, явившись на прием, надо суметь первым долгом обозреть гостей, установив, кто на приеме присутствует, а потом уже прикинуть план бесед — прием необыкновенно удобен для такого рода встреч. Шутка ли, все, кого ты хочешь увидеть, едва ли не к твоим услугам...

Ну, разумеется, нетрудно было обнаружить массивную фигуру Чарльза Перси Сноу — как это бывает, встреча, которая у меня была с четой Сноу в теккереевском районе Лондона, продолжала жить во мне, рождая все новые вопросы,— мне даже думалось, что главные вопросы я Сноу не задал, да, наверно, и не могу задать, если учитывать, что я обратился к этим вопросам и в той беседе с Пристли, которая произошла позже.

Итак, улучить подходящую минуту для беседы было делом техники, тем более что и Сноу, как показалось, заметил меня и искал возможности встречи.

В посольстве, я знал это еще с давних времен, существовала традиция, которая мне представлялась симпатичной: в дни больших приемов для гостей открывались служебные комнаты, не исключая и святая святых дома — посольского кабинета. В этом словно бы был знак гостеприимства, да, пожалуй и здравого смысла: посольство было сравнительно невелико и в дни больших праздников вмещало гостей с трудом.

Итак, осторожно раздвигая толпу гостей, мы со Сноу проследовали в отдаленные апартаменты посольского дома, обосновавшись у окна, выходящего в посольский садик.

По моему виду Сноу понял, что вопросы буду задавать я, и, устраиваясь в кресле, сделал это с той солидностью, какая была свойственна его основательной натуре.

Как я понимал, прием ограничил наше время получасом, и я решил приступить к беседе без необходимой в этом случае подготовки.

— «Символический роман»? Как вы его все-таки понимаете? Сдается, что это определение условно и родилось в кругу ваших единомышленников, никакого отношения к символизму оно не имеет — так я толкую этот термин?

До окна было рукой подать, и Сноу сделал попытку разобраться в системе шпингалетов окна, приоткрыв его,— мой собеседник хотел курить.

— Сразу хочу отмести: никакого отношения к символизму, никакого!..— заметил Сноу, когда сигарета была зажжена и первое облачко дыма осторожно выпущено в окно.— И еще: как я говорил, это определение условно и призвано обозначить роман, который оказался в нашем обиходе... Речь идет о произведении, в котором доброй реалистической традиции, имеющей целью исследование жизни, правдивое ее отражение, что предполагает участие живого человека, противостоит нечто такое, что рождено изощренностью формы... Понятие «символ», быть может, не определяет всего, но в таком произведении велико значение именно символов, а к символам можно в данном случае приспособить и притчу, и переселение в души иных существ, и вторжение фантастики, и, пожалуй, чуть-чуть мистику... Допускаю, что я огрубляю предмет, как всегда в полемике. Полагаю, что есть читатели, которых этот роман может увлечь. Мне же эта литература неинтересна... Моему уму, моему представлению о предназначении художественного слова, моему видению жизни. Скажу больше: меня это не обогащает. Я могу прочесть один такой роман, второй мне читать трудно, в то время как Толстого и Достоевского я могу читать бесконечно.. Короче, к моему постижению человека роман, который я хочу называть «символическим», ничего не прибавляет: без человека, согласитесь, нет литературы...

Мне представилось, что Сноу подвел разговор к вопросу, который пробудил во мне Пристли и который очень хотелось, разумеется без ссылки на беседу в Элбанихаус, обсудить со Сноу.

— Но вот антология советского рассказа, которой вы отдали столько труда...— начал я издалека.— Есть мнение, что антологии свойственна черта, умаляющая ее художественные достоинства...— Я подбирался к сути медленно, Сноу затих, недокуренная сигарета погасла и, казалось, сама отыскала пепельницу.— Короче, существует мнение, что в этих рассказах злободневность так велика, что вытеснила общечеловеческое начало...

Сноу вздохнул — ему было небезразлично сказанное: все-таки антологию делал он.

— Послушайте меня внимательно,— произнес он и взглянул на меня не без печали — он был огорчен.— Полагаю, русской классике было свойственно достоинство, которое отличало не каждую литературу: человек, постижение человека... То, что тут создала русская словесность, эпохально и вошло в плоть и кровь мировой литературы, ее лучших образцов... Без риска ошибиться могу сказать: русская классика оплодотворила мировую литературу. Уместно поставить вопрос: восприняла ли советская литература это достоинство русской классики? Да, да, вопрос должен быть поставлен именно так: восприняла? Шолохов, Леонов, Федин, нынешние Астафьев, Белов восприняли? Ответ, как вы понимаете, требует беспристрастности абсолютной: восприняли!.. А литература, достоинство которой определяет стремление к постижению человека, не может стоять в стороне от проблем общечеловеческих... Именно тут истина, и ее опровергнуть трудно.

Реплика Сноу была короткой, но в ней я увидел попытку добраться до корней проблемы.

◆

Публицистика

НОРМАН КАЗИНС

ВРАЧУЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского М. САЛГАНИК

Консультант — ст. научный сотрудник Института сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР им. Бакулева Р. А. МОВСЕСЯН

Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.

Библия. Книга притчей Соломоновых, 17; 22.

Научно-техническая революция в медицине привела к появлению множества публикаций на тему древнюю, как сама медицина,— на вечную тему о том, что психологические факторы способны воздействовать на течение и даже исход заболеваний. Едва ли кому удалось более убедительно изложить доказательства в пользу этого положения, чем Норману Казинсу. Уже первая его книга «Анатомия болезни», вышедшая в свет в 1979 году, вызвала лавину заинтересованных откликов.

Новая книга Казинса — не отчет о последних достижениях в медицинской науке. Это рассказ человека, который, перенеся обширный инфаркт миокарда, превратил самого себя в своего рода экспериментальную лабораторию по борьбе с последствиями тяжелой болезни.

Книга Казинса появилась как раз вовремя: многие врачи все дальше отходят от постели больного, все чаще забывают о врачующей силе слова, выказывают безразличие к личности больного, психологическим и духовным его потребностям. Иными словами, нынешняя медицина, все больше фокусируя свои усилия на борьбе против болезни как таковой, все меньше уделяет внимания страдающему ею человеку: формально не опровергая тезиса о том, что именно больной является объектом врачебных забот, субъективные его особенности, как правило, игнорируют, считают малозначащим фактором. Поле битвы — тело больного, болезнь отступает, когда наступает врач. Хотя все восприятия больного часто окрашены его настроением, оно не считается очень уж важным для процесса выздоровления.

Медицина за последние полвека узнала больше, чем за предшествующие тысячелетия своей писаной истории. Хитроумная и все более совершенствующаяся медицинская аппаратура позволяет исследовать все уголки человеческого тела и разгадывать тайны многих патологических процессов. Огромные достижения медицины, непротиворечивость получаемых данных, их воспроизводимость, преодоление многих болезней, считавшихся раньше смертельными,— все это стало возможно в результате строгого применения научных методов и укрепило наше доверие к биомедицинской модели.

© 1983 by Norman Cousins

НОРМАН КАЗИНС — NORMAN COUSINS (род. в 1915 г.)

Американский писатель, публицист, ученый, общественный деятель. Сопредседатель и участник Дартмутских встреч. С 1940 г. главный редактор журнала «Сатердей ревью»; затем — директор Совета редакторов этого журнала; профессор, ведет научно-исследовательскую и педагогическую работу в медицинском колледже Калифорнийского университета. За плодотворную литературную и общественную деятельность удостоен многочисленных национальных наград и премий.

Сопредседатель двусторонних встреч советских и американских писателей, которые с 1977 г. ежегодно проводились в СССР и США.

Книга Н. Казинса «Врачующее сердце. Противоядие отчаянию и панике» вышла в 1983 г. («The Healing Heart. Antidotes to Panic and Helplessness». New York — London, W. W. Norton & Company, 1983).

Хотя абсолютное большинство врачей никогда не станет отрицать влияния *привходящих, в том числе и психологических факторов на течение болезни*, им отводится второстепенное место. Как только установлена основная причина заболевания, они уже едва принимаются в расчет. Например, если удается взять под контроль стрептококковую инфекцию при заболевании верхних дыхательных путей, психологическим факторам в ревматической болезни ребенка уже не придается серьезного значения. Без палочки Коха взлет воображения Томаса Манна мог бы и не вызвать к жизни «Волшебную гору». Есть врачи, готовые доказывать, будто стоит понять биологическую природу рака и психологические факторы, возможно управляющие развитием заболевания или воздействующие на степень страха и боли, превратятся в скучные строки на древних свитках.

Самый непреложный факт жизни — это смерть. Ее никогда не преодолеть ни изобретением искусственных органов, ни прогрессом науки. Жизнь человека всегда будет конечна, а болезни и страдания всегда будут подстерегать его на жизненном пути. Больной всегда будет нуждаться в уходе, в сочувствии, в лечении. Врач никогда не будет освобожден от своего долга: утолять боль, облегчать страдания, внушать надежду. Но существует еще одна сторона дела: могучие способности человеческого организма к саморегулированию и самоизлечению. Пренебрегая врожденным даром к самозащите, врач снижает потенциальные возможности своих собственных методов лечения и тормозит самый процесс выздоровления.

Казинс совершенно справедливо отмечает, что последователям Гиппократа все это было известно две с половиной тысячи лет назад — они утверждали, что больной *лечит себя сам, а медицина должна лишь активизировать этот процесс.* Гиппократ отдавал себе отчет в том, как важны взаимоотношения между врачом и больным. Время ничуть не снизило значимость его слов: «Иные из больных, хотя и понимают опасность своего состояния, выздоравливают потому только, что верят доброте врача».

Мне много раз приходилось видеть, как от неосторожных слов врача ухудшалось состояние больных стенокардией, аритмией, бронхоспазмами, грудной жабой.

Слово подчас убивает, но и исцелить слово тоже может. Вместе с тем врачи *плохо верят рассказам на эту тему: медицина с большим трудом выбралась из болота* субъективизма и никому не хочется вернуться к гаданию на кофейной гуще в замен уверенности, которую дает точный компас науки.

Проблема состоит в том, чтобы объективно оценить силу слова — не только в качестве способа поднять настроение больного, а как метода воздействия на глубиннейшие процессы организма.

Две тысячи лет назад Сенека говорил: «Смерть иногда бывает карой, часто — даром, а для многих — милостью». В случаях скоропостижной смерти от разрыва сердца ее уж никак не назовешь ни даром, ни милостью, ибо она обрывает жизнь в ее расцвете. И это — наиболее распространенная причина гибели людей во всех промышленно *развитых странах. Днем ли или ночью каждые 75 секунд в Соединенных Штатах скоропостижно умирает человек.* Внезапная смерть из-за болезни сердца омрачала человеческую жизнь с начала истории. Мысль о непредсказуемости конца тревожит наши сны и страшит нас напоминанием о хрупкости нашего тела. Сейчас уже установлено, что внезапная смерть наступает в результате нарушения сердечного ритма, известного под названием желудочковой фибрилляции, однако чаще всего четких острых морфологических изменений в сердце, вызвавших фибрилляцию, не обнаруживается. Внезапная смерть такого рода парадоксальна: без предупреждения разражается страшная катастрофа, а в сердце ничтожно мало острых изменений. Как правило, этому предшествует поражение коронарной артерии, но до сих пор медикам не удается выявить соответствие между его серьезностью и катастрофой. Известно, что причина поражения коронарной артерии — атеросклероз, который может развиваться постепенно, всю жизнь, но что приводит в действие смертоносный, почти мгновенно срабатывающий механизм, остается неизвестным. И в медицинской среде, и за ее пределами широко распространено представление о том, что гибельную аритмию вызывает психологический стресс. Предположение это крайне любопытно, поскольку больной может перенести сужение большой коронарной артерии или обширный инфаркт миокарда, но эти поражения могут не вызвать вентрикулярную фибрилляцию. Что же, значит, неприятная мысль способна быстрее привести к аритмии, чем серьезное повреждение самого сердца?

Норман Казинс задает эти вопросы в связи с собственной болезнью.

Способность человека справляться со стрессом зависит от сложного переплетения факторов, куда входит генетическая предрасположенность, переживания раннего детства, общественная адаптация, которая длится всю жизнь, и множество данных культурного и социального порядка. Все это — и еще многое другое — взятое вместе составляет психологическую призму, через которую события повседневной жизни преломляются единственным в своем роде и сугубо индивидуальным образом. Отрицательно действующие стимулы редко бывают единичными, явными и существенными; гораздо чаще они носят хронический или повторяющийся характер и кажутся незначительными. Более того — их воздействие может сказаться не сразу, а по прошествии времени. В этих случаях причинно-следственную связь бывает трудно проследить.

Чем лучше мы научаемся бороться со многими органическими проявлениями заболеваний сердца, тем большее равнодушие выказывает, к сожалению, кардиолог в отношении психологических факторов. Нигде это не проявляется так наглядно, как в кардиологических отделениях, где нередко больной воспринимается скорее как безличный объект медицинских забот, чем как живой человек. Сколько горя причиняет врач, который относится к больному как к неодушевленному предмету! И особенно часто это происходит с жертвами инфарктов.

Обыкновеннейший здравый смысл подсказывает необходимость учесть психологическое состояние больного, который только что был в полном порядке и вдруг, как ему кажется, очутился на краю гибели. Больничная обстановка ущемляет достоинство человека и вызывает стрессовое состояние у него, даже если болезнь не так уж серьезна: необходимость быть все время на глазах у чужих людей, разлука с семьей и друзьями, постоянное сознание своей зависимости, нарушение сна, болезненность процедур, побочные проявления лекарств, страх, как бы тебе не навредили, утрата контроля, неуверенность в восстановлении здоровья. Все это вызывает отрицательные эмоции: тревогу, чувство вины, стыд, ярость, которые усугубляют у больного ощущение бессилия, затравленности и депрессии. Молчаливый, мрачноватый, необщительный врач вырастает в грозного великана, а больной превращается в жалкого лилипута.

При этом вовсе нельзя сказать, будто врач не понимает отрицательного влияния психологического стресса на сердечно-сосудистую систему. Отец современной сердечной физиологии, Уильям Гарвей уяснил себе эту связь 300 лет назад, когда он сказал: «Всякое волнение разума, коим сопровождается боль или наслаждение, надежда или ужас, есть причина возбуждения, распространяющегося на сердце».

Изящно и точно изложил эту мысль Томас Сиденхем, знаменитый врач XVII века: «Приезд хорошего клоуна полезней для здоровья целого города, чем двадцать ослов, груженных лекарствами». Можно только пожалеть, что в целом нынешние врачи отходят от позиции Сиденхема.

Когда больной поступает в больницу с инфарктом, его встречает бригада медиков, оснащенных техникой всякого рода. Медики видят свою первейшую задачу не в том, чтобы успокоить перепуганного больного, который не знает, останется ли жив, а в немедленной установке капельниц, введении лекарств и сборе анализов. Личность больного, неповторимая индивидуальность человека размывается под натиском тщательно продуманного, раз и навсегда установленного порядка действий. Тревогу и страх у больного снимают щедрыми дозами валиума, не придавая особенного значения моральной поддержке. Когда же сердечный ритм становится хаотичным и переходит в вентрикулярную фибрилляцию, это приписывают обширности инфаркта.

Вместо того чтобы как-то умерить встревоженность пациента, ответить с пониманием и сочувствием на его расспросы, больничный персонал, случается, еще сильнее пугает его непонятной терминологией. Во время одного из моих обходов я спросил больного, который показался мне сильно подавленным, что его тревожит, и больной сказал:

— Думаю, док, мне не выкарабкаться.

Когда я поинтересовался, почему он так решил, больной ответил:

— Ну как же, интерн говорит, у меня обширный заднестеночный инфаркт, тот, кто осматривал в приемном отделении, сказал: инфаркт трансмуральный, в кардиологии мне сказали, что у меня окклюзия главной коронарной артерии, лечащий врач объявил, что это коронарный тромбоз. А сестра требует, чтоб я не задавал вопросов. Разве может выжить человек, когда у него столько болезней?

Означают же все эти термины одно и то же. Я стал выговаривать врачам за то, что они запугивают больных, на что мне удивленно возразили: «Мы хотели как лучше». Мы, врачи, всегда хотим сделать лучше, а когда получается — и нередко — хуже, мы оправдываем плохие результаты хорошими намерениями.

Каким же образом врачи превращаются в биотехнологов? Причин много, как во всяком сложном социальном явлении. Студентов в медицинские учебные заведения стараются отбирать так, чтобы туда попадали самые способные, перспективные, хорошо успевающие в точных науках. В результате медиками становятся те, кто способен к жесткой соревновательности, не отличаясь зачастую при этом широтой мышления,— молодые люди, которых не волнует проблема личных контактов с больными, которые, стремясь к достижению поставленной цели, не позволяют себе развиваться «вширь».

Норман Казинс преподает студентам-медикам литературу и философию. Можно ли поставить под сомнение необходимость этих предметов? Между тем когда мне случается во время клинических обходов упомянуть имя писателя, деятеля культуры, я вижу недоумевающие взгляды способных, блестящих в научном отношении молодых врачей. Ни один не слышал о Камю или о Сартре, а Стриндберга они принимают за нападающего бейсбольной команды «Янки».

Однако принцип отбора — всего лишь часть проблемы, потому что учебные программы медицинских институтов обесчеловечивают даже тех, кто шел в медицину с глубочайшим желанием служить человеку. В течение четырех лет студентам настойчиво внушают, что их задача — добиться высокого уровня знаний и стать биотехнологами, способными справляться с большим количеством сложной аппаратуры. Времени научить будущего врача заботиться о больном отводится недостаточно, стараний прилагается мало.

Психологические тесты показывают, что студенты обладают большей способностью к сочувствию при поступлении в институт, чем после его окончания. При еженедельных клинических обходах студентов могут познакомить с редким заболеванием, но не часто их внимание обращают на необходимость уметь откликаться на нужды больных, успокаивать их тревоги или утешать семью. Раз ничего этого нет в учебных программах, то откуда будущему врачу взять умение, как пишет Казинс, «мобилизовывать и приводить в действие те силы в человеке, которые работают на восстановление и лечение»?

Еще более серьезен фактор экономический. Хорошо оплачиваются процедуры, особенно те, в которых применяется современная техника, а медицинские советы, моральная поддержка или защита интересов больного — дело малодоходное. Добрые отношения между врачом и больным укрепляются кропотливым и неторопливым составлением истории болезни. Хорошо составленная история болезни может иметь решающее значение для постановки верного диагноза у 70 из каждой сотни больных. Но плата за составление истории болезни ничтожна по сравнению с тем, что берут за большинство обследований с помощью аппаратуры, хотя информации эти обследования дают меньше. Молодой врач, весь в долгах, быстро постигает экономические истины и сосредоточивается на том, что дает ему возможность больше заработать.

У призмы, искажающей представление о медицинских ценностях, есть еще одна дополнительная грань, которую я назвал бы «синдром отцов и детей». Клинический опыт приобретается годами практики, умение вынести верное суждение о характере заболевания — трудом всей жизни, а освоить новую технику можно в два счета. Значительно легче научиться расшифровывать показания приборов, чем приобрести мастерство в составлении добротной истории болезни или в осмотре больного. Так и появляется «кибернетический перекос», а чем меньше врач умеет делать сам, тем больше он полагается на аппаратуру. Врачу старшего поколения трудно следить за подлинной Ниагарой новых приборов, усовершенствованных методик, непривычных концепций и без конца меняющейся терминологии. Молодой, неопытный врач оказывается в выгодном положении, поскольку акцент делается не на умении понять больного, а на владении аппаратурой. Медико-индустриальный комплекс всемерно поддерживает эту тенденцию.

Еще больше увеличилось извечное расхождение между наукой и этикой. Наука все время движется вперед, а человеческая природа и психологическая реальность остаются в целом стабильными. Если художественное творчество вбирает в себя прошлое и продолжает его, то научная истина ниспровергает то самое прошлое, из которого она вышла. Учебник медицины десятилетней давности уже устарел. Сотворение себе кумира из последнего номера медицинского журнала говорит о неудовлетворенности и нетерпении в отношении вчерашних фактов. Современный ученый склонен игнорировать прошлое. В медицине нет героев, есть только модные знаменитости. Для художника истоки, соединяющие его с мастерами минувших веков, питают и его собственное творчество. Эсхил и Шекспир так же важны, как Достоевский и Хемингуэй. Все они исследуют человеческую душу, обнажая бесконечное разнообразие жизни и пытаясь понять, в чем ее смысл. Как пишет Норман Казинс, литература и искусство ответов не предлагают — они ставят вопросы и открывают перспективу. Врач, дитя науки, не удовлетворяется общими положениями, а добивается однозначных, фактических ответов. А между тем подчас проблемы больных легче понять, отталкиваясь от того, что дают нам литература и искусство, чем через научные факты. Наука может объяснить, как размножается вирус, но не может ответить, почему пролилась слеза.

Апологетическое отношение врача к науке, к технике порочно лишь тогда, когда оно чрезмерно и идет вразрез с традициями человечности.

Значение «Врачующего сердца» заключается в том, что эта книга учит больных искать целительные силы в самих себе, укреплять в себе дух уверенности, оптимизм, необходимые для преодоления болезни. Но для этого нужно и другое — врач должен стать активным союзником больного. Только в этом случае медицина по-настоящему соединит в себе искусство и науку во имя здоровья и благополучия человека.

БЕРНАРД ЛАУН,
профессор-кардиолог, сопредседатель движения «Врачи за предотвращение ядерной войны»

Подведение итогов

Статистика, если тебе известны ее выкладки, может оказаться невеселым соседом по палате.

Пятьдесят процентов больных с инфарктом умирают в первые же сутки. Эти цифры не шли у меня из ума, когда 22 декабря 1980 года «скорая» доставила меня в больницу Калифорнийского университета. Диагноз: обширный инфаркт миокарда с застойными явлениями.

Наступила ночь, а я не мог решиться заснуть. Я ловил себя на том, что думаю, прямо по Достоевскому, не последняя ли это моя ночь на свете. Навязчиво лезла в голову мысль, что есть что-то угнетающее, необязательное, оскорбительное, прозаичное в том, чтобы окончить жизненный путь в полуосвещенной кардиологической палате. Ощущение это не проходило ни от электронного «бип-бип» монитора, подсоединенного к моему телу, ни от голосов за дверью.

Мне почему-то всегда казалось, что жизнь не может прекратиться просто

так, что последовательность ее событий должна привести к кульминации, что уходить надо, уплатив долги.

В списке тех, кому я оставался должен, стояли имена моих близких, которым я так и не сумел выразить мою любовь к ним. Потребность раскрыть душу часто наталкивается на спокойную уверенность, что для этого представится и другой, более подходящий случай. Я вспомнил, как пришел в больницу к умиравшему отцу. Он лежал с открытыми глазами, но уже ничего не видел. Губы его шевельнулись. Я взял отца за руку.

— Норман, это ты? — прошептал отец.

— Я, папа.

— Норман,— сказал отец,— я хочу, чтобы ты знал, как я тебя люблю. И всем передай, что я их люблю.

По-моему, это и были его последние слова.

Я не в силах выразить, что я испытал в тот миг. Отец был довольно сдержан в проявлении своих чувств. Боюсь, что я тоже.

Не прошло и десяти лет, и вот теперь уже я лежу на больничной койке в палате, где неуверенностью веет даже от светлых стен. Есть ли у меня надежда сказать последние слова жене, детям, брату, сестрам и друзьям, как отец сказал их мне?

О чем еще можно думать в такие минуты? Джон Стейнбек в эссе для «Сатердей ревью» писал, что неминуемо наступает время, когда каждый человек должен спросить себя: «Достаточно ли я жил? Достаточно ли любил?» Первый вопрос не вызывал у меня сомнений. Что же касается второго, то вопрос для меня заключался не в том, достаточно ли я любил, а сумел ли я сделать так, чтобы это знали и чувствовали любимые мной...

Попробовать заснуть? Или со сном нужно бороться? И вдруг мне стало смешно — я же считаюсь человеком, который панике не поддается, умеет оптимизмом и верой вызывать к жизни защитные силы, внутренние ресурсы своего организма! Ведь лежу-то я на больничной койке в клинике при том самом медицинском учебном заведении, где я, не врач по образованию, занимаю профессорскую должность, читаю лекции о необходимости предотвращать нервные срывы, укрепляя защитные силы организма.

Мне стало как-то неловко.

Я включил телевизор — шел бейсбольный матч между университетскими командами. Играли паршиво, но Калифорнийский университет победил, получив три очка в дополнительное время. Я следил за игрой и даже вошел в азарт, что отвлекло меня от тягостных размышлений. После матча я вздохнул, выключил телевизор и решил, что пора спать.

...Я проснулся около шести утра, огляделся по сторонам, поздравил себя с тем, что пережил ночь, и потянулся за письменными принадлежностями, чтобы на бумаге разобраться в причинах, которые привели меня к инфаркту.

Вспомнив последние шесть месяцев 1980 года, я сообразил, что почти не оставлял себе времени на спорт, просто на физическое восстановление организма. Вот уже несколько лет главным источником стрессов в моей жизни были аэропорты и самолеты. Это было связано с крайне перегруженной программой докладов, выступлений, конференций. В течение многих лет, а особенно в последние шесть месяцев, печальным бременем моей жизни были авиационные перелеты — прорывы через транспортные пробки по дороге к аэропортам, пробежки с чемоданом в руках из-за того, что все носильщики заняты, а я долго простоял в очереди, оформляя билет, потом — очередь за посадочными купонами, в конце концов выясняется, что самолет перегружен и пассажиров больше не берут, ожидание багажа, неизвестно куда девавшегося, а потом — пересечение часовых поясов, еда не вовремя, недосыпание...

К концу октября, или, может быть, к началу ноября, меня начала мучить одышка, особенно в холод, ощущение сдавленности в горле, тяжесть в правой ноге. В мокроте появились едва заметные следы крови. Я рассказал об этих симптомах врачу, сделали кардиограмму, на которой не обнаружилось почти ничего нового по сравнению с двумя предыдущими, сделанными несколько лет назад. Потом все прошло, и я почувствовал себя как будто лучше.

Перед самым рождеством я вернулся из напряженной поездки по Восточному побережью и узнал, что буквально через несколько дней нужно снова выезжать. Спросил секретаршу, нет ли возможности отложить или отменить выступление. Вместе со мной она взвесила все за и против. Выходило, что избавить от новой поездки могло только нечто из ряда вон выходящее.

Тело мое слушало...

Назавтра случился инфаркт.

Может быть, мое тело предлагало мне уважительную причину, чтобы отказаться от аэродромных мучений? Было над чем задуматься.

22 декабря я официально стал одним из 33 000 000 американцев, в той или иной форме страдающих сердечными заболеваниями. Свыше 500 000 из этого числа ежегодно переносят инфаркты.

Это произошло дома. Сразу после обеда обдало волной тошноты и слабости. Я начал задыхаться. Сильных сдавливающих болей, какие обычно связывают с сердечным приступом, не было, но стеснение за грудиной и затрудненность дыхания не оставляли сомнения в том, что сдает сердце.

Моя жена Эллен вызвала «скорую помощь».

А я все время твердил то, что говорил студентам на лекциях: избавьте человека с больным сердцем от паники. Панический страх убивает. Он способен дестабилизировать сердце и даже

разорвать сердечную мышцу. Успокойте больного — это первое лекарство.

В больницу меня везли без особой гонки. Водитель по моей просьбе выключил сирену и ехал с нормальной скоростью. Болей в пути я не испытывал, но начал кашлять с кровью.

В приемном отделении сделали кардиограмму — обширный инфаркт миокарда. Д-р Шайн стал заполнять историю болезни. 24 июня 1980 года мне исполнилось 65 лет. Нет, никогда не курил. Нет, не пью. Да, кровяное давление понижено — приблизительно 110 на 60. Нет, избыточного веса никогда не было. Да, когда-то серьезно занимался спортом, но в последнее время все это запустил, Нет, не бегаю трусцой. Да, у матери было больное сердце, она умерла в 65 лет. У отца ничего такого не было, он дожил до 94 лет. Когда мне было 39 лет, мою жизнь отказались страховать, потому что кардиограмма показала, что у меня «немой инфаркт». Через два года выяснилось, что кардиограмма стабильна, и я получил страховой полис. Потом я в общих чертах рассказал д-ру Шайну о коллагенозе, который перенес в 1964 году...

Меня поместили в маленькую палату в кардиологическом отделении и подсоединили к сердечным мониторам. Через час явился д-р Шайн. Он объявил, что мне следует избегать физического и умственного напряжения. Число посетителей будет ограничено. Я спросил, каковы мои шансы в целом. В ответ он привел общие статистические данные. Я уже миновал две фазы максимального риска: 50% инфарктных больных не успевают даже доставить в больницу. Очень рискованными считаются первые сутки — потом опасность уменьшается.

Д-р Шайн сообщил, что диагноз — инфаркт миокарда — не подлежит сомнению, что кровь в мокроте и жидкость в грудной полости делают мое пребывание в больнице совершенно обязательным.

После его ухода я принялся обдумывать ситуацию. Я был благодарен судьбе за врача, не преуменьшающего тяжесть моего состояния, но не менее благодарен ей и за мое сердце, сумевшее выдержать чудовищные нагрузки и пока что опровергающее опасения кардиологов. Налицо было все, что нужно для идеальных взаимоотношений врача и больного. Д-р Шайн будет руководствоваться заботой о моем здоровье, а я буду черпать силы в своей вере в благополучный исход. Получалось неплохо.

Жизнь показалась мне более привлекательной, когда я утром проснулся после первой больничной ночи.

Как ни странно, я чувствовал, что обретаю интерес ко всему, что происходит со мной и вокруг меня. После книги «Анатомия болезни» я получал много писем от врачей, в которых мне задавали один и тот же вопрос: считаю ли я, что смог бы повторить титанические усилия и выздороветь второй раз? Какими восстановительными силами обладает человеческий организм? Инфаркт давал мне возможность проверить, сработает ли вторично то, что так хорошо помогло мне в первый раз. В конце концов повторяемость эксперимента — суть научного метода.

По второму разу

В «Анатомии болезни» я описал собственный опыт борьбы с болезнью, которую врачи считают неизлечимой.

В чем же состояли главные факторы, приведшие меня к выздоровлению?

Надежда, вера, любовь, решимость выжить, бодрость духа, чувство юмора, потребность верить, способность дурачиться — не сомневаюсь в том, что все это обладает лечебной ценностью. Раз отрицательные эмоции могут привести к заболеванию, то не разумно ли предположить, что положительные эмоции способны помочь ему выздороветь?

При этом я никогда не рассматривал положительные эмоции как замену лечению. Я считал, что они создают благотворные условия для лечения, увеличивают шансы на поправку. Неверно, будто я пытался восстановить здоровье методами самолечения. В книге я подчеркивал необходимость партнерства врача и больного.

Д-р Шайн с большой охотой вступил в это партнерство. Во время нашего общения в больнице он ни разу не заставил меня подумать, что находит мои расспросы назойливыми или несерьезными. Если он считал, что я предлагаю разумные вещи, он без колебаний соглашался со мной.

Когда меня навестил мой старый друг д-р Хитциг, я увидел, с каким изумлением и тревогой он озирает мою тумбочку, превращенную в подобие письменного стола, заваленного газетами, книгами и рукописями. Мне пришлось убеждать его, что все это разрешено д-ром Шайном.

Д-р Хитциг осмотрел меня, прочитал историю болезни, расспросил сестру. Пришел в палату и д-р Шайн, которого я предупредил о визите Хитцига. Врачи поговорили о диагнозе, д-р Шайн рассказал, что вместо нитроглицерина мне назначен изордил (препарат более длительного действия) и что на ночь мне накладывают нитропластырь на руку. Я получал также инъекции гепарина и мочегонное — при прослушивании улавливались хлюпающие звуки, говорившие о наличии жидкости в грудной клетке.

Я постарался уверить врачей, что те же методы, которыми я одолел коллагеноз в 1964 году, должны помочь мне и на этот раз, хотя я понимаю разницу между тем заболеванием и нынешним. Кое-что из моего прежнего арсенала годилось и сейчас: твердая вера в выздоровление, целеустремленность, даже, я бы сказал, радостное движение к цели, не ослабевавшая воля к жизни, подлинный интерес к тому, чем и как меня лечат, и ощущение, что мы с врачом делаем одно и то же дело.

Примерно через неделю, которую я провел, быстро приходя в себя и рабо-

тая, д-р Шайн пообещал выписать меня, пока же он хотел проверить при помощи «Холтера» реакцию моего сердца на умеренные нагрузки. «Холтер» — портативный электронный монитор, фиксирующий деятельность сердца на магнитной ленте, которую затем прокручивают через кардиограф и смотрят, как вело себя сердце под нагрузками разной тяжести,— привел меня в восторг.

Прибор показал очень приличные результаты, так что д-р Шайн начал заговаривать об автоматической беговой дорожке. Должен сознаться, мысль о дорожке встревожила меня. Не опасно ли было подвергаться физической нагрузке этого рода так скоро после инфаркта? Есть ли разница между нагрузкой, которую регулируешь сам, и той, которой тебя нагружают? Дело в том, что не больной шагает по этой дорожке — она сама автоматически движется под ногами. Когда человек сам за что-то берется, его мысленное и эмоциональное участие в предпринятом составляют неотъемлемую часть всего процесса. «Второе дыхание» — это не просто результат автономного физиологического процесса, а явление, в котором физическое напряжение взаимодействует с эмоциями. Считается, что одним из физиологических проявлений «второго дыхания» служит гормональная поддержка сердца, а как будет на автоматической дорожке? Я не знал.

Далее. Не всякий больной спокойно переносит эмоциональный стресс от тяжелых диагностических процедур. Начать с того, что сама процедура с дорожкой как бы проявляет болезнь сердца, драматизируя ситуацию. Обстановка, в которой проводится тест, взвинчивает напряжение: голос, называющий показатели кровяного давления, загадочные кривые на ленте, выползающей из кардиографа, отрывистые замечания, которыми перебрасываются кардиолог и сестра,— все это сосредоточивает внимание на сердце, беспрестанно напоминая, что оно в опасности.

Мне все время кажется, что на автоматической дорожке проверяется не только выносливость к физической нагрузке, но и психологическая реакция больного на саму процедуру. Усложняет картину то, что больной ничего не может контролировать. Невозможность контролировать собственную жизнь — характерная черта всякой тяжелой болезни. Вообще трудно представить себе более всеохватывающий и более угнетающий аспект хронического заболевания, чем эта утрата контроля.

Честно говоря, я перепугался.

Однако, когда я поделился своими опасениями с д-ром Шайном, он сказал, что будет лично проводить процедуру и сам за всем проследит.

На тринадцатый день после инфаркта я стал на автоматическую дорожку. Отчаянные мои попытки подавить в себе безотчетный страх не привели ровно ни к чему. Легкое головокружение началось прежде, чем успела двинуться резиновая лента под ногами. Уже через несколько минут мне стало нехорошо, я с трудом дышал и спросил, можно ли сойти с дорожки. Меня попросили еще немного продержаться. Я было согласился, но тут же у меня потемнело в глазах, и я сошел.

Когда я отдышался, д-р Шайн сообщил, что, хотя скорость и угол наклона дорожки были очень невелики, давление у меня, вместо того чтобы повыситься от физической нагрузки, резко упало. Пульс участился с 86 только до 110. На электрокардиограмме было отмечено снижение интервала ST на 3 мм. Иными словами — даже с незначительной нагрузкой сердце мое не справилось.

Д-р Шайн теперь не сомневался, что в результате атеросклероза у меня сужены артерии. Вопрос заключался в том, где они сужены и насколько. Он объяснил, что ответ на это может дать только ангиограмма: процедура, при которой в кровь через катетер вводится рентгеноконтрастное вещество и ведется рентгенокиносъемка движения крови по артериям.

За ангиограммой должна следовать операция шунтирования, то есть создание обводного канала, минующего пораженный участок.

Я спросил, нельзя ли мне вместо всего вернуться к «Холтеру». Мне казалось, что под контролем портативного монитора, но в обстановке, которая не вызывает стресса, я вполне выдержу нагрузку, не меньшую, чем та, что задается на автоматической дорожке. Я думал, что эмоциональный стресс — сам по себе способный вызвать изменения на кардиограмме — исказил результаты обследования.

На это д-р Шайн терпеливо возразил:

— Мы с вами теряем время — я не могу поддержать вашу надежду на то, что показания «Холтера» что-то изменят в положении дел или в моем плане лечения. А «Холтер» я вам дам.

Через три дня ко мне был подсоединен круглосуточный «Холтер», с которым я и вернулся домой. С моим старинным другом, доктором Омаром Фаридом, мы сразу пошли гулять.

Я твердо решил совершить прогулку, нагрузка от которой будет как минимум равна нагрузке на автоматической дорожке.

Прошагав 60 ярдов, я почувствовал легкую дурноту и остановился отдохнуть минуты на три или четыре. Потом опять двинулся и сумел пройти без остановки ярдов 200. Разговорившись, прошел еще с четверть мили.

Когда на другой день в больнице проверили магнитную ленту моего «Холтера», обнаружилось, что на ней не зафиксирован ни один отрицательный симптом, который дал себя знать на дорожке.

Я было пришел в восторг, но д-р Шайн умерил его: на данные «Холтера», растолковал он мне, невозможно положиться до конца. Нельзя придать процедуре, самостоятельно разработанной мною для себя, тот же вес, что проверенным методикам, выполняемым под наблюдением врача.

Тогда я согласился снова попробовать дорожку, хотя страх перед ней не исчез. В этот раз, однако, дело даже не дошло до процедуры. Достаточно было пройти длинным больничным коридором, чтобы ужас буквально захлестнул меня. Мне было так страшно, что каждый шаг по направлению к лаборатории, где помещалась дорожка, усиливал чувство дурноты. Едва я переступил порог, как д-р Шайн, взглянув на меня, велел мне сесть, проверил давление, сердце — и отменил процедуру.

Я задумался: если эмоциональные факторы вызывают отрицательные симптомы на автоматической дорожке, не следует ли принять в расчет мой страх перед ангиографией и шунтированием при оценке их риска для меня?

И какова вероятность того, что в моем случае речь идет не только об атеросклерозе, но еще и о спазме? Был же он у моей матери. Существует ли дополнительный риск при ангиографии и шунтировании для людей, предрасположенных к спазмам?

Я засел за чтение литературы на эту тему, всего, что попало мне в руки.

Шунтирование — одно из достижений хирургии XX века. Для ряда больных это даже не способ продления жизни, а единственная надежда на ее спасение. Но мне и другое стало ясно: шунтирование не является универсальным выходом из положения, а в ряде случаев оно просто противопоказано. Кое-кто из хирургов вообще не рекомендует шунтирование при отсутствии резких болей или других резко выраженных симптомов.

Д-р Шайн с самого начала заявил, что считает причиной моего инфаркта атеросклероз. Я написал ему письмо с вопросом: исключает ли он спазм как причину? Нет, ответил он, этого он исключить не может. Только ангиография может дать ответ, а без нее он может предполагать комбинацию атеросклероза и спазма.

В апреле 1981 года я познакомился с работами д-ра Уильяма Кастелли из Национального института здоровья. Д-р Кастелли пытался внести ясность в запутанную проблему атеросклероза и уровня холестерина как факторов нарушений сердечной деятельности. Д-р Кастелли поставил под сомнение теорию о необратимости атеросклероза — возможно, бляшки, забивающие артерии, и поддаются растворению, полагает он.

Я немедленно связался с д-ром Кастелли, но узнал от него, что это пока предположение, которое требует большой исследовательской работы. Он сказал, что глубокое впечатление на него произвели сведения о том, что в Притикиновском центре долголетия в Санта-Монике, а также в Калифорнийском университете, где этим делом руководит д-р Чарлз Климан, разработаны методы реабилитации больных с нарушениями коронарного кровообращения, значительно улучшающие питание мышцы сердца.

Д-р Климан организовал при Школе медицины Калифорнийского университета Центр по реабилитации сердца. Больные вместе с супругами могли жить в Центре, а для тех, кто не имел возможности туда переселиться, было организовано обслуживание на дому. В течение долгого времени для размещения больных использовалась старая гостиница в квартале от Школы. Сейчас же, когда пишутся эти строки, закладывается фундамент нового здания, где будет размещен один из самых современных кардиологических центров мира.

Существуют ли серьезные различия в методиках двух Центров? В основе обеих — диета и физическая нагрузка. Из диеты исключены говядина, животные жиры, яйца, масло, соль, сыры, крабы. Притикин против растительных масел вообще. Климан допускает употребление растительных масел в умеренном количестве. Притикин ограничивает употребление жиров семью процентами. Климан допускает до 20% жиров. Притикин считает, что семипроцентный уровень обеспечивает уменьшение отложений холестерина, а превышение этого уровня чревато опасностью. Климан же, опираясь на данные многих исследований, утверждает, что организм нуждается в 20% жиров и что опасно, наоборот, снижение уровня. Он также подчеркивает, что холестерин на умеренном уровне является нормальной потребностью человеческого организма. Климан менее строг в ограничении рыбы и курятины, чем Притикин. Климан не ограничивает потребление фруктов, у Притикина есть нормы. И тот и другой признают опасность сахара, но Климан не придерживается крайних взглядов на этот счет.

Оба Центра уже имеют сотни «выпускников», которые пользуются в нормальной жизни навыками, приобретенными в Центре. Эти люди, ранее вынужденные соблюдать крайнюю осмотрительность, теперь активно живут, нормально работают и не испытывают болей.

Все источники, к которым я обращался за информацией о болезнях сердца — как избежать их или как преодолеть их последствия, — сходились на том, что основной виновник — холестерин, вещество, оседающее на внутренних стенках артерий и постепенно отвердевающее в виде бляшек. Именно это и называется затвердением артерий.

Однако было бы ошибкой считать, что холестерин вреден вообще, в любых количествах. Холестерин — естественная субстанция человеческого организма, и в умеренных количествах она выполняет свою роль. Есть люди, страдающие высоким уровнем холестерина, несмотря на диету с низким содержанием животных жиров. М. Фридман и Р. Х. Розенман предложили — весьма популярную сейчас — классификацию людей на тип А и тип Б; судя по их исследованиям, тип А обладает значительно более высоким уровнем холестерина, чем тип Б, вне зависимости от характера их питания. Нервозность, напряженность, склонность к тревогам могут повлечь за со-

бой физиологическую кару. С одним уточнением, однако: если стресс обращается в стимул преодоления, то его физиологические последствия могут стать благотворными. Трудно предположить, что кому-нибудь из нас повезло бы прожить жизнь вообще без стрессов — как вряд ли можно ни разу в жизни не заболеть. Скорее повезло тем, кто нашел для себя способ справляться со стрессами.

Я далек от того, чтобы учить других, как справляться со стрессами, но есть специалисты по этому вопросу, среди которых выделяется доктор Герберт Бенсон. Устанавливая зависимость между низким уровнем холестерина, с одной стороны, и образом мышления и поведением — с другой, он приводит убедительные доказательства того, что недостаточно уменьшить потребление животных жиров, нужно еще уменьшить напряженность, а также научиться создавать равновесие между стрессом и реакцией на него.

Здесь нужно упомянуть и систему Дина Орниша: в число способов контролирования стресса д-р Орниш включает упражнения на расслабление — потягивание, медитацию, дыхательную гимнастику. Диету он предлагает простую: богатую сложными углеводами и допускающую мало жиров. Система включает в себя обучение приготовлению бессолевой пищи: лук, помидоры и чеснок считаются достаточными для вкусовых ощущений. Основа диеты — крупы и бобовые, соя, овощи, фрукты.

Может быть, одно из самых наглядных доказательств значения систематических физических нагрузок для возвращения в строй больных, перенесших инфаркт, дает программа канадского врача д-ра Теренса Кавanага. Д-р Кавanаг так ставит людей на ноги, что ежегодно группа его пациентов принимает участие в знаменитом бостонском марафоне — 26 миль. Среди марафонцев попадаются и такие, кто перенес инфаркт меньше года назад.

«Но,— пишет д-р Кавanаг,— физическую выносливость нельзя хранить про запас. Нужно постоянно серьезно работать, чтобы сохранять форму... Это означает, что сердечники, которыми мы занимаемся, должны выполнять физические упражнения и бегать трусцой до конца своей жизни, которая, как мы предвидим, будет продолжительной».

И наконец, есть исследования д-ра Лестера Моррисона из Медицинской школы в Лома Линда. Д-р Моррисон убежден, что диета с высоким содержанием лецитина (естественного вещества, содержащегося в нашем организме, а также в некоторых продуктах питания, особенно в соевых бобах) способна снижать уровень холестерина в крови и усиливать артериальный кровоток. Он считает, что таким способом можно во многих случаях излечивать атеросклероз. Д-р Моррисон признает, что в процессе преодоления атеросклероза участвует ряд факторов — строгая диета, физические упражнения, образ жизни, но главенствующую роль он оставляет за лецитином.

Итак, все сходились на одном: диета, спорт, контроль над стрессом, нормальный образ жизни. Почему бы не извлечь из всех этих методик то, что отвечает моим нуждам? Тем более что у меня есть ценное преимущество — жена, готовая помогать мне в любом эксперименте.

Контратака

Эллен никогда не испытывает недостатка в проектах.

Когда я ей изложил план моего лечения, она восприняла его с энтузиазмом.

— Замечательно, правда же,— сказала она одной из наших дочерей,— отцу не нужно ходить на работу, и я могу его кормить три раза в день.

Очень пригодились познания Эллен в области лечебного питания. Когда в начале 1981 года мы взялись за осуществление наших планов, она прежде всего обдумала вопрос о том, как готовить без сливочного и без растительных масел, и провела целое исследование по части продуктов, полезных в борьбе с холестерином. Эллен изобрела лучший, по-моему, салат на свете: капустная основа и уйма всяких разностей — редис, сладкий перец, красный лук, сельдерей, стручковая фасоль и другие сырые овощи. Заправлялось все это лимонным соком, и получалось королевское блюдо. Мы ели салат два раза в день.

На обед и ужин подавался овощной суп и отварные овощи. От мяса мы совсем отказались, но раза два или три в неделю ели рыбу или курицу...

Я изменил свой образ жизни. Университет предоставил мне отпуск и готов был продлевать его в случае нужды. Я привел в порядок мой письменный стол и приготовился больше писать, больше читать, слушать музыку и заниматься фотографией — делать то, что укрепляет дух и приносит радость.

Эллен следила за тем, чтобы жизнь не отклонялась от графика.

В основном мы жили так:

8.30—10.00 — завтрак: свежий апельсиновый сок, отварной нешлифованный рис, простокваша, домашний хлеб и кофе-суррогат. После завтрака я работал с секретаршей из университета, вел дела и корреспонденцию.

10.30—11.30 — утренняя прогулка, сначала миля в час, потом постепенное ускорение до 2,5 — 3 миль в час.

12.30—16.00 — ленч: салат, изобретенный Эллен, и свежие паровые овощи; отдых, чтение, писание, музыка, фотография и прочее.

16.30—17.30 — вечерняя прогулка.

18.30—19.30 — обед — то же самое что ленч, с добавкой курицы или рыбы два раза в неделю.

19.30—22.30 — беседа с друзьями, музыка, шахматы, прочее.

Что касалось прогулок, то в первый день я продержался примерно минуту, а потом у меня началось головокружение. Но день ото дня, неделя за неделей я

чувствовал, что крепну, и увеличивал продолжительность прогулок, пока не довел их почти до часа.

К концу января 1981 года я уже мог прошагать полмили, не останавливаясь, при пульсе не выше 94.

Переоценка ценностей

Числа двадцатого марта позвонил доктор Шайн.

— Нам нужно серьезно поговорить,— сказал он.

Через несколько дней он заехал к нам.

— Я не уверен,— начал он,— что вы отдаете себе отчет в реальном положении дел.— Исследования, которые мы провели в клинике, в том числе биохимические, свидетельствуют о серьезном поражении миокарда левого желудочка. Это значит, что самая важная деталь вашего насоса действует плохо, хуже, чем ей положено. Нужно решаться на ангиографию, чтобы выяснить, каковы повреждения и что предпринять.

Прошло уже несколько недель после больницы, и моя восстановительная программа давала хорошие результаты. Симптомы болезни явно шли на убыль. Сердечный ритм нормализовался, я чувствовал себя окрепшим. Должны же эти факторы что-то означать?

— Возможно ли,— спросил я,— что по мере общего улучшения моего состояния улучшается и состояние моих артерий?

— Нет сомнения, что в самом сердце идет процесс заживления, но это не касается коронарных артерий. Понимаете, их стенки залеплены бляшками, значит, налицо коронарная болезнь.

— Выходит, вы не думаете, что моя программа может в конечном счете обеспечить приличное снабжение сердца кислородом?

— Мне бы очень хотелось поддержать в вас уверенность, что вы в состоянии решить проблему коронарных артерий, но, к сожалению, медицинский опыт говорит об обратном.

Не знаю, что думал в эту минуту д-р Шайн обо мне,— может быть, ему казалось, будто до меня не доходит серьезность диагноза. А может быть, он решил, что это «отказ»— так врачи именуют неспособность тяжелобольных трезво оценить то, что им говорят об их ситуации.

Ну хорошо, сказал я себе, допустим, в моем случае необходимо хирургическое вмешательство, поскольку очень уж велик риск внезапной смерти, но все-таки, в чем риск и насколько он велик?

Теперь о моей программе лечения: учитывая, что, по всей вероятности, немалую роль в инфаркте сыграл образ жизни, который я вел,— частые перелеты, напряжение от множества выступлений, то начинать, видимо, нужно было с решительной перестройки его. Я понимал, что мне придется ограничить себя в поездках и во всем, сопутствующем им. Я стараюсь контролировать уровень холестерина сочетанием правильной диеты, физической нагрузки и перемены в образе жизни. Я сокращаю потребление таких вещей, как мясо, яйца, сыр, сахар и жиры.

И — еще раз на любимую тему — я уделяю должное внимание тому, что считаю личной ответственностью больного: надежде, вере, любви, смеху и страстному желанию выжить.

Эти соображения укрепили мою уверенность в том, что я могу обойтись без операции. Вместе с тем я не мог не считаться с предостережением доктора Шайна. Значит, нужно еще с кем-то посоветоваться. Я связался по телефону с доктором Каннором, и мы с ним договорились о встрече. Это было уже в апреле 1981 года.

Когда мы встретились, доктор Каннор попросил меня подробно рассказать ему все. Я сказал, что через месяц после выписки я перестал принимать лекарства, но всегда ношу с собой нитроглицерин — на всякий случай. На вопрос, как я отношусь к шунтированию, я ответил, что готов лечь на операцию, если не будет другого выхода, но хотел бы проверить, нельзя ли добиться достаточного улучшения здоровья без нее. Я сказал, что чувствую себя с каждым днем все крепче, что уровень холестерина и липопротеидов у меня снизился. Есть ли смысл, спросил я, продолжать в том же духе и лишь в случае ухудшения моего состояния прибегнуть к шунтированию?

Доктор Каннор поинтересовался, как я борюсь с депрессией, которая, как правило, охватывает людей, перенесших инфаркт,— обыкновенно депрессия начинается в больнице, когда больной начинает осознавать, как велика опасность для жизни, потом повторяется в период восстановления — от мыслей об инвалидности.

А у меня никакой депрессии не было. Мне удалось избежать ощущений неуверенности и страха, обычных в таких случаях. Я испытывал совсем другие чувства — и во время инфаркта, и потом: любопытство, желание выстоять, уверенность. Больше всего мне, наверное, повезло в полном отсутствии мыслей об инвалидности — не было ощущения, будто я на краю пропасти, будто мне нужно прислушиваться к тому, как повлияет на сердце каждое мое движение. Отказался я от тех вещей, которые мне все равно не нравились,— например, от самолетной спешки,— зато наслаждался возможностью больше читать, заниматься фотографией, играть на органе, проводить время с семьей и друзьями. Что же касается спорта — я был уверен, что придет время и я вернусь и к гольфу и к теннису. Само предвкушение этого доставляло удовольствие.

Доктор Каннор полностью согласился с тем, что правильное отношение к

болезни есть важнейшая часть процесса выздоровления. После разговора он внимательно осмотрел меня и сказал, что хотел бы сделать эхографию — особенно левого желудочка, дисфункция которого была диагностирована, а это, сказал он, дело серьезное.

В тот день мы с Эллен прошли на целую милю больше. Хорошие новости прибавляют сил. Я получил подтверждение, что мое хорошее самочувствие не иллюзия и что я — в прямом смысле слова — следую верным путем.

Мозг, эмоции, машины

Эхографию сделали в начале мая 1981 года.

Через два дня доктор Канном сообщил мне результаты. Он сказал, что теперь все ясно — сердечная мышца разрушена на 75 процентов. По крайней мере так я его понял.

Часом позже выяснилось, что я все перепутал: мышца сохранилась на 75 процентов, а разрушена на 25. Разница существенная, что и говорить. Но когда меня спросили, сильно ли я испугался вначале, я честно ответил, что не испугался: ладно, подумал я, от моего сердца осталась четверть, а работает оно хорошо, и это самое главное. А уж если сохранны три четверти, так и еще лучше!

Однако д-р Канном напомнил мне, что данные о коронарной недостаточности, полученные во время испытаний на дорожке, все равно существуют — вне зависимости от того, повлияли на них психологические или физические факторы или сочетание того и другого. Нельзя не принимать во внимание и то, что зафиксировано в истории болезни, где отражены все аспекты моей проблемы. А результаты испытаний для д-ра Каннома есть свидетельство того, что мое сердце реагирует на эмоциональные стрессы, если они сочетаются с физическими нагрузками.

Обдумывая потом этот разговор, я старался разложить по полочкам множественность факторов, из которых сложилась ситуация: сужение артерий — из-за жировых отложений или в результате спазма; возможность взаимодействия того и другого — и сужения артерий, и спазма; предел, до которого сердце способно справляться с физической, с эмоциональной нагрузкой или с сочетанием обеих, и, наконец, различные комбинации из всех упомянутых факторов.

...Главное — это все-таки стресс. У людей, неспособных справляться со стрессами, повышается уровень холестерина.

Это не означает, будто не важно соблюдение правильной диеты или будто физические нагрузки — пустая трата сил. Это означает другое — во многих случаях ключевым фактором является именно стресс. Напряжение, чувства безысходности, разочарования, страха, неослабевающие нагрузки, необходимость все время что-то делать к сроку — все это способствует сужению коронарных артерий не меньше, чем жирная пища.

Д-р Канном рассказывал мне, что результаты последних исследований заставляют особенно задуматься над значением воздействия комбинации из нескольких факторов. Спазмировать могут как пораженные артерии, так и совершенно здоровые. Даже незначительный спазм в сочетании с серьезным сужением может перекрыть доступ кислорода к сердцу, что приведет к разрушению сердечной мышцы. Совершенно так же незначительное сужение и сильный спазм могут привести к беде.

Но д-р Канном говорит, что природа спазма пока мало изучена.

И с другой стороны — моя реакция на эмоциональные стрессы. Я убедился также, что мое состояние зависит не столько от физических нагрузок, сколько от обстоятельств, в которых они происходят. Например, если я опаздываю на важную встречу, у меня может начаться стеснение в груди или одышка, хотя и иду по ровной поверхности. Если же меня ничто не тревожит или — что не менее важно — если мне нравится мое занятие, я легко переношу в десять раз большую нагрузку.

Что за биохимические процессы участвуют в этом? При обычной нагрузке, выполняемой с удовольствием, эпинефрин (адреналин), поступающий в сердце, оказывает благотворное действие на него. В обстоятельствах же крайней напряженности или паники количество этого гормона и резкость его выброса, да еще в сочетании с другими гормонами, известными под названием катехоламинов, может вызвать нарушение ритма или даже разрыв мышечной ткани.

К началу июня, почти через полгода после инфаркта, я решил, что уже достаточно окреп и могу попробовать пройти по дорожке д-ра Шайна. Я решил, что если буду управлять дорожкой сам, то у меня появится ощущение контроля над ситуацией. То машина управляла мной, а так я буду управлять машиной — скажется разница на результатах или нет?

Я позвонил д-ру Шайну и предложил ему свой вариант обследования. Он охотно согласился и сказал, что технически здесь нет никаких препятствий. Я был в восторге от его сговорчивости, и мы назначили день.

Я пришел раньше, чем д-р Шайн, и принес с собой кассету с записями комических реприз Вуди Аллена и записи Баха и Бетховена. В прошлый раз обстановка обследования показалась мне уж совсем угрюмой и деловитой. Во время исполнения Альбертом Швейцером на большом органе Страсбургского собора токкаты и фуги ре минор Баха явился д-р Шайн. Новая обстановка пришлась доктору по душе, и он сразу взялся обучать меня: кнопка старта, стоп-кнопка. Кнопка ускорения, кнопка замедления. Кнопка увеличения угла

наклона дорожки, кнопка уменьшения.

Д-р Шайн записал показания: пульс 78, давление 116 на 68.

Я ступил на дорожку, нажал кнопку — миля в час. Через минуту я поставил скорость на полторы мили в час. Пульс участился до 94, но я ждал цифр давления: в прошлый раз давление упало даже при начальной нагрузке, что и было указанием на сердечную недостаточность. Сейчас мне предстояло узнать, что дали труды пяти месяцев.

Бах кончился. Я попросил сестру поставить Вуди Аллена. Д-р Шайн улыбался, слушая его монолог.

Скоро Шайн назовет цифры давления. Мне казалось, что я участвую в старом черно-белом фильме военных лет. Подводная лодка на дне — всплывет или не всплывет? Команда мужественно старается поднять давление. Капитан и помощники замерли у пульта, они не отрывают глаз от стрелки глубиномера. И наконец, как бы отзываясь на героизм команды, стрелка вздрагивает и, поколебавшись, ползет вверх. Поскольку я манометра не видел, моей стрелкой было выражение лица д-ра Шайна — пока что сосредоточенное и спокойное.

Д-р Шайн спросил, в порядке ли я. Я кивнул. Он спросил, могу ли я увеличить скорость и угол наклона. Я добавил: 2 мили, угол 10.

— Давление 124 на 71!

Я взглянул на д-ра Шайна: он широко открытыми глазами всматривался то в манометр, то в ленту кардиографа.

— Как наши дела?— спросил я.

— Отлично!— ответил он.

У меня сердце прыгало от радости. Я увеличил скорость до двух с половиной, а угол — до 15°. Пульс теперь был 117. Давление — 138 на 71, сердце отлично реагировало на нагрузку, оправдывали себя многомесячные усилия и эмоциональные старания.

Прошло уже 12 минут с начала теста. Я решил, что все ясно, и нажал стоп-кнопку.

Д-р Шайн поздравил меня с результатами, которые, по его словам, указывали на блестящий восстановительный процесс в сердце. Однако, подчеркнул д-р Шайн, хотя улучшение работы сердца не вызывает сомнений, состояние артерий тревожит его не меньше, чем раньше. Артерии сами по себе очиститься не могут, сказал д-р Шайн.

Во время очередного посещения д-ра Каннома я ему рассказал и о результатах обследования, и о мнении д-ра Шайна. Д-р Каннон был обрадован результатами теста, после осмотра и кардиограммы он подтвердил, что мое состояние улучшилось, и выразил уверенность в том, что я на верном пути.

Девять месяцев спустя после инфаркта я свободно вышагивал по шесть миль в день — три утром, три вечером. Шел я быстрым шагом, но пульс держался в пределах 86—88 ударов в минуту,— чуть чаще моего нормального пульса до болезни. Уровень холестерина продолжал снижаться и достиг 170 единиц, что намного ниже опасного уровня — 245.

С началом занятий в университете осенью 1981 года я решил, что мне пора возвращаться на кафедру. В расписании было около десяти лекций в самом Калифорнийском университете и в других местах поблизости. С работой я справлялся без трудностей. А тут и подошло время для первой поездки: нужно было лететь в Вашингтон на заседание Особой группы медицинских консультантов по госпиталям для ветеранов — перед самой болезнью я дал согласие войти в эту группу. Здание, в котором мы заседали, было в полумиле от отеля, и дорога вела в гору. Я все время ходил пешком и только раз или два почувствовал стеснение в груди — минутку передохнул и отправился дальше.

Так заканчивался первый год после инфаркта. Я работал в университете с полной загрузкой и лишь поражался тому, с какой быстротой дошло до прежней нормы количество телефонных звонков, писем и посетителей. Как раньше, несколько часов ежедневно отводилось беседам с больными, которым требовалась моральная поддержка. Их врачи или их близкие считали, что я могу мобилизовать их волю к жизни собственным примером. Многие из этих больных надрывали мне душу: после того как я делал все, что мог, чтобы ободрить их рассказами о внутренних ресурсах организма, я уходил в таком настроении, что эмоциональная поддержка нужна была мне самому.

Юмор и стресс

21 декабря 1981 года, за день до годовщины моего инфаркта, я случайно обнаружил, что жена готовит мне сюрприз — приглашает гостей отпраздновать год жизни, который, по мнению некоторых специалистов, я не должен был прожить.

Я тут же принял решение: сюрприз за сюрприз! После работы заехал к знакомому на киностудию. Меньше чем за час я вышел со студии в таком виде, что сам еле узнавал себя перед зеркалом. У меня появилась рыжеватая бородка, мои глаза приобрели новые очертания. На моей довольно-таки лысой голове красовался парик, который так естественно смотрелся, что мне сразу расхотелось возвращать его. По дороге домой я заехал за нашими друзьями — Девом и Аделой Фримэнами. Дев позвонил, дверь открыла моя жена. Рядом стояла Кэндис, наша дочь. Дев представил меня:

— Профессор Моргон из Лондона.

Эллен подала мне руку, Кэндис — тоже.

Потом меня перезнакомили с гостями.

Подошел д-р Джолли Уэст, спросил, чего мне налить. Я притворился глуховатым и уставился на Джолли непонимающими глазами, приставив к уху полусогнутую ладонь. Джолли громко повторил вопрос.

— А, да!— сказал я.— Я бывал там много лет назад. Отвратительное место.

— Нет, нет,— возразил д-р Уэст,— я спрашивал, что вам налить! Выпьете что?

— Вы совершенно правы,— подтвердил я.— Больше я туда не ездок.

Д-р Уэст понял, что тут дело пустое, и оставил меня.

Поразвлекавшись с полчасика, я решил, что пора развеять заблуждение, подошел к органу и стал играть одну из моих любимых вещей.

— Отец пришел!— раздался голос Кэндис с кухни.

Так была сорвана маска с профессора Мортона.

В марте 1982 года я попросил д-ра Шайна принять меня — я не считал бы, что достиг своей цели, пока он своими методами не удостоверится, что я на пути к полному выздоровлению. После осмотра у нас состоялся разговор

— Я поздравляю вас,— сказал он,— с прекрасным следованием вашей программе в течение 15 месяцев. Однако я должен повторить то, что вы уже много раз от меня слышали,— сердечная мышца сильно пострадала. У нас есть опыт восстановления работы сердца, но вашими методами артерии все равно не очистить.

— Но я в лучшем состоянии, чем год назад?— спросил я.

— Безусловно!

— А можно ли рассчитывать, что за следующий год мое состояние улучшится еще на столько же, на сколько за этот год?

— Вполне!

— Чего же еще можно желать?— спросил я.— Давайте договоримся встретиться ровно через год.

Насколько я мог судить, аритмия, которую у меня констатировали в первые полгода после больницы, теперь прошла. Пульс держался где-то около 60, кровяное давление в состоянии покоя — 120 на 60. Физические упражнения — гольф, или теннис, или то и другое в один день — одышки не вызывали. В университете я тащил полный воз, все чаще летал самолетами, хотя гораздо меньше, чем до декабря 1980 года.

Не стоит делать вид, что мне всякий раз удавалось освободить мою жизнь от стрессов — сплошь и рядом обстоятельства брали верх.

Но я пришел к выводу, что лучшего лекарства, чем физические нагрузки, для меня нет. Если появлялись отрицательные симптомы, постельный режим плохо помогал делу. Надо полагать, что бывают сердца, которые плохо реагируют на ощущения загнанности, на эмоциональные стрессы, но оживают от физических нагрузок. Как езда на велосипеде — без движения не удержишь равновесия.

Вместе с тем было бы неправильно выделять один какой-то фактор в процессе выздоровления. Естественно, психологическое и эмоциональное состояние, которое так часто становится причиной болезней сердца, играет огромную роль, но важен весь режим: поддержка семьи, правильное питание, разумная физическая нагрузка и такой образ жизни, при котором с удовольствием ожидаешь наступления каждого нового дня.

Моя убежденность в огромной роли жизненной позиции, которая может либо усугубить болезнь, либо заставить ее отступить, получила подкрепление в марте 1982 года. Мне позвонил близкий друг и рассказал, что его сыну — назовем сына Ларри — сообщили, будто у него «немой инфаркт», и тот теперь не сомневается в скорой смерти.

А дело было так: во время общего осмотра Ларри сделали кардиограмму и врач спросил, давно ли он перенес инфаркт. Изумленный Ларри ответил, что впервые об этом слышит; врач поинтересовался, есть ли боли в загрудине, Ларри ответил, нет, никаких болей — и тут врач заявил: кардиограф не ошибается.

Ночью у Ларри случился сердечный приступ — первый в жизни.

Начались обследования: автоматическая дорожка — с плохими результатами, ангиография, которая указала на поражение артерии...

Врачи рекомендовали безотлагательное шунтирование.

Отец Ларри умолял, чтобы я повидался с ним и подбодрил его перед операцией.

Я рассказал Ларри обо всем, что сам испытал: и про собственный «немой инфаркт», и про автоматическую дорожку после настоящего инфаркта. Я посоветовал Ларри еще раз пройти тест на дорожке, но только самому контролировать ее.

Дальнейшее было почти невероятным. Ларри отлично выдержал тест — я при этом присутствовал,— что вселило в него уверенность и изменило его настроение. Потом он взялся за физические упражнения под наблюдением врачей, переменил образ жизни, так чтобы сосредоточиться на вещах, увлекавших его, и спустя полгода решился на повторную ангиографию. При повторной ангиографии никаких признаков поражения коронарной артерии обнаружено не было.

Мне кажется, что случай с Ларри, пускай единичный, все равно очень важен: он показывает, насколько велика роль психологического фактора в диагностировании и лечении заболеваний сердца. Не знаю, может быть, сообщи врач Ларри о его «немом инфаркте» с большей осторожностью, события не развивались бы так драматично.

С другой стороны, ведь кардиограмма действительно свидетельствовала о наличии инфаркта, и врач не вправе не сообщать того, что видит.

Жизнь больного может зависеть от того, ч т о скажет ему врач и к а к он это скажет. Слово может быть смертоносным оружием или орудием восстановления, особенно когда это слово врача. Оно может и подготовить почву для выздоровления, и замедлить этот процесс.

При общении с любым больным врач решает задачу: как поступить, чтобы не испугать больного.

У сердечников же болезней не одна, а две: кроме диагностированного заболевания человек болен необоримым страхом, со всеми вытекающими последствиями — выброс катехоламинов, дестабилизация сердца и сжатие кровеносных сосудов. Лечить одно заболевание, не обращая внимания на второе,— значит рисковать свести на нет благотворное воздействие всех средств.

Начинаешь задумываться над тем, не нуждается ли в пересмотре весь подход и вся процедура оказания неотложной помощи инфарктным больным. Уделяется столько внимания принятию срочных мер, что мы уже не помним, что далеко не каждый больной требует реанимации рот в рот. Как правило, инфарктные больные остаются в полном сознании, а это обстоятельство почти не учитывается. Повторю еще раз: острее всего эти больные нуждаются в том, чтобы им помогли избавиться от ужаса. Их нужно заверить, что через минуту им будет оказана квалифицированная помощь и что все будет в порядке. Мне иногда приходит в голову, что вспомогательный медперсонал пребывает под излишним влиянием телевидения и кино, где их принято изображать бравыми героями. Вместе с методами оказания медицинской помощи их необходимо обучать умению уговаривать и успокаивать.

Когда больной доставлен в больницу, его душевное состояние должно рассматриваться как один из факторов лечения. Было бы совсем неплохо, если бы, прежде чем помещать больного в палату интенсивной терапии, где полно всякой аппаратуры и мониторов, растолковать ему, что все это такое и зачем оно нужно,— тогда больной будет меньше чуждаться аппаратуры и, соответственно, не так бояться.

Выздоровление с приключениями

Наверняка меня захотят спросить о моих обширных медицинских связях, которые давали мне преимущества по сравнению с другими больными. Я отдаю себе отчет в том, что тут мне повезло, но думаю, дело не в количестве врачей, принимавших во мне участие. Дело в том, что каждый из них по-своему воодушевлял меня. Д-р Шайн твердо стоял на том, что, хотя мое сердце восстанавливается, коронарные артерии не «излечены», поэтому он так и не отказался от мысли о необходимости ангиографии и шунтирования. Однако он очень старался не сбить меня с желания идти моим собственным путем — при условии, что мне известно все, что со мной произошло. Д-р Канном и д-р Фарид прямо поддерживали мою точку зрения: если я буду неуклонно соблюдать режим жизни, выработанный мной, то сердце сумеет само обеспечить себе кровоснабжение. Силы для соблюдения режима я черпал в уверенности, что это возможно.

Мне хочется подчеркнуть, что мы не можем целиком передоверяться диагностической технике. Даже наисовершеннейшая диагностическая аппаратура может иной раз привести к ошибке. В очень многих отношениях эта аппаратура бесценна, но ее все равно нельзя рассматривать как абсолютный способ распознания внутреннего состояния. Обстоятельства, в которых проводится обследование, могут повлиять на его результаты. Самый яркий тому пример — показатели кровяного давления. Довольно часто врач при измерении давления может получить разницу в 20 единиц в систолическом показателе за несколько минут — в зависимости от психологического состояния больного.

Много раз после инфаркта, после 22 декабря 1980 года, я задумывался над тем, к чему все время возвращаюсь и в этой книге: почему сердце, не выдерживая ничтожную нагрузку на дорожке, способно выдержать раз в десять большую на теннисном корте? Почему, утомляясь от эмоционального напряжения или даже от скуки, не чувствуешь усталости, когда занятие увлекает тебя?

Какие выводы нужно сделать из факта, что сердце иногда способно без всякого вреда для себя перешагнуть все научно очерченные границы, когда разум не противится происходящему, а даже радуется ему? Как должно повлиять на наше представление о сердечных заболеваниях то, что наш разум, а не только состояние артерий воздействует на возможности важнейшего органа нашего организма?

Даже без личного опыта в этой области я понимаю, что все эти вопросы — не игра ума, а проблемы, имеющие прямое отношение к тому, что мы думаем о нашем сердце, следовательно, к стратегии лечения целого ряда сердечных заболеваний. Нельзя разве предположить, что, когда все это будет понято, при лечении болезней сердца душевному настрою будет придаваться по меньшей мере такое же значение, как и лекарствам? Нельзя ли предположить, что такие болезни, как аритмия или даже гипертония, будут лечиться не только химически, но и эмоционально и духовно?

Задним числом я все время припоминаю удачное совпадение: мой инфаркт произошел как раз в том месте и в то время, когда я занимался изучением биохимических изменений, вызываемых отношением человека к тому, что с ним происходит, в особенности к заболеванию. Я стал чем-то вроде экспериментальной лаборатории для собственных исследований и мог объединить мой интерес к проблеме с лечением моего же сердца.

Наверное, сейчас пора ответить на вопрос, возникающий с первой же страницы этой книги. Как вышло, что человек, который профессионально занимался журналистикой, просвещением, общественной проблематикой, вдруг оказался в числе преподавателей медицинского института и даже начал изучать всевозможные данные о биохимии эмоций?

Это интересная история.

Жизнь начинается в шестьдесят три

Ранней весной 1978 года я получил письмо от д-ра Шермана Мелинкоффа, декана Медицинской школы Калифорнийского университета, с предложением занять преподавательское место в школе — меня рекомендовали мои друзья Франклин Мэрфи и Бернард Тауэрс.

Я созвонился с д-ром Мелинкоффом и сказал, что его предложение кажется мне заманчивым. Тогда он поинтересовался, почему я решил отойти от общественных проблем? Что привлекает меня в преподавательской работе в медицинском учебном заведении?

Я объяснил, что от общественных проблем не отхожу. Ощущение необходимости продолжать борьбу за отыскание выхода из ядерного кошмара оставалось столь же сильным, что и раньше, и я намеревался работать в этом направлении. Однако мне казалось, что пришло время уйти из «Сатердей ревью», благо журнал попал в хорошие руки, и заняться другими вещами, которые меня интересуют. Особенно меня интересовали взаимоотношения «врач — больной», поскольку самому пришлось перенести серьезную болезнь, а также проблемы биохимии эмоций. По этим причинам мне и хотелось на данном отрезке жизни связаться с медицинским учреждением.

Что касается преподавательской работы — я подумал, что любопытно было бы преподавать литературу и философию студентам-медикам. Д-р Бернард Лаун прав, тревожась, что молодые люди, собирающиеся стать врачами, считают, будто эти предметы им не нужны.

В результате получается, что большинство студентов-медиков прекрасно обучены, но плохо образованны. Чаще всего о них потом говорят, что они больше знают о болезнях, чем о людях. Техника подчиняет себе все.

Д-р Шерман Мелинкофф понял меня.

Когда я приступил к чтению курса «Врач в литературе», Мелинкофф решил сделать мои лекции открытыми, на них ходили и старшеклассники, и студенты, и преподаватели, и просто любопытствующие.

Не знаю, как мои слушатели, а я получал огромное удовлетворение от этой работы. Роль моя была невелика: я только излагал материал, а потом студенты самостоятельно разбирали его, рассказывали, что сами думают о том, о чем там шла речь, каким видится врач писателям и другим врачам. Особый интерес вызывали произведения Моэма, Чехова и Конан Дойла, поскольку эти писатели и сами были медиками.

Курс, который я прочитал, стал основой моей книги «Образ врача в литературе». Работая над этой книгой, я многому научился и сам: окрепла моя уверенность в том, что при столкновении с серьезной проблемой — болезнью или чем-то еще — человек способен подняться до высокого уровня противоборства.

В глазах писателя врач не просто лекарь, прописывающий лекарства, но символ всего, что может дать человек человеку, исключая разве что бессмертие. Жить вечно мы не можем, но упрямо веруем, что врач обладает знаниями и умением, которые могут предоставлять нам бесконечные отсрочки. Врач кажется нам хранителем секретов жизни. Уметь выслушать человеческое сердце и уловить смысл в его малейших вибрациях и шумах, уметь взять капельку крови и осмыслить законы равновесия жизненных соков в ней, перевести электрические импульсы в точное знание характера химических реакций в теле — врач может все это считать наукой, но для больного это проявление сил, ниспосланных богами!

Человеку не дано никогда полностью отрешиться от своего одиночества, но врач хотя бы на время помогает преодолеть его. Продление жизни — это достижимая награда и ободряющая реальность.

Великие образцы мировой литературы учат нас тому, что едва ли есть для врача что-либо важнее психологического воздействия на больного. Гиппократ, Гален и другие великаны медицины могли не знать об эндорфинах, энцефалинах, гамма-глобулине, эпинефрине, интерфероне и всякого рода нейронах. Зато они отлично отдавали себе отчет в цельности человеческого организма и взаимодействии всех его частей. Гален отмечал, что злокачественные опухоли груди нередки у женщин, страдающих меланхолией. Отношение человека к жизни, в особенности же его реакция на заболевание, может сыграть решающую роль в том, заболеет он или нет и как пойдет его болезнь. Мудрый врач, оценивая шансы больного, думает не только о вредоносности микроорганизма, вызвавшего болезнь, не только о природе опухоли: мудрый врач старается определить силу воли больного, его способность мобилизовать ресурсы духа, которые претворятся в благотворные биохимические изменения.

Врач в общении

Берясь за преподавание литературы и философии будущим медикам, я полагал, что мне нужно быть готовым ко всякого рода неожиданностям, неизбежным в новом деле. Однако очень скоро я пришел к выводу, что врач — как и писатель —

должен владеть словом. В журналистике все зависит от того, умеешь ли ты найти нужное слово или нет. В медицине от слова врача в сильнейшей степени зависит ход лечения больного.

Умение правильно распознать заболевание — доказательство компетентности врача. *Умение сообщить больному то,* что ему необходимо знать,— доказательство врачебного таланта. Я понимаю, насколько сложна проблема общения врача с больным. Дело не только в языке — как найти слова, которые не собьют больного с толку; существует еще профессиональная этика: врач обязан информировать больного, но больные могут поразному воспринимать сведения о своем состоянии. И с какой легкостью недопонимание может осложнить взаимоотношения врача и больного и даже привести к обвинениям во врачебных ошибках...

Общаясь с больными, я видел, как часто после разговора с врачом они чувствовали себя перепуганными, сбитыми с толку, обезволенными. Я вполне допускаю, что вину могла быть и их собственная неспособность понять сказанное врачом, и тем не менее как же все-таки часто непродуманное слово губит взаимопонимание врача с больным!

Но существует и другая сторона проблемы: даже если врач четко изложил свою мысль и она правильно понята, все равно информация может повредить больному. Не все больные одинаково способны справиться с правдой. Иные могут и пострадать от медицинской информации, от осознания всей серьезности своего положения.

Можно даже задаться вопросом: в какой степени упоминание худшего приближает это худшее? В какой степени неприкрашенные факты отрицательного прогноза могут сами по себе обладать «эффектом топора»?

Врач обязан пустить в ход все средства, имеющиеся в его распоряжении: химиотерапию, облучение, хирургию — ради того, чтобы уничтожить злокачественную опухоль или замедлить ее развитие. И точно так же мудрый врач пускает в ход все свое мастерство, чтобы укрепить волю больного и заставить его помогать самому себе. Настроение больного и его отношение к своему заболеванию — факторы, силу которых невозможно переоценить. Уже по одной только этой причине врач должен стараться не допустить, чтобы больной ушел от него напуганный и обреченный.

Конечно, и речи не может быть о сокрытии истины. Речь о том, что манера и стиль изложения действительных фактов имеют такое же значение, как любой другой аспект лечения.

А есть ли вообще способ сообщения больному негативной информации, так чтобы больной воспринял ее как вызов на борьбу с болезнью, а не как смертный приговор?

Я думаю, такой способ есть.

Врач не должен скрывать от больного серьезность его состояния, но внимание больного он должен сосредоточить на стратегии борьбы. Врач предлагает больному союз. Он объясняет больному, что́ ему в состоянии дать современная медицина, а затем — что́ способен сделать со своей стороны сам больной. Врач обсуждает с больным его внутренние ресурсы, *отмечая при этом, что гарантировать успех нельзя, но привлекая внимание* больного всякий раз, когда это возможно, к аналогичным случаям, когда больные поправлялись. Приводя статистические данные, врач акцентирует не отрицательный, а положительный процент. Ведь когда больному говорят, что при определенном заболевании двое из каждой пятерки больных живут не более года, то это действует менее ободряюще, чем сообщение, что трое из пятерых все-таки остаются в живых. Основная задача тут в том, чтобы не подорвать надежду, которая и есть первейшее условие выздоровления.

Ведь помимо медицинской компетентности больной ожидает от врача укрепления веры в выздоровление. Больной нуждается не только в осмотре, но и в присмотре. Больному хочется, чтобы его выслушали, ему хочется знать, что врачу отнюдь не все равно, будет он жить или умрет, ему хочется быть уверенным, что врач тревожится о его здоровье. Иными словами, каждый больной — это огромный набор эмоциональных потребностей. И врач должен принимать их во внимание. Тем, как он себя ведет, и даже простым фактом своего присутствия врач создает условия для выздоровления в такой же, если не в большей, степени, как и тем, что он делает.

Эта сторона врачевания не меняется на протяжении тысячелетий. Вся королевская конница и вся королевская рать — гомография, галлиевые сканнеры, эхография — ничто не в силах заменить собой врача как хранителя ключей к способности тела излечивать себя.

Я молю бога, чтобы студенты-медики никогда не давали своим знаниям стать помехой в их общении с больными. Я молю бога, чтобы никакие технические чудеса не отвращали их в случае необходимости от простых средств из старенького докторского чемоданчика. Я молю бога, чтобы, входя к больному, они помнили не о расстоянии от двери до постели, а о расстоянии от глаз больного до своих. Кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая, та самая прямая, которая важнее всего, когда врач склоняется над одиночеством больного, над его страхом, болью и тем всепоглощающим ощущением смертности, которое исходит от всего неведомого; когда рука врача на плече больного охраняет больного от мрака.

Пусть студенты-медики придают огромное значение науке, но пусть они не забывают, что наука их такова, что она лучше всего действует в сочетании с их искусством, а это искусство — основа их профессии. В конечном счете ценность медицины зависит от степени уважения медика к человеческой душе.

Мы в силах

Мои новые обязанности в Калифорнийском университете нарастали в таком темпе, что почти не оставляли мне времени подумать о моих былых издательских и общественных делах. Особенно много времени отнимала программа под названием «Мы в силах» — и она же приносила наибольшее удовлетворение.

...Февральским утром 1980 года ко мне явилась высокая красивая блондинка по имени Барбара Колеман.

— Позавчера я была на вашей лекции,— сказала она.— Вы говорили о том, как велики эмоциональные потребности тяжелых больных.

Я подтвердил.

— Вы совершенно правы,— заявила Барбара,— я это знаю по себе. У меня была злокачественная опухоль мозга. Я перенесла две операции. После первой опухоль появилась снова. Сделали еще одну, и врачи сказали, что опухоль удалена полностью. Уже десять лет я здорова. Вы говорили, что вам повезло — вы выздоровели. Мне тоже повезло. Что мы должны теперь делать?

— *Вы, собственно, о чем?*

— Я об эмоциональных потребностях больных, которые знают, что у них рак. Вы говорили на лекции, что их лечение сильно затрудняется тем, что их эмоциональные потребности никого не волнуют.

Барбара Колеман рассказала, что первые симптомы заболевания дали о себе знать в 1968 году.

— Я жила, испытывая не покидающее меня чувство ужаса,— говорила она.— Доктор направил меня на обследование — ЭЭГ, сканирование мозга, миелограмма, ангиограмма. Обнаружили затемнение в правой моторной области мозга, мне объяснили, что сомнений нет: опухоль. Глиобластома, мультиформная астроцитома — опухоль того типа, который не предвещает ничего хорошего. Нужно было оперироваться. Мужу объяснили, что шансы на успех невелики. Операция продолжалась девять с половиной часов, удалили опухоль размером с лимон, а ее отростки задели весь мозг. Стали облучать меня кобальтом — тридцать один сеанс. Когда я пришла в первый раз, радиолог мне сразу все растолковал. Он сказал: пойдете в комнату с бетонными стенами и облысеете на всю жизнь. Я пошла. Никого там не было, все делается дистанционным управлением, а больной получает приказы через динамик. Обезличивание полное. Я понимала необходимость этого — кобальт действует настолько сильно, что врачи и сестры должны проявлять осторожность. Но когда на меня стала наезжать кобальтовая пушка, я подумала, что мне все равно конец.

Прошло десять месяцев, и врачи сказали, что нужна еще одна операция, потому что опухоль появилась снова. Все *это было ужасно, тем более что на этот* раз никаких симптомов не было. Вторая операция длилась десять часов. Когда я *вышла из наркоза и спросила о результатах*, один доктор сказал, что опухоль может появиться еще раз, другой сказал: нет, теперь уже все, и, наконец, я узнала, что все чисто. Я столько пережила и столькому научилась! И я думаю, что я в силах помочь другим раковым больным. Мне кажется, я найду, что им сказать, людям, узнавшим, что у них рак, как помочь им избежать эмоционального распада. Важно, чтобы раковые больные не теряли надежду. Если они ее потеряют, они начнут быстро поддаваться болезни. Вы поможете мне в этом деле?

Конечно, я был согласен помочь. Но как? Что нужно было делать?

Барбара Колеман решила создать организацию, через посредство которой бывшие раковые больные могли бы вступать в контакт с теми, кто болен.

Так была заложена основа организации, получившей название «Мы в силах», президентом которой я стал. Барбара оказалась организационным гением — она начала действовать и в медицинском мире, и за его пределами, привлекла к участию онкологов и психологов-клиницистов, добилась поддержки Американского ракового общества, убедила руководство многих больниц в полезности нашей программы.

Сейчас существует девять филиалов организации «Мы в силах», один из которых действует в Вашингтоне.

Я как президент принимаю участие во многих встречах, и меня глубоко трогают перемены в самочувствии больных в результате нашего общения. Очевидно, что далеко не всякий выздоровеет, как выздоровела Барбара Колеман, но я могу назвать немало случаев, когда жизнь больного продлилась на два, на три года. И почти все больные, участвовавшие в наших встречах, научились по-другому относиться к обстоятельствам своей жизни.

У больных появилась возможность свободно поговорить о себе, не загоняя свои страхи поглубже вовнутрь себя, получить представление о том, как наилучшим образом использовать свои возможности. По свидетельствам врачей, *эта групповая терапия повысила эффективность лечения.*

Как говорит Барбара Колеман:

— *Дело не в смерти. Умение спокойно умереть* — это тоже искусство.

Новый подход

Работа в медицинском учреждении дала мне возможность поддерживать тесный контакт с сотнями больных. К тому же я много разъезжал по стране и выступал перед различными аудиториями, которые в силу тех или иных причин проявляли интерес к проблемам медицины.

Я не сомневаюсь в том, что за последние годы произошла очень важная перемена в сознании людей, не связанных с медициной. Не вдаваясь в подробности, я бы сформулировал эту перемену так: больные хотят понимать, чем именно их лечат, почему избран данный план лечения, и стремятся к ответственному участию в решении своей судьбы.

Самое отчетливое выражение это находит в интересе к «целостному» врачевательству. Термин «целостный», или «голистический» — от греческого «голо», «целое», — не отличается точностью. Да и трудно подобрать определение этому феномену, которое бы просуществовало достаточно долго, чтобы лексикографы успели внести его в обновляемые словари. Серьезным сторонникам целостного подхода к лечению ничуть не помогают крикуны, полагающие, что этот подход включает в себя астрологию, хиромантию, нумерологию, графологию и прочие экзотические формы диагностики и лечения.

Беда в том, что иные сторонники целостного подхода склонны противопоставлять его традиционным методикам. 2400 лет назад Гиппократ учил, что хороший врач при диагностике и лечении должен принимать во внимание буквально все. Чаще всего вспоминают в связи с Гиппократом его знаменитое изречение: прежде всего — не навреди! Но Гиппократ еще усиленно подчеркивал, что «человеческое тело само есть лекарь своих недугов». Ни один сторонник целостной медицины не нашел пока лучшей формулировки! Мудрые врачи столетиями придерживались этого завета Гиппократа.

Целостная медицина есть не замена, а воплощение всего лучшего, что накопила медицинская практика. Вместе с тем тенденция к медицинской специализации в сочетании со всепроникающей техникой увеличила дистанцию между врачевателями и врачуемыми — в этом нет сомнения. Больные испытывают все усиливающееся ощущение обезличенности, расщепленности от множественного соприкосновения с незнакомыми людьми, незнакомыми машинами, незнакомой обстановкой. Больной обращается к врачу, ища укрытия от страха и одиночества, а входит в контакт либо со множеством новых людей, каждый из которых знает только свою сферу медицины, либо с невероятной усложненностью чудес диагностической техники.

Часто увлечение экзотическими формами лечения является плодом недовольства больного системой, при которой его все время передают с рук на руки, недовольства неумеренным использованием медицинской техники. Больной считает, что ему не дают «настоящих» лекарств. Подчеркивается при этом, конечно, «ненастоящесть» того, что он получает.

Не нужно воспринимать новый подход больных к врачам как угрозу научной медицине или как нечто чуждое ей. Новый подход может стать важным стимулом для роста и развития врачебного искусства, ибо, по сути дела, больной этим заставляет врача проявлять ту же силу воли, которую врач старается пробудить в больном.

Для характеристики поведения больных, которые — сознательно или неосознанно — пытаются успокоить себя, отказываясь верить, что они серьезно больны, считая, что либо врачи преувеличивают, либо просто ошибаются, в клинической практике применяется термин «отказ».

...Трудно определить, что следует считать «приемлемым» или «нормальным» поведением больного, еще труднее направить больного по этому пути. Суровый диагноз часто вызывает бурную реакцию — и у врачей тоже, когда они заболевают.

Поведение, которое выглядит как «отказ» или как нежелание выполнять предписания врача, может быть следствием попытки положиться на собственные силы. Если за «отказом» скрыто положительное отношение к жизни или хотя бы надежда выкарабкаться — это может способствовать успеху лечения.

Многие больные участвуют в принятии решений, от которых может зависеть их жизнь, более решительно, чем всего несколько лет назад, начинают осуществлять больший контроль над лечением, предлагаемым им. И в частных разговорах, и в публичных дискуссиях ощущается желание людей больше знать о медицине, особенно когда это непосредственно их касается. Наряду с тенденцией к усилению ответственности самого больного за то, что с ним происходит, появились еще и новые обстоятельства: средства массовой информации стали широко освещать медицинские проблемы и вздорожание здравоохранения.

Все это отражается в расширенных ожиданиях, с которыми больной идет к врачу. Больному обмен мнениями с врачом кажется едва ли не менее важным, чем назначение новой процедуры или анализа. И это настроение больного незачем считать враждебным или к делу не относящимся. Лечение становится результативней — и не только оттого, что больной без стеснения говорит обо всем, что его мучает, но и оттого, что врач спокойно рассуждает на темы, строго говоря, не «медицинские».

А как же быть с советом такого авторитета, как сэр Уильям Ослер, который предостерегает врача от эмоциональной вовлеченности в судьбу больного? Ослер не рекомендует врачу проявлять холодность к больному или держать его на дистанции — он тревожится за врача, особенно за новичка, который может не выдержать поражения. Ослер хорошо знает, что в войне против болезни поражения уж очень часто непоправимы.

По-своему врач, который лечит смертельно больного, и сам прибегает к психологическому «отказу». Он борется, скажем, против злокачественной опухоли, зная, как ничтожны его шансы на успех, но использует весь доступный ему арсенал средств. И подобно тому как держится за жизнь больной с упорством, которое дают ему инстинкт и миллионы лет эволюции, так и врач упорно верит в свой долг, диктующий ему делать все, что в его силах. И для больного, и для врача естественно стремление не сдаться без борьбы; поражения удается избежать — пускай на

время — достаточно часто, а значит, политика «сражаться вместе» вполне реалистична. Чем увереннее ведет себя больной, тем выше шансы на успех того, что дает ему врач.

«Отказ», таким образом, может быть превращен в интенсивную форму сотрудничества.

Менее чем за два десятилетия медицинская техника сделала скачок, в результате которого сегодня поддаются диагностированию заболевания, не распознававшиеся раньше, и поддается лечению самые трудные болезни. Транзисторы улавливают малейшие изменения в химических процессах организма, лазеры позволяют делать сложнейшие операции без риска кровопотери, компьютеры помогают справляться с шоковыми состояниями, благодаря достижениям науки и техники стали возможны пересадка органов, широкое применение компьютерной томографии, использование изотопных методов обследования и эхографии, врачи получили такую аппаратуру, как АИК, высоковольтные облучатели, приспособления для почечного диализа — и все это лишь немногие примеры стремительно растущей роли техники в войне против болезней.

Но тут и возникает неизбежный вопрос — как сказывается применение сложнейшей медицинской техники на взаимоотношениях между врачом и больным? Или по-другому: как влияет новая техника на медицинскую практику? И как реагируют больные на ту новую роль, которую отводит им головокружительный прогресс медицинской техники?

Пожалуй, самым заметным последствием этого прогресса стало появление врачей совершенно нового типа, которым даже думать неприятно, что можно посещать больного на дому и лечить его традиционными средствами. Дело не только в том, что вызовы на дом отнимают у врача много времени, — врачи нового типа уже давно привыкли доверять всерьез лишь современной аппаратуре и заниматься больными в клиниках. Невозможно даже сомневаться в том, что использование всей этой аппаратуры безмерно расширило возможности врача. Сомнение возникает по поводу того, не слишком ли теснит наука врачебное *искусство* — важнейший элемент врачевания. Великие медики всех времен — от Гиппократа до Холмса, от Галена до Каннона, от Кастильоне до Ослера — считали самым главным человеческий отклик врача на призыв о помощи. Как писал Франц Ингелфингер, главный редактор «Нью инглэнд джорнэл оф медисин», в подавляющем большинстве случаев больной острей всего нуждается в заверении, что его организм сумел бы и сам прекрасно справиться с болезнью. Врач, понимающий, насколько важно посидеть у постели больного, даже если он при этом ничего не предпринимает, удовлетворяет самую острую, а значит, и самую существенную потребность больного.

В мае — июне 1977 года Малколм С. Тодд писал в журнале «Медикал инструментейшн»:

«Владение аппаратурой должно дополняться широким пониманием человеческой природы; иначе узость подхода может привести к упрощенной формуле действия».

Значит, не следует удивляться, что больные все чаще противятся медицинской технике. Опасливость больных имеет свои резоны, и разумный врач не должен воспринимать ее как недоверие к своему авторитету.

Вполне вероятно, что нежелание больных соприкасаться с медицинской техникой или сопротивление ей находится в прямой зависимости от удаленности врача от них. Больной чувствует себя спокойно, когда врач рядом с ним. А вот когда больного направляют туда, где он лишен прямого контакта со своим врачом, лишен доступа к нему — тогда ему становится не по себе. И чем дальше больной от врача — источника своей безопасности, — тем ему хуже.

Чем замысловатей и непонятней выглядит техника, тем больше шансов на то, что она испугает больного. Если у врача нет времени на сопровождение *больного по этим процедурам, он должен* найти себе равноценную замену, иначе новейший результат обследований может причинить больному психологическую травму, а следовательно, и физиологический урон. Бесполезно доказывать больному, что обследование проводится в его же собственных интересах, поскольку тревожить его может не столько сама процедура, сколько обстановка, в которой *она проходит*. Отсутствие человеческого тепла способно сильнее повлиять на больного, чем сознание полезности процедуры.

Страшней всего — страх

Я хочу вернуться к главной теме книги. При лечении серьезного заболевания *нет ничего важней, чем освобождение* больного от страха и скверных предчувствий.

К сожалению, на этот аспект медицинской помощи обращают довольно мало внимания. Скажем, в процедуре сердечно-легочной реанимации акцент делается на техническую сторону дела: искусственное дыхание рот в рот и все прочее. Но ведь эти срочные меры могут еще больше испугать больного. То же самое относится к «скорой помощи», которая своей скоростью и завывающей сиреной может сама стать причиной беды. Я не против принятия срочных мер, но я хочу подчеркнуть необходимость обращать по меньшей мере такое же внимание на эмоциональное состояние больного, как на его физические показатели.

Депрессия следует за страхом с той же неизбежностью, с какой после неумеренной выпивки наступает похмелье. Когда человеческое тело переносит глубокие эндокринные нарушения как результат панического страха или других

сильных отрицательных эмоций, последующая депрессия просто неизбежна. Депрессия же усиливает любое заболевание. Именно поэтому настроение больного должно заботить врача никак не меньше, чем болезнь, с которой он призван бороться.

Я имею в виду не только сердечные заболевания — это относится к любой серьезной болезни. С 1978 года я встречался и беседовал с 260 раковыми больными. Меня поразило, что у большинства больных наступало резкое ухудшение, когда они узнавали диагноз. Я спросил себя: в чем же тут дело, почему рак с такой свирепостью проявляет себя, когда больным становится известно, что с ними. Может быть, больные не обращали внимания на симптомы до тех пор, пока они не начинали проявляться со взрывной силой? Без сомнения, в отдельных случаях так оно и было, в отдельных, но не во всех. Скорее нужно было предположить другое (и беседы с больными подтверждают мое предположение): уверенность в том, что у них рак, приводила к сильнейшему эмоциональному расстройству, справиться с которым они были не в силах. Хуже того, биохимические изменения, вызванные ужасом, завершались физическими последствиями, никак не способствовавшими лечению.

23 октября 1982 года я прочитал заметку, которая еще больше укрепила меня в моих рассуждениях. Во время футбольного матча четыре человека из зрителей покинули свои места из-за того, что почувствовали тошноту и головокружение. Выяснилось, что все четверо пили воду с сиропом из автомата под трибунами. В чем было дело — в воде из местного водопровода или в некачественном сиропе? Когда зрителям объявили, что их просят не пить воду из автомата до получения лабораторного анализа, начались массовые приступы рвоты и обмороков. 191 человек был доставлен в больницу, где врачи убедились, что имеют дело с самыми доподлинными симптомами отравления. И тем не менее большинство пострадавших быстро поправилось, как только стало известно, что лаборатория ничего особенного в воде не обнаружила.

В средние века были широко распространены массовые истерии. Тысячи людей с пеной у рта дергались в пляске святого Витта. Пляска захватывала целые европейские страны. В Италии люди тысячами становились жертвами «тарантизма» — им казалось, будто их искусали ядовитые пауки. Существовала истерическая эпидемия под названием «черная смерть» — у людей начинались конвульсии, развивались другие эпилептические симптомы. От этих эпидемий умирали, хотя их единственной причиной бывало массовое помешательство.

Современная медицина знает, что в XVIII веке Франц Антон Месмер «исцелял» больных не при помощи того, что он сам принимал за «животный магнетизм», а путем внушения. Многие больные Месмера страдали тем, что Шарко позднее назвал «внушенной истерией». Человек способен «придумать» или «вообразить» себе любую болезнь во всех ее органических проявлениях.

Цель всех этих моих отступлений в том, чтобы подчеркнуть: любое серьезное заболевание, не только сердечное, требует лечения с двух сторон. Врачу недостаточно знать медицину и владеть медицинской техникой, поскольку на практике он встречается с сочетанием разнообразных страхов, которые, если он оставит их без внимания, могут помешать процессу выздоровления.

Человек — существо единственное в своем роде не только в силу того, что миллионы лет эволюции дали ему прямохождение: человек способен выносить моральные суждения, усваивать коллективный опыт целой расы, и, наконец, он превращает в жизненную энергию не одну лишь пищу, а и надежды тоже. Оказание медицинской помощи такого рода существу требует уважения тех факторов, которые нечем измерить, но которые и делают человека личностью и воздействуют на его личную судьбу.

Врачи бывают склонны считать, что коль скоро у двух больных наблюдаются одинаковые симптомы, значит, их нужно одинаково лечить. Это далеко не всегда так. Существует нечто неощутимое, но жизненно важное, не поддающееся диагностике, но влияющее на течение болезни, а значит, и на план лечения.

Трудно понять происхождение внутренних сил человека, трудно понять, что заставляет человека так или по-другому реагировать на кризис, преодолевать предположительные или реальные ограничения.

Человек подчас обнаруживает в себе способности, о существовании которых он даже не подозревал. Нет на свете тайны более глубокой, чем эта: как происходит это чудо? И почему оно проявляется у одних сильней, чем у других?

Но это — могучее средство, способное усилить действие всех других лекарств, а иногда и подействовать там, где оказалось бесполезным остальное. Называть ли его надеждой больного, его волей к жизни, его верой, его уверенностью в себе — неважно. Важно другое: положительные эмоции и положительное отношение к жизни есть сильнейший фактор преодоления болезни.

Врачи всегда верили в пользу — даже в необходимость — положительных эмоций как составного процесса лечения, но вопрос о том, каким же образом положительное отношение к жизни воздействует на тело, считался скорей делом философов, чем физиологов. Сегодня существуют исследовательские центры в Америке и за ее пределами, где изучаются биохимические механизмы эмоций.

Один такой центр действует в Омахе, при университете Небраски. Центром

руководит д-р Роберт С. Элиот, разработавший методики оценки физиологических результатов напряженности, разочарования, соревновательности и других эмоций, продуцирующих стресс. Д-р Элиот пользуется своими методиками как системой предупреждения, которая помогает потенциальным больным своевременно менять поведение и избегать опасности инфаркта, инсульта и прочего.

Д-р Элиот считает, что поведение человека может предсказать наступление срыва. Он не умаляет важности диеты, бедной жирами, и физических упражнений, но полагает, что главным фактором является способ реагирования человека на жизненные препятствия. Более того, он убежден, что поведение, угрожающее срывом, поддается коррекции.

В июле 1981 года д-р Элиот писал в своем докладе комиссии Сената: «Поскольку болезненные реакции на стресс, как правило, являются реакциями приобретенными, то можно научить человека отказываться от них. Таким образом, излишние стрессы и сопутствующие им побочные явления, включая сердечно-сосудистые заболевания, могут быть предотвращены, ослаблены или задержаны».

Д-р Элиот, который сам перенес инфаркт миокарда и имеет возможность посмотреть на сердечные заболевания и глазами больного тоже, построил работу своей лаборатории при университете Небраски на теории о недостаточной изученности влияния личностных и эмоциональных характеристик на болезни сердца.

Я побывал в лаборатории д-ра Элиота через два года после моего инфаркта. Д-р Элиот познакомил меня со своими тестами, предназначенными, как он объяснил, для выявления людей, находящихся под угрозой сердечного заболевания из-за того, как они реагируют на стрессовые ситуации.

По д-ру Элиоту, причинами заболевания сердца чаще всего бывают повышенное стремление к соревновательности, неуверенность в собственной способности справиться с жизненными целями, действительная неспособность справиться с неожиданным шоком.

Я предложил свои услуги в качестве подопытного кролика.

Д-р Элиот начал с тщательного осмотра и сбора данных: кровяное давление, частота пульса, кардиограмма — их предстояло сравнить с данными, которые будут получены во время тестов.

Затем меня опутали датчиками и усадили в удобное кресло перед телевизором. На экране появился сотрудник лаборатории, он держался открыто и доброжелательно, явно избегая приказных ноток в голосе. Мне объяснили, что я должен пройти три теста, реакции на которые будут зафиксированы аппаратурой в соседней комнате.

Первый тест — нечто вроде видеоигры, в которой я должен был управлять «битой», чтобы перехватить как можно больше беленьких мячиков. При этом устанавливался лимит времени, но мне его не сообщили.

Второй тест — несложная арифметическая задача. Я должен был вычитать по 7 из чисел 777, 770, 763, 756 и так далее, пока меня не остановят.

В третьем тесте мне было предложено опустить кисть правой руки в ведро с ледяной водой и продержать ее 90 секунд.

А датчики все это время передавали информацию на аппаратуру.

Первый тест — бита и мячики — был предназначен для оценки моего инстинкта соревновательности и его воздействия на работу сердца. Второй — для оценки моей способности справляться с интеллектуальным препятствием; третий — для оценки реакции на физиологический стресс.

После окончания тестов д-р Элиот принес целую охапку листов, буквально испещренных цифрами. Истолковал он результаты тестов так: два первых теста не вызвали ни подскока давления, ни других отрицательных физиологических реакций, что доказывает мою способность и контролировать инстинкт соревновательности, и справляться с интеллектуальными препятствиями. А вот ледяная вода заставила систолическое давление прыгнуть на 35 единиц, диастолическое — на 10.

Я постарался припомнить, что я чувствовал во время третьего теста. Ледяная вода вызвала ощущение очень неприятное, почти болезненное. Мне захотелось сразу же отдернуть руку, но поскольку я был предупрежден, что руку нужно продержать в ведре 90 секунд, то я начал отсчитывать в уме секунды, все время чувствуя себя как бы в ловушке. Мне пришло в голову сравнение с автомашиной, которая попала в пробку по дороге в аэропорт. Та же ситуация: необходимо выбраться, а выбраться невозможно. Ведро с ледяной водой стало еще одним подтверждением того, что я уже знал: мне следует избегать ситуаций, из которых я не в силах выйти.

Однако д-р Элиот уверил меня, что мою реакцию на такого рода ситуации можно изменить. Он рассказал мне о целом ряде людей, которые не могли выдержать ни одного теста, но после систематической тренировки научились менять свое поведение, что, конечно, снизило для них риск сердечных заболеваний.

Беседы с д-ром Элиотом мне очень много дали: я понял, что не обречен быть узником своих привычек, своего образа мыслей и поведения. Я ведь в значительной степени изменил свой образ жизни за два года *после* инфаркта. Я не сумел полностью взять под контроль свою реакцию на определенные ситуации, но зато свел к минимуму возможность возникновения таких ситуаций в моей жизни.

Вне инвалидности

Ощущение, что ты замкнут в теле, которое не в состоянии нормально функционировать; чувство, что ты живешь под потолком, который опускается все ниже и ниже; сознание, что ты вынужден отделять себя от полноценной жизни и примириться с наступающей пустотой — вот что такое инвалидность. Когда врачи предупреждают человека, говоря, что у него «слабое сердце», человек начинает снижать уровень своих ожиданий, он совершает меньше поступков, он с опаской выходит во внешний мир.

Как избежать ощущения инвалидности, когда обстоятельства вызывают его и явно требуют от человека, чтобы он вел себя инвалидом?

Если врач вам говорит, что сердце ваше ослаблено, что вам следует избегать нагрузок, которые привычно и весело выдерживают нормальные люди, как вы должны жить, чтобы не пугаться всякий раз, когда вы подходите к лестнице или к вам подбегает ребенок и просится на руки?

Возможно, лучше всего ответить на эти вопросы, начав с размышлений о том, как вообще функционирует человеческое тело. Настроение тотальной капитуляции вконец ослабляет организм. Наш организм обладает способностью к самовосстановлению, которая приходит в действие, когда человек болен, но эта естественная тенденция к излечению может быть подавлена эрозией воли к жизни, отсутствием доверия к врачу, неверием в возможность не поддаться болезни.

Понятно, что было бы глупо считать, будто не существует неизлечимых болезней или очень тяжелых состояний. Но как раз тут мы и нуждаемся во всей доступной нам помощи, а значит, мы должны привести в действие все внутренние ресурсы организма. Важное условие этого — умение уважительно относиться к нашему телу — системе, обладающей поразительной прочностью, гибкостью и способностью к самовосстановлению. Учитывая, что наше тело склонно двигаться в задаваемом ему направлении — в сторону плюса или минуса, — необходимо все время помнить, что уверенность в себе и решимость выжить лечат нас не меньше, чем лекарства и медицинская техника.

В тот день, когда меня выписали из больницы, я договорился о строительстве нового кабинета для работы и хранения материалов. Единственное место, которое нашлось для этой пристройки, располагалось на склоне холма за домом. Получалось, что мне каждый раз придется карабкаться вверх на высоту примерно в четыре лестничных пролета.

Пристройка была готова месяца через три. Я ни разу не поколебался: подниматься или нет — и взбирался к себе на гору по меньшей мере дважды в день: предвкушения удовольствия для меня бывает достаточно, чтобы выдержать физическую нагрузку.

Однако я хорошо знаю: если бы я поднимался с предчувствием чего-то неприятного, мое тело немедленно пошло бы навстречу этому предчувствию, предъявив все симптомы — стеснение в груди и прочее. Я все больше и больше соглашаюсь с мыслью, что под воздействием страха или эмоционального стресса тело начинает производить самоубийственный яд, и этот фактор глубинно содействует началу заболевания, будь то сердечная недостаточность, поражение суставов или даже рак.

Я знаю, что продолжаю оставаться в опасном состоянии. Я знаю, что мое сердце в любую минуту может неожиданно остановиться. Если это произойдет, я не буду в претензии. Как я говорил д-ру Шайну: я могу быть только благодарен сердцу, которое верно служило мне всю жизнь, богатую событиями, в числе которых было и несколько тяжелейших болезней, причем первую из них я перенес еще в детстве.

Не смерть наш враг, а жизнь в постоянном страхе смерти. Я не собираюсь обложиться подушками, чтобы мягче был фатальный конец. Я намерен жить и мыслить активно и творчески, пока я буду физически способен на это, памятуя, что само по себе долгожительство может быть и бесплодным, а смысл человеческой жизни, ее полнота и глубина — в живых чувствах и мыслях.

Я и так уже перешагнул за среднюю продолжительность жизни, но я хочу жить дальше, хочу дожить до тех времен, когда в мире восторжествует справедливость, а планета станет безопасной и пригодной для обитания человека на ней. Я надеюсь дожить и до того времени, когда все человечество избавится от нищеты. Сейчас этому мешает не нехватка естественных ресурсов, а избираемый нами порядок их распределения. Как бы там ни было, я благодарен судьбе за возможность и дальше стараться вызволять нашу эпоху из тисков неприкрытой бесчеловечности и ужаса ядерной гибели.

Оглядываясь на прошлое, я вижу, как мне повезло, — я смог воспользоваться всеми средствами, которыми располагает современная медицина. Десятки лет смертность от сердечных заболеваний превышала урон, причиняемый всеми другими болезнями. Теперь этот процент начал снижаться, и я верю, что он будет и дальше падать по мере того, как и медики, и широкие круги общественности в полной мере осознают необходимость борьбы с болезнями сердца — и путем использования всего медицинского арсенала, и путем максимального развития врожденной способности человеческого организма к самоизлечению. Признание веры в жизнь как мощного стимулятора восстанавливающей системы организма может открыть новые многообещающие перспективы перед медицинской наукой и практикой.

Завершая эту работу, я смотрю на календарь — с 22 декабря 1980 года, со дня моего инфаркта, прошло два года и пять месяцев. Д-р Шайн осыпает меня поздравлениями, употребляя слово «бле-

стяще» в оценке процесса моего выздоровления, хотя по-прежнему считает, что опасность не миновала. Д-р Каннон не оспаривает наличия опасности, но не видит симптомов, которые бы указывали на недостаточное снабжение сердца кровью и кислородом. Часть сердечной мышцы, разрушенная во время инфаркта, уже никогда не восстановится, но сердечная мышца в целом окрепла и приспособилась к нагрузке, даваемой ей. Д-р Каннон не уверен, что шунтирование дало бы лучшие результаты.

Я работаю в полную силу, кроме того, я посещаю больницы и беседую с больными, когда врачи мне говорят, что этим больным нужно помочь поверить в свои силы. Разница между тем, как я жил до инфаркта и как живу сейчас, заключается в том, что если раньше я подчинялся своим делам и обязанностям, то теперь я подчинил их своим потребностям.

Больше всего меня поражает во всей этой истории мое собственное сердце, которое само сумело обеспечить себя необходимым. При операции шунтирования у меня бы взяли из бедра кусок вены и заменили бы им затромбированную часть сердечной артерии. Природа же решила эту задачу с двух сторон: мое тело постепенно привело в действие целую сеть более мелких кровеносных сосудов, которые, в обход поврежденной артерии, понесли сердцу необходимую кровь и кислород. Для этого нужна была строгая и продуманная диета, физические тренировки, контроль над стрессом и философия жизни, щедро питающая собой потребности духа.

Второй способ, которым поврежденное сердце старается восполнить себя, — усиление артериального кровотока. Не все врачи считают, будто забитые бляшками артерии уже никогда не смогут очиститься от них. У исследователей пока еще нет абсолютной уверенности в том, что бляшки могут растворяться естественным образом. С другой стороны, доказано, что даже небольшой просвет в артерии способен пропускать большее, чем можно бы предполагать, количество крови. Отсюда некоторые кардиологи делают вывод, что лечение, останавливающее дальнейшее закрытие артерии, приводит к образованию просвета, достаточного для усиленного кровотока.

Я уже писал, что мне очень не хотелось ложиться на операцию. Я хотел проверить, смогу ли я добиться существенного улучшения своего состояния без шунтирования. Если бы этого не произошло, я бы согласился на операцию. Метод избранный мной, не из легких: на него может пойти только тот, кто готов соблюдать жесточайшую дисциплинированность. Успех моего эксперимента не может служить доказательством того, что он обязательно удастся другим.

Мы настолько приучили себя к мысли, будто болезни приходит откуда-то извне — нечто вроде враждебной нам субстанции, проникающей в наше тело, — что сразу бросаемся искать средства вне нас, которые могли бы изгнать ее. Раз нападение произошло на нас извне, так и оружие против него должно быть вне нас. Мы мало знаем — а потому и плохо верим, — как много есть у нашего организма способов защищать себя. Незнание влечет за собой не только излишнюю зависимость от лекарств, оно еще вызывает неоправданные страхи, даже панику, что мешает работе механизмов восстановления.

Есть разница между процессом лечения и процессом излечения. Лечение должно сделать то, что не в силах сделать наше тело и, параллельно этому, восстанавливать, по возможности в полной мере, способность организма к самозащите. Неправильно думать, будто главную роль в лечении играет врач. Главную роль играем мы сами, а мудрый врач умеет помогать нам. Больной не имеет права уходить от ответственности за свое выздоровление.

Что же он обязан делать? Прежде всего важно помнить, что, как только организм вышел из обстоятельств, которые привели к его болезни, он начинает естественно стремиться к самовосстановлению. Например, человек, перенесший инфаркт, должен постараться понять, какие причины привели его к болезни. Если причина моего инфаркта была в том, что я вел обреченную на поражение битву против дорожных пробок, аэродромной суеты, переполненных самолетов, потерянного багажа и опозданий на лекции в других городах, то я должен был изменить бешеный темп своей жизни. Если мое тело требовало физической нагрузки, которую оно не получало, то исправить это положение мог только я сам. А если физическую нагрузку требовалось дополнить пищей для ума, включая приятные размышления и занятия, то я тоже не мог рассчитывать, что это сделают за меня другие.

Борьба с серьезной болезнью требует не только медицинской помощи, но и отваги. Не всякий раз борьба кончается победой — будь это так, мы все бы жили вечно, но можно добиваться победы даже в ситуациях, которые принято считать безнадежными.

Не многим из нас выпадает удача прожить жизнь без единой серьезной болезни. Когда человек заболевает, ему незачем ни сердиться, ни чувствовать себя виноватым. Нет смысла рассчитывать и на простое и легкое выздоровление. Но долг по отношению к нам самим и к тем, кого мы любим, требует, чтобы мы не способствовали собственному поражению своими пораженческими настроениями.

Но как нужно уметь бороться с пораженческими настроениями, так же нужно уметь справляться с чувством вины, если не удастся встать на ноги. При всем желании мобилизовать все внутренние ресурсы и использовать все возможности медицины бывает и так, что болезнь оказывается неодолимой. Не надо в таких случаях винить себя, укорять себя за то, что нам не хватило веры и воли к жизни. Не только победами измеряется стойкость характера.

Нам не дано преодолеть смерть. Этот триумф — за пределами человеческих возможностей. Но мы имеем право на всю помощь, которую нам предлагают люди, а наши близкие имеют право знать, что мы сделали все, что было в наших собственных силах.

Самая страшная трагедия — позволить умереть тому, что придает жизни смысл.

Еще несколько слов...

Одной из серьезных причин, побудивших меня начать работу в медицинском учреждении, было желание попытаться найти ответ на вопрос, которым я уже давно интересуюсь: существуют ли научные обоснования благотворного воздействия положительных эмоций на функционирование человеческого организма?

Как это нередко случается, ответ на этот вопрос был просто перед моим носом, я же искал его не там, где нужно было. Я обращался в различные лаборатории, где ведутся сложные эксперименты по выявлению биохимических изменений под воздействием различных эмоциональных состояний. Лаборатории получают интересные результаты, однако ключ к проблеме — в явлениях, которые давно и широко известны, в том, как влияют на организм отрицательные эмоции. Медицинская литература полна данных о том, как разрушительно действуют на нас страх, подавляемая ярость, чувство безысходности и т. д.

Самоочевидный ответ заключается в том, что отрицательным эмоциям со всей их вредоносностью противодействовать могут положительные эмоции. Иными словами, положительные эмоции выполняют особую и четкую роль в защите организма — как больного, так и здорового.

Я хочу подчеркнуть, что написал эту книгу без малейшего намерения изложить какие-то общие правила поведения для инфарктных больных. Что помогло мне, может и не помочь другим, хотя некоторые общие положения представляют, на мой взгляд, общий интерес.

Прежде всего это преодоление страха. При длительной болезни больной начинает готовить себя к худшему. Невозможно переоценить значение веры в свои силы и воли к жизни как факторов, влияющих на наше здоровье. И уж в любом случае они усиливают воздействие лечения. Я не хочу сказать, что способность нашего организма к самоизлечению срабатывает во всех ситуациях, но она достаточно часто дает о себе знать, поэтому в нее можно и нужно верить.

Конечно, возникают ситуации, в которых не обойтись без серьезного медицинского или хирургического вмешательства, но не бывает положения дел, когда крепость духа оказалась бы лишней.

Эпилог

Общение с медиками заставило меня задуматься над парадоксом: существуют медицинские учреждения и исследовательские центры, которые занимаются всеми аспектами здравоохранения, кроме одного — здоровья общества. Могу засвидетельствовать на личном опыте: я написал за свою жизнь больше десятка книг о болезнях общества, но все они, вместе взятые, не вызвали такого отклика, какой вызвал рассказ о том, как я выстоял в единоборстве с болезнью.

Я не в обиде. И я не хочу сказать, будто здоровье отдельных людей не имеет такого значения, какое мы ему придаем. Мне не дает покоя мысль, что наше общее здоровье — включая и здоровье грядущих поколений — может оказаться в большей зависимости от оздоровления общества, чем от побед над болезнями.

Самые серьезные из нынешних медицинских парадоксов нужно отнести за счет безразличия или попустительства общества. В результате порочной общественной политики и практики возникает угроза здоровью и безопасности людей, которая если и не превращает их в уродов, то безусловно уродует их жизни, критерии нравственности. Может быть, сильней всего это сказывается на самих медиках, ибо в их руки попадают те, кто искалечен извращенными общественными нормами или неспособностью общества решить свои проблемы. К трудностям борьбы с болезнями, естественно возникающими в процессе жизни, добавляется необходимость бороться и с последствиями уродливого общественного устройства.

Самым очевидным, хотя и не самым страшным по результатам, примером может служить отсутствие запретов на производство и продажу огнестрельного оружия. Мрачное увлечение оружием каждый год приводит к тысячам смертей и увечий. В разработке законов, которыми регулируется производство и продажа оружия, врачи не участвуют, но они обязаны оказывать помощь жертвам этих законов.

Не менее нелепо отношение общества к автомобилю и к дорожной безопасности. Врачи не пользуются решающим голосом при выработке правил дорожного движения, когда же бешеные скорости кончаются авариями с жертвами, тогда общество требует вмешательства врачей.

В начале XX века основными причинами детской смертности в Америке были туберкулез, дифтерит, полиомиелит и оспа. Сегодня, когда эти болезни побеждены медициной, им на смену явились орудия смерти, изготовленные человеком,— огнестрельное оружие и автомобиль. Причины ясны. Следствия и очевидны, и ощутимы. Но общество, на котором лежит главная ответственность и за причины, и за результаты, ничего не предпринимает.

Поднимаясь по лестнице парадоксов, мы видим все более серьезные пороки общественного устройства. Начнем с правительственных субсидий тем, кто выращивает ядовитые растения, которые вызывают тяжелые болезни. С одной стороны, правительство заявляет, что

курение и рак тесно связаны, с другой — платит фермерам, чтобы они выращивали табак. Еще большая нелепость: деньги налогоплательщиков расходуются на рекламирование по всему миру американских сигарет. Таким образом, правительство делает американцев виноватыми в распространении злокачественных опухолей в нашей стране и за ее пределами. И конечно же, как никотин проходит через фильтры, так и этот процесс фильтруется лозунгами национальных интересов.

В этой связи можно вспомнить и о компаниях по производству смертельно опасных инсектицидов, продажа которых в Соединенных Штатах запрещена. Однако разрешение на продажу этих ядовитых химикалий в другие страны правительство США дает легко и охотно. По всей видимости, вопросы ответственности и нравственности утрачивают остроту пропорционально географической отдаленности.

С верхней ступеньки лестницы мы можем наблюдать аномальные и взрывоопасные формы общения государств друг с другом.

Самый страшный урок, преподанный историей человечеству, заключается в том, что столкновения между государствами уносят больше жизней, чем любое сочетание других факторов. Из этого неумолимо вытекает вывод, что сегодня главную угрозу для здоровья народонаселения планеты таит сфера международных отношений государств.

Пока медики стремятся отыскать новые, более действенные методы борьбы с болезнями, власти предержащие создают лаборатории, где ученые трудятся над выведением новых штаммов болезнетворных бактерий, против которых окажутся бессильны любые известные антибиотики или иные средства защиты. Предлогом служит намерение использовать бактериологическое оружие исключительно против врагов.

Найдись человек, который бы занялся поисками способов распространить новую эпидемию, его бы сочли чудовищем, упрятали бы подальше. Когда же в этом безумии повинны власти — все тихо.

Квинтэссенцией безумия можно назвать нейтронную бомбу.

От остальных видов оружия это отличается тем, что уничтожает только жизнь — материальные средства остаются в сохранности. Обладает оно, однако, и еще одним достоинством, являясь не чем иным, как саморазоблачением, яркой демонстрацией подразумеваемой иерархии ценностей — того, что общество считает необходимым оберегать: неживое дороже живого, вещи против людей. Столь же малоутешительны в смысле перспектив и ракеты МХ — их невозможно уничтожить, а людей в городах, на которые они упадут, невозможно уберечь.

К этой же категории оружия убийственной эффективности и устрашения относится и ЭМИ — электромагнитный импульс. О разработке этого оружия очень мало говорят, что само по себе внушает тревогу. Важно отметить, что, сообщая об ЭМИ, журнал «Сайенс-83», публикуемый Американской ассоциацией развития науки, характеризовал его как оружие наиболее устрашающего потенциала.

Техника убийства не только оберегается лучше, чем человеческая жизнь,— она облачается в словесное великолепие. Компьютерные электронные устройства, способные пробиться через самую надежную защитную систему и доставить по назначению свой апокалипсический груз, характеризуются эпитетами: «гениальные», «блистательные», «виртуозные». Марвы, мирвы, лазеры, крылатые ракеты — все это изобретения того же изощренного, запредельного ряда, люди в сравнении со всем этим выглядят ничтожными, ненужными, лишними. Оправданием для производства все нового оружия служит постоянное напоминание, что противник тоже производит его. А если пока не производит, то скоро начнет.

Сильнейший аргумент в пользу неслыханных военных ассигнований — «другая сторона расходует не меньше нашего, а то и больше». Никто не желает поинтересоваться, действительно ли для нашей безопасности необходимы такие колоссальные затраты, независимо от того, обоснованно ли будет тратить свои деньги другая сторона или нет.

Произведя силу в ранг высшей ценности, мы превратились в пленников силы. Поставив знак равенства между национальной безопасностью и абсолютной властью, мы утратили уверенность в себе. Связав защиту нашей свободы и исторически выработанного мировоззрения с накоплением разрушительного оружия, мы пренебрегли необходимостью совершенствовать международные организации, которые одни только и могут решать главные проблемы войны и мира. Отдав на откуп армии значительную часть наших природных ресурсов, мы допустили военную промышленность к вершению судьбами нашей внешней политики.

Мы, по сути дела, превратились в общество, которое, будучи богатым, субсидирует не тех, кто беден или болен, а тех, кто производит и продает оружие. Мало кто вникает в доклады правительственных финансовых комиссий, в которых документально подтверждаются факты разбазаривания, незаконного расходования, присвоения средств из военного бюджета. Зато под прикрытием заботы об экономии резко сокращены ассигнования на нужды народного образования, на пенсии и пособия по болезни.

И, конечно, непревзойденными по нелепости являются заверения нашего правительства, будто Америка уцелеет в ядерной войне. На чем основана эта уверенность, правительство США не уточняет.

Нам не говорят, сколько бомб будет сброшено противником и на какие города, какой силы будут бомбы. О чем идет речь, о килотоннах или мегатоннах? О символическом нападении или об огненных радиоактивных бурях, которые испепелят наши города, превратят убежи-

ща в печи, где люди сгорят заживо? Генералы, которые стараются нас успокоить, ответа на эти вопросы так и не дали. Они просто-напросто сами не знают. Нам же известно, что доступ к кнопкам имеют как раз они — те, кто делает вид, будто их не пугает возможность ядерной войны. Мы не докладываем русским, сколько атомных боеголовок мы намерены сбросить на их города. Почему же им информировать нас? Если пустить в ход ничтожную часть имеющихся у нас сейчас бомб, то их хватит, чтоб не просто уничтожить, а превратить все в пыль.

Не та же ли логика стоит за успокоительными рассуждениями, будто города можно эвакуировать, а жителей густонаселенных центров вывезти в зоны безопасности, за 50 или за 100 миль? Мы что, должны верить, будто, невзирая на ядерный удар, дороги к магистралям и сами магистрали останутся в целости и сохранности, на них не образуются пробки, персонал бензоколонок будет самоотверженно дежурить, чтобы заливать пустые баки, водители будут точно знать, куда ехать и что делать, если доедут, а на месте назначения каждого встретят и разместят?

Парадокс в точке логической кульминации неизбежно приводит к абсурду: сложная система планирования и накопления колоссальных запасов оружия основана не на военной стратегии, а на психологической. Идея наших громадных военных планов, которые обходятся нам в триллионы долларов, заключается в том, будто все это повлияет на решения, принимаемые в Советском Союзе. Не в том, чтобы перехватить якобы мчащиеся на нас ракеты с термоядерными боеголовками, нет — понудить Советский Союз думать так, как нам бы хотелось.

А раз так, значит, наша военная стратегия строится на психологической основе.

Однако фундаментальный закон психологии гласит: бессмысленно пытаться убедить другого аргументами, которые ты сам не находишь убедительными. Американских политиков не убеждают советские стратеги, когда подчеркивают, что и они располагают уничтожающим оружием. Наоборот — заявления советских руководителей о военной мощи их страны пришпоривают сторонников усиленной гонки вооружений.

Другой фундаментальный закон психологии требует избегать путаницы. Мы стараемся внушить советским лидерам, что нанесение первого удара не в их интересах, поскольку Америка располагает превосходящими возможностями для удара ответного, и в то же время мы отвергаем любое предложение договориться об отказе от инициативы нападения. Прежние президенты Америки подчеркивали, что первыми ядерную войну они не начнут. Исходили они из того, что без такого рода заявлений где-то могли найтись нервозные генералы, которые нажали бы кнопки. Пересмотрев свои взгляды на стратегию первого удара, наше нынешнее правительство подрывает саму концепцию осмотрительности, проявления которой, по нашим словам, мы ожидаем от Москвы. Если бы Советский Союз взял и объявил, что считает себя свободным от обязательства не наносить первого удара, мы бы, скорей всего, решили, что это вынуждает к первому удару нас — все равно какой ценой и с какими последствиями. Не рассчитывай, писал Аристотель в своем трактате о логике, что другого убедят доводы, отвергаемые тобой.

Раз оборона Америки основана на психологической стратегии, так по крайней мере нам следует привлечь к этому делу профессиональных психологов, а не доверять будущее страны людям с психологией азартных игроков. Скорей всего, профессиональные психологи посоветовали бы проводить в отношении Советского Союза политику устранения общей угрозы и удовлетворения общих нужд, а не нажима и ультиматумов.

Нам доподлинно известно о русских только одно — они руководствуются соображениями собственной безопасности. Это в первую очередь и объединяет американцев с русскими.

Основная проблема, стоящая перед обоими народами, заключается в необходимости избежать ядерной схватки. Здравый смысл убеждает, что взаимными угрозами и наращиванием ужаса этого не достичь; напротив, так схватка станет неизбежной. Здравый смысл убеждает, что общую опасность можно уменьшить только целенаправленными усилиями в трех направлениях. Первое — контроль над вооружениями. Второе — разрядка напряженности, способной привести к их применению. Третье — создание международных организаций для определения обязанностей государств по отношению друг к другу и выработка законодательства по вопросам, касающимся основных причин военных конфликтов.

И дело не за тем, согласятся на это русские или нет. Дело за нами — готовы ли мы выступить с такими предложениями. По сути, выдвижение идей общечеловеческой значимости является единственным подлинным способом обеспечения безопасности Америки, потому что нам нужна не одна только договоренность с Советским Союзом, а единое мировое общественное мнение, основанное на решимости обезопасить нашу планету и сделать ее пригодной для жизни.

Мы не можем надеяться на избавление от гонки вооружений без программы обеспечения всеобщей безопасности. Ничего сверхъестественного в такой программе нет. Она должна покончить с мировой анархией и разработать свод законов. В ее основе может быть только идеология уважения и понимания права всякого народа на собственный образ жизни и мышления, при условии соблюдения всеми народами ясно очерченных, оформленных в виде законов обязательств по отношению друг к другу.

Язык насилия, особенно ядерного диктата, более не созвучен с понятием сво-

боды, ибо сила не только разлагает, по известной формулировке, она и пожирает. Пожирает физические и человеческие ресурсы планеты. Противостоять ей способен только свободный разум.

В конечном счете свобода и безопасность нужны человеку для осуществления возможностей раскрепощенного разума.

Здоровье и благоденствие не одних американцев, а всего рода человеческого несовместимы с войной и с военными приготовлениями. Следовательно, нашей великой заботой, нашей высочайшей задачей должна быть победа над войной.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

НОРМАН КАЗИНС: СИЛОЙ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Человек живет в окружении людей. Перед его глазами каждодневно — множество знакомых и неизвестных лиц. И едва ли кто-либо может предвидеть, как сложатся его отношения с другими. Мы можем судить о прошлом, о том, что уже случилось,— будущее остается непредсказуемым.

В жизни, правда, случается, что, встретившись однажды с человеком, мы невольно проникаемся к нему чувством любопытства, а нередко обнаруживаем, что он все более привлекает к себе наше внимание, повышенный интерес, и затем уже не выпускаем его из своего поля зрения. Часто происходит это непроизвольно, неосознанно. Лишь впоследствии мы отдаем себе отчет в происшедшем.

С Норманом Казинсом встретились мы во время одной из Даргмутских конференций, в которой принимало участие немало советских и американских общественных деятелей. Знакомства в подобных случаях, как это часто бывает, носят мимолетный характер и редко сохраняются в памяти. Это скорее протокольные, проходные рукопожатия. И Норман Казинс, казалось, мало чем выделялся среди других участников конференции. Спортивный твидовый пиджак, серые фланелевые брюки, не до блеска начищенные туфли...

— Я давно знаю вас,— промолвил он скороговоркой, неожиданно приблизившись ко мне со стаканом томатного сока в руке.— Хотелось бы обсудить с вами некоторые идеи...

На какое-то время он задумался, концентрируясь на мысли или подбирая, очевидно, нужные слова, а потом вновь заговорил, быстро, но неясно произнося слова, что затрудняло понимание.

— Пожалуйста, медленнее и по-английски,— с наивным видом попросил я собеседника.

— Медленнее... постараюсь. По-английски же умею только писать, а говорить, видно, никогда не научусь,— тотчас отреагировал он, прибавив: — Прошу извинить мою бестактность: мы, американцы, привыкли говорить только на своем языке, где бы ни оказались и с кем бы ни вступили в беседу. Избалованы мы тем, что английский — наиболее распространенный в мире язык, и мы не даем себе труда изучать иностранные языки...

— Нет, нет, я вовсе не к тому... У каждого из нас свой выговор, своя языковая манера...

— Я буду следить за своей артикуляцией, иначе, не дай бог, заставлю вас разговаривать со мной на китайском... Вам это, кажется, дано...

Мгновение это необъяснимым образом застыло в моих глазах, будто это было лишь вчера. С тех пор, увы, минуло почти два десятилетия.

Не скрою, меня сразу же привлекли находчивость и остроумие Нормана Казинса, его тактичность, сдержанность, доверительность в разговоре.

— Думается,— обратился ко мне Норман Казинс во время одной из более поздних встреч,— что мы должны бы сделать один инициативный шаг в литературном общении между нашими странами. Редактируемый мною журнал «Сатердей ревью», выходящий в Нью-Йорке, и ваш журнал «Иностранная литература» могли бы начать обмен визитами писателей или проводить встречи «круглого стола», поочередно в США и в Советском Союзе. Уверен, что на наше предложение откликнутся самые видные американские и советские литераторы.

— В таком начинании давно уже назрела необходимость. Ничто, с моей точки зрения, не может заменить личных встреч литераторов, хотя мы постоянно переводим и публикуем произведения зарубежных писателей — конечно же, не только на страницах журнала «Иностранная литература»...— поддержал я предложение собеседника.

Через какое-то время идея Нормана Казинса была претворена в реальность. Я говорю об утвердившейся за последние годы традиции двусторонних советско-американских писательских встреч так называемого «круглого стола». В памятном 1977 году тотчас после международной Софийской встречи писателей — первый «круглый стол» в Москве, затем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Батуми, Киеве... Видные художники слова приняли участие в этих встречах — Р. Лоуэлл, Э. Олби, У. Стайрон, К. Воннегут, У. Смит, И. Стоун, А. Миллер, Д. Апдайк, Р. Брэдбери, Э. Доктороу и многие другие — со стороны американцев, а также Г. Абашидзе, Ч. Айтматов, М. Алексеев, Г. Бакланов, О. Гончар,

М. Дудин, Д. Гранин, Е. Евтушенко, П. Загребельный, С. Залыгин, В. Катаев, А. Иванов, Д. Кугультинов, В. Коротич, Ф. Кузнецов и многие другие — с советской стороны.

На главных редакторов журналов «Сатердей ревью» и «Иностранная литература» были возложены обязанности сопредседателей этих конференций.

«...Мы видим свой долг и ответственность в том, чтобы сделать все, что в наших силах, для защиты мира и международного взаимопонимания, для предотвращения конфликтов, чреватых опасностью термоядерной войны» — этими словами заканчивается совместное заявление участников шестой встречи советских и американских литераторов, состоявшейся в марте 1984 года в Калифорнии, вблизи Лос-Анджелеса, в местечке Малибу. Главная тема встречи — «Понимание через литературу», понимание во имя сохранения человеческих ценностей, всего того, что мы называем культурой. Давно уже стало ясным, что термоядерная война грозит гибелью цивилизации. Ныне в войне победителей быть не может. Хиросима и Нагасаки — история, которую забывать преступно.

Теперь мы — накануне седьмой встречи «круглого стола» советских и американских писателей, которая планируется на территории Советского Союза, с повесткой дня — «Писатель и сохранение общечеловеческих ценностей», ведь в хороших книгах — творениях писательского разума и таланта — сконцентрирована немалая толика высоких свершений рода людского. Речь пойдет о ценностях — том наследии веков и современности, в котором и запечатлевается память человечества.

Писателям предстоит обсудить проблему ответственности за сохранение необъятного мира духовных и материальных богатств народов, возвысив голос против ядерной угрозы, нависшей над нашей землей. Веками и тысячелетиями созданные выдающимися умами сокровища мудрости и искусства в своих непреходящих образцах пронизывают историю культуры. Они живут в настоящем и должны жить в будущем. Все они — и маленькие родники, и могучие реки — сливаются в мировой океан общечеловеческой культуры. Разве не общаемся мы с высшими умами и гениями человечества посредством книг и произведений искусства — средств, доступных каждому? Разве не является великим достижением то, что гениальные личности беседуют с нами со страниц своих лучших творений, делятся с нами своими сокровенными мыслями и чувствами, вверяя свои души нашим? Но разве не воздействуют они на нас, преобразуя, совершенствуя структуру homo sapiens, устремляя ее к идеалу?

И вот, спустя годы, еще одна встреча с Норманом Казинсом, теперь уже в Лос-Анджелесе. Покинув Нью-Йорк, он переехал сюда, чтобы занять пост профессора в Калифорнийском университете и всецело сосредоточить внимание и силы на исследовании проблем взаимосвязи медицины и духовных потенций человека.

— Что привело вас, коллега, в университетскую лабораторию на стезю естествоиспытателя? — спросил я Нормана Казинса, который оставался прежним, даже как мне показалось, не расстался со своим твидовым пиджаком и традиционными фланелевыми брюками.

— Считайте, что причина всему — непростительность человеческого поведения, незадачливость и медлительность образа жизни... Не забывайте, какое это чудо природы — человек, который уже давно вторгся в космос, а сам себя далеко не познал еще; как высоко организован его разум, а между тем столько еще загадочного осталось неоткрытым.

— Вас привело сюда желание изучить происхождение недугов человека и общества? — продолжал я расспрашивать.

— Ничто в нашей жизни не совершается без страсти и мысли. Помните, у Бальзака: мысль — это ключ ко всем сокровищам...

— Но мудрому этому изречению предшествовало высказывание Галилея о том, что человеческий разум познает некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа..

Речь здесь не просто о метком наблюдении мыслителя. Речь о проблеме веры, то есть проблеме отношения к идеалу — предмету извечного стремления человека. А воля пролагает нам пути в неизведанное...

— Ясность мысли, действия и ясность выражения должны составлять нерасторжимое единство.

— Это справедливо при подходе научном: наука — область творческая, как искусство, как музыка. Область, заставляющая работать и сердце, и ум, и таинственное воображение с его непостижимым механизмом.

— Тайны воображения, творчества, взаимодействие факторов физиологических и моральных, психологическое воздействие музыки, поэзии, живописи на человека... Не потому ли великий Дарвин пришел к выводу: если бы ему пришлось вновь пережить свою жизнь, он установил бы для себя правило по крайней мере раз в неделю всерьез общаться с поэзией, быть может, именно с помощью таких упражнений человек сохраняет активность тех частей своего мозга, которые в бездействии атрофируются. Утрата вкуса к стихам, к музыке равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах, поскольку она ослабляет эмоциональную сторону человеческой природы.

— Такая постановка вопроса уже сама по себе плодотворна и вдохновляет. Чрезвычайно проницательный взгляд и увлекательная программа деятельности, хотя, как вы знаете, отношение к Дарвину в современной Америке далеко не однозначно, особенно к его теории происхождения жизни и человека. Нет сомнений, речь идет о возвращении человеку его подлинности, о формировании его непознанных возможностей, заложенных самой природой.

— Природа есть жизнь. Исчезнет мир — исчезнет и жизнь...

— К этому следует добавить, что вся ваша жизнь есть дар, щедрый дар приро-

ды, который человек, не задумываясь, обычно принимает как должное, далеко не всегда стремится понять самого себя, понять простую истину, что жизнь и без того коротка, чтобы расходовать ее без оглядки. Говорят: чужая душа — потемки. Бывает, что и своя собственная.

— Оглядываться нам следует уже ради извлечения уроков из прошлых ошибок и пользы из дорого приобретенного опыта. Вспомним слова Аристотеля о том, что в системе мира нам дан короткий срок пребывания — жизнь; дар этот прекрасен и высок. Бодрствование, чувствование, мышление — высшие блага, несущие наслаждение... Способность мыслить — верх блаженства и радости земного существования.

— *Верно замечено, что ученость — это* сладкий плод горького корня. Сколько протекает веков, прежде чем люди проникаются мудростью предшествовавших поколений и возвращаются к простоте и естественности человеческого бытия... Именно здесь так необходим союз науки и искусства. Бороться нужно не просто против симптомов наших недугов, но прежде всего против вызывающих их причин.

Трудно сказать, как долго продолжались наши диалоги. Увлеченные беседами, мы, видимо, утрачивали ощущение бегущих часов. Чувствовалось лишь пульсирующее движение самого времени, то замирающее, то связывающееся воедино. Ощущение это, быть может, возникало еще и оттого, что в разговор наш вплетались, словно цепная реакция мысли, суждения исторических личностей далекого прошлого.

Легко было понять, что пустые грезы не для Нормана Казинса. Он говорил о том, что знает, испытал, пережил. Нет, он не из тех, у кого хилое тело, кто напяливает на себя много одежек, чья мысль скудна, кто наряжает ее в слова, пытаясь прикрыть пустоту. Норман Казинс высказывает собственное — не оглаженное, не банальное, не расхожее — мнение и в литературных работах, и в личных беседах. Далек он и от угрюмой наукообразности, и от претензий на мистификаторство. Он прочно стоит ногами на земле. Смело экспериментирует. Знает, чего хочет.

Итак, перед нами труд Нормана Казинса «Врачующее сердце».

«И врач и писатель занимаются недугами, врач — недугами людей, писатель — недугами общества»,— пишет Норман Казинс. И продолжает: в конечном счете и писатель и врач сталкиваются с неповторимостью каждого человека и с необходимостью защищать жизнь...

Оказавшись волею судьбы на скрещении литературы и медицины, куда его привела тяжелейшая болезнь, Норман Казинс стал напряженно размышлять над проблемами, которые стоят на стыке человеческих и общественных недугов. Первая его книга, основанная на собственном опыте, называлась «Анатомия болезни» с подзаголовком — «Глазами пациента»[1]; вторая — «Образ врача в литературе» — касалась сходства и различия в подходе медика и писателя к исследованию человека. «Врачующее сердце» — попытка еще более углубиться, раздвинуть рамки поднятых ранее вопросов. В своей новой книге Норман Казинс затрагивает общезначимые проблемы, смысл которых выходит далеко за пределы и собственно медицины, и литературы.

Перемены в нашей жизни, которые появились в результате научно-технической революции, можно разделить на две группы: стали реальностью такие вещи, как космические полеты, ранее относившиеся к прерогативам научной фантастики, и многое другое.

С другой же стороны, научно-техническая революция во все убыстряющемся темпе видоизменяет многое привычное, внося в него совершенно новые параметры, что ведет к возникновению новых проблем. *Сюда можно, пожалуй, отнести и медицину,* добившуюся огромного прогресса.

Вспомним, пусть ироническую, запись Коперника о составе спиртовой настойки от болезней живота монаха Бернарда: возьми две кварты спирту, четыре драхмы сушеных фиг, корицы, шафрану и гвоздики по пять драхм. Употребляй понемногу. Если бог захочет — поможет...

Медицина не только привычна, она занимает особое место в жизни: и потому, что сталкиваемся с нею мы все, и потому, что мы всегда за помощью обращаемся к врачу — он держит в своих руках сокровеннейшие тайны нашего организма и нашей жизни. Можно спорить о том, всякое ли занятие требует философского обоснования, но нет сомнения в том, что медицина и мораль всегда идут рука об руку. Здесь и профессиональное, и нравственное, и духовное.

Естественно поэтому, что в книге Нормана Казинса медицинские проблемы тесно переплетены с моральными. Начав с проблем, которые технизация медицины ставит перед взаимоотношениями врача и больного, Норман Казинс переходит к социальной проблематике, которая выводит его на размышления о недугах общества, а это, в свою очередь,— о недугах человечества в планетарном масштабе и самом чудовищном из них, угрозе ядерного самоубийства.

Целый ряд проблем, затронутых Норманом Казинсом в его книге, носит общечеловеческий характер: все та же технизация медицины, например. Однако другие проблемы несут на себе отпечаток того общественного устройства, которое породило их: потребительский характер платной медицины, где потребителем выступает врач; отношение студентов-медиков к своему делу как к бизнесу, в котором они должны быть конкурентоспособными, дороговизна современной медицины, делающая ее достижения практически недоступными для народных масс.

«Самые серьезные из нынешних медицинских парадоксов нужно отнести за счет безразличия или попустительства общества»,— заявляет Норман Казинс в эпилоге своей книги.

И в представляемой книге, как и в предыдущих, Норман Казинс рассказывает о личном опыте борьбы с болезнью — на этот раз обширным инфарктом миокарда. И в этой книге он повторяет свой тезис о нашем нелепом недоверии к врачующей силе наших собственных положительных эмо-

[1] См. публикацию в «ИЛ», 1981, № 3.

ций, при этом он затрагивает ряд проблем широкого общечеловеческого плана, поставленных перед людьми головокружительными темпами развития научно-технической революции и общим ходом развития цивилизации.

Норман Казинс избрал медицинский аспект этих проблем, то есть ту сторону жизни, с которой так или иначе, рано или поздно сталкивается каждый; с 1978 года связанный с преподаванием в Школе медицины Калифорнийского университета, он может, по терминологии Маршалла Маклюэна, считаться если не специалистом, то уж во всяком случае «генералистом» в этой области, иными словами, он отнюдь не посторонний в медицине. Потому и мысли его о взаимоотношениях врача и больного в эпоху научно-технического прогресса приобретают на страницах этой книги особую убедительность, особенный интерес.

«Не смерть враг жизни,— утверждает Норман Казинс,— а страх смерти». И далее он говорит о том, что страх смерти усилился как раз в результате лавины открытий и изобретений, которые в последние десятилетия захлестнули медицину, сделав возможным лечение многих недугов, ранее бывших смертельными. Техническая оснащенность и неизбежно связанная с ней узкая специализация медиков высокой стеной отгородила врача от больного. Хорошо оборудованная современная больница больше всего похожа на лечебный конвейер, на котором не остается ни возможности, ни времени для нормального человеческого общения между врачом и больным.

В предисловии к книге профессор Бернард Лаун добавляет еще одно измерение этого явления, как оно выглядит на американской почве

Ход его рассуждений таков: у призмы, искажающей сегодня медицинские ценности, есть еще и такое измерение... владение новейшими методиками позволяет теперь быстро подниматься на академические вершины. Медико-индустриальный комплекс всячески поощряет этот процесс... Еще более важным для объяснения нынешней врачебной манеры вести себя являются требования рынка. Хорошо оплачиваются процедуры, связанные с техникой, а консультации, теплое отношение к больному, терпеливые беседы с ним оплачиваются скудно. Хорошие отношения между врачом и больным возникают во время неспешного опроса и составления истории болезни — и в семидесяти случаях из ста диагноз ставится именно на этой основе. Но платят за это врачу гораздо меньше, чем за сбор технических данных, дающих в целом меньше информации. В результате начинающий врач, обремененный долгами, быстро соображает, что к чему, и предпочитает делать то, за что больше платят

Сам Норман Казинс пишет, что сегодня грань между двумя культурами, о которой говорил когда-то Ч. П. Сноу, проходит по роли, отводимой человеку: либо он есть мера всех вещей, либо главенствует научная дисциплина как таковая.

В этой связи можно вспомнить и недавнюю статью в нью-йоркском журнале «Тайм», где речь идет о том, что пересадка органов сплошь и рядом превращается в экспериментирование на людях, что последние достижения медицины в силу их дороговизны стали практически недоступны для массы людей, остро нуждающихся в помощи.

Чувство восхищения, вызванное успехами современной медицины после таких сенсационных операций, как имплантация искусственного сердца, у многих в мире капитала начинает сменяться невеселыми раздумьями о том, что подобные, чрезвычайно дорогостоящие «чудеса» будут доступны лишь тем, у кого тугой кошелек. Только деньги будут решать, жить человеку или умереть,— ведь лишь первые пациенты в целях рекламы освобождены от оплаты самих операций и сопутствующих расходов, исчисляемых сотнями тысяч долларов. Подобная, как ее назвали в США, «высокотехническая» медицина сможет оказывать помощь небольшому числу пациентов за счет тех, кто не будет иметь возможности для лечения, часто более простого и дешевого.

«Во время общего ликования и поздравлений в связи с успешной имплантацией искусственного сердца Шредеру,— говорится в указанной статье,— вопросы о значении подобных эффективных операций могут показаться неуместными. Однако многие медики именно их и задают. Они испытывают серьезные сомнения относительно самого этого направления — высокотехничной медицины. Сомнения их касаются и стоимости, и этики, и эффективности, и, наконец, просто юридической правомерности.

Некоторые специалисты оспаривают саму идею искусственных и пересаженных органов. Доктор Льюис Томас, почетный президент мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг, автор известной книги «Жизнь клеток», предупреждает, что такие операции представляют собой «невероятно дорогие, этически шокирующие, полутехнические мероприятия». Кеннет Вокс, профессор этики в медицине из университета штата Иллинойс, замечает: «Мы скоро должны будем решить, какое общество мы хотим получить в результате наших биомедицинских проектов. Какой тип личности мы хотим создать? Коллекцию взаимозаменяемых частей, которые можно постоянно менять, когда они приходят в негодность? Искусственную личность? Нам скоро нужно будет умерить наши амбиции и научиться принимать неизбежность болезни, неизбежность смерти».

Заслуживают внимания в этой связи мысли советского академика В. Бураковского, высказанные им в статье «Что мешает хирургу»: «операция на сердце», «пересадка сердца», «искусственное сердце»... Все меньше сенсационности слышится в этих понятиях, пишет автор статьи. Это рабочие термины. Современная медицина овладевает «все более сложными и кардинальными методами спасения человеческой жизни. В нашей стране тысячи врачей и ученых участвуют в реализации государственной программы, нацеленной на разработку эффективных методов и средств

профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Немало проблем и на пути более успешного осуществления этой программы. Среди них на видном месте — дальнейшее развитие хирургии сердца и сосудов.

Опыт передовых клиник нашей страны и мира позволяет рассматривать сердечно-сосудистую хирургию как одно из основных средств снижения смертности от самых распространенных заболеваний — инфаркта, инсульта, ревматических и врожденных пороков, нарушений ритма сердца».

Сосредоточиваясь в своей книге на морально-этических аспектах медицины, Норман Казинс уделяет особое внимание вопросу о том, как общественные недуги расшатывают нравственные основы лечения человеческих недугов.

Эпилог его книги посвящен именно разоблачению общественных недугов: начав с небрежения общества нуждами больных, он переходит к глобальной проблеме военных приготовлений, грозящих уничтожить человечество вообще. Норман Казинс не является ни практикующим врачом, ни профессиональным политиком, поэтому в каких-то частностях суждения его и в той и в другой области, на наш взгляд, бывают порой несколько нереалистическими, что, однако, ни в малейшей мере не снижает ни ценности его размышлений, ни нравственной остроты поставленных им проблем. Не случайно, что книга Нормана Казинса «Врачующее сердце», как и «Анатомия болезни», вызвала у американских читателей такой интерес и вскоре стала бестселлером. Не газетная это сенсация: сегодня все о ней говорят, а завтра все забудут. Книга отличается насыщенностью конкретными фактами, истинной информативностью, живостью языка. Книга обладает силою внушения, силою воздействия на читателя и его восприятие.

Опыт Нормана Казинса — лично приобретенный, выстраданный им опыт. Этим он нам особенно интересен. Автору книги пришлось многое пережить самому, подвергнуть свой недуг доскональному анализу, «анатомическому» осмыслению, запоминанию. Все это привело его в конце концов к тому, чтобы личный свой опыт облечь в литературную форму и сделать достоянием других. Ведь автор вообще пишет не для себя, а для других, потенциальных читателей, втайне мечтая о том, чтобы строки его стали достоянием людей. Для этого, разумеется, необходимы профессиональные знания, нужен творческий дар. Своей книгой Норман Казинс упреждает читателя — предельно осмотрительно должно относиться к главному, чем одарила человека природа,— к собственной жизни, этому великому чуду земли, в основе которого нерасторжимо заложены начала физические и духовные. Заслуга автора книги прежде всего в том, что он опираясь на собственный опыт и наблюдения, обоснованно придает особое значение фактору моральному, духовным потенциям человека в противоборстве с постигающими его недугами. Он как бы призывает нас создать свой сад в собственной душе.

Есть немало людей, считающих, что никто не в силах больше срока продлить себе годы. Конечно, о том, что человеку, в сущности, отказано в долгой жизни, не может быть двух мнений. Но часто, говорит нам Норман Казинс сам человек повинен в небрежном отношении к себе в собственной нерадивости и лености, не проявляет старательных усилий в оказании помощи своему организму. И потому, утверждает Норман Казинс, заботиться о собственных шрамах и травмах времени — наш собственный долг. Он не пытается кого-либо убеждать в том, как это бывает трудно: или не удастся передать словами, или не поверят — примут за кокетство. Пренебрежение собой наказуемо. Все это — до первой бессонной ночи, и больной является к врачу.

И выводы свои, убежденность свою Норман Казинс утверждает раньше всего силою личного примера. Уже одно это заслуживает высокого признания достойнейших творческих его поисков и находок. Подобное подвижничество может быть вдохновляющим образцом для других. Норман Казинс как бы говорит нам: цель творчества — самоотдача.

Антирубрика

ТИБОР КАЯН — КАРИКАТУРИСТ-ФИЛОСОФ

Тибор Каян — один из самых замечательных карикатуристов Венгрии, художник-график, заслуженный деятель искусств, дважды лауреат премии Мункачи. Он родился в 1921 году, рано начал рисовать, окончил Высшую школу изобразительных искусств, но его первые рисунки появились в печати только в 1945 году. Смелые идеи, острые мысли — как и другими художниками, писателями — могли быть выражены публично только после Освобождения. Вначале Тибор Каян работал в журналах «Лудаш Мати», «Тюкер», потом в «Уй тюкёр», и вот уже много лет мы — ежедневно — встречаемся с его рисунками на страницах наших газет, журналов. В его художественном оформлении вышло несколько книг, и читатели очень любят его иллюстрации к сатирическим и юмористическим произведениям мировой литературы.

Но больше всего Т. Каяна занимают события, проблемы нашей повседневной жизни, в его рисунках они находят непосредственное отражение. Каяна часто называют карикатуристом-философом. Из скромности он всегда протестует против этого, хотя и признавался в одном из интервью, что цель его работы — «поиск правды и обнаружение скрытых связей между явлениями нашей жизни».

Каян любит и уважает людей и оттого не считает нужным разжевывать то, что хочет сказать. Может быть, поэтому у нас считается, что «Каян создал жанр карикатуры без подписи» («Энциклопедия по изобразительному искусству»). Его рисунки и в самом деле не нуждаются в пояснениях. Человек, взглянув на них, возможно, сначала только улыбчется, потом задумается, потом, раскручивая цепочку мыслей дальше, доберется до того, что хотел сказать художник.

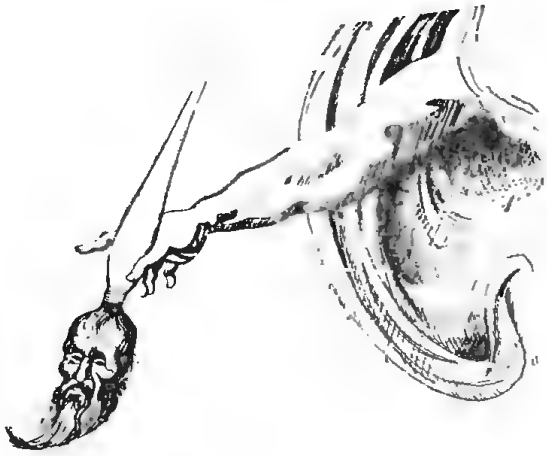
Его настоящая фамилия — Калас, фамилию Каян он получил от одного рассердившегося на него учителя — тому не понравилась карикатура, сделанная на него воспитанником. У слова «каян» в венгерском языке есть много синонимов: злопыхатель, пересмешник, шутник, озорник. Тибор Каян менее всего злопыхатель. Он добрый человек, который побуждает людей узнавать правду, делает их жизнь богаче, достойнее, лучше. Его юмор светлый. Его ars poetica: «Карикатура должна будить мысль, должна завоевывать новые территории для умного смеха. Народам, готовым откликнуться на шутку, народам, которые знают заботы и беды друг друга, легче вместе справиться с этими заботами и бедами».

Предлагаем вниманию читателей рисунки из цикла «Who is Who».

ШАРА КАРИГ
г. Будапешт

© Kaján Tibor, 1980.

ТОЛСТОЙ

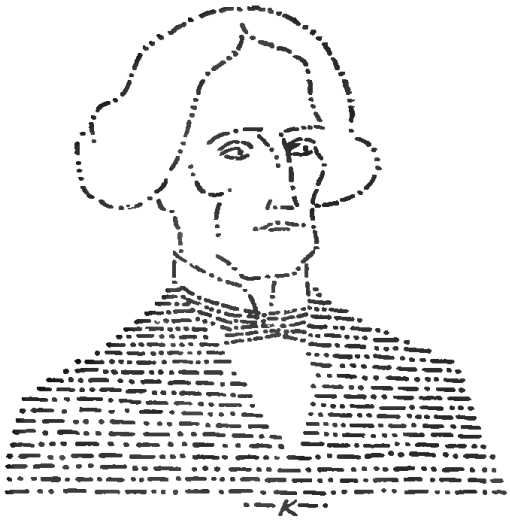


МИКЕЛАНДЖЕЛО

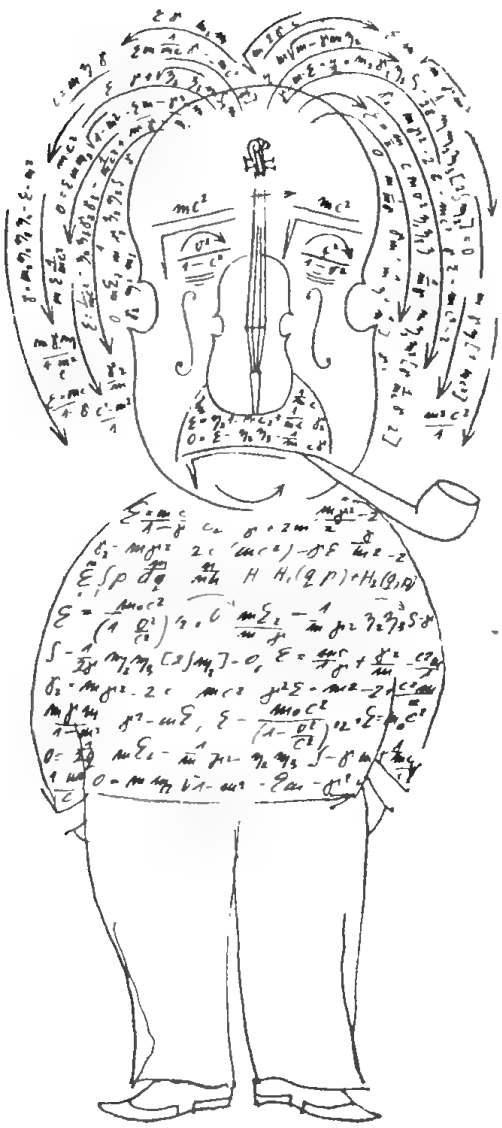
ПИКАССО

ШЕКСПИР

Who is who



МОРЗЕ



ЭЙНШТЕЙН

ВАН ГОГ

ФРЕЙД

КАФКА

ЧАПЛИН

Из месяца в месяц

АЛЖИР

«СКРОМНЫЕ МЕЧТЫ МАРЬЯМ»

Как сообщает сирийская газета «Ас-Саура», алжирский писатель Васини аль-Арадж опубликовал свой пятый роман, который называется «Скромные мечты Марьям»

По словам обозревателя газеты, в своем новом романе, как и в предыдущих, писатель затрагивает актуальные проблемы жизни современного алжирского общества. Для его произведений характерны ясная идеологическая позиция, «прозрачный поэтический язык», драматизм и напряженность повествования.

ВЕНГРИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

В издательстве «Сепиродалми» вышла книга Лайоша Мештерхази «Воспоминания». Над этой книгой писатель работал последние пять лет жизни. Во время записи на магнитофон одной из глав он скоропостижно скончался. Книга осталась незавершенной, и подготовили ее к печати сыновья писателя — литературоведы Мартон и Миклош Мештерхази. В своем послесловии они отмечают, что в рукописи 500 страниц, перепечатанных с магнитофонной ленты, отдельные страницы «отредактированы автором, но многие оставались нетронутыми, большая же часть материала вообще существовала лишь в магнитофонных кассетах».

Издательство решило выпустить эту книгу в том виде, в каком она оставлена писателем. В результате получилось произведение особого жанра: «книга устного повествования».

Специфичность жанра этой автобиографической книги отмечает и венгерская критика. Так, литературовед Габор Антал писал на страницах газеты «Мадьяр немзет»: «Название «Воспоминания» дали этой книге сыновья, но вся организация, вся структура книги говорит о ее романной форме...»

Центральным эпизодом книги является встреча Мештерхази с самим собой — встреча писателя с молодым человеком, который в сентябрьское воскресенье 1942 года сидит в чудом уцелевшей кондитерской, одиноко стоящей среди развалин. Автор вернулся сюда спустя тридцать лет и теперь вспоминает былое, переосмысливает пройденный путь.

Главная ценность книги, подчеркивает критик, в ее социальном звучании. Об этом пишет и сам Мештерхази в своем предисловии. Извлечение из него вынесено издательством на суперобложку: «Моя жизненная программа, программа-максимум, была направлена на переустройство мира. Нет больше эксплуатации, человек больше не является объектом угнетения другим человеком, он его равноправный товарищ. Авторитет личности создается только работой, а не должностью, не происхождением...»

В книге Лайоша Мештерхази «Воспоминания», пишет Габор Антал, блестяще не только изложение материала, но и анализ эволюции мироощущения. Именно оно является «главным действующим лицом книги».

Лайош Мештерхази, осмысливая прожитые тридцать лет в новых общественных условиях, предлагает и читателям осмыслить это время во имя дальнейшего движения вперед и осуществления идеала «высшей правды».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

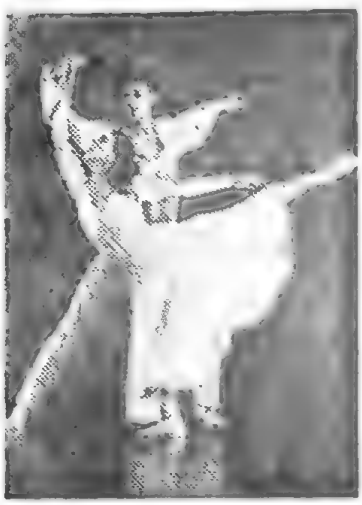
В ПАМЯТЬ О ВИКТОРЕ ХАРЕ

Несколько лет тому назад Би-би-си познакомила английских телезрителей с балетом под названием «Жестокий сад» — о жизни и творчестве убитого франкистами испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки. Балет, получивший высокую оценку критики, был создан хореографом и солистом труппы «Балет Рэмберт» Кристофером Брюсом в содружестве с прославленным мастером пантомимы Линдсеем Кемпом и композитором Карлосом Мирандой.

Не так давно Кристофер Брюс обратился к творчеству еще одного поэта — чилийца Виктора Хары, который активно участвовал в борьбе своего народа за

На снимке сцена из балета «За песней нашей следует молчанье».

(Газета «Ланд оз фолк»)



свободу и демократию и стал одной из первых жертв военной хунты. На музыку и тексты песен Виктора Хары Кристофер Брюс поставил балет «За песней нашей следует молчанье» — на этот раз для датского телевидения при участии артистов датского Королевского балета. «Не каждый день на наших телеэкранах можно увидеть политический балет, — писала в связи с этой постановкой обозреватель газеты «Ланд ог фольк» Хелле Хёгсбро. — Это живая память о Викторе Харе... чьи песни до сих пор служат борьбе чилийского народа за свободу»

По отзывам критиков, в этом балете Брюса, представляющем собой на редкость органичный сплав классики, модерна и народного танца, нашел свое яркое воплощение протест против диктатуры, которая подавляет и уничтожает человека.

году); зверские деяния японских фашистов на вьетнамской земле. Его фотоснимки — гневное обвинение американских агрессоров в «грязной войне».

Но фотомастерство Нгуен Ан Ниня не укладывается только в рамки документалистики. Он — тонкий мастер лирического пейзажа, точный и наблюдательный портретист. За свои работы он был удостоен премий на международных выставках фотографии во Франции (1936), Португалии (1938), ГДР (1958 и 1967), СССР (1961).

Имя Нгуен Ан Ниня как ведущего фотомастера Вьетнама известно в Бельгии, Испании, Болгарии, Польше, Советском Союзе, где неоднократно устраивались персональные выставки его работ.

На снимке: М. Хельберг в роли Гёте в фильме «Лотта в Веймаре».

(Журнал «Фильмшпигель»)

ВЬЕТНАМ

УНИКАЛЬНЫЙ МАСТЕР

Старейшему фотомастеру Вьетнама Нгуен Ан Ниню (Во Ан Ниню) в июле этого года исполняется 80 лет. Впервые он взял в руки фотоаппарат в 16 лет, а в 23 года к нему пришло признание. Неутомимый и любознательный, несмотря на тяжелую травму, полученную им в автомобильной катастрофе в 1937 году (он потерял ступню правой ноги), он объездил на велосипеде всю страну, создавая для истории фотохронику своего времени.

Ему удалось правдиво и взволнованно запечатлеть жизнь и страдания вьетнамского народа при французских колонизаторах (широко известны его фоторепортажи об ужасающем голоде, поразившем страну в 1945

На снимке: Нгуен Ан Нинь

(Газета «Ханой мой»)

ГДР

ЧИТАЕТ БЕНИТО ВОГАЦКИЙ

Около пяти лет назад берлинским отделением Союза писателей ГДР совместно с Городской берлинской библиотекой был основан цикл «Читают писатели Берлина». Многие писатели познакомили слушателей за эти годы со своими произведениями. Недавно с чтением отрывков из нового романа «Охота на ласточек», который выходит в издательстве «Нойес лебен», выступил известный писатель Бенито Вогацкий (о нем см. «ИЛ», 1975, № 9; 1977, № 5; 1982, № 9).

В романе рассказывается история любви плотника Кольке к молодой преподавательнице истории Анне. Стараясь завоевать ее расположение, Кольке становится более собранным, следит за своей речью, своими поступками, учится новым взаимоотношениям с людьми

«Автору удалось показать очень разную среду и разных людей: это и большая стройка, на которой работает Кольке, и университет, где преподает Анна. Писатель сумел подчеркнуть и то, что объединяет этих людей: общие жизненные принципы, общие цели», — пишет рецензент газеты «Ноиес Дойчланд».

«Этот роман, так же как и прежние произведения Вогацкого, написан с большим юмором, — отмечает газета «Берлинер цайтунг». — Вместе с тем писатель поднимает серьезные и важные проблемы, он рассказывает о своих современниках, о росте самосознания рабочего человека, о его тяге к культуре»

Во время оживленного обсуждения слушатели говорили о том интересе, который вызвали у них отрывки из романа, о языке и стиле, о глубоком знании материала, обнаруженного Бенито Вогацким.

ВЕТЕРАН НЕМЕЦКОГО ТЕАТРА И КИНО

Творческая биография известного немецкого актера и режиссера Мартина Хельберга началась в 1924 году. После окончания консерватории его пригласили в труппу Дрезденского драматического театра. В 1933 году новая фашистская администрация театра выгнала коммуниста Хельберга с работы. Но в 1949 году он снова вернулся в свой театр. И хотя с 1951 года М. Хельберг начал активно работать в кино, уже в качестве режиссера на студии ДЕФА, театр и по сей день занимает большое место в его жизни.

Первый фильм Хельберга «Обреченная деревня», в котором рассказывается о военных базах союзников на территории ФРГ, принес автору широкую известность и был удостоен Национальной премии ГДР».

К числу наиболее известных фильмов М. Хельберга относятся его экранизация произведений немецких классиков — «Эмилия Галотти» (1958), «Коварство и любовь» (1959), «Минна фон Барнхельм» (1962). Во многих своих фильмах Хельберг выступал не только как режиссер, но и как актер; самую любимую роль, тайного советника Иоганна Вольфганга фон Гёте, он сыграл в кинематографической версии романа Т. Манна «Лотта в Веймаре» (режиссер Эгон Гюнтер)

В этом году Мартину Хельбергу исполнилось 80 лет, 60 из них были посвящены служению искусству. С 1974 по 1982 год вышли три тома мемуаров Хельберга, в которых отражены разные этапы его творческого пути, бурные события культурной жизни Германии более чем за полвека.

ЗИМБАБВЕ

СОЗДАН СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает журнал «Африкэн бук паблишинг рекорд», в Зимбабве создан союз писателей, объединивший в своих рядах наиболее известных литераторов страны. Его председателем избран Ченджеран Хове, секретарем — Музаемура Зимуния. В уставе союза писателей отмечается, что главным направлением деятельности этой творческой организации должна стать забота о всемерном развитии национальной литературы.

Писатели Зимбабве создают свои произведения в основном на трех языках: английском, шона и ндебеле. Союз писателей призван защищать права своих членов, создавать наиболее благоприятные условия для профессиональной работы литераторов, содействовать распространению их произведений как внутри страны, так и за рубежом. Творческая общественность страны надеется, что вновь созданный союз писателей будет способствовать укреплению связей между писателями и читателями, явится форумом для обсуждения актуальных вопросов литературы Зимбабве. Важной сферой деятельности станет работа по налаживанию международных писательских контактов, прежде всего с литераторами других африканских стран. Первоочередной задачей, для осуществления которой в настоящее время изыскиваются финансовые средства, является издание печатного органа союза — литературно-критического журнала.

В последние годы в Зимбабве немало делается для активизации литературного процесса. Важным событием стали две проведенные в Хараре в 1983 и 1984 гг. международные книжные выставки-ярмарки, в работе которых приняли участие издательские организации и творческие союзы многих стран. Подобные мероприятия намечено проводить и в будущем.

ИНДИЯ

КОСТА ХЕТАГУРОВ В ИНДИИ

Прогрессивная индийская общественность всегда проявляла повышенный интерес к классической русской литературе. Произведения Льва Толстого, Достоевского, Горького, Чехова давно уже стали неотъемлемой частью духовного мира индийского интеллигента. За последние годы читающая Индия открывает для себя целые пласты и многонациональной советской литературы, значительный вклад в этот процесс вносят индийские писатели: известный индийский писатель Амритрай перевел на хинди «Как закалялась сталь» Николая Островского, Яшпал сделал достоянием индийского читателя роман Берды Кербабаева «Решающий шаг», Бхишам Сахни познакомил индийскую читающую публику с первыми повестями тогда еще молодого Чингиза Айтматова...

Русская и советская проза освоена гораздо основательнее, чем поэзия, хотя в Индии давно уже звучат переводы стихов Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Блока. И тем отраднее отметить, что этот «поэтический список» пополнился еще одним именем — именем основателя современной осетинской литературы Косты Хетагурова. Как сообщает индийская пресса, в Дели впервые вышел сборник стихов осетинского поэта в переводе на язык хинди. Об этом, в частности, поведал читателям известный поэт Гангапрасад Вимал в обширной рецензии на сборник, опубликованной в газете «Джанюг». На хинди стихи К. Хетагурова перевел молодой поэт Варьям Сингх, перу которого, кстати, принадлежат переводы ряда русских и советских поэтов. «Чтение стихов Хетагурова — уже само по себе наслаждение,— пишет рецензент.— И оно стало возможно благодаря блистательным переводам, за которые мы должны быть благодарны Варьяму Сингху».

КУБА

ПЕРВОПРОХОДЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ

В конце 1984 года издательство «Летрас кубанас» выпустило в свет поэтическую антологию «Поколение пятидесятых годов», составленную поэтами Луисом Суардиасом и Давидом Черисьлном.

В кубинской истории мало столь значительных десятилетий, как пятидесятые годы. На них пришлись и мрачные времена диктатуры, и самоотверженная борьба, и, наконец, победа революции, открывшей возможности для построения социалистического общества. В это время и начали писать и публиковаться те, кого называют «поколением пятидесятых», хотя, по мнению критика газеты «Гранма», их следовало бы называть «первым поэтическим поколением революции».

Большинство из этих поэтов в той или иной степени боролись против диктатуры, участвовали в создании новой жизни и ныне достигли творческой зрелости. Предисловие к антологии написано Эдуардо Лопесом Моралесом, одним из самых молодых представителей этого поэтического поколения. В своей статье он обрисовал пути развития кубинской поэзии за последние двадцать пять лет. В антологии представлены поэты очень разные, однако их объединяет стремление к жизненной правде, нелюбовь к пустой риторике, а главное, беззаветная преданность делу революции, за которое шестеро из них — Рауль Гомес Гарсиа, Франк Паис, Агустин Гомес-Лубиан, Хуан Оскар Альварадо, Луис и Серхио Саис — отдали свои жизни. Критик «Гранмы» считает, что, хотя о составе антологии можно спорить, тем не менее она показала лучшие достижения кубинской революционной поэзии.

Высокий уровень профессионального мастерства и изящество исполнения были отличительными чертами III национального конкурса ритм-оркестров, состоявшегося на Кубе. Это название, несколько необычное для знатоков джазовой музыки, укрепилось здесь за музыкальными коллективами с усиленной ударной группой, сочетающими исполнение музыкальных произведений с ритмической маршировкой и перестроениями. Особой популярностью этот вид музыкального искусства пользуется среди молодежи.

В конкурсе приняли участие более двадцати ритм-оркестров, в состав которых входило в общей сложности 1700 юных музыкантов. Основное место в их репертуаре занимают народные мелодии Кубы и других латиноамериканских стран, исполняемые в современной аранжировке. Победителями конкурса были объявлены оркестры, представлявшие провинции Гранма, Матансас и Пинар дель-Рио.

На снимке: выступление одного из оркестров

(Журнал «Бохмиа»)

НИКАРАГУА

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

После победы Сандинистской революции в Никарагуа был учрежден орден Рубена Дарио, которым отмечаются особые успехи в культурной и политической

На снимке: Мария Тереса Санчес, Фернандо Сильва и Эрнесто Гутьеррес после вручения ордена Рубена Дарио.

(Газета «Баррикада»)

деятельности. Имя выдающегося никарагуанского поэта и реформатора испаноязычной литературы носит и присуждаемая в Managua Латиноамериканская поэтическая премия.

В 1984 году орденом Рубена Дарио был награжден замечательный аргентинский писатель Хулио Кортасар. В нынешнем году президент Даниэль Ортега назвал имена пяти новых кавалеров ордена.

Впервые высокой награды была удостоена женщина — первая никарагуанская поэтесса Мария Тереса Санчес. Во времена диктатуры Сомосы она выпускала журнал «Новые горизонты», организовала издательство и поэтический культурный центр под тем же названием.

Среди награжденных — хорошо известные читателям Никарагуа поэты Фернандо Сильва и Эрнесто Гутьеррес. Оба они сочетают литературную деятельность с «прозаическими» профессиями врача и инженера.

Литературный критик Энрике Фернандес, награжденный орденом посмертно, многое сделал для развития никарагуанского искусства. Как отмечает газета «Баррикада», «в черные дни диктатуры он один заменял целое министерство культуры».

Орден Рубена Дарио вручен также Гильермо Торильо за его литературоведческие труды и огромный вклад в освободительную борьбу народов Центральной Америки. Торильо был министром иностранных дел Гватемалы в демократическом правительстве Х. Арбенса, свергнутом в результате вмешательства США.

Латиноамериканская поэтическая премия присуждена в этом году Энрикильо Санчесу из Доминиканской Республики за сборник стихов «Мороженое с вишнями».

ПОЛЬША

ПРЕМИИ МОЛОДЫМ

Решением Совета Министров ПНР установлена премия им. Станислава Выспянского, которой будут награждаться молодые представители творческой молодежи (не старше 35-ти лет) в различных областях культуры.

Это решение было вызвано необходимостью создать условия для профессионального совершенствования творческой молодежи, ее участия в общественных процессах, активизации ее творческих возможностей.

Премии будут присуждаться в следующих областях культуры: литература, театр, кино, музыка, скульптура, фотография, эстрада, народное искусство, цирковое искусство.

Возглавляет Комиссию по присуждениям премий известный критик и эссеист Анджей Василевский.

«ЛИТЕРАТУРА НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ — ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ»

Под таким названием в Варшаве проводилась конференция, организованная отделом культуры ЦК ПОРП и Партийной организацией писателей. Как пишет газета «Трибуна люду», «конференция дала возможность проследить процессы формирования и развития литературы в Народной Польше, а также определить ее перспективы».

Было прочитано несколько докладов, в которых была представлена панорама литературы сорокалетия. Основным течением было реалистическое, давшее такие крупные произведения, как произведения Мэрии Домбровской, Ярослава Ивашкевича, Зофьи Налковской, Халины Аудерской, а ныне Веслава Мысливского.

В дискуссиях было поднято много важных вопросов, самый главный из них — пути развития литературы. «Область культуры, — пишет «Трибуна люду», — то же является полем битвы в формировании национального сознания, полем битвы за будущее страны и народа».

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ РОМАН АУГУСТИНА БУЗУРЫ

«Пристанище» — так называется новый роман Аугустина Бузуры, привлекший большое внимание критики. Известный как автор глубоко реалистических социальных романов, А. Бузура и в этом произведении остается верным своему методу. «В романе мы найдем все качества, свойственные произведениям А. Бузуры, — пишет Н. Манолеску, — лаконизм и в то же время многогранность изображаемого, напряженность повествования, точность деталей быта».

Своим новым романом А. Бузура словно опровергает установившееся мнение, что ему не удаются женские образы, отмечает другой румынский критик, Э. Симион. Используя принцип ретроспективного анализа, автор показывает сложный

Ежи Камаса польская театральная критика называет лучшим актером среднего поколения. Он сыграл множество ролей и в театре, и в кино, и на телевидении. Среди них Ричард III в одноименной трагедии Шекспира, Барон в спектакле по пьесе Горького «На дне», Фантазий в драме Юлиуша Словацкого «Фантазий» — самые разные роли, что свидетельствует о многогранности его таланта. Всеобщее признание и известность принесла ему роль Станислава Вокульского в фильме «Кукла». Фильм, поставленный режиссером Ришардом Бером по одноименному роману Болеслава Пруса, хорошо знаком и советским зрителям, которые признали Ежи Камаса лучшим актером 1981 года.

На снимке: Ежи Камас

(Журнал Театр»)

внутренний мир героини, которая восстанавливает в памяти прожитые дни, историю своей несложившейся судьбы, «Бузура социологизирует, — пишет Э. Симион,— если можно так сказать, извечные человеческие чувства (любовь, ревность), другими словами, рассматривает эти чувства в их обычных жизненных проявлениях, исследуя взаимоотношения двух людей, дает картину жизни общества».

Любовь—жизненный нерв романа, отмечает критик, но книга А. Бузуры повествует не только о любовных перипетиях и несчастьях. Рисуя переживания главной героини, автор изображает сложный мир отношений личности и коллектива в условиях современного общества.

США

ИЗ ЖИЗНИ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ПОЖАРНИКА

Имя Денниса Смита, пожарника из Нью-Йорка, стало известно сотням тысяч американцев в 1972 году, когда вышла в свет его книга «Пожарная команда № 82» (русск. пер. «ИЛ», 1976, № 12), рассказавшая об изнурительной и опасной повседневной работе одной из пожарных команд Южного Бронкса — бедного «цветного» квартала Нью-Йорка.

Конец 60-х — начало 70-х годов в американской литературе ознаменовались новым — после «красных 30-х» — взрывом документалистики. Одна за другой стали появляться книги-репортажи и книги-интервью, со страниц которых вставала живая, непридуманная Америка. На фоне произведений таких крупных мастеров документального жанра, как Т. Капоте, Н. Мейлер, С. Теркел, повесть Д. Смита — новичка в литературе — не потерялась: книга подкупала жизненной правдой, невымышленным драматизмом событий, которые выстраивались в незатейливый, но захватывающий сюжет. Три года спустя Д. Смит выпустил новую книгу — «Последний пожар», в которой отошел от прямого документализма.

Вышедший в конце 1984 года в издательстве «Саймон энд Шустер» роман «Серебристо-голубой» посвящен все той же теме — работе нью-йоркских пожарников. Здесь Д. Смит, по словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», выступает уже как зрелый мастер художественного слова.

Роберт Бэрнс, по прозвищу Серебристо-голубой, как и герои предыдущих книг Д. Смита, — пожарник. Роман начинается напряженно-драматическим эпизодом: Роберт со своими товарищами тушит пожар на четвертом этаже большого нью-йоркского универмага. Неожиданно в самой гуще пламени у окна он замечает женскую фигуру. Рискуя своей жизнью, Роберт бросается на помощь женщине, объятой огнем, и, только дотронувшись до нее, видит, что это... манекен. Мрачно-ироническая сцена имеет, по мнению рецензента, символический смысл: привыкший всю жизнь спасать других людей, Роберт не в состоянии понять, что теперь пришла пора спасать самого себя...

Ведь после того, как он оставил жену и двоих детей, вся жизнь его разладилась. Он постепенно утратил смысл своего существования, потерял интерес к работе, которую раньше любил и ценил. И в конце концов становится ясно, что Серебристо-голубой стал очередной жертвой того огромного механизма, в котором живые люди превращаются в крошечные винтики, подлежащие замене за негодностью. «Закрывая эту книгу, мы остаемся под большим впечатлением от нее — не от тех многочисленных сведений о том, как действует пожарная команда в горящих зданиях или как работает пожарный насос; нас не может не волновать глубокая озабоченность автора человеческими проблемами». Так в заключение оценивает рецензент этот роман, принадлежащий к числу немногих в сегодняшней Америке книг, где талантливо воссоздан социально-психологический портрет одного из миллионов простых тружеников огромного капиталистического города.

Отмечая 50-летие первой постановки оперы Гершвина «Порги и Бесс», американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» напоминает, что ее премьера в 1935 году в небольшом театре стала провалом, вызвав бурю споров о жанре этого музыкального произведения и его содержании. Сам композитор назвал его «фолк-оперой», но буржуазная критика не приняла спектакля о черной Америке. Через два года композитор умер, так и не узнав о том, какой успех ждет «Порги и Бесс».

30 лет спустя состоялась ее премьера в Ла Скала. Она обошла сцены более ста городов мира. В 1959 году фильм «Порги и Бесс» был удостоен премии Академии киноискусства.

Юбилейные спектакли состоятся на сцене «Метрополитен-опера». По требованию наследников композитора все партии в спектакле исполняют черные актеры.

На снимке: Джордж Гершвин (автопортрет).

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

УРУГВАЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

По сообщениям печати, после двенадцати лет эмиграции известный уругвайский писатель Марио Бенедетти возвращается на родину.

Марио Бенедетти, пишет кубинская газета «Гранма», исполнен оптимизма, хотя ясно видит, какие усилия потребуются, чтобы «вытащить страну из черного колодца диктатуры». По словам писателя, военная диктатура пыталась покончить с уругвайской культурой, однако это хунте не удалось. «Те, кто остался, в тюрьмах или на свободе, не давали заглохнуть уругвайскому искусству, а мы, уехавшие, понимали, что можем бороться с диктатурой только своим творчеством».

Марио Бенедетти считает, что в новой политической обстановке уругвайская культура достигнет расцвета, ныне литература его родины уже стала значительнее, богаче и популярнее в мире, чем до военного переворота.

ФРАНЦИЯ

«МИЛЫЙ ДРУГ» ВНОВЬ НА ЭКРАНЕ

В мае 1885 года в Париже был издан роман Ги де Мопассана «Милый друг». К 100-летию выхода книги в свет приурочено и создание трехсерийного телевизионного художественного фильма.

Попытка перенести одно из наиболее читаемых сегодня произведений писателя на телеэкран предпринимается впервые. Автору сценария Пьеру Мустье и режиссеру Пьеру Кардиналю удалось сохранить в достаточной мере емкость литературной основы романа и гон острого разоблачительного памфлета, рисующего не столько фривольные похождения провинциального и невежественного ловеласа, сколько торжество газетных пройдох, продажность буржуазной прессы, низменность нравов высших кругов Третьей республики. Мастерски выстроенный диалог сохранил и острые полемические намеки, основанные на реальных событиях не-

На снимке: Жак Вебер в роли Дюруа.

(«Телесет жур»)

давней колониальной политики Франции, которыми полон роман, показал нечистоплотные методы, которыми пользуются авантюристы всех мастей, пробивая себе «путь наверх» в буржуазном обществе. Все это делает фильм злободневным и чрезвычайно актуальным сегодня.

Жорж Дюруа, «хитрец, пройдоха, ловчак» (создатели фильма поддались соблазну придать ему внешнее сходство с автором романа, памятуя мистификацию Мопассана: «Дюруа — это я!»), в исполнении Жака Вебера, к сожалению, выглядит бледнее других персонажей.

Особенно удачен дуэт Шарля и Мадлены Форестье в исполнении Дени Манюэля, знакомого советскому зрителю по многосерийному фильму «Жизнь Вольтера», и Орор Клеман. По внешнему типу они — прямая противоположность своим героям, выведенным Ги де Мопассаном в романе. Тонкий, ироничный сорокалетний Шарль Форестье в фильме совсем не похож на «толстого, молодого» двадцатисемилетнего человека, с которым Дюруа сталкивается на углу площади Оперы в Париже. А Мадлена, лишенная в фильме легковесной миловидности, умнее, значительнее и достойнее, чем ее героиня в романе.

Три вечера фильм воссоздает пленительный и неповторимый облик старого Парижа с церковью Мадлен и площадью Вогезов, бульваром Пуасоньер и парком Монсо, где среди живописных античных руин, прудов, извилистых дорожек благодарные потомки поставили памятник Ги де Мопассану, создателю романа «Милый друг», который вызвал столько нападок буржуазных газет того времени «своей жестокой и несколько отталкивающей правдой».

ЯПОНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ЯСУСИ ИНОУЭ

Премии газеты «Асахи» за 1984 год удостоен один из крупнейших японских писателей Ясуси Иноуэ. В этой связи в газете было опубликовано интервью и краткий очерк о творчестве писателя. Ясуси Иноуэ 77 лет. Писать он начал поздно; в 1950 году он получил премию Акутагава за рассказ «Бой быков», и с тех пор его произведения пользуются неизменной популярностью у читателей. Для его творчества характерен широкий охват литературных жанров: современные повести («Человек, который придет завтра», «Ледяная стена»), исторические повести, многие из которых были написаны под влиянием путешествий по Великому Шелковому Пути («Ло Лан», «Император Го Сиранава-ин», «Голубой волк»), рассказы и повести для детей («Повесть об Асунаро»), сборники стихов.

Помимо литературной деятельности Ясуси Иноуэ ведет большую общественную работу, являясь одновременно председателем японского ПЕН-клуба, председателем японско-китайского общества культурных связей, членом японско-французского совета по культурным связям.

«Для себя я сделал вывод, что не самой плохой из мировоззренческих позиций может быть «философия совместного существования и совместного процветания»,— сказал Ясуси Иноуэ. — Она необходима для мира, счастья и спокойствия как отдельной страны, так и отдельного человека. Родившись на свет, человек обретает естественное право на счастье при всех неизбежных жизненных неурядицах».

На вопрос о планах на будущее Иноуэ ответил, что очень хотел бы заняться биографией Конфуция. У него накоплено много материала о жизни мудреца Синнана (основателя «Истинной школы Чистой Земли»). Сейчас он заканчивает повесть «Вадацуми» — об истории переселенцев из Японии.

На русский язык переведены его роман «Сны о России» (1980) и сборник рассказов «Охотничье ружье» (1983).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

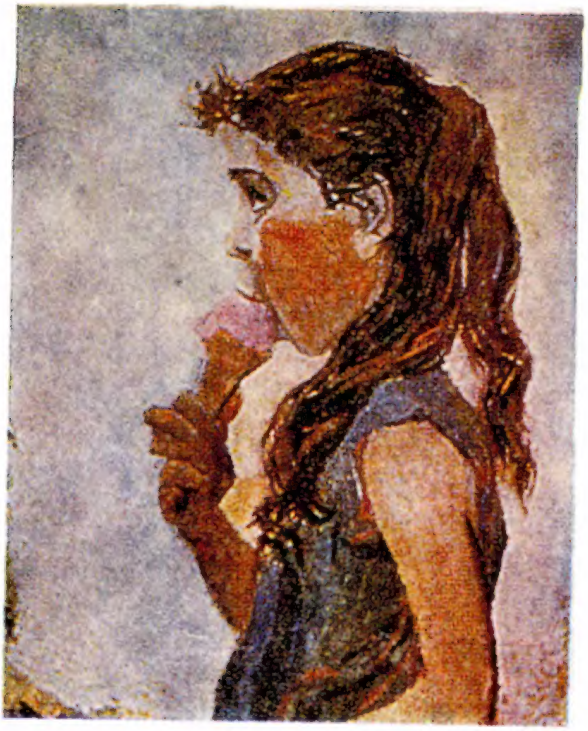
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 29.04.85 г. Подписано в печать 13.06.85 г. А 07203. Формат 70×108¹/₁₆
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл п. л., уч-изд. л. 26,67.

Тираж 410.000 экз. Зак. 1651.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Девочка с мороженым.

Землемер Джоакино Гуттузо, или Портрет отца.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394